В. А. Томсинов

Великие русские люди

# Светило российской бюрократии

## Исторический портрет М. М. Сперанского

Издательство Зерцало

**Серия «Великие русские люди»**

Основана в 2012 году

Главный редактор серии
профессор В. А. Томсинов

Серия «Великие русские люди» состоит из книг, посвященных великим русским мыслителям и государственным деятелям — таким, как И. А. Ильин, К. П. Победоносцев, М. М. Сперанский, А. А. Аракчеев, М. В. Ломоносов, П. А. Столыпин, В. Н. Татищев, П. Г. Виноградов и др.

В каждой из этих книг дается жизнеописание ученого и политика, показывается все наиболее значимое в его творческом наследии, рассматриваются уроки, которые можно вывести из опыта его жизни. Судьба великого человека представляет собой такую же ценность для нас, как и его творческое наследие или результаты государственной деятельности: она может быть столь же увлекательной для прочтения, как и сочиненная, искусственная жизнь какого-нибудь исключительно литературного героя.

Река действительно произошедшей человеческой жизни всегда вбирает в себя ход истории той эпохи, в которую она совершалась, — во всяком случае, впитывает в свое русло те или иные течения данной истории. Эта закономерность особенно присуща жизням великих людей. По судьбам великих мыслителей можно изучать историю общества и общественной культуры. История любого государства будет неполной и скучной без описания судеб, характеров и воззрений людей, которые стояли у рычагов государственной машины и приводили в движение ее механизмы.

Автором всех книг данной серии является профессор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, доктор юридических наук *Владимир Алексеевич Томсинов*. В связи с этим книги серии «Великие русские люди» представляют собой в определенном смысле одно большое произведение, в котором история России не просто описывается и осмысливается, но и *переживается* как судьба человеческая — как историческая драма, где сплетаются воедино и неразрывно счастье и несчастье, любовь и ненависть, жизнь и смерть…

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
Юридический факультет
Кафедра истории государства и права

**В. А. Томсинов**

# Светило российской бюрократии

## Исторический портрет М. М. Сперанского

Издание 5-е, обновленное и дополненное

Москва
Зерцало-М
2013

ББК 66.1(2)6
Т 56

На лицевой стороне обложки изображена фрагментарная копия
с коленного портрета Михаила Михайловича Сперанского,
написанного в 1822 или 1823 году Джорджем Доу (George Dawe, 1781–1829).
Ее изготовил в 1824 году, в присутствии английского живописца,
художник Александр Григорьевич Варнек (1782–1843),
славившийся искусством написания портретов.
По признанию современников, портрет М. М. Сперанского кисти Дж. Доу,
утраченный в 1845 году, лучше всех других портретов
русского государственного деятеля передавал его подлинный облик

**Томсинов В. А.**

Т 56 Светило российской бюрократии. Исторический портрет М. М. Сперанского. Издание 5-е, обновленное и дополненное. М.: ИКД «Зерцало-М», 2013. — 476 с. (Серия «Великие русские люди»).

ISBN 978-5-94373-218-8

Книга представляет собой документальное повествование о необычной судьбе выдающегося русского государственного деятеля, реформатора и мыслителя Михаила Михайловича Сперанского (1772–1839). Ему, сыну простого деревенского священника, суждено было оказаться в самом пекле политической жизни России первой трети XIX века, пережить невиданные взлеты и падения. Сперанский являлся активным участником главнейших политических процессов в тогдашнем русском обществе. Биография его неразрывно сплелась с биографиями почти всех крупнейших деятелей той бурной эпохи: императорами Павлом I, Александром I и Николаем I, сановниками: А. Б. Куракиным, А. А. Аракчеевым, В. П. Кочубеем, М. А. Корфом и др., литераторами: Н. М. Карамзиным, А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым и др., декабристами: Г. С. Батеньковым и К. Ф. Рылеевым, М. Н. Муравьевым, С. П. Трубецким и др.

М. П. Погодин писал в своем биографическом очерке о нем: «Удивительное зрелище представляет нам жизнь графа Сперанского, удивительное даже в русской истории, богатой примерами быстрого возвышения и падения». «Со времен Ордина-Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный ум: после Сперанского, не знаю, появится ли третий», — выражал свое мнение В. О. Ключевский. Историк С. М. Середонин констатировал: «Действительно, Сперанский был совершенно исключительным явлением в нашей высшей администрации первой половины XIX века. Без особого преувеличения он может быть назван организатором бюрократии в России...»

Книга рекомендуется для студентов юридических и исторических вузов, для всех интересующихся тайнами политической истории России.

Ранее в серии *«Великие русские люди»* вышла книга *В. А. Томсинова «Мыслитель с поющим сердцем. Иван Александрович Ильин: русский идеолог эпохи революций»*.

ISBN 978-5-94373-218-8

© В. А. Томсинов, 2012
© Издательство «Зерцало», 2012

# ОГЛАВЛЕНИЕ

*Предисловие*. . . . . VI
*Глава первая*. «Я — бедный и слабый смертный» . . . . . 1
*Глава вторая*. Восхождение . . . . . 42
*Глава третья*. На пороге славы и... несчастья . . . . . 82
*Глава четвертая*. «Выступил на бой один...» . . . . . 143
*Глава пятая*. Падение. . . . . 195
*Глава шестая*. Жизнь в изгнании . . . . . 229
*Глава седьмая*. Возвращение к власти. . . . . 260
*Глава восьмая*. Пензенский губернатор . . . . . 275
*Глава девятая*. «Путешествие в Сибирь». . . . . 301
*Глава десятая*. В петербургской «ссылке». . . . . 347
*Глава одиннадцатая*. «Нет повести печальнее...». . . . . 375
*Глава двенадцатая*. Русский Трибониан . . . . . 397
*Глава тринадцатая*. Прости, Отечество! . . . . . 443

# ПРЕДИСЛОВИЕ

*...И еще помни, что каждый жив*
*только в настоящем и мгновенном.*
*Остальное либо прожито, либо неявственно.*
*Вот значит, та малость, которой мы живы;*
*малость и закоулок тот, в котором живем.*
*Малость и длиннейшая из всех слав, что*
*и сама-то живет сменой человечков,*
*которые вот-вот умрут, да и себя же самих*
*не знают — где там давным-давно умершего.*

**Марк Аврелий**

*...Я ни с кем никогда не бранился, даже*
*и тогда, как меня все бранили. Бог с ними!*
*Ни от похвал их, ни от брани мы не будем*
*ни лучше, ни хуже. Человек есть то, что*
*он есть пред Богом; ни более, ни менее.*

**Михаил Сперанский**

Не из одних только человеческих персон состоит человеческое общество. Кроме них, живет здесь странное существо: незримое, но шумливое; невыносимое, но уважаемое; лживое, но вполне заменяющее истину: потому что существо это — *людское мнение*. Сколько проклятий на него наслано, сколько жалоб наговорено — все ему нипочем! Подобно могущественному деспоту оно царит над всеми и судит всех без разбору по каким-то лишь себе ведомым законам, метя каждого судимого своим безжалостным клеймом.

Клеймо это бывает иной раз таким, что заслоняет собою того, кто им отмечен. Живой многоликий человек превращается в сухой одномерный контур — ходячий символ какого-либо явления. В данном превращении, наверное, есть свой исторический смысл. Реальная человеческая личность, всегда многообразная, противоречивая, не может служить знаменем политического течения или партии, не способна возжигать в людях примитивного чувства поклонения к себе. С другой стороны, она не может вызывать к себе и сугубо отрицательного отношения — того нигилизма, что дает

энергию политической борьбе. На все это надобны символы, призраки, утопии.

Но история, состоящая сплошь из одних символов или призраков, в сущности своей есть не история, а готовая к употреблению идеология разрушения. Подлинное призвание истории в том, чтобы созидать — делать человека добрее, будить в нем душевную привязанность к своему народу, к своей стране, спасать его от духовного обнищания. «*История у нас дала бы духовные идеи*, — писал Федор Достоевский. — *История бы спасла от растления и направила бы ум юноши хотя бы в мир исторический из отвлеченного бреда и бурды, составляющих духовный мир нашего общества*».

История созидающая, история спасающая — такая история предполагает в качестве своих действующих лиц не куклы, не символы или призраки, но реальных людей со всеми их разнообразными страстями и помыслами, достоинствами и пороками, надеждами и разочарованиями. Такая история должна не просто изучаться, она должна *переживаться*. Ничто не возвышает нас более, чем *сострадание*. Ничто не привязывает нас к своему народу так, как *сопереживание*. Прочувствовать все, что выпало народу в прошлом — все народные радости и беды, — как лично свои, увидеть в давно отжившем и превращенном в холодный символ историческом деятеле соотечественнике живого человека, пережить его судьбу как свою собственную, его терзания, его мучения как свои личные, совместно с ним возвыситься, совместно с ним упасть, покаяться и умереть вместе с ним — в этом, именно в этом высший смысл углубления в историю!

* * *

Человек, которому посвящена настоящая книга, прожил на редкость сложную, богатую событиями и душевными волнениями жизнь. Судьба назначила ему быть в самом пекле политической жизни России первой трети XIX века, являться активным участником главнейших политических процессов в тогдашнем русском обществе. Биография его неразрывно сплелась с биографиями почти всех крупнейших деятелей той бурной эпохи: императоров, сановников, литераторов, ученых. Будучи необычной фигурой на русской политической сцене, он вызывал к себе огромный интерес. Обреченный при жизни нести на себе горько-сладкое бремя повышенного людского внимания к своей персоне — притча во язы-

цех в салонах русской знати, — он по смерти своей сделался персонажем великого множества мемуаров и записок. Не только непосредственно сталкивавшиеся с ним на жизненном пути, но и те из его современников, которым не довелось знать его лично, как бы долгом своим почитали при воспоминании о прошлом высказать хотя бы несколько суждений, хотя бы несколько слов и о нем. К мемуарам и запискам современников добавились многочисленные статьи и книги, посвященные его жизни и государственной деятельности. Среди авторов их оказались такие известные русские ученые-историки, писатели и государственные деятели, как М. П. Погодин и Н. Г. Чернышевский, М. А. Корф и А. В. Никитенко, А. В. Романович-Словатинский, С. М. Середонин, П. Е. Щеголев, Е. И. Якушкин и многие другие.

То, что какое-либо лицо после своего ухода из жизни возбуждает к себе большой интерес, случается, как известно, довольно часто. Но столь же частым бывает и другое — когда интерес к человеку, подогретый его смертью, со временем охлаждается, а то и вовсе замерзает. Со Сперанским все было не так. Время не только не охладило интереса к нему, но даже разогрело этот интерес. По законам, которым подчиняется общественное сознание, такое происходит обыкновенно с тем историческим деятелем, в котором видят не просто человека, но явление. Разгадка чрезвычайной посмертной популярности Сперанского в русском обществе заключается именно в этом. Он был не простой исторической личностью, но *явлением*.

Девятнадцатое столетие, эпоха исключительно плодородная для русской духовной культуры, приучила нас к мысли, что люди, одаренные от природы высоким умом и талантом, в России могут жить лишь в мире *литературы* и *искусства*, в крайнем случае — в столь же свободном мире *ничегонеделания*, но уж никак не в той среде бездушия, угодничества и фальши, что являет собою бюрократия, — в среде, в которой типичный обитатель имеет, по выражению Герцена, «пять благоприобретенных добродетелей: он перед начальством — щенок; перед подчиненным — волк; с женщинами — евнух; перед искусством — раб и только перед рабом — господин».

И в самом деле, как можно сохранять в такой среде возвышенность ума и сердца? Как можно действовать сообразно своим природным наклонностям, своему таланту в мире строгого ранжира, стереотипа и штампа? «Русский чиновник — ужасная личность», — сетовал Александр Васильевич Никитенко, и он знал, что говорил: сам

состоял долгие лета на государственной службе[1] и был внимательнейшим наблюдателем окружающего. Он понимал, как губительна для души и таланта чиновная служба и карьера. Но все же — не уйти от факта — в сфере государственной деятельности так же, как и литературе, искусстве, науке, российский девятнадцатый век блеснул целой плеядой людей выдающихся, сумевших не затеряться в среде обитания «ужасных личностей», а проявить себя, свой ум и талант. Н. С. Мордвинов, П. Д. Киселев, П. А. Валуев, А. М. Горчаков, братья Н. А. и Д. А. Милютины, К. П. Победоносцев, С. Ю. Витте — эти и другие подобные им русские государственные деятели теперь полузабыты и много уступают в известности жившим в их пору литераторам, художникам, композиторам, но в свое время они были знамениты, они играли значительные роли в общественной жизни страны и многое свершили в истории российской, чтобы россияне помнили о них, знали их судьбы, изучали их мысли.

Михаила Михайловича Сперанского считали в плеяде этих людей звездой первой величины. «Нет и не было у нас, в настоящем столетии, ни одного государственного человека, который бы *заслонял* собою Сперанского как преобразователя нашей администрации и который бы отодвигал его своею административною деятельностью на второй план»[2], — писала в январе 1862 года газета «Северная пчела».

«Со времен Ордина-Нащокина[3] у русского престола не становился другой такой сильный ум: после Сперанского, не знаю, поя-

---

[1] Александр Васильевич Никитенко (1804 или 1805–1877) — профессор Санкт-Петербургского университета по кафедре русской словесности (в 1834–1864 гг.), действительный член Императорской Санкт-Петербургской Академии наук (с 1855 г.), служил с 1833 до 1865 г. в различных государственных ведомствах (в 1833–1848 гг. – цензором Санкт-Петербургского Цензурного комитета, в 1853–1858 гг. — в качестве чиновника для особых поручений при Министерстве народного просвещения, в 1859–1865 гг. — директором делопроизводства Комитета по делам книгопечатания, в 1860–1862 гг. являлся членом Главного управления цензуры).

[2] Северная пчела. 1862. № 21. Понедельник 22 января // Научно-исследовательский отдел рукописей Российской Государственной библиотеки (далее: НИОР РГБ). Фонд 231, Полторацкого. № 47/6.

[3] Афанасий Лаврентьевич Ордин-Нащокин (около 1605–1680) — крупнейший русский государственный деятель-реформатор. В. О. Ключевский считал его «самым блестящим из сотрудников царя Алексея, наиболее энергическим провозвестником преобразовательных стремлений его времени» (*Ключевский В. О.* А. Л. Ордин-Нащокин — московский государственный человек XVII в. // Ключевский В. О. Литературные портреты. М., 1991. С. 276).

вится ли третий», — выражал свое мнение В. О. Ключевский. Сомнения историка оказались более чем оправданны — третий так и не появился, не успел появиться. И Сперанский навсегда остался в русском общественном сознании тем, кем признан был еще при жизни, — самым выдающимся государственным умом в истории России. Когда он умер, Модест Корф занес в свой дневник: «*Светило русской администрации угасло!*» Много разных наименований примеряли к Сперанскому — и «чиновник огромного размера», и «доктринер», и «бюрократ» — но это, примеренное к нему тем, кто всю свою чиновную молодость провел под сенью его сановной старости[1] и впоследствии стал главным его биографом, было, пожалуй, наиболее удачным.

Согласимся, что возвышенное слово «светило» привычнее звучит применительно к науке или поэзии. Сочетание же его со словом «администрация» или «бюрократия» кажется странным и неприличным. Но отчего так? Если бюрократия, организация чиновничества — это особый мир со своими правилами, традициями и нравами, то почему не может она иметь своего героя, почему в ней не может быть лучшего? И не надо ли знать именно лучшего в том или ином мире, чтобы понять по-настоящему этот мир? Мы знаем, как правило, лишь среднего, обыкновенного бюрократа, а лучший из бюрократов — необыкновенный бюрократ — каков он? Какова его жизнь, его душа, его вера? Незавидная, должно быть, эта участь — быть лучшим в худшем из миров?

Сперанский считался в общественном мнении образцовым чиновником, своего рода эталоном российского бюрократа.

***Из книги С. М. Середонина «Граф М. М. Сперанский. Очерк государственной деятельности» (СПб., 1909 г.):***

*«Действительно, Сперанский был совершенно исключительным явлением в нашей высшей администрации первой половины XIX века. Без особого преувеличения он может быть назван организатором бюрократии в России... До Сперанского гражданская служба в общественном мнении стояла очень невысоко; Сперанский поднял ее на чрез-*

[1] Модест Александрович Корф (1800–1876) начал государственную службу по окончании Царскосельского лицея в 1817 г., в Министерстве юстиции. 4 апреля 1826 г. он был назначен в только что созданное Второе отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, фактическим управляющим которого был М. М. Сперанский.

*вычайную высоту, он сообщил ей важность, ибо стянул управление Россией в центральные учреждения, сделал их распорядителями народного блага; гражданской служебной карьере он сообщил своеобразную привлекательность, возможность постоянного движения вперед, — движения в ту эпоху чрезвычайного; мало того, он придал ей прелесть возможных опасностей и таинственности. Сперанский был своего рода Пушкиным для бюрократии; как великий поэт, точно чародей, владел думами и чувствами поколений, так точно над развивавшимся бюрократизмом долго парил образ Сперанского».*

Среди современных ему государственных деятелей Сперанский явно выделялся умом и образованностью. «Михайло Михайлович, человек с превосходными дарованиями, выродок, можно сказать, в своей сфере, — писал о нем его сослуживец Сергей Петрович Соковнин. — Хотя отношения мои с ним были весьма случайные и непостоянны, но приятно вспомнить и самые кратчайшие минуты, в кои мы сближаемся с гением. Я осмелюсь назвать его таким по высоким его талантам и чрезвычайной судьбе его»[1]. Преподаватель русского права в Казанском университете профессор Иван Егорович Нейман, служивший в молодые свои годы под началом Сперанского, говорил на склоне лет: «Вы поверите, я в жизни моей с многими встречался и сталкивался, но я не видывал человека умней Сперанского»[2].

Необыкновенные умственные способности и образованность Сперанского были настолько неоспоримы, что их безоговорочно признавали не только те, кто испытывал к нему симпатию, но даже недруги его. С другой стороны, столь же очевидным было и то, что российская административная система не терпела ума и таланта. Она надежно была запрограммирована на бездарность и бездумье, слепое повиновение начальству.

«Отчего, между прочим, у нас мало способных государственных людей? — вопрошал в своем дневнике А. В. Никитенко и тут же давал объяснение: — Оттого, что от каждого из них требовалось одно — не искусство в исполнении дел, а повиновение и так называемые энергические меры, чтобы все прочие повиновались. Такая немудреная система могла ли воспитать и образовать государственных людей? Всякий, принимая на себя важную должность, думал

---

1 *Соковнин С. П.* Сперанский // Русский архив. 1890. Вып. 7. С. 321.

2 Русская старина. 1876. Том 16. № 5. С. 73.

об одном: как бы удовлетворить лично господствовавшему требованию, и умственный горизонт его невольно суживался в самую тесную рамку. Тут нечего было рассуждать и соображать, а только плыть по течению»[1]. Как же мог, как сумел человек, одаренный необыкновенными умственными способностями, стать героем такой системы?

Этот удивительный случай вполне объясним. Запрограммированная на бездарность, ограниченность ума и слепую исполнительность бюрократическая система может нормально для себя функционировать и развиваться лишь при одном непременном условии, а именно — тогда, когда на решающих ее участках в решающие моменты стоят талантливые, способные самостоятельно мыслить деятели. Там, где люди — *винтики*, обязательно должен быть человек — *рычаг*. Последовательно эволюционирующая бюрократическая система, дабы не задохнуться в хаосе составляющих ее учреждений и внутренних связей, на определенных этапах неизбежно должна претерпевать перестройки — крупные реорганизации. Рост бюрократии невозможен без упорядочения отношений между ее составными элементами, без деления всей административной структуры на отрасли управления, без достаточно четкого разграничения функций различных органов. Для осуществления же всего этого требуются соответствующим образом подготовленные деятели. Умный, энциклопедически образованный Сперанский был жизненно необходим российской бюрократии, причем именно своим умом и образованностью. Он был нужен ей как конструктор, как проектировщик и организатор. Потому-то и приняла она его в свои объятия и возвысила.

В память своего народа он вошел как государственный деятель-реформатор. Сейчас уже вряд ли возможно с точностью установить, от кого впервые и когда получил он это звание. Вполне вероятно, что от недругов, в пору наивысшего своего взлета. Сын деревенского священника стал государственным секретарем, ближайшим советником императора, да к тому же осмелился писать проекты государственных преобразований — было чему завидовать и чем возмущаться. В адрес Сперанского посыпались оскорбления и насмешки. «Попович», «Семинарист», «Иллюминат» — как только ни называли его тогда. И среди разных «обидных» прозвищ воспарило и это — «Ре-

---

[1] *Никитенко А. В.* Дневник. В трех томах. Том 1. 1826–1857. М., 1955. С. 422.

форматор», в уничижительном, естественно, смысле. Нашелся, мол, реформатор, и где же? — В России! «Человек готовился лазить на колокольню и звонить в колокола, а ему поручили Россию переделать! Хорош реформатор!»

Со временем слово «реформатор» утратило в применении к Сперанскому ругательное значение, однако похвалой ему оно не стало.

По ряду обстоятельств содержание главных из разработанных Сперанским проектов общественно-политических преобразований было мало известно его современникам, но тем не менее именно как о реформаторе они судили об этом человеке. И судили немилосердно, нелицеприятно.

***Вяземский П. А.***
***Из «Старой записной книжки»:***

*«Сперанский был ум светлый, гибкий, восприимчивый, может быть, слишком восприимчивый; но с другой стороны, ум его был более объемистый, нежели глубокий, ум более сообразительный, нежели заключительный. При всей наклонности своей к нововведениям, он мало имел в себе почина и творчества. В нововведениях своих был он более подражатель, часто трафарельщик... Кем-то сказано, что Сперанский был преимущественно чиновник огромного размера. Есть люди, которые веруют во всемогущество и всетворчество редакции. Они в пере своем видят рычаг Архимеда, а в листе бумаги точку опоры, о которой он тосковал. Едва ли не приближается Сперанский к этому разряду людей. Он оставил по себе много письменных памятников: проекты, уложения, регламентации, издательские, многотомные и весьма полезные, как справки, труды по части кодификации. Все это вообще, если не строго и придирчиво вникать в подробности, незабвенные и многоценные заслуги. Но все это мог оставить по себе и ученый профессор, не выходивший из кабинета своего. Государственной личности все еще тут не выказывается. Как бы то ни было Сперанский займет видное место в нашей гражданской истории. Но существенных, прочных, вполне государственных следов его отыщется немного на отечественной почве... Он был то, что позднее стали называть идеалогом и доктринером, то есть человеком, который крепко держится нескольких предвзятых понятий и правил и хочет без разбору подчинять им действительность, а не их согласовывать с нею и с условиями и требованиями ее».*

Николай Иванович Тургенев, признавая, что «Сперанский был одним из самых передовых людей своего времени не только для России, но и для континентальной Европы», вместе с тем писал о нем как о реформаторе: «Он видел беспорядок, хаос повсюду; он признавал нелепость основных учреждений и порядка вещей, устроенного по этим учреждениям; и всему этому злу он хотел помочь более систематической, более связной организацией различных государственных ведомств, законодательного, административного и судебного. Он переделывал сенат, разделял министерства, назначал каждому сферу, которой они должны ограничиваться; он установлял порядок, которым дела должны были переходить из одной канцелярии в другую, от одной власти к другой; он предписывал форму, какую должны иметь деловые бумаги; одним словом, он как будто веровал во всемогущество уставов, правил, писанных на бумаге, во всемогущество формы»[1].

Не все в приведенных словах справедливо. В истинных своих замыслах Сперанский был глубже, и многое желал делать не так, как делал, и как это представляли себе его современники. Но главный недостаток составленных им проектов государственных преобразований Н. И. Тургенев, надо признать, определил верно — Сперанский не сумел в них выйти за рамки той роли, которая была отведена ему бюрократической системой. И в реформаторстве своем он оказался, в сущности, не кем иным, как бюрократом, хотя и не совсем обычным.

О том, как и почему это случилось, и пойдет речь в настоящей книге. Легко объяснить, почему стремится к обладанию государственной властью человек бездушный, не отличающийся качествами натуры, способными вызывать собою людское уважение. Но по какой причине завлекательна бывает эта власть для человека, развитого душою и одаренного талантом, так что временами он просто жаждет должностей и домогается их, отчего предается он власти и сживается с нею, почему с большой неохотой, а нередко и в настоящих муках расстается с властью.

Весьма понятно, что лицо бездушное и бесталанное находит во властных полномочиях единственное средство в какой-то степени возместить свою бездарность, удовлетворить потребность в самоутверждении и общественном признании, от которой не избавляет почему-то природа даже тех, кого совершенно избавила от досто-

[1] *Tourgueneff N.* La Russie et les Russes. Paris, 1847. T. 1. P. 575–576.

инств ума и сердца. Но чем питается стремление к власти у личности незаурядной, не могущей не чувствовать свою незаурядность и уже в одном данном чувстве находить необходимое самоутверждение? На что нужна ей власть?

История сыграла много вариаций на тему «человек с душой, талантом и политика с властью» — почти во всех них мелодия судьбы прозвучала драматично. Прозвучала где коротко, где протяжно, где чисто, а где сумбурно и оставила свое эхо — в фактах странных и загадочных событий, словах душевных откровений и признаний, фразах разговоров и писем, страницах воспоминаний и дневников, текстах философских трактатов. Все это зачастую просто вызывающе не соответствует официальным речам, бумагам, мифам, и все же именно здесь — в большинстве своем сокровенно личном — именно в нем, наполненном душевною сумятицей, а не в аранжированной, блистающей, но пустой официальщине, находят прибежище подлинные, по-настоящему чистые отзвуки былого времени, отжившей эпохи. И так сливаются они с эхом личной драмы, что и не отличишь одно от другого.

«Великое лицо Сперанского является таким сильным двигателем во всех событиях его века, что их, большею частию, невозможно почти отделить» [1], — писал М. А. Корф, и он имел для такого утверждения много оснований.

Эпохальное в личном, личное в эпохальном — такова формула истории. Думается, в наибольшей степени она применима к судьбам тех, кто, будучи одаренным от природы умом и душевным богатством, бросился в крутой водоворот политики. Многие из них канули в пучину безвестности, но некоторые выплыли и навсегда остались с человечеством, неся жизнью своей немой урок, немой укор. Сперанский — один из выплывших...

***Из дневника барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. Запись от 12 февраля 1839 года:***

*«Сперанский был, конечно, гений в полном смысле слова, гений с недостатками и пороками, без которых никто не бывает в бедном нашем человечестве, но едва ли не превзошедший всех прежних государственных людей наших — если в прибавок к великому уму его взять*

[1] *Корф М. А.* Письмо М. П. Погодину от 19 мая 1847 года // Барсуков Н. Жизнь и труды М. П. Погодина. Книга девятая. СПб., 1895. С. 171.

*огромную массу его сведений, теоретических и практических. Имя его глубоко врезалось в историю. Сперва ничтожный семинарист, потом всемогущий временщик, знаменитый изгнанник, восставший от падения с неувядшими силами, наконец бессмертный зиждитель Свода законов, столь же исполинского в мысли, как и в исполнении, — он и гением своим, и чудными своими судьбами стал каким-то гигантом над всеми современниками».*

М. А. Корф сумел узнать о Сперанском больше, чем кто-либо другой из его современников. К сведениям и впечатлениям, вынесенным из личного общения со Сперанским[1], Модест Андреевич добавил многочисленные факты о его жизни, сообщенные лично знавшими его людьми, а также много такого, что оказалось запечатленным в документах. В результате получилась двухтомная биография — «Жизнь графа Сперанского», которая, будучи опубликованной в 1861 году, и по сей день остается, несмотря на умолчания о целом ряде эпизодов в судьбе этого государственного деятеля, самым полным его жизнеописанием.

В характеристике тех или иных лиц Корф редко упускал возможность сказать о каком-либо их недостатке или пороке, в связи с чем очень часто навлекал на свою персону гнев современников. Справедливости ради отметим, что отрицательные стороны характеризуемых деятелей Модест Андреевич умел подать с таким изяществом, что они должны были восприниматься скорее как похвала, но уж ни в коем случае не как оскорбление. В качестве образчика подобного «изящества» можно привести характеристику Петра Кирилловича Эссена, занимавшего должность Санкт-Петербургского генерал-губернатора в 1829–1842 годах. «Отличительными чертами его, — писал Корф, — были добросердечие, личная честность и — безмерная ограниченность ума, и если под „нищими умом“ разумеется в Священном писании соединение этих качеств, то никто более Эссена не имел права на царствие небесное».

Легкость, с которой Модест Корф разоблачал различных лиц, породила мнение о нем как о человеке пакостном и жестокосердечном. Но в действительности эта легкость должна была свидетельствовать

---

[1] М. А. Корф почти четырнадцать лет служил под началом Сперанского и потом, как он сам признавал, «оставался частым его собеседником и до самой его смерти, к нему близким» (см.: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Том 1. С. II).

скорее об одинаковом его отношении как к достоинствам человеческой личности, так и к ее недостаткам. В самом деле, кто мог лучше сокурсника Пушкина по Царскосельскому лицею понимать, что пороки являют для человеческой натуры такую же ценность, как и положительные свойства, что *плох был бы человек, если б все в нем было хорошо*!

Начиная в 1846 году работу над книгой «Жизнь графа Сперанского», Модест Андреевич писал: «Не одни результаты этой жизни, но и самое ее течение будет привлекать внимание потомства, и нам надобно стараться уловить и изобразить ее черты, покамест еще можно и пока наш Сперанский не обратился еще в такой же таинственный миф, каким являются уже нам примечательные люди близких даже эпох, например, века Екатерины. Но в этом деле пристрастие сердца и чувств должно уступить беспристрастию историка. Нам нужен Сперанский не в одних блестящих его качествах и действиях, но и в превратностях и слабостях, свойственных всякому земнородному. Нам нужна история — верная, точная, неумолимая в истине, — а не панегирик»[1]. Нет сомнения, в этом состояло кредо биографа Модеста Корфа. Вопрос лишь в одном: зачем он это кредо декларировал? Ведь прекрасно же знал, как трудно быть *неумолимым* в истине там, где затрагивается политика!

* * *

Первое издание этой книги вышло в свет в издательстве «Молодая гвардия» в 1991 году[2]. В 1997 году она была напечатана вторым, дополненным изданием в издательстве «ТЕИС»[3], а в 2003 году была снова переиздана — на этот раз издательством «Норма» под названием «Судьба реформатора, или Жизнь Сперанского»[4]. Это издание составило основу нового, значительно более объемного

---

[1] Цит. по: Несколько данных к истории книги барона М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского» (из бумаг академика А. Ф. Бычкова) // Русская старина. 1902. Том 109. № 1. С. 141–142.

[2] См.: *Томсинов В. А.* Светило российской бюрократии. Исторический портрет М. М. Сперанского. М.: Молодая гвардия, 1991. — 336 с.

[3] См.: *Томсинов В. А.* Светило русской бюрократии (М. М. Сперанский). М.: ТЕИС, 1997. — 253 с.

[4] См.: *Томсинов В. А.* Судьба реформатора, или Жизнь Сперанского / С предисловием первого заместителя министра юстиции РФ проф. А. Б. Карлина. М.: Норма, 2003. — 272 с.

жизнеописания М. М. Сперанского, опубликованного в 2006 году в серии «Жизнь замечательных людей» издательства «Молодая гвардия»[1].

Таким образом, настоящее издание книги «Светило российской бюрократии» является по существу *пятым*. Оно отличается от предыдущего и может быть названо *обновленным*.

[1] См.: *Томсинов В. А.* Сперанский (Серия «ЖЗЛ»). М.: Молодая гвардия, 2006. — 451 с.

## *Глава первая*

# «Я — бедный и слабый смертный»

*Всякой судит о счастии по своим понятиям. Понятия строятся опытом, временем, состоянием. Есть ли возможность понять будущее?*

**Михаил Сперанский**
сентябрь 1795 года

*В чем твое будущее? Спрашиваешь ли ты себя об этом иногда? Нет? Тебе все равно? И правильно. Будущее — наихудшая часть настоящего. Вопрос «кем ты будешь?», брошенный человеку, — это бездна, зияющая перед ним и приближающаяся с каждым его шагом.*

**Гюстав Флобер**
Из письма к Э. Шевалье от 24 февраля 1839 года

Девятнадцатый век был в России веком мемуаров. Ни до него, ни после не бывало в российской истории столь же мемуарных веков, да, видно, и не будет более. Кто только не писал тогда своих воспоминаний? Можно, пожалуй, говорить даже о некой мемуаромании, охватившей в ту эпоху русское образованное общество.

Как и всякое явление общественной психологии, эта страсть к писанию мемуаров с трудом поддается рациональному объяснению. Но, думается, была она как-то связана с появлением в русском национальном сознании в первой трети XIX века новой, небывалой прежде формы уважения к прошлому.

Опыт Французской революции и события, последовавшие за нею, всему миру выставили напоказ *святость и бессмертность* прошлого, продемонстрировав воочию, что искусственный разрыв с ним сопряжен с пролитием потоков крови, к тому же напрасной в целом, поскольку так называемый и превозносимый «скачок в царство свободы», прыжок в «светлое будущее» оборачивается на практике в лучшем случае подпрыгиванием на том же самом месте. После такого впечатляющего урока русским людям недоставало только

одного — *русского* прошлого. И оно было открыто трудами историков, и в первую очередь карамзинской «Историей Государства Российского». Ее первые восемь томов вышли в свет в феврале 1818 года и были с огромным интересом прочитаны едва ли не всеми образованными русскими[1].

Наукой, делающей человека гражданином, назвали тогда в России историю Отечества. Понимали: не потому любят Родину, что она великая, а потому что *знают* ее. Знание привязывает, знание примиряет... Часто лишь знание прошлого своего Отечества делает его настоящее выносимым.

Однако не только современную действительность спасает от нас прошлое, но и нас от современной действительности. Оно — надежное укрытие, сохраняющее нам нашу личность, последнее прибежище нашей независимости. «...Знаешь ли, что я со слезами чувствую признательность к небу за свое историческое дело? Знаю, что и как пишу; в своем тихом восторге не думаю ни о современниках, ни о потомстве: я независим и наслаждаюсь только своим трудом, любовию к Отечеству и человечеству. Пусть никто не будет читать моей истории: она есть, и довольно для меня» — так писал в письме к своему другу, поэту времен Екатерины II и министру эпохи Александра I, Ивану Ивановичу Дмитриеву, писатель и историограф Николай Михайлович Карамзин.

Поселиться в прошлом, вспоминать о том, что было с тобою или другими, — верный способ защитить себя от вредных, отравляющих воздействий настоящего, верная возможность утешиться. Но прошлое — большой дом, и в нем живет не одно утешение. По углам, по закуткам скрывается там почти всегда и старая горечь, и былая обида, и боль. И как быть, если и жизнь спустя не унимаются они? Писание мемуаров — не есть ли часто в таком случае то, что необходимо: услада, лекарство, месть?

Сперанскому, при его уме, способности выражать мысли, в жизни своей участвовавшему во многих исторически значимых событиях, соприкасавшемуся со множеством исторических лиц, самой судьбой, казалось, было назначено писать мемуары. Заполненное почти од-

---

[1] По воспоминаниям современников, «Историю Государства Российского» Н. М. Карамзина читали даже светские дамы, которые до этого никаких серьезных книг в руках не держали. С упоением читал карамзинскую «Историю...» и называвший себя «неученым новгородским дворянином» граф Аракчеев. См. об этом: *Томсинов В. А.* Аракчеев. М.: Молодая гвардия, 2003 (Серия «ЖЗЛ»). С. 283.

ними крайностями — взлетами и падениями, радостями и горестями, блаженствами и болями, благодарениями и обидами, — его прошлое постоянно звало его к себе. Как можно было не откликнуться на этот зов? Как мог он при тех обстоятельствах, каковые сопровождали его жизнь, не писать собственных воспоминаний? И тем не менее Сперанский не писал их. Странное, пожалуй, для того времени поведение[1]. По этой причине мало дошло до нас сведений о его рождении, детстве и юности, не сохранилось почти никаких известий о его предках и родителях. Человек простого происхождения если не напишет картины первых эпох своей жизни собственноручно, то никто уже за него этой картины не напишет. Самое большее, что может сделать в таком случае дотошный биограф, — это сносно вырисовать контур да нанести несколько грубых мазков.

***Из автобиографической записки «Эпохи М. Сперанского» (писано в 1823 году, 1 мая)*:**

*«Родился 1-го января 1771-го года, почти в полночь. Прибыл в Петербург в январе 1790-го года; минуло 19-ть лет. Получил в Невской академии кафедру математики и физики в 1793-м, на 22-м году. Вступил в гражданскую службу в январе 1797-го года; минуло 26 лет...».*

До конца своих дней Михайло Михайлович не знал, что родился он в 1772 году [2] — данный факт был установлен лишь после его смерти[3]. Но зато всю жизнь знал свое происхождение, помнил, что он — попович, сын сельского священника. Помнил не потому только, что

---

[1] М. А. Корф объяснял неохоту М. М. Сперанского писать мемуары его нежеланием вспоминать о трагических событиях своей жизни. При этом Модест Андреевич ссылался на слова самого Михаила Михайловича. «Но в Сперанском, — замечал он в своем дневнике за 1843 год, — бедственные опыты погасили охоту, скажу, почти способность к воспоминаниям. Так он сам мне не раз говаривал».

[2] 6 января 1815 г. М. М. Сперанский писал П. Г. Масальскому в ответ на полученное от него поздравление с днем рождения: «Целым годом вы сделали меня моложе, назначив мне 44-й год, тогда как я полагал уже 45-й». В письме же к дочери Елизавете, написанном 1 января 1817 г., он называл лишь приблизительную цифру своего возраста: «Сегодня мне исполнилось 45 или 46 лет».

[3] Точную дату рождения Сперанского оказалось возможным определить только на основании исповедных росписей за 1771 и 1772 гг., внесенных в метрические книги Владимирской консистории. В росписи за 1771 г. у священника Михаила Васильевича и его жены Прасковьи Федоровны сын Михаил еще не показан, а в росписи, поданной 6 июля 1772 г., он записан «полугодовым». См. об этом: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Т. 1. СПб., 1861. С. 2.

ему это напоминали, но прежде всего оттого, что *хотел* помнить свое простое происхождение, имел к своему прошлому, которым его в аристократическом кругу пытались оскорбить, унизить, постоянную и непонятную для окружающих привязанность.

С годами привязанность эта принимала весьма причудливые формы.

В пору, когда Сперанский вошел уже в силу, сделал по гражданской службе завидную и для князя карьеру и имел собственный дом в Санкт-Петербурге, посетил его как-то один знакомый профессор. Придя к нему поздним вечером, был он проведен в какую-то каморку, где застал хозяина дома, стелющего себе постель... на простой лавке. Вдоль нее был разостлан овчинный тулуп, а в головах лежала грязного вида подушка. «Помилуй, что это значит?» — воскликнул от изумления посетитель. В ответ спокойно прозвучало: «Ныне день моего рождения, и я всегда провожу ночь таким образом, чтоб напоминать себе и свое происхождение, и все старое время с его нуждою».

Привязанность к своему происхождению и годам, проведенным в родительском доме, выражалась у Михайлы Михайловича также в необыкновенной его почтительности к матери Прасковье Федоровне — простой деревенской попадье. Эта почтительность ярко проявлялась в содержании и стиле его писем к ней, а также в обращении с ней при встречах. Когда приезжала она к нему в Петербург повидаться, одетая в простенький балахон и повязанная платком, он, не стесняясь окружающих, опускался пред нею, по народному русскому обычаю, на колени и выказывал знаки самой глубокой и трепетной сыновней любви. Ее портрет в скромном одеянии деревенской попадьи, обрамленный позолоченной рамкой, всегда стоял на письменном столе в кабинете Сперанского.

Родился и провел свое детство Михайло Сперанский в деревне Черкутино (Черкватино)[1], расположенной в сорока верстах от города Владимира — на реке Тунгаре, впадающей в Воршу. В зрелые свои годы он, будучи уже видным сановником, известным не только в России, но и во всей Европе, иногда приезжал туда. Крестьяне —

[1] В XVIII в. деревня, в которой родился Сперанский, была среди ее жителей более известна под именем Черкватино (от слова «черква» — церква, церковь). Но уже в то время было в ходу и название Черкутино, ставшее позднее более распространенным. К началу XX в. Черкутино превратится из деревни в довольно большое село — центр местной торговли.

сотоварищи детства его — не могли надивиться замечательной его о них памятливости, уважительному к ним отношению с его стороны, полнейшему отсутствию в нем какого-либо стремления подчеркнуть свое высокое положение. Он с явной приятностью вспоминал свои детские годы, прожитые в Черкутино.

Происходил Сперанский из рода потомственных священнослужителей, в котором все старшие сыновья на протяжении двух столетий подряд непременно становились попами. Священником был его дед Василий Михайлов (Михайлович), настоятелем сельской церкви являлся и отец его — Михайло Васильев (Васильевич)[1]. Высокий ростом, тучный человек, ко всему, казалось, равнодушный (кроме церковной службы), он мало уделял внимания своему дому и семье. Все заботы о домашнем быте лежали целиком и полностью на его жене Прасковье Федоровне[2] — худенькой и маленького роста, умной и энергичной женщине. Ее отцом был Федор Никитин — дьякон церкви села Скоморолова, находившегося не слишком далеко от Черкутина.

Михайло был не первым и не последним ребенком Михайлы Васильевича и Прасковьи Федоровны. У него были старший брат Андрей и старшая сестра Екатерина, умершие еще до его рождения, старшая сестра Мария[3], младший брат Косьма (Кузьма)[4] и младшая сестра Марфа.

---

1 Отец Сперанского — Михаил Васильевич — родился приблизительно в 1740 г., умер 28 мая 1801 г. У него был младший брат — Косьма Васильев, тоже священник, умерший раньше его.

2 Мать Сперанского — Прасковья Федоровна — родилась приблизительно в 1741 г., умерла 24 апреля 1824 г.

3 Мария Михайловна выйдет замуж за дьячка Петрова из села Абакумова.

4 Кузьма Михайлович будет носить фамилию своего знаменитого брата. Сперанским назовут и племянника их — сына сестры Марфы. Оба получат университетское образование, личное и затем потомственное дворянство, но не оставят наследников. В 1863 г. Я. Грот напечатал в журнале «Русский архив» (Вып. 5 и 6. Стлб. 442–443) письмо князя А. Б. Куракина, написанное в августе 1798 г. к тогдашнему куратору Московского университета князю Ф. Н. Голицыну. Алексей Борисович просил в этом письме поместить «обучавшегося в Невской академии студента Сперанского» в Московский университет и «тем открыть ему путь к усовершенствованию его способностей». Я. Грот полагал сначала, что в данном письме имелся в виду Михайло Сперанский, однако, поразмыслив, пришел к выводу о том, что князь Куракин просил устроить в Московский университет не Михайлу, а младшего брата его — Кузьму, который также носил фамилию Сперанский (см.: Русский архив. 1863. Вып. 9. Стлб. 720).

Марфа Михайловна выйдет замуж за священника Михаила Федоровича Третьякова, который заменит впоследствии ее отца на должности черкутинского протоиерея. В письме, написанном 25 ноября 1846 года своему единоутробному брату Аркадию — в то время архиепископу Пермскому и Верхотурскому, Михаил Федорович будет вспоминать об отце и матери Сперанского: «Родитель графа действительно муж был сановитый и по тогдашнему времени, хотя в семинарии не обучался, но был благочинный много годов и в ведомстве у него значилось 40 сел. По старости своей должность благочинненскую за два года сдал, до уступления мне священнической деятельности. Четырехлетнее его со мной прожитие совершенно доказало его добродетели и совершенство благочестивых поступков — не пропускал он службы, будучи заштатным, ходил в церковь, пел на клиросе по способности голоса и сведения пения. И при старости был краса Церкви: благовидный, благоговейный, смиренный по времени, редкий священник. А что принадлежит до родительницы графа М[ихаила] М[ихайловича] я добродетельной ее жизни достойно описать не могу, в продолжение 27-ми лет со мною ее прожития не заметив у ней ничего, кроме благословенных трудов и неутомимого занятия в хозяйстве; а паче всего хождения в церковь Божию на молитву, не пропускала она дня. Стужа, грязь, разные погоды не удерживали ее — она всегда ходила с верой, любовью и твердым упованием во всем на Благость Божию. Из редких редкая мать детям — бабушка внучатам — друг мужу — хозяйка дома — странноприимн[ая] — гостеприимная, со всеми с чистою любовью обращалась — лести и коварства не имела. Охотница была посещать святые места угодников Божиих. По рождении графа М[ихаила] М[ихайловича] особенный обет имела сходить в Ростов для поклонения Св. Димитрию, по откормлении млеком своим оставила младенца М[ихаила] М[ихайловича] на руках няньки, а сама отправилась в путь для поклонения Св. Димитрию с твердою надеждою на благость Божию. Ходила в Троицу к преподобному Сергию — и в Суздаль: редкая весна у нее проходила, чтобы куда-либо не сходила на поклонение до самой престарелости. Всегда пешком и в самом одеянии простом и воздержании от пищи — жизнь христианки провела и кончина христианская. Апреля 24 дня при восхождении Солнца последние ее слова мне были сказаны: „Федорович! Поранее отслужи обедню и меня причасти, может, в последний раз“. Что исполнилось — действительно, 24-е число кончина ее».

Родился Михайло слабым — казалось, не суждено ему жить. Но мать каким-то чудом выходила, отмолила его. Выкормив Михайлу своим молоком, Прасковья Федоровна сдала его на руки няньке — Елене Петровне Синицыной, а сама отправилась в Ростов для поклонения святому Димитрию — она полагала, что именно святой Димитрий, к которому многократно обращалась с мольбами, спас только что родившегося сына от смерти.

Михайло Васильевич, хотя и не обучался в духовной семинарии, многие годы являлся благочинным священником[1]: в его обязанности входило осуществление надзора за священнослужителями церковного округа, охватывавшего территорию, на которой располагалось 40 сел. За исполнение этой должности он получал от государства специальное жалованье в дополнение к тем доходам, которые имел за отправление церковных треб — таинств, обрядов, молитвословий, совершаемых на разные случаи по требованию прихожан. Но жалованье было небольшим, а вознаграждение за требы давалось в сельских церквах, как правило, исключительно продуктами. Поэтому достаток семьи был довольно скромным и не позволял держать при хозяйстве более одного-двух работников. В этих условиях многое из домашней работы Прасковье Федоровне приходилось делать самой. С раннего утра и до позднего вечера была она занята хозяйственными делами. Сын же ее Михайло рос предоставленным почти целиком самому себе, то есть имел ту самостоятельность, ту свободу, что как воздух необходима для возникновения из маленького человеческого существа большой личности.

Слабому от рожденья физически, ему трудно было угнаться за своими сверстниками в их забавах и шалостях. Оттого почти все время проводил он в одиночестве или же в общении с дедом Василием, который совсем к тому времени ослеп, но сохранил замечательную память на разные житейские истории, а с нею и способность увлекательно их рассказывать. Именно от деда своего получил будущий государственный деятель первые сведения об устройстве мира и житии людей в нем.

Яркие впечатления о себе оставила в памяти Сперанского и бабушка его — жена Василия Михайловича. Высокая ростом, иссох-

---

[1] М. Н. Логинов в своем очерке о графе Сперанском, опубликованном в 1859 г. в журнале «Русский Вестник», написал, что отец Сперанского «в 1771 году был посвящен в сан иерея» при Николаевской церкви (Русский Вестник. 1859. Т. 23. № 10. С. 338).

шая от старости до скелета, молчаливая и суровая, она жила в то время, когда Михайло ее застал, какой-то особой, даже как будто совсем неземной, жизнью. Впоследствии он будет рассказывать своей дочери: «Другие бывало играют на дворе, а я не насмотрюсь, как бабушка стоит в углу перед образами, точно окаменелая, в таком глубоком созерцании, что ничто внешнее, никакой призыв родных ее не развлекали. Вечером, когда я ложился спать, она, неподвижная, стояла опять перед образами. Утром, хотя бы встав до света, я находил ее снова тут же. Вообще ни разу, даже просыпаясь ночью, мне не случалось заставать ее иначе, как на ногах, совершенно углубленную в молитву. Пищу ее уже многие годы составляла одна просфора, размоченная в воде. Этот призрак моего детства исчез у нас из дому спустя год после того, как меня отдали в семинарию; но я как будто бы еще теперь его вижу».

Избегавший обыкновенных для детского возраста игр, маленький Михайло рано выучился читать, и чтение заменило для него игры. Часами напролет он читал — читал безо всякого разбору все те книги, которые попадали ему под руку. Естественно, что это были, в основном, религиозные произведения. В шестилетнем возрасте Михайло регулярно ходил со своим слепым дедом в церковь и там из-за стойки, как заправский пономарь, читал ему «Часослов» и «Апостол». Уже тогда, в детстве, была на его лице печать той задумчивости, той погруженности внутрь себя, что позднее выделяла его среди окружающих.

* * *

Деревня Черкутино входила с давних времен в вотчину бояр Салтыковых, из рода которых происходила императрица Анна Иоанновна. В то время, о котором идет речь, этой деревней владел Николай Иванович Салтыков, довольно влиятельный сановник при царском дворе. В судьбе Сперанского он сыграл немаловажную роль.

Около четверти века жизнь Н. И. Салтыкова была связана с военной службой. Родившись в 1736 году, он в двенадцатилетнем возрасте был зачислен в лейб-гвардии Семеновский полк солдатом. Через шесть лет, получив чин гвардейского поручика, Николай Салтыков перешел на службу в армию. В двадцать пять лет он стал генерал-майором армии, в тридцать — генерал-поручиком. К своим тридцати пяти годам он имел солидный боевой опыт: в 1757–1761 годах ему довелось участвовать в войне России с Пруссией, а в 1769–

1770 годах — в военных действиях с Турцией. В апреле 1773 года Н. И. Салтыков был удостоен чина генерал-аншефа и назначен гофмейстером двора великого князя Павла Петровича.

В марте 1784 года Н. И. Салтыков будет определен на должность главного надзирателя за воспитанием великих князей Александра и Константина Павловичей. В сентябре 1790 года его возведут в графское достоинство. В октябре 1791 года он получит должность вице-президента военной коллегии. Сразу после своего восшествия на императорский престол Павел Петрович присвоит Н. Н. Салтыкову чин генерал-фельдмаршала и назначит президентом Военной коллегии.

Наведываясь в Черкутино, Николай Салтыков непременно заглядывал в дом местного священника. Однажды он пришел туда не один, а с приятелем своим — протоиереем А. А. Самборским[1]. Познакомившись с Михаилом Васильевичем и Прасковьей Федоровной, Самборский затем неоднократно посещал их дом. В одно из таких посещений он обратил внимание на беленького лицом, с не по-детски серьезными глазами мальчика, взял его на руки, заговорил с ним, стал приглашать его в Петербург. Приглашение это было, конечно же, шуткой — вряд ли Самборский предполагал тогда высокое будущее черкутинского поповича и ту выдающуюся роль, которую сыграет он, протоиерей, в его судьбе.

Андрей Афанасьевич Самборский был заметной личностью в тогдашнем русском духовенстве. Выделялся он в первую очередь своим умом и поистине энциклопедической образованностью — редкими качествами среди проповедников. Глубоко зная богословие и философию, он свободно владел английским языком и одновременно являлся одним из лучших в России специалистов по части сельского хозяйства. Этот довольно странный для священника характер его образованности был определен обстоятельствами его жизни.

Родился Самборский в 1732 году на Украине, неподалеку от Харькова, в семье сельского попа. Начальное духовное образование он получил в Харьковской семинарии. Родители его жили, видимо, небогато, поскольку, когда по достижении соответствующего воз-

---

[1] Из нижеследующего краткого обзора жизненного пути А. А. Самборского можно сделать вывод, что указанное посещение им Черкутина могло состояться в период с лета 1775 до лета 1776 года. Это было время, когда Андрей Афанасьевич пребывал в России. Князь Михаил Кантакузин, граф Сперанский, в биографической заметке о своем знаменитом предке написал, что Самборский познакомился со Сперанским, будучи у Салтыкова, в 1782 г. (Сага о Кантакузиных-Сперанских, написанная князем Михаилом Кантакузиным, графом Сперанским. М., 2004. С. 34).

раста пришла для него пора подумать о более фундаментальном образовании, у них не оказалось средств даже на то, чтобы довезти его до Киева. Молодой Самборский отправился туда пешком. Мать дала ему на дорогу три серебряных рубля. Из них он израсходовал в пути только один рубль — остальные два приберег и хранил затем всю свою жизнь до самой смерти в 1815 году. Этими рублями, драгоценными частицами его прошлого, дочь Самборского Анна закроет ему глаза.

В Киеве Андрей Самборский поступил в духовную академию. Учился он успешно и этим определил дальнейший ход своей жизни. В 1765 году его направили в Лондон, для службы в православной церкви при российском посольстве в качестве помощника нового священника — Ефрема Дьяковского, который призван был заменить в этой должности недавно умершего Степана Ивановского. Спустя два года (или немногим позднее этого) Дьяковский был вынужден из-за плохого состояния своего здоровья возвратиться в Россию. Обязанности священника православной церкви в Лондоне были возложены на Самборского.

В начале 1769 года Андрей Афанасьевич женился. Его избранницей стала молодая англичанка, сирота по имени Элизабет Филдинг. Она познакомилась с русским священником прямо в церкви, куда однажды заглянула из любопытства. Самборский сумел обратить ее в православие. Специально для нее он перевел на английский язык православный катехизис и купил книгу о богослужениях греко-российской церкви на английском языке (вероятнее всего, это было переведенное на английский язык сочинение митрополита Киевского и Галицкого Петра Могилы «Православное исповедание веры...», которое вышло в свет в Лондоне в 1762 году).

В конце мая 1769 года Самборский отправился в Санкт-Петербург, где в сентябре был рукоположен сначала в сан дьякона, а затем — священника. В конце того же года он возвратился в Лондон.

Во время своего пребывания в Англии Андрей Афанасьевич завел добрые отношения со многими знаменитыми англичанами, прославившими себя достижениями в различных областях науки и искусства. Так, в самом конце 1778 года он познакомился с Иеремеем Бентамом[1]. 2 января 1779 года английский правовед сообщал своему

[1] Имя Самборского (*Sambouski*) часто упоминалось в переписке Иеремея Бентама в 1779–1780 годах. См.: The Correspondence of Jeremy Bentham. Vol. 2: 1777–1780 / Edited by Timothy L. S. Sprigge. London, 1968. P. 208–215, 219–220, 225,

брату Сэмюэлу: «Я только что провел вечер с Самборским. Мы сошлись друг с другом, как два вора — он считает себя сильно обязанным тебе»[1].

Несколькими же годами ранее Самборский познакомился с английским эсквайром Артуром Юнгом, прославившимся своими работами по организации и ведению сельского хозяйства[2]. Андрей Афанасьевич серьезно увлекся агрономией. Летом 1775 года он представил Екатерине II записку, в которой предложил отправить из России в Англию для обучения рациональным методам земледелия четырех молодых людей. Императрица согласилась с этим предложением и распорядилась отобрать четверых юношей, способных к агрономической науке, и выделить каждому из них необходимые для обучения в Англии денежные средства. К этой группе, которую Самборский повез летом 1776 года в Лондон, были добавлены еще двое семинаристов. Андрей Афанасьевич желал, чтобы среди русских священников были люди, способные вести сельское хозяйство на основе последних достижений передовой европейской агрономии. Для помощи им в изучении данной науки Самборский составил специальное учебное пособие. Эта книга будет напечатана в 1781 году под следующим названием: «Описание практического аглинского земледелия, собранное из разных аглинских писателей А. А. Самборским, протоиереем, находящимся при Российском посольстве в Лондоне, изданное под смотрением профессора Семена Десницкого, в Москве, в унив. типографии у Н. Новикова».

---

227–228, 231, 237–238, 240, 267, 276, 391–393, 404, 410, 419, 437, 446, 449–450, 469, 494, 502–503. Первое же упоминание имени Самборского в эпистолярном наследии Иеремея Бентама встречается в его письме к брату Сэмюэлу, датированном 23 декабря 1778 г. Знаменитый английский правовед пишет в нем: «I should like the scheme of taking the Russian Cub mightly: but for the reasons you mention I have no great idea of it's succeeding. I will think about a method of carrying it into execution. Perhaps I may call upon Sambouski: our name I believe is known to him (Мне очень нравится замысел нанять русского юнца: однако по причинам, о которых ты упоминаешь, у меня нет никакой хорошей идеи исполнить его. Я подумаю о способе приведения его в исполнение. Может быть, я могу обратиться к Самборскому: наше имя, я полагаю, известно ему)» (The Correspondence of Jeremy Bentham. Vol. 2: 1777–1780. P. 202).

[1] «I have just been spending the evening with Sambouski. We are as great as Inkleweavers — he will think himself much obliged to you» (ibid. P. 208). Фраза «we are as great as Inkleweavers» (дословно: «мы сошлись друг с другом, как два вора») представляет собой местный английский слэнг (Йоркширский или Бирмингемский).

[2] «Письма фермера к жителям Англии» (1767), «Курс опытного земледелия» (1770), «Сельское хозяйство» (1770), «Календарь фермера» (1771) и др.

В конце 1779 года Самборский снова возвратился в Россию. 7 февраля 1780 года Иеремей Бентам писал брату Сэмюэлу, что «с большим удовлетворением» узнал от Самборского о том, что «императрица собирается учредить в Петербурге комиссию земледелия по проекту, составленному Самборским», и что «он сам должен быть в ней директором»[1]. Однако, судя по тому, как события развивались дальше, Екатерина II вскоре отказалась от своего намерения. В августе 1781 года канцлер А. А. Безбородко передал Самборскому, что императрица выразила желание, чтобы Андрей Афанасьевич сопровождал великого князя Павла Петровича с супругой Марией Федоровной в их путешествии по Европе. Самборский вынужден был еще несколько лет провести вдали от своей семьи.

За успешное исполнение возложенной на него миссии Андрей Афанасьевич получил от императрицы в марте 1783 года украшенный бриллиантами крест. Год спустя он был назначен законоучителем и преподавателем английского языка к сыновьям Павла Петровича — великим князьям Александру и Константину. В июле 1784 года Самборский в последний раз отправился в Лондон — на этот раз только для того, чтобы вывезти в Россию свою жену Элизабет и двух дочерей: четырнадцатилетнюю Анну и двенадцатилетнюю Софью. Кроме них у Самборского было двое сыновей: родившийся в 1776 году Александр и 1779 года рождения Исайя, но Александр остался в Англии для продолжения образования, а Исайя умер в 1783 году.

Осенью 1784 года Самборские прибыли в Санкт-Петербург. Андрей Афанасьевич приступил к исполнению своих новых обязанностей. Будучи наставником великих князей, он одновременно отправлял должность настоятеля Софийского собора, заложенного в Царском Селе в 1780 году и открытого в 1788-м.

Среди петербургских священников Самборский выделялся своим вольнодумием, которое проявлялось уже в самой его внешности: он брил бороду, одевался на манер английского священника. Митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил пытался увещевать Самборского. «Знаешь ли, что из Киева пишут? — говорил он ему. — Неурожай в хлебе от того, что ты бороду бреешь, новую ересь заводишь! Брадобрение подает повод к расколам и к возмуще-

[1] «L'Imperatrice va etablir a Petersbugh un Bureau d'Agriculture d'apres un projet dressè par Sambouski. Il doit même en être le Directeur» (The Correspondence of Jeremy Bentham. Vol. 2: 1777–1780. P. 393).

ниям народным. Что ты умничаешь? Отрасти бороду, или предам и предаю тебя суду Божию».

В лице Самборского Михайло Сперанский впервые соприкоснулся с тем людским кругом, в котором ему предстоит впоследствии вращаться. Обстоятельства жизни самого Андрея Афанасьевича многое объясняют в том покровительственном отношении, которое проявлял он к сыну своих черкутинских знакомых. Смышленый попович напоминал Самборскому его самого — молодого, полного еще сил и благих надежд.

* * *

Покинул Михайло родительский дом на десятом году своей жизни[1]. Летом 1781 года Михаил Васильевич отвез сына во Владимир, где с помощью мужа своей сестры — протодиакона при Владимирском архиерее Матвея Богословского — устроил его на учебу в епархиальную семинарию. Мальчику назначена была, таким образом, обыкновенная для выходца из поповской семьи стезя.

В документах Владимирской семинарии Михайло был впервые записан под фамилией *Сперанский*. Ее придумал для черкутинского поповича, внушавшего своими способностями большие надежды, Матвей Богословский, образовав от латинского термина «spēro» или «spērare», который соответствовал русскому слову «надеяться». Ни отец, ни дед Михайлы (и, скорее всего, никто из его предков) никакой вообще фамилии не имели[2].

---

[1] М. А. Корф написал про этот эпизод в своей биографии Сперанского: «Когда Мише минуло семь лет, отец отвез его во Владимир для определения в семинарию» (*Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Том 1. С. 10). Однако из сохранившихся документов и из письма самого Сперанского видно, что к лету 1788 г. он окончил философский класс Владимирской духовной семинарии, который был седьмым в программе обучения здесь. Элементарный подсчет показывает, что в первый класс семинарии он поступил в 1781 г., т. е. в возрасте девяти с половиной лет.

[2] Известный поэт и государственный деятель Иван Иванович Дмитриев (1760–1837), служивший в 1797–1799 гг. товарищем министра уделов и обер-прокурором 3 департамента Сената, а с 1 января 1810 г. занимавший должность члена Государственного совета и министра юстиции (до 30 августа 1814 г.) и лично знавший Сперанского, писал о нем в своих мемуарах: «Отец его — священник Владимирской епархии; но дед его, как он сам сказывал мне, был хорунжим в Малороссийском казачьем войске. Родовое прозвище его *Грамматин*; Сперанским же переименован в училище. Вероятно, в надежде на его дарования» (*Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 196).

В сохранившемся в архиве списке наличного состава учащихся Владимирской семинарии к началу 1782 года в числе учеников школы инфимы (начального отделения семинарии) под № 11 записано: «Покровской округи[1], села Черкутина, попов сын Михаил Михайлович *Сперанский*, 11 лет[2]. Дан ему указ о получении пономарского дохода в том же селе». Рядом с этой записью, на полях, помета: «*Способен*». Подобные пометы стоят напротив фамилии «Сперанский» и в других семинарских бумагах. Так, в списке учащихся риторики за 1784 год помечено: «*доброго успеха*», за 1785 год — «*понятен*». А в списке учащихся класса «философов» за 1786 год рядом с фамилией «Сперанский» стоит замечание — «*острого понятия*».

Обучавшиеся вместе со Сперанским семинаристы впоследствии вспоминали, что учился Михайло хорошо только у тех преподавателей и по тем предметам, которые не требовали механической зубрежки. По воспоминаниям И. П. Фаворского, учившегося вместе со Сперанским, «во Владимирской семинарии товарищи прозвали его Спасовы Очи, потому что он все знал, все понимал, все видел, по их мнению».

В эти годы Владимирская семинария переживала настоящий расцвет. Обеспокоенная упадком русского духовенства императрица Екатерина решила перестроить систему воспитания будущих свя-

---

[1] Покровская округа или Покровский округ — административно-территориальная единица, равнозначная уезду. Статья 16 первой главы «Учреждения для управления губерний Всероссийския империи», утвержденного императрицей Екатериной II 7 ноября 1775 г., гласила: «Наместничества и области разделяются на уезды, или округи». По статье 17 указанного законодательного акта устанавливалось, что в уезде или округе должно проживать «от дватцати до тритцати тысяч душ». Владимирская губерния была создана Именным данным Сенату Указом Екатерины II от 2 марта 1778 г.: «Мы, почитая за благо учредить вновь Владимирскую губернию, Всемилостивейше определили в оную генерал-губернатором генерала графа Романа Воронцова, поручив ему оную губернию, не упуская времени, объехать и по данному от Нас примерному росписанию оной на 13 уездов, на месте удобность их освидетельствовать, и как о сем, так и какие вновь города для приписания к ним уездов назначить нужно будет, Нам самолично представить». На основании этого Указа и был образован Покровский уезд или округ, название которому дал ставший его центром небольшой городишко Покров. Князь И. М. Долгоруков отмечал в 1802 г. в своих записках: «Покров был, есть и долго будет под именем города изрядная деревня».

[2] М. А. Корф привел в своей биографической книге о Сперанском следующую запись в формуляре ревизской сказки: «Покровской округи, села Черкутина, попов сын Михайло Сперанский» (см.: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Том 1. С. 5). Из слов Корфа на стр. 2 названной книги видно, что данная запись была сделана 14 июля 1782 г.

щеннослужителей. Расходы на епархиальные семинарии в 1780 году были увеличены сразу втрое. Одновременно в программу обучения в этих семинариях ввели целый ряд новых предметов, причем в основном общеобразовательного характера: историю, физику, географию, арифметику и др.

В первом и во втором классах семинаристы должны были изучать краткий катехизис, русское правописание и грамматику. В третьем классе — латинскую и церковнославянскую грамматики, перевод с русского на латинский и арифметику. В четвертом («синтаксическом») классе им надлежало изучить историю и географию, в пятом («пиитическом») классе — классическую поэзию, произведения которой семинаристы переводили на русский язык, основы классической мифологии и церковный устав (Типик). Программа шестого класса («риторов») предполагала преподавание риторики и библейской истории. Кроме того, в рамках этого класса продолжалось изучение церковного устава. В седьмом классе («философов») семинаристам преподавались: логика, метафизика, политическая история, естественная история (естествознание) и история философии (в основном античной). Все эти предметы считались в то время составными частями философии. Восьмой («богословский») класс предполагал изучение семинаристами герменевтики, догматики, нравственного богословия, апологетики и истории церкви, пасхалии, Кормчей книги и «Книги о должностях пресвитеров церкви», которая должна была заучиваться семинаристами наизусть. Этот класс имелся тогда из-за недостатка учителей не во всех духовных семинариях: в частности, во Владимирской семинарии такого класса не было.

Методика обучения в духовной семинарии являлась преимущественно схоластической. Преподаватели не ставили перед собой цели развить в своих учениках любознательность и способность *самостоятельного* мышления. Однако была в этой методике и положительная сторона. Семинаристы посвящали много времени и сил изучению церковнославянского, древнегреческого и латинского языков, но при этом должны были беспрестанно упражняться и в современном русском языке. Им постоянно задавали писать сочинения, в которых главным считались не свободные размышления по той или иной теме, но строгое расположение материала и систематическое изложение мыслей. Из семинаристов получались хорошие составители канцелярских документов, способные изложить их тексты в красивых выражениях и понятным слогом.

До поступления Сперанского в семинарию в практике духовных учебных заведений широкое распространение имели телесные наказания: провинившихся в чем-либо семинаристов нещадно били розгами, палками, ремнями и т. п. Во Владимире это битье совершалось, как правило, на монастырском дворе в присутствии массы любопытных, многие из которых собирались сюда специально, дабы полицезреть, как учат уму-разуму будущих попов, послушать их истошные вопли. В умиравшем от скуки провинциальном городе такое зрелище представляло собой развлечение не последнего рода.

Однако, вскоре после того, как Михайло Сперанский стал семинаристом, в семинарию поступила из столицы инструкция, строго запрещавшая телесные наказания учеников, причем запрет был наложен не только на битье палками, но даже на простые пощечины и тычки, драние за уши или волосы. Более того, наставникам семинаристов предписывалось воздерживаться от любых вообще деяний, так или иначе посрамляющих воспитанников, затрагивающих их честь и достоинство. Инструкция безжалостно изгоняла из лексикона учителя словечки типа: «уши ослиные», «осел», «скотина». Конечно, процветавшая в семинарии практика физических и моральных истязаний учеников не могла исчезнуть враз — можно с уверенностью предположить, что она продолжала иметь место, но, безусловно, масштабы ее должны были уменьшиться. Неизменным в воспитании семинаристов осталось одно: стремление внушить им некий безотчетный страх, преклонение перед официальными властями, выработать автоматизм послушания властям. Семинария и в тот период, когда обучался в ней Сперанский, продолжала служить школой угодничества, лицемерия и лести. Подавляющее большинство семинаристов успешно оканчивали эту школу, проявляя требуемые ею свойства с первых же лет обучения. Бывало, ректор семинарии входил в какой-нибудь класс — лица семинаристов мгновенно покрывались бледностью, а руки их начинали часто и мелко дрожать. При появлении же архиерея будущих священнослужителей буквально сотрясало от страха. Архиерей спрашивал у кого-либо из семинаристов заданный урок, который семинарист накануне выучивал досконально, но у того от страха язык отсыхал, горло сжималось, и нельзя было услышать от него не только ответа, но даже и простого звука. Учитель пояснял архиерею, указывая на онемевшего семинариста: «Оробелс». И архиерей с улыбкой отпускал несчастного, выспрашивая при этом его фамилию, с тем чтобы запомнить его как человека, способного повиноваться властям.

Строго упорядоченная семинарская жизнь была бы для Михайлы Сперанского значительно более тягостной, если бы не приютил его в своем доме Матвей Богословский. Михайло подружился с его сыном Петром, поступившим во Владимирскую семинарию в одно время с ним[1], но особенно привязался к своей двоюродной сестре Татьяне Матвеевне. Она была тогда уже замужем — за священником Владимирской Зачатьевской церкви Иваном Тимофеевичем Смирновым — но проживала вместе с мужем в доме своего отца.

Когда в ходе перепланировки улиц города Владимира этот дом пошел под снос и Матвею Богословскому пришлось переселиться в наемную квартиру, Смирновы построили себе собственный дом. Переезжая в него, взяли с собой и Михайлу Сперанского.

Татьяна Матвеевна Смирнова прожила до глубокой старости и умерла в 1837 году. После того, как ее двоюродный брат стал знаменитым, она охотно рассказывала о том, каким он был в годы своей учебы во Владимирской семинарии. «Бывало, — вспоминала она, — станешь заставлять Петра сделать что-нибудь или куда сходить: он начнет отговариваться, а мой Миша, услышавши это, тотчас бросит свое дело и говорит: угодно ли, сестрица, я сделаю или схожу; пусть Петя учит урок, а я свой уж знаю». «В зимние вечера иногда за работою долго засидишься. Мой Миша, выучивши свой урок, не идет от меня. Заставляю спать — не ложится. Тебе, говорит, одной скучно будет сидеть; я еще немножко посижу с тобой и поговорим что-нибудь». Сперанский же, в свою очередь, став взрослым, с особой теплотой вспоминал о своей старшей сестрице — Татьяне Матвеевне. «Не та только мать, которая родила меня, но и та, которая воспитала» — говорил он, имея в виду ее.

Обучаясь в семинарии, Михайло одновременно исполнял обязанности пономаря в своей родной деревне, за что получал 6 руб. в год, ровно столько, сколько платила ему казна как семинаристу. Вместе с тем, его как обладателя хорошего голоса приняли в архиерейский хор. Кроме того, с 1787 года семинарист Сперанский являлся келейником префекта семинарии игумена Евгения, и эта должность была для него много важнее пономарства. Прислуживая игумену при богослужениях и дома, Михайло имел возможность пользоваться его богатой библиотекой, да и само общение с этим человеком много значило для душевного развития юного семинариста.

---

[1] Двоюродный брат Михайлы Сперанского — Петр был записан во Владимирскую семинарию под фамилией Дилекторский.

Внук Т. М. Смирновой — Н. И. Флоринский опубликует в 1874 году в журнале «Душеполезное чтение» статью «Некоторые черты из жизни графа Сперанского», в которой напишет об этом эпизоде его семинарской жизни: «Михаил Михайлович с детства имел любовь к чтению книг, и, когда представился ему удобный случай пользоваться достаточной по тому времени библиотекой префекта Владимирской семинарии — игумена Боголюбовской обители[1], отца Евгения, взявшего гениального юношу к себе в келейники, Сперанский со всем усердием предался любимому своему занятию. По приготовлении классных уроков он посвящал чтению целые вечера. Зная об этом, товарищи Михаила Михайловича, глубоко уважавшие его высокую личность, обращались к нему с усердными просьбами поделиться с ними богатством собираемых сведений... Следствием просьб товарищеских было то, что в курсе, где шел Сперанский, образовались собственные, ученические лекции».

В апреле 1789 года префект Владимирской семинарии Евгений (в миру Емилиан Романов) будет переведен на должность настоятеля Волоколамского Иосифова монастыря в честь Успения Пресвятой Богородицы. В декабре того же года его назначат на место архимандрита располагавшегося во Владимирской епархии Цареконстантиновского монастыря. В 1794 году он станет ректором Ярославской духовной семинарии и настоятелем ростовского Борисоглебского монастыря. В 1795 году Евгений займет место архимандрита Новоторжского монастыря во имя святых благоверных князей Бориса и Глеба. С 1 марта 1798 года он будет исполнять должность ректора Тверской духовной семинарии. 13 января 1800 года его назначат архимандритом Макариева Калязинского монастыря во имя Святой Живоначальной Троицы. 4 марта 1800 года он будет возведен в сан епископа Костромского. Сперанский сохранит общение со своим наставником — в основном, правда, через посредство переписки — вплоть до самой его смерти 9 декабря 1811 года. И будет писать ему о своих душевных состояниях с такой откровенностью, с какой обыкновенно пишут лишь близкому по духу человеку.

К последним годам обучения Сперанского во Владимирской семинарии относятся его первые творческие опыты. К сожалению, пожар, случившийся в Черкутине в 1834 году, уничтожил бумаги, на которых он писал свои отроческие сочинения. От огня уцелели только некоторые обрывки этих бумаг. На одном из них, представ-

[1] Имеется в виду Свято-Боголюбский женский монастырь.

ляющем собой лист календаря за 1786 год, сохранилась следующая запись, сделанная рукою семинариста Сперанского: «Бежи во Египет. Бог всемогущ и повелевает убегать. Он бы мог избавить; но мы не должны надеяться непосредственно на Бога, зная, что Бог чудес без причины не делает. Человек имеет разум. Если бы Бог непосредственно промышлял о человеке, то чрез сие человек повергнулся бы в праздность, и будучи в праздности и удовольствии позабыл бы Бога».

Летом 1788 года Владимирская семинария была объединена с Суздальской и Переяславской семинариями. Поместили новое учебное заведение в Суздале. Для Михайлы переезд сюда был не только переменой местожительства. Во Владимирской семинарии он обучался в философском классе, в Суздальской же ему предстояло учиться в классе богословия.

Между тем ко времени, о котором идет речь, его духовный интерес совершенно определился: Сперанский увлекся наукой сугубо светской, а именно математикой. Объясняя, почему завлекла его к себе эта отрасль человеческого знания, он говорил: «В прочих науках, особенно в словесных и философских, всегда есть что-нибудь сомнительное, спорное, а математика занимается только достоверными, бесспорными выкладками». Что было делать ему в ситуации, возникшей летом 1788 года? Михайло решил обратиться к Самборскому. Летом предшествующего года, когда Андрей Афанасьевич находился вместе со своими учениками великими князьями Александром и Константином Павловичами в Москве, ожидая прибытия из Крыма императрицы Екатерины II, Михайло Сперанский посетил его[1] и имел случай убедиться в благом расположении его высокопреподобия к нему, сыну простого сельского священника.

16 июля 1788 года в адрес Самборского было отправлено письмо следующего содержания: «Ваше Высокопреподобие, Милостивый Государь! Особливая благосклонность отцу моему в бытность Вашу в селе Черкутине, равно и мне в Москве Вами оказанная, возбуждает во мне смелость просить в настоящих моих обстоятельствах Вашего вспомоществования. В бывшей Владимирской семинарии окончил я философский курс. После вакации в Суздальской должен буду всту-

[1] Об этом посещении Самборского летом 1787 г. Михайло Сперанский написал на листах календаря 1786 года: «1787 года 23 приехал я (из семинарии) в село Черкутино, взяв паспорт в Москву на месяц, т. е. от 22 июня до 22 июля. 24-го отправился на ночь в Москву, т. е. с 23-го на 24-е. Прибыли в Москву 25 числа, по утру в 11 часов. Ездили ко двору и были у отца протоиерея Андрея Афанасьевича».

пать в богословский класс; но мне желательно, слушая богословию вместе с изучением французского языка, и математическими заняться науками, коих в семинарии не преподают. Охота к познанию сих наук убеждает меня из духовного училища перейти в Московский университет; но я уверен совершенно, что архипастырь мой сему желанию моему исполниться не дозволит. Для чего нижайше прошу Вас, Милостивый Государь, принять на себя труд попросить чрез письмо Его Преосвященство о моем увольнении. Вы тем увеличите цену Ваших ко мне благодеяний, и премного обяжете человека, который с глубочайшим к Вам высокопочитанием пребывая, за счастие себе почитает быть Вашего Высокоблагословения покорнейшим слугою бывшей Владимирской семинарии философии студент М. Сперанский»[1]. В Московский университет Михайло так и не попал, однако и в Суздальской семинарии долго учиться ему не пришлось.

В том же году произошло событие, в корне изменившее его жизнь. Существовавшая со времени Петра I при Александро-Невском монастыре в Санкт-Петербурге славяно-греко-латинская семинария, ничем не отличавшаяся, несмотря на свое наименование, от епархиальных семинарий, была, по ходатайству митрополита Гавриила, объединена с Новгородской семинарией и преобразована в «главную семинарию» (с 18 декабря 1797 года она будет именоваться «академией»). По указу Синода новое духовное учебное заведение призвано было готовить учителей для других семинарий, на учебу в нее должны были приниматься поэтому наиболее способные выпускники епархиальных семинарий со всей России. Вскоре из Суздаля отбыли в столицу империи два семинариста с документом, который гласил: «Объявители сего епархиальной моей семинарии студенты школ богословия Михайло Сперанский, философии Вышеславский, в исполнение присланного из Святейшего Правительствующего Синода указа, отправлены в царствующий Санкт-Петербург для продолжения учения в Санкт-Петербургской семинарии...» Внизу документа стояла подпись епископа Суздальского Виктора и дата: «*декабря 16 дня 1788 года*»[2].

---

[1] Письмо М. М. Сперанского А. А. Самборскому опубликовано в издании: *Стеллецкий Н.* Протоиерей А. А. Самборский, законоучитель императора Александра I // Труды Киевской духовной академии. Киев, 1896. С. 14.

[2] Приведенный документ был, скорее всего, неизвестен М. А. Корфу, который в своей книге «Жизнь графа Сперанского» писал о том, что Сперанского отправи-

* * *

Программа Санкт-Петербургской Александро-Невской семинарии была составлена с учетом рационалистического и философского духа того времени. Помимо углубленного и расширенного изучения традиционных семинарских дисциплин (теологии, метафизики, риторики и др.), она включала в себя довольно объемные курсы математики, опытной физики, механики, истории, философии. Обучавшиеся в стенах главной семинарии должны были знакомиться с новейшими философскими течениями. Однако далеко не все преподаватели семинарии имели необходимый для преподавания уровень подготовки.

Преподаватель философии, например, читал лекционный курс с позиций давно отжившей свой век схоластики. С чрезвычайной надменностью он беспрестанно метал в своих слушателей тяжелые латинские афоризмы. Преподаватель древнегреческого языка Жуков постоянно твердил своим ученикам, что сам учится у лучших из них, и среди прочих называл фамилию слушателя Ивана Мартынова. По иронии судьбы, окончив учебу в Санкт-Петербургской семинарии, Мартынов займет в ней должность преподавателя древнегреческого языка вместо Жукова[1]. Был в семинарии и такой преподаватель, который заикался и потому приходил в класс крайне редко, но если приходил, то при изъяснении учебного материала стремился напустить на себя как можно больше глубокомысленности. Он заявлял, например, указывая на сочинения Феофана Прокоповича, изданные в трех больших томах и на латинском языке: «Сие море великое и пространное, но тамо и гады, им же несть числа».

---

ли из Суздаля в Петербург «с двумя товарищами (Вышеславским и Шиповским)» «*в январе 1790 года, следственно 18-ти лет от роду*» (см.: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Том 1. С. 17).

[1] Впоследствии Иван Иванович Мартынов (1871–1833) станет известным ученым и культурным деятелем. Он будет издавать журналы («Санкт-Петербургский Меркурий», «Музы», «Северный Вестник», «Лицей»), переводить и издавать древнегреческих классиков на русский язык (в 1823–1829 гг. он издаст 26 томов произведений Анакреонта, Гомера, Геродота, Пиндара, Софокла и др. древнегреческих писателей). С 1803 г. и до февраля 1817 г. И. И. Мартынов занимал должность директора департамента Министерства народного просвещения. Благодаря его содействию в 1816 г. был учрежден в Санкт-Петербурге Главный педагогический институт, преобразованный в 1819 г. в Санкт-Петербургский университет. Мартынов редактировал разработанный Сперанским Устав Царскосельского лицея и с момента его открытия (в 1811 г.) преподавал лицеистам (в их числе и Пушкину) российскую и латинскую словесность.

К счастью для любознательных семинаристов, в их распоряжении была богатая библиотека. Сперанский имел возможность читать сочинения Вольтера, Дидро, Лейбница, Кондильяка, Ньютона, Локка и многих других популярных в ту эпоху западноевропейских мыслителей. Многочасовые упорные занятия науками развили его духовный мир. Он стал в ряд образованнейших людей своей страны.

Общее количество студентов, принятых на первый курс главной семинарии по ее открытии, было невелико — немногим более тридцати. Но это были в большинстве своем молодые люди, отличавшиеся незаурядным умом и способностями. Некоторые из них станут впоследствии известными всей России культурными, церковными и политическими деятелями. На одном курсе с Михайлой Сперанским учились, например, будущий митрополит и экзарх Грузии Феофилакт — студентом он носил имя Федора Ивановича Русанова, будущий видный русский литератор, переводчик греческих классиков Иван Иванович Мартынов. Но первым среди всех своих сокурсников суждено было стать именно Сперанскому. Вспоминая о нем, И. И. Мартынов писал: «Пусть другой кто будет его историком, панегиристом; я только скажу, что если бы наш курс и никого, кроме его, не образовал, то не нужно бы было других доказательств в полезности оного»[1].

Все, более или менее близко знавшие Сперанского, именно в воспитании, полученном им в духовных учебных заведениях, видели ту главную силу, что сформировала его характер и стиль мышления, определила свойства редкой обходительности, вкрадчивости в обращении, мягкость манер, логику мысли, выделявшие его персону в любой, в том числе самой аристократической, среде. К этому взгляду впоследствии присоединились и биографы. Людям важно иметь объяснение того, с чем они сталкиваются. Так называемый «хороший человек» для них всегда человек понятный. Потому, вероятно, трудно примириться им с мыслью о том, что процесс, называемый «воспитанием» или же «формированием» характера и мировоззрения, в сущности, всегда процесс всецело хаотичный, стихийный, недоступный постижению.

Брошенный в реку грубый, с острыми углами камень со временем обязательно становится гладким. Таким формируют его вода и несущиеся в ней песчинки, которых неисчислимое множество. Но разве узнаешь, какое конкретно воздействие оказала какая-либо из них?

---

[1] Цит. по: *Колбасин Е.* Литературные деятели прежнего времени. СПб., 1859. С. 19.

Таков и человек: он как брошенный в реку камень. Только рекой для него — повседневная людская жизнь, а песчинками — люди, с которыми суждено ему соприкасаться. Возможно ль при этом определить с точностию, как возникло то или иное свойство характера и мышления, найти в бесчисленном множестве положений, принимаемых в жизни каждым человеком, в миллионах фактиков, составляющих его судьбу, те особые, что данное свойство «воспитали»?

Беззащитна душа человеческая. Более всего пред злом беззащитна. И не жить бы, пожалуй, ни ей и ни миру, если б не была она способна вредное обращать в полезное, злое отливать в прекрасное, подобно тем существам, что обитают на дне моря и создают жемчуг. Все окружающее их в прикосновении наносит им рану. Поэтому они прячутся от внешнего мира в специальных раковинках. Но это не всегда их спасает. Иногда в раковинку залетает песчинка. Она вонзается в тело живущего в раковинке существа, причиняя ему нестерпимую боль. И тогда это существо начинает изливать жидкость, своего рода слезы. Данная жидкость обволакивает вредную песчинку и растворяет боль. Потом она застывает и превращается в жемчуг. «Ино горько проглотишь, да сладко выплюнешь», — говаривали на Руси.

*Что есть каждый из нас, как не часть всего того, что когда-либо встретил?* Все и самое разное впитывает в себя душа наша из происходящего вокруг. Но нет для нее закона, по которому благополучие окружающего обязательно превращалось бы в ней в добро, а мерзость во зло. И если превращенья, претерпеваемые в человеческой душе частицами внешнего мира, совершаются не по закону, а по некой таинственной произвольной прихоти, то чем же будет тогда любая затея отыскать конкретные истоки характера или мировоззрения какого-либо человека, как не забавным гаданьем? Ее величество Жизнь благоволит нам принимать каждого таким, каков он есть, во всей его необъяснимости — почему ж не пользоваться ее благоволением?

Чрезвычайно интенсивный характер обучения в духовной семинарии вкупе с суровым монашеским воспитанием, безусловно, воздействовал на семинаристов в сторону выработки у них способности к продолжительным и напряженным умственным занятиям. Постоянные упражнения в написании сочинений, без сомнения, развивали навыки строгого, логичного письма. Господствовавший в семинарском обществе дух угождения старшему и сильному, порабощения младшего и слабого, всяческое культивирование в нем безотчетного страха перед любым власть предержащим, беспрекословного

послушания властям не могли не отпечатываться на хрупких душах юношей-семинаристов. И Сперанский, славившийся среди современных ему государственных деятелей необыкновенной умственной энергией, искусством быстрого логичного письма, а также изяществом выражения подобострастия к сильным мира сего, конечно же, нес на себе отпечаток семинарского воспитания. Но отпечаток этот не был столь сильным, каким он представлялся впоследствии современникам его и биографам. Тягостная атмосфера духовной семинарии оказывала на личность Сперанского значительно меньшее деформирующее воздействие, нежели на личности других семинаристов.

Одно из наиболее ярких свидетельств этому — содержание проповеди, произнесенной молодым Сперанским в Александро-Невской лавре 8 октября 1791 года. Оно в высшей степени любопытно. Если бы, имея в руках своих текст ее, не знали мы с точностью, что перед нами церковная проповедь, то, без сомнения, непременно приняли бы данное творение за отрывок солидного философско-политического трактата. Во всем тексте только одна цитата из Священного Писания, да и та вынесена в эпиграф. Мысли проповеди соответствуют скорее личности человека, умудренного опытностью, и никак не вяжутся с обликом юнца-семинариста. Но самое примечательное — свободный дух проповеди, находящийся в резком контрасте с тем духом покорности и раболепия перед властями, в котором воспитывался ее автор. Можно представить, сколь странно и предерзостно звучало из уст затворника семинарских стен поучение-предостережение государю-венценосцу: «Но если ты не будешь на троне человек, если сердце твое не познает обязательств человека, если не сделаешь ему любезными милость и мир, не низойдешь с престола для отрения слез последнего из твоих поданных, если твои знания будут только пролагать пути твоему властолюбию, если ты употребишь их только к тому, чтоб искуснее позлатить цепи рабства, чтоб неприметнее положить их на человеков и чтоб уметь казать любовь к народу и, из-под занавесы великодушия, искуснее похищать его стяжение на прихоти твоего сластолюбия и твоих любимцев, чтоб поддержать всеобщее заблуждение, чтоб изгладить совершенно понятие свободы, чтоб сокровеннейшими путями провесть к себе все собственности твоих подданных, дать чувствовать им тяжесть твоея десницы и страхом уверить их, что ты более, нежели человек: тогда, со всеми твоими дарованиями, со всем сим блеском, ты будешь только — счастливый злодей;

твои ласкатели внесут имя твое золотыми буквами в список умов величайших, но поздняя история черною кистью прибавит, что ты был тиран твоего отечества. Будь судья и наилучший правоведец, открой истинный разумов закон, выведи из существа дела их употребление, умей развязать узел дел наиболее соплетенных, найди самое тончайшее различие между пороком и пороком, между казнию и казнию, упражняйся чрез всю твою жизнь в истории человеческих заблуждений и пронырств, знай, каким образом согласить строгость с милосердием и в одном и том же преступлении наказать порок, отпустить неосторожность: все сие знание, если не будет сопровождаться праводумием, не воспрепятствует тебе, при первом перевесе корысти, наклонить весы права в пользу виновного, быть слепу к невинности, осудить добродетельного на смерть. Твое сведение в законах послужит только к тому, чтоб извинять строгостию оных твои корыстолюбивые виды, заставить их говорить сообразно твоим страстям, прикрыть справедливостью ужаснейшие злодеяния и, отклонив от себя всякое подозрение, исторгнуть у невинного и последнее его утешение — надежду твоей погибели. Пройдите таким образом все роды состояний, изберите в них людей со всеми достоинствами ума, с глубоким сведением во всех частях их должности; но отнимите только от них добродетель, вы, желая подкрепить сими столпами общество, поколеблете и те, на коих оно прежде стояло»[1].

Сам по себе факт открытого обращения простого смертного с поучением и предостережением к венценосной персоне уже не являлся к тому времени новизной для России. Немногим более года назад вышло в свет «Путешествие из Петербурга в Москву» коллежского советника А. Радищева, прозвучавшее не только содержанием, но и тоном своим грозным обвинением, дерзким вызовом всем властям предержащим в русском обществе. Сам автор ни в коей мере не заблуждался насчет истинного характера своей книги и писал ее, будто приговор себе смертный подписывал: «Отче Всеблагий, неужели отвратишь взоры Свои от скончевающего бедственное житие свое мужественно? Тебе, источнику всех благ, приносится сия жертва. Ты Един даешь крепость, когда естество трепещет, содрогается. Се глас отчий, взывающий к себе свое чадо. Ты жизнь мне дал, Тебе ее и

[1] *Сперанский М. М.* Проповедь, говоренная в неделю осьмуюнадесять, 8-го октября 1791 года в Александро-Невской лавре // Русская старина. 1902. Том 109. № 2. С. 287–288.

возвращаю; на земли она стала уже бесполезна». Сочинение книги было в данном случае не просто вспышкой творческой энергии, но также поступком.

Однако сколь бы неординарным, похожим на самоубийство этот поступок ни являлся, его можно понять и объяснить. Да, конечно, иго злых обстоятельств прочно: его не то, что сломить, а и пошатнуть не в силах будет. Но если жизнь к концу идет, если не осталось в ней ничего любопытного, кроме смерти, если и обыкновенных душевных привязанностей лишился, то почему бы не восстать против всесильного зла, отчего напоследок не сверкнуть средь людей истинной душою своей, до сих пор со тщанием от них скрываемой? И пусть сверканье это для людей без пользы, все равно для собственной совести услада верная!

Поступок Михайлы Сперанского не столь понятен и объясним. Закат жизни и встреча с обстоятельствами, подобными тем, с которыми столкнулся Александр Радищев (так же, как и с самим этим человеком), были для 19-летнего семинариста еще далеко впереди. Далеко в будущее уходила и мода на либерализм. Она утвердится в русском обществе лишь четверть века спустя, когда обуяет молодежь стремление блеснуть, похвалиться либеральными настроениями, когда подлецом будут считать всякого лишь за то, что он не ругает существующее в России правление.

Сперанский-семинарист имел в свои юные лета то, чего другие воспитанники семинарий, как правило, в эти годы еще не имели — он обладал вполне развитым внутренним духовным миром, дававшим определенную автономность его душевным движениям, определенную независимость процессу становления его характера — духовным миром, сообщавшим ему повышенную сопротивляемость вредным воздействиям господствовавшего в семинарии морального климата. Научившийся грамоте еще в малолетстве своем и с самого начала много для своего малого возраста проводивший за чтением книг, он с годами читал все больше и больше. Если во Владимирской семинарии его самообразование являлось беспорядочным, то в Санкт-Петербурге оно приобрело характер системы: Михайло читал теперь не все подряд, но по сознательному выбору и притом приноровился делать регулярные выписки из прочитанного. Его сокурсник по Санкт-Петербургской семинарии Петр Андреевич Словцов, вспоминая впоследствии о том, как учился Сперанский, писал: «Он превосходил всех товарищей своего времени успехами в чистой математике, физике и философии и вместе с тем отличался целомуд-

рием в мыслях, словах и чувствах. Сердце его тогда уже благоухало каким-то чистым, свежим запахом».

Свободное от учебных занятий время семинаристы проводили обыкновенно в развлечениях, среди которых главное место занимали пьянство и карты. Сперанский за время своего пребывания в семинарии заметно окреп физически: в рослом, резвом, с рыжеватой головой здоровяке, каковым стал он к своим семнадцати годам, мало кто мог узнать прежнего хилого, малоподвижного мальчика, разве что необыкновенная белизна его лица и рук напоминали о детской его слабости. И будто стремясь наверстать упущенное в детстве, он поначалу активно включился в игры своих товарищей. Особенно много играл он в карты, увлечение которыми быстро перешло у него в настоящую страсть. Однако как только последняя вошла в противоречие с его страстью к чтению, разум и воля в нем восстали — Михайло разом прекратил играть в карты. Постепенно он отошел и от других развлечений. Возможно, именно тогда написал он в одной из своих тетрадей: «Облетев мыслию все в свете удовольствия, всегда надобно кончить тем, чтоб вздохнуть, усмехнуться и — быть добродетельным». Товарищи Михайлы сперва обижались на него за то, что он перестал вдруг разделять их вкусы и начал искать более уединения от них, но потом простили ему его причуду. Рано проявившаяся в Сперанском способность прощать чужие недостатки, его добродушие и скромность, ласковое со всеми обращение склоняли его товарищей к примирению с ним, а его превосходный ум невольно вызывал у них уважение к нему. Живя в ладу с товарищами своими, Михайло одновременно умел ладить и с начальством, несмотря на то, что руководителям его хорошо была заметна его одаренность и самостоятельность мышления.

Когда для Сперанского подошло время окончания Санкт-Петербургской семинарии, митрополит Гавриил предложил ему остаться в ее стенах для преподавания естественно-научных дисциплин. 9 января 1792 года он отправил в Святейший Синод прошение, в котором писал: «По присланному ко мне [в] 1791 году июля от 14-го дня Ее Императорского Величества из Святейшего правительствующего Синода указу Невской семинарии математического класса учитель Никита Дмитриев произведен в парижской миссии во священника. Из обучающихся как в той, так и [в] другой семинарии, больше всех успел в сем, так и в философическом классе Владимирской семинарии семинарист Михайла Сперанский, который для оного класса в Невской семинарии весьма нужен к пользе семина-

ристов владимирских послужить; чего ради Святейший правительствующий Синод покорно прошу помянутого Михайлу Сперанского оставить в Санкт-Петербургской епархии и семинарии».

Члены Синода ответили согласием. В результате 16 января того же года императрица Екатерина II издала Указ, которым предписала: «...Означенного семинариста Михайла Сперанского... оставить в Санкт-Петербургской семинарии и епархии дозволить».

9 мая 1792 года Сперанский был назначен на должность учителя математики Санкт-Петербургской семинарии с годовым жалованьем в 150 рублей ассигнациями. Через три месяца ему поручено было преподавать здесь также физику[1] и красноречие — к его жалованью присоединили еще 50 рублей. 7 апреля 1795 года Михайло Сперанский был определен в дополнение к прежним своим должностям еще и на место учителя философии. Одновременно он был назначен и префектом семинарии. Размер его жалованья возрос до 275 рублей.

О том, как жил Сперанский в бытность свою преподавателем Александро-Невской семинарии, вспоминал впоследствии один из его учеников — Ксенофонт Дилекторский. Он был младшим братом Петра Дилекторского — следовательно, приходился Михайле двоюродным братом и оттого был вхож в келью своего учителя. По его рассказу, ежедневный обед Сперанского составляли: похлебка из мелко нарезанной свеклы, с куском говядины или снетками, жаркое на сковороде, и кисель. Из развлечений он позволял себе только редкое посещение театра, в который, как правило, брал с собой Ксенофонта, покупая ему, так же как и себе, недорогой билет — за 25 коп. медью.

Время преподавательской деятельности в Санкт-Петербургской главной семинарии было в жизни молодого Сперанского периодом интенсивнейших движений его ума, эпохой окончательного его духовного созревания. «В 1794 году, помнится мне, — рассказывал Петр Словцов, — нашел я его за Невтоном. В 1795-м он сделан был преподавателем философии и два года провел, кроме должностного класса, в критическом рассмотрении философских систем, начиная с Декарта, Локка, Лейбница и пр. до Кондильяка, тогда славившегося.

---

[1] О системе преподавания Сперанским физики в стенах Санкт-Петербургской семинарии свидетельствует составленный им учебник, напечатанный по рукописи, сохраненной одним из его учеников. См.: Физика, выбранная из лучших авкторов (так в оригинале. — *В. Т.*), расположенная и дополненная Невской семинарии философии и физики учителем Михаилом Сперанским, 1797 года в Санкт-Петербурге. М., 1872.

По временам М. М. С[перанский] читал мне свои критические рассмотрения».

Занимаясь преподавательской деятельностью и предаваясь изучению философских книг, молодой Сперанский одновременно пробовал свои силы в научном и литературном творчестве: писал статьи и научные трактаты на философские темы, сочинял стихи. В журнале «Муза» за 1796 год был напечатан целый ряд его стихотворений: «Весна», «И мое счастие», «К дружбе», «Мысли при колыбели младенца» и др. Михайло намеревался сочинить даже целый роман. В сентябре 1795 года он набросал на французском языке его канву в одной из своих тетрадей «Canevás d'une roman à faire: le père de famille (Канва для создания романа: отец семейства)»[1].

Наиболее значительное из написанных Сперанским в рассматриваемое время произведений — «Правила высшего красноречия» — распространялось в рукописном виде среди семинаристов. Опубликовано оно будет лишь в 1844 году. Виссарион Белинский откликнется на эту публикацию добрыми словами. «Правила высшего красноречия, — напишет критик в журнале «Отечественные записки» (1845. № 1), — важны еще и как доказательство, что сильный ум сохраняет свою самостоятельность, даже и следуя по избитой дороге, и умеет сказать что-нибудь дельное даже и о предмете, всеми ложно понимаемом в его время».

В книге «Правила высшего красноречия» впервые отчетливо проступила такая черта мышления Сперанского, впоследствии развитая, как стремление объяснять те или иные явления общественной жизни людей, исходя в первую очередь из человеческой психологии. «Основание красноречия, — констатировал он, — суть страсти. Сильное чувствование и живое воображение для оратора необходимы совершенно. И как сии дары зависят от природы, то, собственно говоря, ораторы столько же родятся, как и пииты».

Законы психической жизни человека, его нравственного бытия, роль разума и воображения в человеческом существовании, суть человеческого счастья — в круге подобных проблем вращался ум мо-

[1] Данная тетрадь под названием «Досуги за сентябрь 1795 года» сохранилась у одного из друзей М. М. Сперанского — П. Г. Масальского. Ее текст был опубликован в 1862 г. сыном Петра Григорьевича — Константином Масальским в приложении к сборнику «Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому, писанные с 1798 по 1819 год с историческими пояснениями, составленными К. Масальским, и некоторые сочинения первой молодости графа М. М. Сперанского».

лодого Сперанского и искал для себя сносного их разрешения. Кое-какие следы этих движений ума сохранились занесенные на бумагу. Читая их, любопытно узнавать, что тот, кто славился среди современников своих выдающимся умом, отводил уму в иерархии человеческих свойств едва ли не последнее место. «Между сердцем и умом проведена известная черта раздела; не всегда свет проливается в первое, не всегда и правота его доказывает правоту второго, и, следовательно, не всегда чувствия счастия от первого сообщаются второму; и, имея наилучший разум, почерпая из него все выгоды, можно иметь в сердце яд, их отравляющий. В состав истинного счастия разум входит только побочно».

Главным предметом, занимавшим в рассматриваемое время ум Сперанского, была философия, в развитии которой, как он считал, за прошедшие с древности столетия, были сделаны только первые шаги. «Мне кажется, — писал он в 1795 году, — философы суть люди, брошенные на неизвестный берег и рассыпавшиеся в разные стороны для обозрения страны. Несколько веков протекло, как они снимают чертежи поверхностей; но никто еще не дерзнул из них вскрыть череп и рассмотреть слой сего великого материка. Самые остроумнейшие из них делают только догадки, и самые основательнейшие собирают только опыты и явления».

В основах своих мировоззрение молодого Сперанского являлось стоическим. Как когда-то древние стоики, он носил в себе мрачное сознание своего бессилия перед окружающими обстоятельствами и гнетущее ощущение слабости перед собственными пороками. «Я — бедный и слабый смертный, с моим блестящим воображением и слабым разумом» — так представил он самого себя в заметках, писанных в сентябре 1795 года[1]. Стремление к уединению, в котором только и можно отвлечься от утомительной суеты окружающей жизни и которое рано проявилось в его характере, в рассматриваемое время заметно в нем усилилось. Молодой преподаватель Санкт-Петербургской семинарии жил, как он сам о себе говорил, «одни мечты меняя на другие», жил самим собой, пожалуй, даже более, нежели своей работой. Он желал понять самого себя, узнать собствен-

[1] Высказывание, в котором содержались приведенные слова, было написано Сперанским на французском языке: «J'ai trios ennemis à combattre: la pareses, la timidité, la vanité... Mon Dieu, quells ennemis! Ils se liguèrent contre moi dès mon enfance. Mon temperament leur prète des armes toujours nouvelles. Qu'est ce que je puis faire un contre trios, moi, pauvre et chétif mortel, avec ma brillante imagination et ma pauvre raison?»

ные возможности — угадать, что ждет его в будущем. Это копание в собственном «я» временами настолько захватывало его, что превращалось даже в самоцель — особого рода занятие. «С сильным и быстрым воображением и с неистощимым запасом самолюбия, — выводило перо Сперанского, — должно постоянно гнаться за химерами счастия, которых изобретение ничего нам не стоит. Это удобное и прекрасное средство заниматься самим собою, и оно должно быть, естественно, предпочитаемо всем другим средствам как наиболее легкое».

Что может сопутствовать нам в жизненных перипетиях? — вопрошали древние стоики и отвечали: — Одно-единственное — философия; она сбережет от глумления и ран нашу душу. Подобно стоикам Михайло считал, что для того, чтобы выжить в этом жестоком мире, не пасть под бременем зол, давящих со всех сторон, он должен «укрепиться доброю и сильною философией». Стоическим было и понимание им счастья. «Уверьтесь, друзья мои, что быть счастливым и быть добрым есть совершенно одно и то же. Одно только злоупотребление слов разделило два сии состояния, по существу и началу своему соединенные. Если бы язык образовали философы: блеск, честь, богатство не носили бы на себе прелестного имени счастия, но назывались бы просто блеском, честию, богатством, вещами средними, из коих и добро и зло равно могут родиться... Несовершенство счастия доказывает только несовершенство наших добродетелей».

Кто-то, вероятно, сочтет этот патетический призыв искать счастье в самом себе за чистейший, оторванный от реальности идеализм. И действительно, в стоицизме немало есть сугубо умозрительного. Однако в данном случае перед нами истина, не лишенная практицизма. Как бы то ни было, в ней таится признание самого грустного, быть может, закона человеческой жизни, по которому не бывает в ней ничего такого, чего человек не мог бы потерять или утратить, что не могло бы превратиться для него в свою противоположность. Как построить свое существование в этой круговерти, называемой жизнью, где все изменчиво и подвержено исчезновению? Как спастись от яда неотвратимых утрат? И вот он ответ — должно увериться, что истинное наше счастье в свойствах души нашей, то есть в том, что отнять у нас можно лишь с самой жизнью вместе. И если мы несчастливы, то обязаны винить в этом только себя.

Современник Иисуса Христа, идеолог и проповедник стоицизма Луций Анней Сенека до сих пор подвергается упрекам за то,

что, осуждая в своих нравственных поучениях богатство, роскошь, власть, славу, не был самолично чужд корыстолюбия и честолюбия, знавал при жизни все названные мирские утехи. Эти упреки были б, наверное, справедливы, если бы вел он жизнь, противоречившую собственным убеждениям. Но дело-то в том, что такого противоречия у него не было. Стоические доктрины Сенека проповедовал не для того, чтобы по ним строить свою жизнь, и тем более не потому, что желал побудить других людей жить в соответствии с ними. Только безумец способен поверить, что можно заставить людей отречься от погони за богатством, властью, славой. Здравомыслящий догадывается, что все *это*, несмотря ни на что, имеет для людей ценность, что, не будь *этого*, человеческая жизнь являла бы собою весьма скучное событие. И если все же он осуждает мирские утехи, то потому лишь, что вполне допускает в жизни не только для других, но и для себя лично погоню за ними и обладание ими. Зная, сколь велика в данном случае возможность неудачи в погоне или утраты в обладании, он стремится заранее ослабить яд и болезнь, что несут они его душе. Для того-то и принижает, если не сознательно, то инстинктивно, значение тех благ, которыми жаждет обладать или обладает.

Выбрав в молодости своей в качестве обители истинного счастья единственно собственную душу, Сперанский будто предчувствовал, что все внешние блага, как-то: блеск, честь, власть — окажутся в его жизни непрочными и ненадежными, что почти все из окружающего, способное дарить блаженство, — друзья, возлюбленная, семья — назначено для него в будущем не только к приобретению, но и к утрате, причем на редкость скорой и печальной...

* * *

Молодость — пора самой чистой, самой искренней дружбы. В России дружить умели, друзей ценили по-особому. Друзья для русского человека значили нечто большее, чем простое средство времяпрепровождения, способ развлечения или источник помощи в нужде и поддержки в делах. В России для человека с душой и талантом друзья являли часто едва ли не единственную в его жизни сферу, где он мог побыть самим собой, насладиться свободой выражения истинных своих чувств и мыслей, которые, если не дашь выхода, измучают, истерзают и душу, и талант. «Как прекрасно быть хорошим человеком в глазах друзей! — писал молодой В. А. Жуковский своему

другу А. И. Тургеневу. — Это я теперь очень чувствую. Напротив, в глазах тех людей, которые нас не понимают или имеют совсем другой образ чувств и мыслей, делаешься мертвым, сомневаешься в самом себе, теряешь свою свободу чувствовать и мыслить, теряешь надежду, первую, единственную причину всякой деятельности».

Жители рассматриваемой нами эпохи охотно признавали выдающуюся роль друзей в жизни первого из тогдашних поэтов — А. С. Пушкина, первого из историков — Н. М. Карамзина, но вот первому по таланту государственному деятелю, каковым считали М. М. Сперанского, наотрез отказывали как в потребности в друзьях, так и в способности их иметь. Среди его современников широко распространенным было мнение о заложенной в его натуре скрытности, полном отсутствии в нем желания делиться с кем-либо подлинными своими чувствами и мыслями. «Я не думаю, чтобы Сперанский имел хоть одного истинного друга», — писал М. А. Корф. Модест Андреевич считал, что свойства характера Михайлы Михайловича делали его малоспособным к истинной дружбе.

Относительно доживавшего последние на этом свете годы *сановника* Сперанского подобное мнение, возможно, было справедливо. Но *молодой* Сперанский говорил о себе совсем иное. Он говорил о том, как хотелось бы ему иметь истинного друга, как нуждалась душа его в том, в кого, переполненная разнообразными идеями и чувствованиями, могла бы время от времени изливаться.

«Любезный друг! — обращался Михайло к Константину Злобину. — Душа моя привыкла изливать все свои чувствия в твою. Ты был свидетелем моих слабостей. Твое проницательное око зрело исходы моего сердца. Нередко оно разговаривало с твоим. Оно рассказывало тебе свои заблуждения и в сем одном находило уже довольно отрады».

Константин Злобин получил образование в школе Евангелического общества Моравских братьев гренгутеров, располагавшейся в основанном чешскими колонистами городке Сарепта[1]. Он знал несколько иностранных языков, отличался огромной эрудицией, имел склонность к поэтическому творчеству. В то время, когда Сперанский учился и преподавал в Санкт-Петербургской семинарии, Константин Злобин служил в канцелярии Санкт-Петербургского военного губернатора. Впоследствии он будет служить сверхштатным

[1] В 1920 г. городок Сарепта был переименован в Красноармейск. В настоящее время территория бывшей Сарепты является районом города Волгограда.

чиновником по особым поручениям при Г. Р. Державине. Отцом Константина Злобина являлся известный в среде столичной аристократии и даже самой императрице своей благотворительностью и патриотизмом богатый купец Василий Алексеевич Злобин[1].

«Может быть, я холоден в дружбе внешней, но зато я постоянен и, полюбив раз, не переменю своих правил», — писал Сперанский в одном из писем к П. Г. Масальскому. Петр Григорьевич происходил из семьи священников и получил образование в Ярославской духовной семинарии. Он был другом Сперанского и поверенным его в финансовых делах до конца его дней. И умер в один год с ним.

«Друг мой» — так обращался Михайло Сперанский и к Петру Словцову. Тот же, в свою очередь, считал Сперанского лучшим своим другом. Подружились они в Санкт-Петербургской семинарии. Петр Словцов прибыл сюда из Сибири после окончания Тобольской епархиальной семинарии. Он был почти на пять лет старше Сперанского. По завершении учебы в Петербурге Петр Словцов вернется в Тобольск на должность учителя философии и математики в той самой семинарии, выпускником которой был. Но жизненным дорогам друзей еще не раз суждено будет пересечься.

---

[1] Василий Алексеевич Злобин родился в 1755 или 1757 г. Он происходил из бедной крестьянской семьи, работал в детстве подпаском, а после того, как выучился грамоте, — сельским писарем. Первоначальное свое состояние он заработал во время службы торговым представителем при А. А. Вяземском, который, будучи генерал-прокурором, одновременно ведал по поручению императрицы Екатерины II целым рядом финансовых и хозяйственных дел. В 90-е годы XVIII в. В. А. Злобин был одним из самых богатых русских купцов: он содержал винные откупа, имел рыболовные промыслы в Астрахани, поставлял продовольствие в Москву и Петербург и соль в 20 губерний России. О том, что он пользовался уважением и при царском дворе, свидетельствует следующая надпись на преподнесенной ему в 1790 г. серебряной кружке: «От Ея Императорского Величества Екатерины II Государыни и Самодержицы Всероссийкие всемилостивейше пожалована сия крушка вольскому купцу и городскому главе Василию Злобину в знак монаршего благоволения к усердию и трудам, оказанным им по разным делам ему поручаемым». Город Вольск, расположенный в Саратовской губернии, был выстроен на средства В. А. Злобина на месте деревни Малыковка, в которой он родился и провел свое детство. В Санкт-Петербурге Василий Злобин арендовал трехэтажный дом, в котором часто устраивал роскошные званые обеды. По большим праздником он, одетый в красивый русский кафтан, приходил в царский дворец с поздравлениями. Ему неоднократно предлагались чины и ордена, но он отказывался от них, ценя только звание Именитого гражданина и пожалованные ему императрицей Екатериной II и Александром I золотые медали. В коллекции Исторического музея хранится портрет купца В. А. Злобина, изображенного неизвестным художником сидящим в кресле и одетым в русский красный кафтан с указанными тремя золотыми медалями на лентах, обвивающих шею.

* * *

Князь Алексей Борисович Куракин был человеком сплошных противоречий. Не лишенный природой острого ума, являлся он в то же самое время довольно ограниченным в воззрениях. Несколько весьма банальных истин, где-то походя подобранных, да ряд абстрактных понятий, по преимуществу французского происхождения, составляли всю его политическую мудрость. Ведя развратный образ жизни, отличаясь мотовством и суетливостью в делах, имел он вместе с тем большую приверженность ко всякому внешнему порядку и был в целом формалистом. Крайне угодливый в свойствах характера, он выступал в наружных манерах с удивительным благородством и представительностью. В последние годы царствования императрицы Екатерины II Алексей Борисович Куракин занимал должность управляющего «третьей экспедицией для свидетельствования государственных счетов»; с восшествием на императорский престол Павла I назначен был генерал-прокурором; при императоре Александре I являлся малороссийским генерал-губернатором, а затем министром внутренних дел; наконец, при императоре Николае I являлся председателем департамента экономии Государственного совета и орденским канцлером. Однако натуре его в наибольшей мере соответствовала всегда лишь одна должность. «Все тот же квартальный надзиратель или следственный пристав», — скажет о нем в 1823 году М. М. Сперанский. В холоде этого высказывания ничего не было бы примечательного, когда б не то особое значение, каковое имел А. Б. Куракин в судьбе того, кто его изрек. Был Алексей Борисович для Сперанского, что называется, «роковым человеком». Именно через него Михайло попал в гражданскую службу — главную колею своего жизненного пути.

В начале 1795 года князю Куракину вздумалось приобрести себе домашнего секретаря для ведения переписки на русском языке. На должность эту выбран был молодой преподаватель Александро-Невской семинарии Михайло Сперанский. Сохранилось много различных преданий о том, как очутился он в куракинском доме. Наиболее достоверным из них представляется следующее. Влиятельный вельможа обратился за помощью в подборе секретаря к митрополиту Новгородскому и Санкт-Петербургскому Гавриилу, и тот рекомендовал ему Сперанского как наиспособнейшего из всех молодых людей, которых знал. В качестве испытания рекомендованному было предложено написать одиннадцать писем, предполагаемое со-

держание коих было обрисовано ему лишь в самых общих чертах. Задание это Михайло получил вечером, но к утру все письма лежали уже на столе князя Куракина. Изящный стиль их и быстрота составления восхитили его чиновную натуру, и судьба Сперанского решилась. Алексей Борисович немедленно назначил способного поповича своим секретарем[1], определив ему за исполнение секретарских обязанностей 400 руб. ежегодного жалованья. Кроме того, князь купил Сперанскому вместо длинного и простого сюртука, который тот носил тогда, самую модную в то время одежду и поселил его, с разрешения митрополита Гавриила, в своем доме.

Возложив на Сперанского обязанности домашнего секретаря, князь Куракин вместе с тем поручил ему обучать русскому языку своего десятилетнего сына — Бориса Алексеевича[2] и девятилетнего племянника (сына сестры своей супруги) Сергея Уварова — будущего знаменитого министра народного просвещения России и президента Санкт-Петербургской Академии наук[3]. При этом Михайло Михайлович сохранил место преподавателя в Санкт-Петербургской духовной семинарии.

6 ноября 1796 года скончалась императрица Екатерина II, и на престол взошел Павел I. На высшие должности управления империей стали назначаться новые лица. 4 декабря Алексей Борисович Куракин был определен на место генерал-прокурора[4]. К тому времени князю исполнилось тридцать семь лет. В молодости он изучал юридические науки в Лейденском университете, а с 1780 и до 1792 года служил в генерал-прокурорской канцелярии, исполняя одновременно функции заседателя верхнего земского суда. В 80-е годы Алексей Борисович некоторое время работал под началом цесаре-

---

1 Это назначение могло произойти до 22 января 1795 г. В отделе рукописей Российской национальной библиотеки сохранилось письмо Сперанского к архимандриту Евгению, обозначенное указанным днем, в котором он сообщает о начале своей службы секретарем в доме князя Куракина.

2 Борис Алексеевич Куракин родился 13 сентября 1784 г., а умер 12 октября 1850 г. С 1822 г. он являлся сенатором.

3 Должность министра народного просвещения Российской империи Сергей Семенович Уваров (1786–1855) занимал с 1833 по 1849 год, а президентом Санкт-Петербургской Академии наук являлся с 1818 г. и до самой смерти.

4 Текст указа от 4 декабря 1796 г. о назначении князя Куракина генерал-прокурором опубликован в издании: Сенатский архив. Том 1: Именные Указы императора Павла I. СПб., 1888. С. 21 («В Санкт-Петербурге. Указ НАШЕМУ Сенату. Всемилостивейше повелеваем тайному советнику князю Алексею Куракину быть НАШИМ генерал-прокурором. Павел»).

вича Павла Петровича, помогая ему в составлении проектов государственных реформ. Поэтому в назначении его генерал-прокурором не было ничего удивительного.

Заняв новую и весьма важную должность, князь Куракин пожелал иметь известного ему способностями к канцелярской работе Сперанского в своем ведомстве, поэтому предложил Михайле покинуть семинарию и перейти в «статскую службу».

Некоторое время Сперанский серьезно колебался. Спросил письмом своих родителей, согласны ли они на переход его в гражданскую службу. Родители ответили, что предоставляют ему поступить как пожелает. Своими сомнениями Сперанский поделился и со Словцовым. Петр Андреевич, поэтическая натура, бросил весь свой пыл на то, чтобы склонить друга Михайлу ко вступлению в гражданскую службу. К прозаическим доводам он добавил аргумент стихотворный, полушутливый-полусерьезный:

Полно, друг, с фортуною считаться
И казать ей философский взор,
Время с рассуждением расстаться,
Если счастие катит на двор.

Лучше с светом в вихрь тебе пуститься
И крутиться по степям честей,
Чем в пустыню с Прологом забиться
И посохнуть с горя без людей.

Ветер веет вам благополучный:
Для чего ж сидеть бы взаперти?
Для чего вдаваться мысли скучной,
Что застанет буря на пути?

Правильно ты весил света муку,
Тяжесть золотых его цепей;
Но ты взвесил ли монахов скуку,
И сочел ли, сколько грузу в ней?
. . . . . .

Понимал Петр Андреевич своего друга, знал, чем прельстить его сложносоставную, жаждавшую множества впечатлений, желавшую полнокровной жизни душу. Трудно сказать с определенностью, какую действительно роль в выборе Сперанским светского поприща сыграло это, весьма длинное — в 40 строк — стихотворение Петра Словцова. Известно, однако, что Михайло Михайлович долго хранил это стихотворение у себя, а однажды дал переписать его своим ученикам.

Но как бы то ни было, сила, толкнувшая молодого поповича в омут политики, была и в нем самом. Она, эта сила, коренилась в той жажде деятельности, что по мере его духовного созревания все более и более охватывала его существо. Он знал, что выбираемый им жизненный путь есть путь через бурю, через лишения и постоянное беспокойство. О том, что поприще государственной службы — это сфера нелегких испытаний, писал в своем стихотворении и Словцов. Но в том-то вся и суть, что именно в буре, именно в беспокойстве видел молодой Сперанский основное условие счастья, покой же считал состоянием, мертвящим человеческую душу. Ровно за год до момента, в который пришлось ему делать главный в своей жизни выбор, он записал, размышляя о счастии: «Человек, который ничем не занимается, есть существо уединенное, оставленное в бездействии среди всеобщего движения Вселенной; его покой есть дикое молчание пустыни. С другой стороны, сколько надобно дать сердцу толчков, чтоб привесть к нему минутное сопряжение приятных потрясений».

В самообразовании своем и размышлениях молодой Сперанский рано вышел за рамки религиозных вопросов и проблем нравственного бытия человека. Будто под действием некоего внутреннего инстинкта он с необычайной для семинариста силой заинтересовался существующим в человеческом обществе механизмом властвования, средствами управления людьми. В одном из его сочинений, датированном 1792 годом, имеются примечательные на сей счет слова: «Когда великая ось правления обращается в наших очах, когда сильные пружины, дающие движение политической системе, перед нами открыты, когда в обществе нет ничего столь великого, чтобы от нас было скрыто, на какую высоту не всходят тогда наши понятия?» «Какое зрелище для народа, — записывал попович в сентябре 1795 года, — увидеть в первый раз сии могущественные пружины, кои несколько веков непостижимым для него образом двигали его волю! узреть сие великое колесо правления, что, обращаясь на таинственной оси, возвышало и низвергало с собою счастие миллионов!»[1]

В своем прошении об увольнении из Санкт-Петербургской семинарии, поданном 20 декабря 1796 года митрополиту Гавриилу, Сперанский указал, что «находит сообразнейшим с своими склонно-

[1] *Сперанский М. М.* Досуги (сентябрь 1795 года) // Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому. СПб., 1862. С. 128.

стями и счастием вступить в статскую службу». Владыка не захотел отпускать способного молодого преподавателя из духовной семинарии и стал убеждать его не выходить в светское звание, а вступить в монашество, через которое ему, преподавателю лучшей в России духовной семинарии, открывалось в близком будущем архиерейство.

Неизвестно, сколько времени пришлось бы Сперанскому ждать перехода из духовного ведомства в «статскую службу», если бы не вмешался в его судьбу император Павел I. Читая тексты документов, представляемые генерал-прокурором Куракиным, его величество обратил внимание на их изящный стиль и чистоту слога, логичность и ясность их содержания. «Кто это у тебя так прекрасно сочиняет бумаги?» — спросил он у Куракина. Генерал-прокурор назвал Сперанского и сообщил, что очень желал бы перевести его из духовного ведомства в свою канцелярию, но «это выходит из обыкновенного порядка», да и митрополит, «дорожа Сперанским, не хочет его уступить». «А желает к тебе перейти на службу Сперанский? — задал вопрос Павел. «Очень желает!» — поспешил ответить Куракин. «Так я объяснюсь с митрополитом, и все это дело улажу к общему удовольствию и к пользе общей», — сказал тогда император.

24 декабря 1796 года митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский Гавриил подписал Сперанскому следующий документ, открывавший ему дорогу «в статскую службу»: «Объявитель сего магистр Михайло Сперанский в Санкт-Петербургской Александро-Невской семинарии в продолжение десяти лет обучал разным наукам, как-то: математике, красноречию, физике и философии, был семинарии префектом и исполнял должность свою со всею возможною ревностию и успехом, ведя себя наилучшим образом. Ныне же по желанию и просьбе уволен для вступления в статскую службу, в засвидетельствование чего и дан ему за подписанием моим и печатию сей аттестат».

На самом деле преподавательская деятельность Сперанского в Санкт-Петербургской семинарии длилась менее пяти лет. Митрополит Гавриил сознательно преувеличил в два раза срок его работы в семинарии. Эта уловка понадобилась для того, чтобы дать возможность способному поповичу начать государственную службу с более высокой ступени в иерархии статских чинов.

2 января 1797 года М. М. Сперанский был зачислен в канцелярию генерал-прокурора на должность делопроизводителя с чином титулярного советника.

В письме от 26 января 1797 года к архимандриту Новоторжского Борисоглебского монастыря Евгению Михайло следующим образом описал ситуацию, возникшую с ним после сделанного ему князем Куракиным предложения вступить в гражданскую службу: «Живя в его доме, с одной стороны, я не чувствительно привыкал к свету и его необходимой суете; с другой, имея всегда готовое пристанище, я смеялся вздору и лишним *забобонам*. Таким образом, растворяя уединение рассеянностию и одни мечты меняя на другие, я прожил до самой перемены в правлении. Князь Алексей Борисович, сделавшись генерал-прокурором, милостивейшим образом принял меня в свою канцелярию титулярным советником и на 700 р. жалованья. Таким образом, весы судьбы моей, столь долго колебавшись, наконец, кажется, приостановились; не знаю, надолго ли; но это и не наше дело, а дело Промысла, в путях коего я доселе еще не терялся».

Так произошел в судьбе Сперанского поворот, определивший всю его дальнейшую жизнь и давший русской истории одного из самых выдающихся и загадочных деятелей. С этого момента будто в каком-то бурном потоке понесет Сперанского, так что и на мгновенье застыть, оглянуться, задуматься долго не представится ему подходящего случая. Впрочем, и сам он, охваченный угаром государственной деятельности, будет гнать от себя всяческие размышления о собственной судьбе, всякие воспоминания о прошлом. «Кто взял на себя крест и положил руку на рало, тот не должен озираться вспять, — и что, впрочем, озираясь, он увидит? Мечты и привидения, все похоть очес и гордость житейскую». Так напишет он спустя одиннадцать лет, достигнув вершины карьеры, Петру Андреевичу Словцову.

Впоследствии Сперанский не раз будет горько жаловаться на свою чиновную долю и сожалеть о том, что выбрал ее себе. Но тогда, в самый момент выбора и в начале своей чиновной службы, он был полон благих надежд, он чувствовал в себе необыкновенные способности и был уверен, что станет знаменитым, что непременно прославит свое имя какими-нибудь великими свершениями. «Больно мне, друг мой, если смешаете вы меня с обыкновенными людьми моего рода: я никогда не хотел быть в толпе и, конечно, не буду», — высказался он как-то в письме к своему приятелю.

Подобным образом думают и говорят лишь в ту пору человеческой жизни, в которой будущего больше прошедшего, надежд больше разочарований, а веры в собственные силы больше веры во

всесилье обстоятельств. В эту чудесную пору даже предчувствие неудавшейся судьбы, если оно уже есть, пронизано оптимизмом. Ну и пусть не удалась судьба! Разве это плохо, что мы жили не так, как хотели бы себе жить, что многого не успели, что многие наши способности и возможности остались нереализованными? Боже, как беден внутренне тот, кто жил так, как и хотел бы жить, кто все успел, кто реализовал все свои способности! Как же мало он себе хотел! И сколь мало способностей в себе носил!

## *Глава вторая*

# Восхождение

*Он тем и высок, что снизу восходил вверх без подпор и подымался собственною энергиею, своими талантами и достоинством*

**Парфений Чертков.** Из письма М. А. Корфу

*Молодой человек, каковы бы ни были его достоинства, никогда не может возвыситься сам по себе: подобно плющу ему приходится обвиваться вокруг некоего власть имущего или влиятельного человека.*

**Честерфилд.** «Максимы»

Как в России делали карьеру? Безусловно, многих возносили вверх по служебной лестнице знатность, связи родства, богатство или же простой случай. Но к последнему нередко добавлялось и другое — усердие и расторопность в исполнении служебных поручений, ум и талант. Петр I, дав понять своим приближенным, что ничем нельзя угодить ему более, нежели отыскав где-либо способного, талантливого человека, вызвал среди них настоящую «гоньбу» на таланты и способности. Трудно назвать другое время в русской истории, в которое имелось бы столько одаренных людей в государственном управлении, сколько было во время царствования Петра Великого.

Высоко ценила ум и талант императрица Екатерина II. «Когда мне в молодости случалось встретить умного человека, во мне тотчас рождалось горячее желание видеть его употребленным ко благу страны», — заявляла она в своих записках. Несколько патетично звучит данное заявление, но оно вполне правдиво. Уважение к талантам, способность открывать их искушенная в секретах управления людьми государыня считала необходимейшими свойствами правящей особы. Кто не имеет этих свойств, тот не достоин править — таково было ее мнение. И действительно, сотрудников себе она подбирала, как правило, по уму. Незаурядными умственными способностями отличался, например, избранный императрицей в личные секретари Александр Васильевич Храповицкий, который много из

пожалованного ему природою таланта жертвовал Бахусу, но тем не менее делал свое дело с блеском[1].

И все же из всех средств сделать карьеру самым надежным в России во все времена оставалась протекция. Она вполне заменяла собою не только ум, но кажется, даже и саму гениальность — так что если необходимо было дать вступавшему на поприще государственной службы дельный совет, то, без сомнения, должно было бы сказать: «Надейтесь не столько на способности свои, сколько на *протекцию*. Несмотря на все ваши достоинства, старайтесь укрыться под крылышко этой благодетельной волшебницы; если у вас есть *протекция* — вы гений, вы на все способны, вы скоро пойдете вперед, но если у вас *протекции* нет — вы дурак набитый, вы ровным счетом ничего не значите, решительно ничего не знаете, никуда не годитесь, вы никогда не выиграете по службе».

Нельзя сказать, что покровительством со стороны какой-либо высокопоставленной особы в России слишком гордились, однако не особенно это покровительство и скрывали, принимая его как злую необходимость. Рекомендательные письма поступавшим на службу были в моде, но их нередко считали ясным свидетельством бездарности рекомендуемого, отсутствия в нем каких-либо талантов и способностей. Вот образчик типичного для конца XVIII столетия рекомендательного письма. Писано оно Иваном Петровичем Архаровым, братом Николая Петровича Архарова, который занимал в первый год правления императора Павла должность генерал-губернатора Петербурга и славился нечеловеческим усердием в исполнении самых причудливых капризов его величества. «Любезный друг, Петр Степанович! — обращался И. П. Архаров к своему доброму знакомому, столичному сановнику. — Доброго соседа моего сын Николай отправляется для определения в статскую службу. Он большой простофиля и худо учился, а потому и нужно ему покровительство. Удиви милость свою, любезный друг, на моем дураке, запиши его в свою канцелярию и при случае не оставь наградить чин-

[1] Александр Васильевич Храповицкий (1749–1801) состоял в должности статс-секретаря императрицы Екатерины II с 18 января 1782 г. до 2 сентября 1793 г. Иван Иванович Дмитриев писал о нем в своих мемуарах: «Из известных мне современников один только покойник Храповицкий А. В. мог равняться с Сперанским в способностях к письмоводству. Он всегда был готов к работе. Часто, выходя от императора, он садился в так называемой секретарской комнате за стол и начинал писать указ или рескрипт с такою легкостию, как будто излагал что-либо затверженное наизусть, несмотря на то, что вокруг него в пять голосов говорили» (*Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 199).

ком или двумя, если захочешь, — мы на это не рассердимся. Жалованья ему полагать не должно, потому что он его не стоит, да и отец его богат, а будет и еще богаче, потому что живет свиньей». В результате юноша был не только определен на службу, но и с самого начала стал быстро продвигаться по ней, получив в течение ближайших трех лет три чина.

Карьера Сперанского была в начале своем столь же стремительной. Через три месяца после своего вступления в гражданскую службу, а точнее 5 апреля 1797 года, экспедитор генерал-прокурорской канцелярии титулярный советник Михайло Сперанский был возведен в чин коллежского асессора (восьмого класса в Табели о рангах), дававший потомственное дворянство. Еще через девять месяцев — 1 января 1798 года — он стал надворным советником[1]. Спустя восемь с половиной месяцев — 18 сентября 1798 года — коллежским советником[2]. По прошествии пятнадцати месяцев Сперанский был пожалован в статские советники — в чин пятого класса в Табели о рангах. Случилось это 8 декабря 1799 года. Одновременно с этим чином Михайло получил назначение на должность правителя канцелярии Комиссии о снабжении резиденции припасами, которую должен был отправлять, оставаясь на службе в генерал-прокурорской канцелярии[3]. Председателем данной Комиссии был наследник престола ве-

---

[1] Текст указа от 1 января 1798 г. о пожаловании Сперанскому данного чина опубликован в издании: Сенатский архив. Т. 1: Именные Указы императора Павла I. СПб., 1888. С. 338 («Санкт-Петербург. Указ НАШЕМУ Сенату. Во уважение особливых трудов, усердия и прилежности чинов, при НАШЕМ генерал-прокуроре находящихся, всемилостивейше жалуем: надворного советника Голикова в коллежские советники; коллежских асессоров Котельникова, Сперанского, Баскова и Сандунова в надворные советники»).

[2] По Высочайшему указу от 18 сентября 1798 г. чин коллежского советника получил и надворный советник Н. Н. Сандунов, который так же, как и Сперанский служил в генерал-прокурорской канцелярии. Однако для того, чтобы достигнуть этого чина, стоявшего шестым в Табели о рангах, Сандунову, окончившему юридический факультет Московского университета в 1784 г. с золотой медалью, пришлось служить четырнадцать лет: сначала в должности преподавателя университетской гимназии и секретаря куратора Московского университета М. М. Хераскова, с 1791 г. — в канцелярии при генерал-губернаторе «возвращенных от Польши губерний и областей» Т. И. Тутолмине, и с 1796 г. — в канцелярии генерал-прокурора Куракина, занимаясь делами Комиссии по составлению законов. Императорским Указом от 18 сентября 1798 г. Сандунову было предписано «быть обер-секретарем шестого департамента Сената».

[3] Текст Указа императора Павла Сенату от 8 декабря 1799 г., опубликованный в газете «Петербургская старина» в номере за 3 января 1800 г., гласил: «Правителем канцелярии о снабжении резиденции припасами всемилостивейше повелеваем

ликий князь Александр Павлович, а ее членами генерал-прокурор и Санкт-Петербургский военный губернатор[1].

Таким образом, менее чем за три года попович из домашнего секретаря знатного вельможи превратился в видного сановника Российской империи, достигнув чина, соответствовавшего должности вице-губернатора, и располагавшегося в Табели о рангах на уровне ниже чина генерал-майора, но выше полковника в сухопутных войсках[2]. По правилам производства в чины, для возведения в чин статского советника необходимо было выслужить в предыдущем чине пять лет.

Но не сама по себе быстрота продвижения Сперанского по служебной лестнице достойна здесь настоящего удивления — восемнадцатый век знал и более скорые карьеры. Удивительно другое: как, каким образом удалось ему, поповичу, столь стремительно вознестись?

Имея перед глазами картину карьерного взлета молодого Сперанского, вполне естественно предположить, что он пользовался постоянным покровительством одной знатной особы — князя Алексея Борисовича Куракина, например. Но в том-то все и дело, что не было за его спиной постоянного всемогущего покровителя.

Князь Куракин исполнял должность генерал-прокурора более полутора лет, но затем, оказавшись в немилости у Павла I, был 8 августа 1798 года смещен с этого места. В именном указе императора, данном в этот день, говорилось: «Господин действительный тайный советник и генерал-прокурор князь Куракин 2[3]. Для облегчения вашего от некоторой части порученных вам дел, вследствие прошения, от вас к НАМ присланного, за благо рассудили МЫ повелеть действительному тайному советнику графу Завадовскому быть главным директором ассигнационного банка, а тайному советнику Лопухину НАШИМ генерал-прокурором; оставляя же вас, по-прежнему

быть коллежскому советнику Сперанскому, жалуя его в Наши статские советники и повелевая оставаться вместе при делах генерал-прокурора на прежнем основании». См. также: Сенатский архив. Том 1: Именные Указы императора Павла I. СПБ., 1888. С. 570.

[1] См. соответствующую запись в «послужном списке» М. М. Сперанского: НИОР РГБ. Фонд 637. Ед. хр. 732. Л. 1.

[2] Военным чином, стоявшим в Табели о рангах ниже чина генерал-майора, но выше чина полковника, являлся в России до конца XVIII в. чин бригадира.

[3] Князем Куракиным-Первым считался старший брат Алексея Борисовича — Александр Борисович.

при вспомогательном банке для дворянства и удельных имений департаменте, указали присутствовать вам в НАШЕМ Сенате. МЫ уверены впрочем, что вы усердною вашею службою всегда будете достойны НАШЕГО благоволения». Спустя полтора месяца — 21 сентября — Павел уволил князя Куракина и от всех других должностей и приказал ехать на жительство в свое имение[1]. Сперанский готов был отправиться в ссылку вместе с опальным сановником, но Алексей Борисович отказался от этой жертвы, не желая губить карьеру способному молодому чиновнику, которого сам завлек на государственную службу.

Назначенный на должность генерал-прокурора вместо князя Куракина Петр Васильевич Лопухин пробыл на ней менее года — 7 июля 1799 года император Павел издал Именной Указ Сенату, в котором объявил: «Снисходя на неоднократные к НАМ просьбы НАШЕГО генерал-прокурора князя Лопухина о увольнении его, по болезням, от должностей, на него НАМИ возложенных, МЫ всемилостивейше увольняем его от всех дел».

Новым генерал-прокурором стал Александр Андреевич Беклешов[2], но и он недолго занимал эту должность. 8 февраля 1800 года

---

[1] В своих заметках о генерал-прокурорах, при которых служил Сперанский, Модест Корф писал об увольнении князя Куракина со всех должностей, что «к опале его было столь же мало основания, как прежде, ко взысканию его милостию». Биограф Сперанского ссылался при этом на слова Д. П. Позняка, в то время сенатского секретаря, который рассказывал, что, по слухам, ходившим в Санкт-Петербурге, «Павел огорчился тем, что Куракин взял в привычку, неся к нему доклад, заходить сперва к императрице и к Екатерине Ивановне Нелидовой. Подозрительный император вообразил себе, что подносимые ему бумаги представляются туда *на предварительную апробацию*». Евграф Федотович Комаровский привел в своих записках другую версию отставки А. Б. Куракина с должности генерал-прокурора, высказав мнение о том, что Куракин пал жертвой гонений, которые император Павел начал летом 1798 г. «на многих придворных тех, а особливо на тех, к коим императрица Мария была милостива». Князь Куракин был в числе этих лиц. По словам Комаровского, «причиною сих гонений и перемен полагали начинавшийся фавер Кутайсова..., а вместе с тем и рождавшаяся страсть к дочери Лопухина много способствовала таким действиям императора. Лопухин скоро потом выдал одну из своих дочерей за сына Кутайсова, и тем составилась партия, которая не могла быть в духе императрицы Марии Федоровны».

[2] В Высочайшем Именном Указе Сенату от 7 июля 1799 г. о назначении нового генерал-прокурора говорилось следующее: «Всемилостивейше повелеваем бывшему киевскому военному гебернатору и ныне в свите НАШЕЙ находящемуся, генералу от инфантерии Беклешову быть НАШИМ генерал-прокурором, оставляя его в нынешнем его чине генерала от инфантерии, с положенным по оному жалованьем и с ношением мундира».

его сменил Петр Хрисанфович Обольянинов[1]. Одновременно с генерал-прокурорами менялись, как в чехарде, и правители их канцелярии.

Сперанский не оставил нам своих впечатлений об атмосфере, в которой проходили первые годы его государственной службы. Мы можем, однако, представить ее себе (правда, лишь в самом общем виде), с помощью свидетельств тех людей, что служили с ним рядом. Иван Иванович Дмитриев, пришедший на службу в одно время со Сперанским и служивший поначалу в одном с ним ведомстве, так описывал существовавшую там атмосферу: «Со вступлением моим в гражданскую службу я будто вступил в другой мир, совершенно для меня новый. Здесь и знакомства, и ласки основаны по большей части на расчетах своекорыстия; эгоизм господствует во всей силе; образ обхождения непрестанно изменяется, наравне с положением каждого. Товарищи не уступают кокеткам; каждый хочет исключительно прельстить своего начальника, хотя бы то было на счет другого. Нет искренности в ответах: ловят, помнят и передают каждое неосторожное слово». О Сперанском Дмитриев писал с теплотою: «Я любил его, когда он еще был экспедитором в канцелярии генерал-прокурора, находя в нем более просвещения, благородства и приветливости, нежели в его товарищах»[2].

Атмосфера, в которой проходили первые годы государственной службы Сперанского, усугублялась в значительной мере еще и самодурством его начальников. Каждый из них имел крутой нрав, обладал характером, весьма обременительным для подчиненных. О том, каким был, например, Алексей Борисович Куракин, можно судить по описаниям, которые оставили в своих мемуарах его современники. Эти описания, хотя и сделаны различными людьми, сходны в главных чертах. «Его развратная жизнь, мотовство, хлопотливость без пользы, проекты неисполнимые и пустые, недостаток образования, хотя при уме от природы остром, — писал о князе Куракине А. Ф. Воейков, — делали его тяжелым для подчиненных и несправедливым, при благородном стремлении к правосудию. Одним

---

[1] Указ императора Павла Сенату от 8 февраля 1800 г., увольнявший Беклешова, был похож на указ об увольнении Лопухина. В нем говорилось: «Снисходя на двукратные к НАМ просьбы от генерал-прокурора Беклешова о увольнении его, за болезнями, от должностей его, во уважение оным МЫ его отставляем от службы».

[2] *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. С. 199.

из преобладавших свойств князя, после придворной угодливости, был самый бюрократический формализм, и он всегда ставил внешнее выше внутреннего, форму выше существа»[1].

Вступая на императорский престол, Павел I имел намерение обуздать произвол чиновников, установить основанный на законах порядок во всех сферах общественной жизни — в первую очередь в аппарате управления страной. И надо заметить, кое-что ему удалось сделать в этом направлении. Определенные успехи Павла в деле наведения порядка в российской администрации признавали даже люди, испытывавшие стойкую неприязнь ко всему, что было связано с этим императором. Так, Адам Чарторижский[2] отмечал впоследствии в своих мемуарах, что генерал-губернаторы и губернаторы стали после восшествия Павла на престол «более обращать внимания на свои обязанности, изменили тон в обращении с подчиненными, избегали позволять себя слишком вопиющие злоупотребления»[3], что в Павлово царствование «русские должностные лица менее злоупотребляли властью, были более вежливы, более сдержаны в своих дурных наклонностях, меньше крали, отличались меньшей грубостью»[4]. «Надобно сказать правду, — признавал в своих записках Д. П. Рунич, — что все отрасли управления были при Павле значительно упорядочены по сравнению с прежним. Продажность должностных лиц не могла быть искоренена сразу; по крайней мере, правосудие не продавалось с публичного торга»[5].

В последние годы правления императрицы Екатерины II многие сановники и чиновники могли позволить себе неделями, а то и месяцами вообще не появляться на работе. А уж о том, чтобы вовремя приходить в свои кабинеты и канцелярии, они не помышляли и вовсе. Ситуация резко переменилась после того, как императором стал Павел. «В канцеляриях, департаментах, в коллегиях везде на столах свечи горели с 5 часов утра; с той же поры в вице-канцлерском доме,

---

1 Цит. по: Заметки барона М. А. Корфа о генерал-прокурорах, при которых служил Сперанский // Русская старина. 1902. Т. 109. № 2. С. 292.

2 Адам Ежи Чарторижский (1770–1861), ближайший сподвижник Александра I, в 1804–1806 годах — министр иностранных дел. Поляк. На русской службе и при императорском дворе находился с 1795 г.

3 Мемуары Адама Чарторижского и его переписка с императором Александром I. Том 1. М., 1912. С. 120.

4 Там же. С. 212.

5 Записки Д. П. Рунича // Русское обозрение. 1890. № 8. С. 656.

что был против Зимнего дворца, все люстры и камины ярко пылали, сенаторы в 8 часов утра сидели за красным столом»[1], — вспоминал Ф. П. Лубяновский.

Новый государь желал знать обо всем, что происходило во вверенной ему империи, и заставлял генерал-прокуроров докладывать ему обо всех, в том числе и о самых незначительных, делах. «Павел был много начитан, — вспоминал П. Х. Обольянинов, — знал закон, как юрист, и при докладах вникал во все подробности и тонкости дела. Нередко он спорил с докладчиком. Если по делу кто-либо обвинялся, то Павел оправдывал его или выискивал обстоятельства к извинению преступления; в тяжбах брал сторону того, кому отказывалось в иске; требовал от докладчика указать ему факты в деле или прочитать подлинник бумаги. Словом, он был в полном смысле адвокатом истца или ответчика. Иногда государь вспыхивал и докладчик забывал, с кем имеет дело, так что спор доходил до шума и криков. Однажды *Кутайсов*, во время доклада *Обольянинова*, выбежал от страха из государева кабинета и после спрашивал у *Обольянинова*: «Что у вас происходило? Я думал, что вы подеретесь!» Горе было тому докладчику, который увеличивал преступление обвиняемого, неточно или лукаво излагал дело! Но если докладчик побеждал Павла истиною доводов и брал верх правдивостью взгляда, то император бывал чрезвычайно доволен. «Хорошо, благодарю вас, — говаривал он в таких случаях, — что вы не согласились со мной, а то вам досталось бы от меня!»[2]

Павел I имел достаточно ума и способностей, дабы успешно управлять государством. Была у него и продуманная программа реформ[3]. Многими свойствами своей души, образом политического мышления, неуемной энергией — прямо-таки заряженностью на перемены — он обещал стать великим самодержцем-реформатором. Но неумение Павла найти людей, которые могли стать умными и последовательными исполнителями его предписаний, служить эффективным орудием преобразований, не дало ему возможности осуществить свои замыслы.

---

1 Воспоминания Федора Петровича Лубяновского. М., 1872. С. 94.

2 Рассказы П. Х. Обольянинова об императоре Павле // Русская старина. 1874. Том 11. № 9. С. 165–166.

3 См. об этой программе параграф «Политические и правовые взгляды Павла I» в книге: *Томсинов В. А.* История русской политической и правовой мысли. X–XVIII века. М.: Зерцало, 2003. С. 221–238.

К тому же, вступив на престол в возрасте 42 лет, Павел как будто боялся, что не успеет навести вокруг себя желаемый порядок, и потому стремился переменить все разом, сделать за день то, для чего по самой логике вещей требовались годы или даже десятилетия. Новые указы сыпались из его кабинета сплошным веером — в среднем сорок два в месяц, если судить по содержанию «Полного собрания законов Российской империи». Буквально каждый день предпринималась им какая-нибудь новая мера: что-либо запрещалось, учреждалось или отменялось. Эта чрезвычайная торопливость императора, выливавшаяся зачастую в обыкновенную истеричность, придавала его политике наведения порядка в российском управлении чрезвычайно хаотичный характер. Чиновничество же быстро осознало, что указы и приказы императора Павла вполне позволительно игнорировать — их издается настолько много, что невозможно проверить, приведены они в исполнение или нет. К тому же Павел был весьма переменчив в настроениях, и нередко изданные его капризным величеством указы спустя какое-то время отменялись им. Вследствие этого произвол чиновников, если чем и ограничивался при Павле, то более его собственным высочайшим произволом, чем законами. Но бывало так, что и государево самодурство оказывалось бессильным в борьбе с непослушанием чиновников.

В мемуарной литературе, посвященной правлению Павла I, часто приводится в качестве примера его самодурства факт введения запрета на ношение тех или иных атрибутов одежды. При этом утверждается, что данный запрет был им установлен якобы сразу же по восшествии на престол. «Первый подвиг свой (новый порядок) обнаружил объявлением жестокой, беспощадной войны злейшим врагам государства русского – круглым шляпам, фракам и жилеткам! На другой день человек 200 полицейских солдат и драгун, разделенных на три или четыре партии, бегали по улицам и во исполнение (особого) повеления срывали с проходящих круглые шляпы и истребляли их до основания; у фраков обрезывали отложные воротники, жилеты рвали по произволу и благоусмотрению начальника партии, капрала или унтер-офицера полицейского». Так, предельно язвительно, изложил в своих мемуарных записках историю с введением императором Павлом запретов в одежде А. М. Тургенев[1]. Историк Н. К. Шильдер в своем описании первых дней Павлова царство-

[1] Записки Александра Михайловича Тургенева // Русская старина. 1885. Том 47. Сентябрь. С. 381. Александр Михайлович Тургенев (1772–1863), чиновник,

вания всецело доверился этим мемуарным фантазиям[1]. Между тем сохранившиеся тексты высочайших указов императора Павла I дают иную картину. *Во-первых*, запрет на ношение фраков и жилетов был введен Павлом не сразу по восшествии на престол, а год и два с половиной месяца спустя. Изданный 20 января 1798 года императорский приказ гласил: «Воспрещается всем ношение фраков, позволяется иметь немецкое платье с одним стоящим воротником, шириною не менее как в три четверти вершка, обшлага же иметь того цвету, какого и воротники, а сертуки, шинели и ливрейные слуг кафтаны остаются по настоящему их употреблению. Запрещается носить всякого рода жилеты, а вместо оных немецкие камзолы»[2]. *Во-вторых*, шляпы носить совсем не запрещалось. В приказе, изданном императором Павлом 3 апреля 1798 года, говорилось: «Как носка перьев на шляпах принадлежит единственно чинам придворнаго штата, то и запрещается лакеям и кучерам партикулярных людей носить на шляпах перья и плюмажи, а также банты какого бы то цвету не было»[3]. *В-третьих*, эти Павловы указы, как и многие другие, попросту *не исполнялись*. В связи с этим в сентябре 1800 года военный губернатор Санкт-Петербурга Н. С. Свечин приказал составить выписку из государевых приказов, изданных в 1798, 1799 и 1800 годах, касающихся «наблюдений по части полиции», и предписал полиции объявить содержащиеся в ней высочайшие повеления «к непременному исполнению всем живущим здесь в столице с подписками и строгим при том подтверждением»[4].

В этой атмосфере, в которой самодурство императора ограничивалось своеволием чиновников, протекали первые годы государственной службы Сперанского. У него не было среди знатных сановников постоянного покровителя, этого обязательного условия быстрого движения вверх по служебной лестнице. Чтобы сделать успешную карьеру, Михайло должен был поэтому обращать в покровителя каждого нового своего начальника. А это была неимоверно трудная задача — уже в силу того, что начальники у Сперанского ме-

---

в 20-е гг. XIX в. губернатор одной из сибирских губерний. Свои мемуары писал в 1848 г.

1 См.: *Шильдер Н. К.* Император Павел Первый. М., 1996. С. 279.

2 Выписка из высочайших приказов, касательно наблюдения по части полиции // Русская старина. 1884. Том 41. № 2. С. 371.

3 Там же. С. 372.

4 См.: Там же. С. 371–373.

нялись с быстротою необыкновенной, и каждый из них имел особые, специфические привычки, предпочтения, вкусы, и все это надобно было открыть, угадать, всему этому необходимо было потрафить, угодить. Как мог осилить эту задачу молодой человек, только начинавший чиновную жизнь, никакого еще опыта службы не имевший, совсем не искушенный в чиновных интригах, секретах угождения начальству? Однако же факт налицо: каждый новый начальник Сперанского будто под воздействием гипноза спешно превращался в верного и преданного его покровителя. Сам Михайло впоследствии рассказывал: «При всех четырех генерал-прокурорах, различных в характерах, нравах, способностях, был я, если не по имени, то на самой вещи, правителем их канцелярии. Одному надобно было угождать так, другому иначе; для одного достаточно было исправности в делах, для другого более того требовалось: быть в пудре, в мундире, при шпаге, и я был — всяческая во всем».

И в дальнейшем фактическое влияние Сперанского на ход государственных дел будет превышать рамки его должности. Его современники непременно будут выделять в нем сознательное старание и высокое умение приспосабливаться к положениям, характерам, вкусам различных людей, с которыми входил он в соприкосновение. Источником этого свойства его натуры сочтут обыкновенную угодливость и бесхарактерность. В Сперанском усмотрят качество, прямо противоположное доктринерству, но не менее пагубное, — отсутствие твердых собственных убеждений. И поскольку при всем том в уме и дарованиях государственного деятеля отказать ему будет невозможно, возникнет мнение о противоречивости его характера.

***Из дневника барона (впоследствии графа) М. А. Корфа. Запись от 28 октября 1838 года:***

*«Отдавая полную высокую справедливость его уму, я никак не могу сказать того же об его сердце. Я разумею здесь не частную жизнь, в которой можно его назвать истинно добрым человеком, ни даже суждения по делам, в которых он тоже склонен был всегда к добру и человеколюбию, но то, что называю сердцем в государственном или политическом отношении — характер, прямодушие, правоту, непоколебимость в избранных однажды правилах. Сперанский не имел (я говорю уже, к сожалению, как о былом и прошедшем) ни характера, ни политической, ни даже частной правоты».*

Многим своим современникам Сперанский показался именно таким, каким обрисован он Модестом Корфом в приведенной выше дневниковой записи. И мало кто воздержался от осуждения его. Странная вещь: люди с великим трудом переносят в своем общежитии человека с непоколебимыми, навсегда устоявшимися убеждениями и в то же самое время проникаются антипатией к любому, кто в поведении своем показывает их отсутствие. Не потому ли происходит это, что жизнь строго по правилам, невзирая на обстоятельства, и жизнь с полным растворением в обстоятельствах одинаково для общества глупы, вредны, безнравственны? Кто-то сказал: понять — значит простить. Сперанский, был бы он понят, безусловно, оказался бы оправданным. Но в свойствах человеческой жизни заложено нечто такое, что не дает живущим понять друг друга. Быть может, это постоянная ее текучесть, не позволяющая застыть хоть на мгновенье и окинуть спокойным, не торопящимся взором окружающих. Быть может, это постоянная погруженность в жизненный поток и слишком тесная привязанность ко всему, что составляет человеческое бытие, и вследствие этого невозможность отдельному человеку взглянуть на себя и других как бы со стороны, посторонним взглядом.

Внимательный и непредубежденный подход к Сперанскому не позволил бы, думается, приписать ему банальную угодливость или бесхарактерность, но обнаружил бы в его поведении определенную закономерность — в конечном счете, то, что зовется жизненной философией. Фактор этот — как ни называй его: жизненной ли философией или же попросту мировоззрением — часто упускается из виду в размышлениях о судьбе конкретного человека, а между тем именно из него вытекает большинство человеческих поступков и, следовательно, именно в нем, как правило, настоящая разгадка последних. Внешне противоречивая жизнь — жизнь, состоящая сплошь из поступков, противоположных один другому, — может быть такой только потому, что человек в различных обстоятельствах твердо следовал главным своим личностным потребностям, упрямо хотел остаться самим собой, слишком старался соблюсти тот закон, по которому живет его душа, строится весь его внутренний мир — закон, составляющий внутреннюю логику его личности. Модест Корф в своей биографии Сперанского прошел мимо его жизненной философии, описал лишь внешние обстоятельства его жизни, и скорее всего как раз поэтому выдающийся русский государственный деятель, рядом с которым довелось ему пребывать в службе на протяже-

нии почти четырнадцати лет и судьбу которого он впоследствии специально изучал, остался для него, в сущности, человеком непонятным и странным. Впрочем, имея пред собою судьбу, столь полную разнообразных и загадочных событий, резких поворотов и метаморфоз, судьбу по обстоятельствам своим так редкостно драматичную и все же совершенно законченную, каковой именно и выдалась судьба Сперанского, очень легко за этой внешней жизнью, что сложилась из поступков и случилась на миру, не углядеть жизни внутренней — жизни дум, эмоций, чувств.

Чем более развит у человека внутренний мир, тем труднее жить ему в мире внешнем. Какими бы ни являлись окружающие обстоятельства, как бы ни менялись они, всегда таятся в них для человеческой личности силы творящие и губящие. Многое в судьбе ее, если не все, зависит поэтому от того, как построит она свои взаимоотношения с внешними обстоятельствами. А это проблема, и не простая! Кем ни был бы человек, но если одарен он личностью великой, не избежать ему необходимости снова и снова решать эту проблему.

Вступивший на поприще государственной службы Михайло Сперанский был проникнут чувством, обыкновенно не свойственным молодости, а именно: безверием в возможность человеческой личности превозмочь обстоятельства, перестроить что-либо в них по собственному усмотрению, быть независимой, самостоятельной. Существо бессильное, неспособное справиться ни с личными страстями и пороками, ни с общественным злом, обреченное лишь на покорность судьбе — таков человек в представлении молодого Сперанского.

***Из письма М. М. Сперанского к архимандриту Новоторжского Борисоглебского монастыря Евгению от 23 февраля 1797 года:***

*«Нужно, очень нужно иметь высшее понятие о предустановлении человека, о звании его в будущее, чтоб не упасть под бременем зол, человека давящих. В недостатке утешения невежда опирается на древние столбы суеверных надежд.*

*Ни по летам, ни по обстоятельствам моим не имея причин жаловаться на судьбу свою, я привык однакож представлять себе людей младенцами, коих счастие здесь на земли состоит в перемене игрушек и коих огорчения по большей части происходят от щелчков, которые они сами дают друг другу. Счастлив, кто может больше их давать, нежели сколько принимает».*

Себя Михайло также представлял существом бессильным перед внутренними пороками и внешним злом. «*Я — бедный и слабый смертный*», — записывал он в свою заветную тетрадь.

Данное ощущение Сперанский пронесет через всю свою жизнь. Находясь в довольно зрелом уже возрасте, он со спокойной твердостью напишет: «Провидение нас водит как детей на ленте и только для опыта дозволяет иногда нам обжечься или уколоться». В другой же раз станет уверять, что человек есть не что иное, как кусок глины, которой дают разные формы, что в покорности, гибкости и мягкости состоит все его достоинство и предназначение. А всякий ропот с его стороны относительно окружающих обстоятельств является бунтом против Провидения. Как же вошло, как вселилось в Сперанского столь тоскливое воззрение на роль человека в мире?

Появись оно у Сперанского лишь на склоне лет, мы сочли бы горький личный опыт главнейшим здесь источником и причиной и были бы правы безусловно. Но поскольку такое воззрение возникло в нем еще в молодости и дальнейшей судьбою его лишь укреплялось, нам ничего не остается, кроме как указать на ту общественную атмосферу, в которой взрастал духовно молодой Сперанский. Не она ли главная виновница появления в нем безверия в возможность человека быть сильнее обстоятельств? Ведь живший в те времена молодой Николай Карамзин проникнут был таким же настроением. «Предадим, друзья мои, предадим себя во власть Провидению!» — призывал он в письмах из Франции в 1790 году.

Жили в ту пору, однако, и те, кто исповедовал противоположное. Но действиями своими они, казалось, лишь доказывали бессилие человеческой личности перед обстоятельствами. Какую решимость сломить иго последних носили в себе молодые французские революционеры! «Обстоятельства непреодолимы только для тех, кто отступает перед могилой», — твердил Сен-Жюст. И что же? Раздули пламя... Но сами в нем и сгорели. Не так ли? Великие надежды на счастье, добродетель и вольность породило восемнадцатое столетие, но как будто лишь для того, чтобы погубить их. «Столетье безумно и мудро», — напишет о нем Александр Радищев и, пронзенный чувством бессилия перед обстоятельствами, добровольно покинет поле сраженья с ними — свою собственную жизнь.

Сомнений нет в том, что перестать жить — надежное средство остаться не побежденным обстоятельствами. Но единственное ли это средство? «Чтобы быть сильным, надо быть как вода. Нет препятствий — она течет; плотина — она остановится; прорвется пло-

тина — она снова потечет; в четырехугольном сосуде она четырехугольна, в круглом — кругла. Оттого, что она так уступчива, она нужнее всего и сильнее всего». Не таится ли в этой древней китайской поговорке подходящее решение?

В свое время записал ее для себя Лев Толстой. Существует закон, по которому в книгах замечается или понимается лишь то, что первоначально впитано из действительной жизни. Гениальный наш писатель-философ прежде осознал выраженную в приведенной поговорке истину собственным жизненным опытом. В возрасте 29 лет он занес в дневник такую вот запись: «Прошла молодость! Это я говорю с хорошей стороны. Я спокоен, ничего не хочу. Даже пишу с спокойствием. Только теперь я понял, что не жизнь вокруг себя надо устроить симметрично, как хочется, а самого надо разломать, разгибчить, чтоб подходить под всякую жизнь». Михаил Пришвин, писатель, сумевший сохранить оригинальность своей русской личности во времена, не терпевшие никакой оригинальности, особливо личностной, в конце своей жизни признался: «Моя задача была во все советское время приспособиться к новой среде и остаться самим собой. Эта задача требовала подвига...»

Михайло Сперанский в свое время, в другую эпоху русской истории, в ином общественном положении, нес такое же бремя. В одном из его писем есть признание, удивительно похожее на пришвинское: «*Наука различать характеры и приспособляться к ним, не теряя своего, есть самая труднейшая и полезнейшая в свете. Тут нет ни книг, ни учителей; природный здравый смысл, некоторая тонкость вкуса и опыт — одни наши наставники*». Не в этих ли словах Сперанского разгадка той черты его личности, которую современники его и биографы назвали угодливостью и бесхарактерностью?

Каким образом можешь ты в разнообразных обстоятельствах, среди множества различных людей остаться самим собой, сохранить в целости все, чем наполнен сосуд души твоей, — все то, что собрал ты в себя по капле из чужого, окружающего тебя, но считаешь исключительно своим? Будешь в недвижимости пребывать — застоится духовное в тебе содержимое, заплесневеет, испортится. Будешь двигаться, невзирая на обстоятельства и окружающих людей — не избежишь жестоких с ними столкновений, от которых расплескается сосуд души твоей, опустеет. Сперанский не отказывался от своего «я», приспосабливаясь к окружающим, — напротив, именно это приспосабливание позволяло ему оставаться самим собой в самых вредных обстоятельствах.

В определенной степени это свойственное Сперанскому стремление подлаживаться, приспосабливаться к характерам людей проистекало у него также из одной, с ранних лет доминировавшей в нем душевной склонности, которую находят обыкновенно присущей лишь женщинам и каковая выражается в желании нравиться окружающим, вызывать у них доброе к себе отношение, симпатию. Человек по характеру угодливый в усердии угодить своим начальникам, не колеблясь, жертвует симпатией своих товарищей. Нелюбовь окружающих — слабое препятствие для того, чья главная цель понравиться начальству. Сперанский всегда хотел нравиться *всем* — и товарищам своим, и начальникам. И он *умел* нравиться всем — во всяком случае, в первые годы своей чиновной жизни. Это умение Михайло сознательно вырабатывал в себе и совершенствовал. «Счастлив тот, кто имеет небесное свойство нравиться всем врожденной прекрасной юностью души, врожденным младенческим незлобием и той очаровательной прелестью врожденного миловидного обращения со всеми, которое так близко влечет к себе сердца всех, что каждому кажется, как бы он всем им родной брат. Но в несколько раз счастливее тот, кто, победив в себе все неудержимые стремления, приобрел эту миловидную детскую простоту и невыразимую прелесть ангельского обращения с людьми, которых не терпела вначале его пред всеми возвышенная природа. Неисчислимо более может он принести добра и счастья в мир, чем тот, кто получил все это от рожденья, и влияние его на людей неизмеримо могущественней и обширней»[1] — эти слова Сперанского многое объясняют в его поведении.

«Наука различать характеры и приспособляться к ним, не теряя своего», с самого начала легко далась ему в немалой степени благодаря незлобивому, уравновешенному характеру, семинарскому воспитанию, но более всего благодаря сильному от природы уму. А давшись легко, она, эта «труднейшая» наука, увлекла его, как увлекает какая-нибудь азартная игра. Она и на самом деле была особого рода азартной игрой. Разгадать тот сложный ребус, который представляет собою твой новый начальник, изучить его натуру незаметно-неприметно для него самого, найти в многозвучии его характера заветную струну и потом исторгнуть из себя звук, подобный ее звуку, — зазвучать ей в унисон и звучать так громко,

[1] Выписки из неизданных сочинений графа Сперанского // НИОР РГБ. Фонд 74, Н. В. Гоголя. К. 4. Ед. хр. 48.

чтобы услышал он твое звучание, почувствовал в тебе родной для себя инструмент, — это занятие не может не быть захватывающим. Оно в чем-то сродни охоте, где ты, именно ты — ловец-охотник, а начальник твой — твоя добыча. Он обманут, он пойман тобою, сам того не подозревая.

Успех в этой азартной игре много способствовал быстрому продвижению Сперанского вверх по лестнице чинов. Однако вряд ли в то время карьера составляла в ней главную его цель — то, к чему он стремился. Вступая в гражданскую службу, Михайло не мог ставить своей целью скорый выход в большие чины, хотя бы уже потому, что он, сын простого сельского священника, не имел особых оснований надеяться на такое достижение. Он мог лишь мечтать о высоких чинах, но если и мечтал, то трезвый скептический расчет неизбежно брал в нем верх над мечтою. Даже и тогда, когда в противовес всем трезвым расчетам чины пошли к нему один за другим непрерывной чередой, они не стали для него самоцелью. Множество разных свойств гнездились в натуре молодого Сперанского, но не нашлось в ней места карьеризму. В пору самого быстрого возвышения в чинах высокие положения так и не приобрели в его глазах того ореола святости, что присущ нормальному карьеристу. Более того, не на высокие и низкие делил он положения, занимаемые в обществе людьми.

***Из письма М. М. Сперанского к П. А. Словцову от 17 марта 1798 года:***

*«Поверь мне: вещи блестят только издали; вблизи все они почти равны, то есть все исполнены суетности и вздорных мечтаний, с тем только различием, что есть в свете положения, не требующие ни перелому совести, ни подрыву силам душевным; положения, сообразные с простотою доброго сердца».*

Можно, кажется, с уверенностью утверждать, что государственная служба привлекла поначалу Сперанского в большей степени не карьерой, не возможностью достичь высокого положения в обществе, но чем-то совсем иным. Будь Михайло карьеристом, не отказался бы он от духовного звания, не покинул бы сферу церкви, в которой именно и мог по-настоящему рассчитывать на скорый взлет, — высокий сан, а следовательно, и всевозможные блага и почести. Ко времени своего вступления в гражданскую службу Сперанский успел

уже почувствовать в себе незаурядные способности — в этом хорошо помогли ему своими похвалами его учителя и товарищи, — но он не смог еще определить сколь-нибудь точно сферу и образ приложения своих способностей. Не удивительно поэтому, что главные душевные стремления его носили тогда довольно неопределенный характер. Не имея понятия о том, где и как сможет он в полной мере реализовать заложенные в него природой таланты, Сперанский стремился просто-напросто к более свободной, более интересной, многогранной, нежели прежде, жизни — жизни, которая даст ему новые впечатления, новые возможности действовать, в которой не будет он стеснен в выборе дальнейшей своей судьбы. Такой жизнью ему, затворнику семинарских стен, показалась тогда жизнь чиновника на гражданской службе.

Как же был разочарован он, когда окунулся в ее омут с головой! И разочарован именно скукой. Чиновничья жизнь явилась ему такой же скучной, как и жизнь монашеская. Не прошло и двух месяцев со дня вступления Сперанского в гражданскую службу, как в письмах его появились жалобы. Давнему своему наставнику, поверенному заветных своих дум архимандриту Новоторжского Борисоглебского монастыря Евгению написал он 23 февраля 1797 года полное философских размышлений послание, которое закончил словами: «Вы, конечно, простите мне, милостивый государь батюшка, сии философско-меланхолические бредни, если представите меня, обложенного кучами бумаг, в голове моей всякую мысль самородную теснящих и подавляющих».

Как видим, занятия по службе с самого начала произвели на Сперанского тягостное впечатление. Он не нашел в них ничего интересного для себя. Интересной стала для него другая сторона службы. Да, чиновничьи занятия утомительно однообразны, скучны, но сколько вокруг него нового — новых людей, новых характеров, и как сложны в чиновном мире, куда он попал, людские отношения: в каждой фразе, в любом жесте и взгляде какой-то подвох, что-то такое, что необходимо разгадать. «Наука различать характеры и приспособляться к ним, не теряя своего» здесь чрезвычайно трудна, но и по-особому увлекательна. Именно в ней, этой трудной науке, нашел молодой Сперанский для себя увлечение, заменившее до некоторой степени скуку чиновничьих занятий. Много лет спустя он будет щедро делиться со своими близкими знанием людских характеров.

***Из письма М. М. Сперанского к дочери Елизавете от 11 ноября 1816 года:***

*«Ты дивишься, что тебя находят умною. Я точно в том же положении здесь. Это доказывает вообще слабость разума человеческого; одна линия выше обыкновенного, и все кричат: чудо, но при сем надлежит, чтоб сия линия проведена была без всякого притязания и как бы начерталась сама собою; иначе при малейшей нескромности или неосторожном проявлении все самолюбия восстанут, и умница тотчас попадет в дураки. Итак, ум как и все прочее, весьма много зависит от одежды, от внешних форм, в коих он представляется, особливо от кротости и гибкости характера. Это его лучшая Индийская ткань».*

***Ей же, от 12 декабря 1816 года:***

*«Никогда не шути с людьми, не имеющими ни вкуса, ни воспитания. Те, кои, по счастливому твоему выражению, везде видят одну букву Я, не способны понимать ни доброй шутки, ни исправления; это отчаянные люди, коих должно предать судьбе их; и приметь еще: самолюбие всегда сопряжено с некоторым злопамятством и мстительностью. С людьми сего рода один может быть образ поведения: как можно меньше говорить».*

Основа подобного знания человеческих слабостей была заложена в Сперанском именно тогда, когда он, молодой попович, едва вступивший в гражданскую службу, но успевший уже разочароваться в чиновничьих занятиях, стал внимательно наблюдать за окружающими его людьми, подмечая в их поведении характерные черты. Естественно, что главным объектом изучения сделались для него быстро сменявшие один другого начальники. Спустя год после того, как вступил он в чиновный мир, тональность его писем заметно изменилась. Меланхолическо-скептический тон в них уступил место духу бодрости, некоторой даже возвышенности. «Гражданское мое существование также хорошо, начальник мой меня любит, силы и надежды умножаются», — писал Михайло Сперанский 23 декабря 1798 года своему наставнику Евгению, занимавшему в то время должность ректора Тверской духовной семинарии. Ни слова не сказал он о своих служебных занятиях, почему же тогда назвал свое чиновничье существование хорошим? Да потому только, что начальник его к нему благорасположен.

О том, как удавалось Сперанскому завоевывать благорасположение к себе своих начальников, хорошо свидетельствует его первая встреча с назначенным на генерал-прокурорство Петром Хрисанфовичем Обольяниновым. Новый генерал-прокурор в первые же дни после вступления в свою должность сумел чрезвычайно запугать чиновников грубым обращением и площадной бранью по самым незначительным поводам. Многие вынуждены были оставить возглавляемое им ведомство. И вот настал черед Сперанского испытать на себе необузданный нрав нового начальника. В назначенный для приема час он появился в передней Обольянинова. Стал ждать. Наконец его попросили войти в кабинет. Генерал-прокурор сидел за письменным столом спиной к двери, когда вошел его подчиненный и, оборачиваясь назад, конечно же, ожидал узреть раболепного, согнувшегося в низком поклоне, дрожащего от страха и оттого неловкого чиновника. Как же изумлен был он, увидев вместо этого высокого молодого человека, уверенного в себе, с обликом почтительным, но и внушающим почтение. Но что окончательно сразило Обольянинова, так это одежда вошедшего. Был он не в обыкновенном чиновничьем мундире, а в сером французском кафтане, в чулках, завитках, пудре — одним словом, в самом модном для того времени костюме. Пораженный увиденным Петр Хрисанфович сделал то, чего никогда до этого не делал, — предложил своему подчиненному стул и завел с ним совсем не служебный разговор.

По распоряжению императора все чиновники генерал-прокурорской канцелярии, состоявшие при прежнем начальнике — А. А. Беклешове, должны были покинуть ведомство. Новый генерал-прокурор представил к назначению на должность директора своей канцелярии Николая Степановича Ильинского — Павел дал свое согласие, написав на этом представлении: «Быть Ильинскому директором и ему набрать новых чиновников, а беклешовских всех уволить или переместить в другие ведомства». Ильинский отказался от данного назначения, и директором генерал-прокурорской канцелярии стал Павел Христианович Безак. Ему и пришлось выполнять государев приказ об увольнении беклешовских чиновников. Уволены были они все, за исключением помощника директора генерал-прокурорской канцелярии Павла Ивановича Аверина[1] и... Сперан-

[1] Директором же канцелярии являлся при генерал-прокуроре А. А. Беклешове брат Павла Ивановича Петр Иванович Аверин, который был после назначения нового генерал-прокурора уволен вместе с другими канцелярскими чиновниками.

ского. Обольянинов лично ходатайствовал перед Павлом об оставлении Сперанского на службе в своем ведомстве. Чем же угодил генерал-прокурору молодой чиновник? — Не угодливостью, а качеством, прямо ей противоположным, то есть независимостью, чувством собственного достоинства.

Умом ли своим иль природным инстинктом угадал Михайло истину — человеку нравится в окружающем чаще всего лишь то, что гармонирует, соответствует его собственной натуре, — то, в чем он усмотрит, учует частицу самого себя. Покажи, позволь кому-либо почувствовать в себе нечто ему самому свойственное, понятное и оттого любезное, и наверняка ему понравишься. Если же ты молод, а пред тобою стареющий, в пожилых уже годах сановник, постарайся догадаться, каким он был или хотел быть в молодости и покажись ему именно таким — доброе к тебе расположение с его стороны будет обеспечено. Однако, приспосабливаясь к натуре сановника, помни: если переступишь грань, где приспособление переходит в раболепие, все погибло: ты заронишь в натуру эту зерно презрения к тебе, которое, взрастая, вытеснит из нее прежнюю к тебе симпатию.

Ругавший своих современников на чем свет стоит П. Х. Обольянинов был, как будто в отместку, изрядно обруган ими в записках и мемуарах. «Безграмотный», «с ослиным умом», «самодур» — стая подобных эпитетов накинулась на его колоритный образ и обглодала его до неузнаваемости. А между тем начальник и покровитель Сперанского в действительности не был лишен многих положительных качеств. Имел он природное чувство справедливости, любил независимость в суждениях и поступках, склонен был говорить правду. «Безграмотность» его объяснялась тем, что он, выходец из обедневшей дворянской семьи, не получил в молодости хорошего образования. Зато Петр Хрисанфович обладал огромным практическим опытом, приобретенным в результате многолетней службы на самых различных местах и должностях. Содержание инструкций и наставлений, которые Обольянинов давал своим подчиненным, показывает, что он прекрасно знал дело и имел отнюдь не «ослиный», а самый что ни на есть добротный человеческий ум. Вот что говорил он однажды, наставляя чиновника, служившего в высшей полиции: «Я сам управлял этою частию и знаю ее. Не будь шпионом; умей обязанность свою сделать святою. Не суди строго тех, которые невыгодно отзываются о правительстве или о государстве; но рассмотри, из какого побуждения истекают слова их. Часто осуждают потому, что любят. Кому дороги отечество и государь, тот не может

удержаться от упрека, если видит недостатки в правительстве или государстве. Не ищи заговорщиков и опасных замыслов вдали: революции — у трона».

Не менее сложную натуру представлял собою и предшественник Обольянинова Александр Андреевич Беклешов. «Это был русский человек старого закала, с резким и грубым обращением, не знавший французского языка и едва его понимавший, но у которого под очень грубой оболочкой билось правдивое и смелое сердце, сочувствующее страданию ближнего. Его репутация благородного, порядочного человека была общепризнана»[1], — писал о Беклешове в своих мемуарах Адам Чарторижский. Сперанский же, вспоминая о своих начальниках — генерал-прокурорах, отзывался о нем следующими грустными словами: «Беклешов был их всех умнее и всех несчастнее; ему ничего не удавалось»[2].

После восшествия на императорский престол Александра I Беклешов снова займет пост генерал-прокурора, но лишь на полтора года. С образованием в сентябре 1802 года Министерства юстиции данный пост будет совмещен с должностью министра юстиции, которую новый государь отдаст Г. Р. Державину. В 1807 году, когда Александр Андреевич будет главнокомандующим милицейскими формированиями, Сперанский напишет письмо своему сослуживцу по генерал-прокурорской канцелярии Павлу Ивановичу Аверину, в котором скажет о своем отношении к Беклешову: «Я признаюсь вам искренно, мне весьма прискорбно было бы, если бы случай сей привел его в малейшее сомнение о моей душевной к нему преданности, которой не привык я переменять по обстоятельствам, в коих служба и внешние обстоятельства против воли иногда поставляют»[3].

Среди чиновников генерал-прокурорской канцелярии Михайло Сперанский слыл за человека гордого, независимого в суждениях. Правда, гордость его переходила иногда в некоторое высокомерие, а независимость — в излишнюю категоричность. Вместе с тем был он склонен к насмешкам. Никто не мог лучше его подметить в поведении того или иного человека какую-нибудь нелепость с тем, чтобы при случае высмеять ее. В этой свой насмешливости он не щадил даже собственных начальников, то есть тех, которым особенно ста-

---

1 *Чарторижский А.* Мемуары. М., 1998. С. 163.

2 Цит. по: *Успенский М. И.* Могила последнего генерал-прокурора // Русский архив. 1906. Кн. 1. С. 367.

3 Письмо М. М. Сперанского П. И. Аверину (без даты) // Раут. 1852. С. 46.

рался понравиться. В шутки, бросаемые в их адрес, Михайло вливал иной раз столько яда, что они переставали быть доброй насмешкой и превращались в настоящую злую сатиру. Подобным образом он «шутил», естественно, за спиной своих начальников — надеялся, вероятно, на то, что слушатели его будут держать язык за зубами. Надежда эта нередко оказывалась напрасной — среди слушателей, как правило, находился «доброжелатель», который передавал его наполненные ядом шутки непосредственно тому, в чей адрес они отпускались. После каждого такого случая отношение начальника к Сперанскому резко менялось к худшему, отчего Михайло очень страдал. Бывало так, что, испытав на себе гневный выпад своего начальника, молодой чиновник приходил домой и буквально заливался слезами. Тогдашний его приятель Василий Кириллович Безродный вспоминал впоследствии, как горько жаловался ему однажды Сперанский на генерал-прокурора Обольянинова: «Помилуйте, хоть бы сейчас броситься в пруд. Работаю день и ночь, а от Петра Хрисанфовича слышу одни ругательства; сейчас еще, Бог знает за что, разбранил меня в пух и обещал запрятать в казематы на семь сажен под землею. Этого вынести нельзя!»

Проходило, однако, время, и разгневанные на язвительного Сперанского начальники опять становились к нему милостивы, и зачастую еще более, нежели прежде. Михайло удостаивался от них новых милостей.

Годы спустя Сперанский расскажет о весьма примечательном случае, который произошел с ним в то время, когда генерал-прокурором был П. Х. Обольянинов: «При нем раз угодно было государю приказать в две недели сочинить коммерческий устав; для того набрали с биржи сорок купцов и всех их, вместе со мною, заперли в Гатчине. Угощали прекрасно, позволили гулять по саду, и между тем требовали, чтоб проект был готов на срок; но что могли сделать купцы, не имевшие никогда в помысле сочинять законы, да и пишутся ли законы целыми обществами. Дни однако ж проходили, а не выполнить волю государя и подумать было невозможно. Сам я тоже не был законник, понятия не имел о делах и пользах коммерческих, но был молод, перо было гибко — кому же иному приняться за дело? Вот я потолковал то с тем, то с другим купцом, и к сроку устав был готов. Одно в нем не понравилось: почему в статьях к титулу Императорского Величества не приобщено местоимения „Его“? Обольянинов, не знав, что отвечать государю, налетел ко мне с бешенным выговором; но я доказал ему, что тут нет ошибки. Объяс-

нение мое уважили, однако ж местоимение велели везде вставить по старому обычаю»[1]. Сперанский и после такого случая все равно продолжал писать словосочетание «императорское величество» без местоимения «его». Этому правилу он следовал впоследствии и во время своей работы во Втором отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии над «Сводом законов Российской империи». «Законы, — объяснял он редакторам «Свода...», — пишутся не на одно царствование, а на престоле может быть и лицо *женского* пола; притом *Величество* разумеется здесь отвлеченно, не как *человек*, а как *власть*»[2].

Не прощавший никому малейшего вольнодумства, император Павел, как ни странно, снисходительно относился к проявлениям этого свойства со стороны Сперанского. Более того, дерзкий попович еще и получал от государя награды и разные почетные назначения.

Так, еще 28 ноября 1798 года Сперанский был назначен Павлом герольдом ордена Святого апостола Андрея Первозванного. 14 июля 1800 года он был возведен императором на место секретаря этого ордена с дополнительным жалованьем в 1500 руб. В тот же день Павлом I был издан указ Сенату, которым Сперанскому и другим лицам жаловалось по две тысячи десятин земли каждому «в вечное и потомственное владение из казенных земель, в Саратовской губернии»[3].

---

[1] Цит. по: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Том 1. С. 64. Н. И. Греч привел в своих «Записках» другую версию истории написания проекта коммерческого устава. По его словам, «однажды, во время пребывания двора в Гатчине, генерал-прокурор (Петр Хрисанфович Обольянинов), воротясь от императора с докладом, объявил Безаку, что государь скучает, за невозможностью маневрировать в дурную осеннюю погоду, и желал бы иметь какое-либо занятие по делам гражданским. „Чтоб было завтра!“ — прибавил Обольянинов строгим голосом. Положительный Безак не знал, что делать, пришел в канцелярию и сообщил свое горе Сперанскому. Этот тотчас нашел средство помочь беде. „Нет ли здесь какой-нибудь библиотеки?“ — спросил он у одного придворного служителя. „Есть, сударь, какая-то куча книг на чердаке, оставшихся еще после светлейшего князя Григория Григорьевича Орлова“. „Веди меня туда!“ — сказал Сперанский, отыскал на чердаке какие-то старые французские книги и в остальной день и в следующую ночь написал набело: „Коммерческий устав Российской Империи“. Обольянинов прочитал его императору. Павел подмахнул: „Быть по сему“, и наградил всю канцелярию. Разумеется, что этот устав не был приведен в действие, даже не был опубликован. Обнародовали только присоединенный к нему штат Коммерц-коллегии (15 сент. 1800 г.)» (*Греч Н. И.* Записки о моей жизни. М., 1990. С. 51).

[2] Цит. по: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Том 1. С. 65.

[3] См.: Сенатский архив. Том 1: Именные указы императора Павла I. СПб., 1888. С. 634–635.

31 декабря 1800 года Сперанский был удостоен звания почетного Кавалера Ордена Иоанна Иерусалимского (ранее называвшегося Мальтийским). В жалованной грамоте, объявлявшей об этом событии, говорилось: «Божиею Милостию Мы, Павел Первый, Император и Самодержец Всероссийский и прочая, и прочая, и прочая, Великий Магистр Державного Ордена Св[ятого] Иоанна Иерусалимского[1] и прочая, и прочая, и прочая Нам любезно верному статскому советнику Сперанскому. Усердная и ревностная служба ваша обратила на вас Императорское Наше внимание, почему во изъявление особенного Нашего к вам благоволения пожаловали Мы вас почетным Кавалером Державного Ордена Св[ятого] Иоанна Иерусалимского»[2].

Подобные награды, которыми удостаивали Сперанского его начальники, порождали у его современников, а впоследствии и у его биографов, мнение о том, что в основе его удивительной карьеры лежало присущее ему умение угождать привычкам и вкусам влиятельных сановников. «Предположив даже, — уверял М. А. Корф, — что Сперанский далеко превосходил всех своих товарищей способностями и, заняв, почти тотчас по определении своем на службу, немаловажный пост экспедитора (начальника отделения) генерал-прокурорской канцелярии, имел случай отличиться, все же источник таких беспримерных наград следует, конечно, искать более в личном расположении к молодому чиновнику, нежели в каких-нибудь особенных, необычайных заслугах, для которых и самое поле его деятельности еще было не довольно широко»[3]. В данном объяснении карьеры Сперанского упускалось из виду одно важное обстоятельство — в основе «личного расположения к молодому чиновнику» со стороны видных сановников лежали не только его умение разгадывать характеры и приспосабливаться к ним, но во многом именно его

---

1 Император Павел I являлся Великим магистром Ордена Иоанна Иерусалимского с 29 ноября 1798 г.

2 Тридцать четвертый параграф «Конвенции, заключенной с Державным Орденом Мальтийским и его Преимуществом Гроссмейстерским об установлении сего Ордена в России», устанавливал: «Почетные кавалеры в России, то есть те, кои не доказав дворянства своего в Мальтийском Ордене, получили позволение носить крест, называемый «di Divizione et di Grazia» (Благочестия и Милости), должны носить малый крест в петлице, мундира же Великого Российского Приорства им не употреблять без особенного на то позволения Его Императорского Величества и Преимущественнейшего Гроссмейстера».

3 *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Том 1. С. 47–48.

умственные способности и заслуги, которые в специфических условиях царствования Павла I приобретали повышенную цену.

«При всех дворах, всюду, — отмечал в своих записках А. М. Тургенев, — на одну умную голову в XVIII веке считали сотни по три пустых глупых голов, которые (разумею эти последние головы) находились в числе царедворцев не по уму и достоинствам, но по рождению, связям родства, богатству»[1]. Россия не только не была исключением в этом отношении, но, пожалуй, даже более других европейских стран подтверждала правило. Положение усугублялось крайне низким уровнем образованности основной массы чиновничества. Канцелярии различных ведомств были наполнены людьми, которые, умея кое-как читать, переписывать бумаги, не способны были сколько-нибудь сносно изложить те или иные мысли в письменном виде, составить текст доклада или указа. Надо ли сомневаться, что любой чиновник, получивший достаточное образование, обладавший умением составлять бумаги, в той обстановке, когда бумаг становилось все больше и больше и значение канцелярий все более возрастало, неизбежно выделялся из массы своих сослуживцев. Сперанский же мог не просто написать бумагу — среди окружавших его чиновников, да и вообще в России, ему не было равных в логичности и изяществе изложения тех или иных мыслей на бумаге. В историю России он войдет, помимо прочего, и как создатель русского канцелярского языка. Наделенный от природы острым умом, энциклопедически образованный, он обладал способностью с полуслова, полунамека постигать мысль другого и развивать ее до конца. Ему было присуще также редчайшее умение превращать собственную мысль в мысль своего начальника посредством незаметного ненавязчивого внушения[2]. Написав текст письма или доклада, Сперанский оставался целиком в тени — начальник его ставил под ним собственную подпись, и выходило так, будто бумагу написал лично он. Михайло предоставлял, таким образом, каждому из начальников

---

[1] Записки Александра Михайловича Тургенева // Русская старина. 1887. Том 53. № 1. С. 83.

[2] На эту черту М. М. Сперанского обращал внимание в своих мемуарах хорошо знавший его по службе Ф. П. Лубяновский. «Ум его в делах с первого шага резко обозначался отличною способностью по одному слову, по легкому намеку разгадывать и развивать чужую мысль в полном ее объеме, еще более редким уменьем прививать другому свою мысль так, чтобы тот и не заметил, что то не его мысль» (Воспоминания Федора Петровича Лубяновского // Русский архив. 1872. Вып. 3 и 4. Стлб. 481).

возможность выглядеть в глазах знакомых, сослуживцев, а то и самого императора умнее, чем был он на самом деле. В этом и заключался во многом секрет того удивительного благорасположения, каковое имел Сперанский от своих начальников, прощавших ему даже едкие насмешки над их персонами.

С другой стороны, капризный характер императора Павла I, его крайне своевольный и оттого беспорядочный стиль управления неимоверно поднимал в глазах сановников значение ума и умения быстро находить решение в самой сложной ситуации. Каждый из начальников Сперанского, желая обезопасить себя в условиях подобного правления, когда курьезные распоряжения сыпались на их головы почти ежедневно, старался всегда иметь под рукою умного, расторопного человека, способного спешно отыскать надлежащий способ исполнения и самого странного из приказов. *То было одно из тех счастливых времен в истории России, когда чиновник мог умом своим, званиями, высокими деловыми качествами исторгнуть из своего начальства благорасположение к себе и покровительство.*

Самая любопытная страница в биографии молодого Сперанского, начинавшего свою карьеру на государственной службе, — его взаимоотношения с императором Павлом. К сожалению, сохранилось слишком мало документов и свидетельств современников для того, чтобы представить эту страницу во всей полноте. Речь может идти разве что о нескольких ее фрагментах, к тому же плохо между собою совмещающихся.

Один из таких фрагментов — свидетельство Н. С. Ильинского. Лето 1800 года Павел I вознамерился провести в Гатчине. При особе своей он повелел находиться и Обольянинову. Петр Хрисанфович, отъезжая в Гатчину, прихватил с собою и Сперанского. Ильинский, также сопровождавший генерал-прокурора в этой поездке, рассказал впоследствии в своих мемуарах о том, как Павел, узнав о прибытии в свою резиденцию Сперанского, тотчас набросился на Обольянинова: «Это что у тебя школьник Сперанский — куракинский, беклешовский? Вон его сейчас!» Петру Хрисанфовичу стоило больших трудов смирить императорский гнев. Сохранить поповича при себе ему удалось лишь утверждением, что он, Обольянинов, «держит его в ежовых рукавицах». Вскоре после этого эпизода Павел прогуливался в гатчинском саду и встретил одного знакомого чиновника с другим, которого не знал. «Это кто с тобою?» — спросил Павел знакомого. «Наш чиновник Сперанский», — ответил тот. И Павел, по рассказу Ильинского, не сказав ни слова, отвернулся, закинув голову

назад и отдуваясь. Этот жест был обычным выражением его негодования[1].

Имеется, однако, и совсем иного рода свидетельство об отношении императора Павла I к Сперанскому. И принадлежит оно... Сперанскому. В царствование Николая I Михайло Михайлович руководил работами по составлению «Полного собрания законов Российской империи». С целью избежания ошибок работы эти велись непосредственно с подлинными экземплярами высочайших указов, которые специально были приносимы из Сената. С ними тщательно сверяли тексты списанных с указов копий. Однажды, когда шла работа с подлинными законодательными актами, подписанными императором Павлом, Сперанский обратил свое внимание на один из указов, который начертан был четким, прямым и твердым почерком. Вглядевшись в него, он узнал свою руку. «Ах, это мой почерк, этот указ писан мною», — заговорил он, обратясь к работавшим в комнате чиновникам и, осмотрев с любопытством собственной рукой изготовленный указ, тут же добавил: «Да, это было самое трудное время из всей моей службы, когда я находился в кабинете Его Величества Павла Петровича; известен его характер, скорый, живой и строгий. Бывало, государь приедет, призовет меня и даст на словах повеления написать к назначенному часу девять, пятнадцать и даже более разнородных повелений и указов Сенату. Сочинять и отдавать переписывать эти повеления и указы решительно было некогда, а потому я их всегда сам писал, прямо набело». Это признание Сперанского передал в своих воспоминаниях чиновник Григорий Александров, сидевший как раз за тем столом, возле которого остановился его начальник Сперанский и работавший именно с тем, принадлежавшим его перу, указом[2].

О том, что Сперанского уже во время правления императора Павла часто привлекали к написанию текстов государевых указов, свидетельствует в своих мемуарах и Иван Иванович Дмитриев. «При восшествии на престол императора Павла, — сообщает он, — князь Куракин, получа звание генерал-прокурора, принял Сперанского в гражданскую службу и определил в свою канцелярию. С того времени начали развиваться способности его к письмоводству. Про-

---

[1] См.: Из записок Николая Степановича Ильинского // Русский архив. 1879. Вып. 11. С. 391.

[2] См.: *Александров Г. Н.* Мои воспоминания о Сперанском // Русский архив. 1904. Вып. 11. С. 374–375.

екты манифестов, указов, учреждений, докладные записки — все это поручаемо было сочинять только Сперанскому, ибо никто в канцелярии не имел более образованности и не писал лучше его. С переменою министров не переменялось счастие его по службе. Он был нужен равно всем генерал-прокурорам. Каждый награждал труды его»[1].

Если все в действительности было так, как описано в приведенных рассказах, если Сперанский действительно был вхож в кабинет императора Павла и часто исполнял личные его повеления (надо думать, с блеском), тогда на редкость скорая карьера поповича на государственной службе в годы Павлова царствования окончательно перестает быть загадкой. Тогда еще более очевидной становится ошибка Модеста Корфа, видевшего источник выпавших на долю Сперанского «беспримерных» наград «более в личном расположении к молодому чиновнику, нежели в каких-нибудь особенных, необычайных заслугах».

В гражданскую службу Сперанский вступил личностью в общих чертах своих уже сформировавшейся. Как-никак, а исполнилось ему к тому времени 25 лет. В этом обстоятельстве таилось довольно значимое отличие его от большинства других русских чиновников. По обыкновению в России служить начинали в возрасте 15–16 лет. Родители стремились пораньше определять своих чад на службу с тем, чтобы они пораньше могли выйти в чины. Следствием такой практики являлось то, что формирование мировоззрения молодых людей, созревание их характеров происходило в удушливой чиновной атмосфере. Много надобно было иметь природного ума и благодушия, чтобы сохранить здесь свою личность.

Тягостная для человеческой души атмосфера чиновной службы не могла не сказываться вредным образом на характере Сперанского. Каждодневное актерство во взаимоотношениях со своими начальниками и сослуживцами, постоянное сдерживание, подавление истинных своих чувств, изображение эмоций, к которым привыкли окружающие, которых они ждали, но каковые были чужды его сердцу, формировало в нем искусственность речи и манер — личину, панцирем ложившуюся на его живую личность. Но окованная, она продолжала жить. Кроме существования чиновничьего, видимого всем, Михайло имел существование сугубо внутреннее, сокрытое от постороннего глаза. Он возвращался из канцелярии домой и

[1] *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 197.

целые часы проводил в одиночестве, предаваясь чтению философских книг и размышлению — занятию, которое еще в семинарских стенах вошло для него в привычку. Это потаенное от окружающих существование и спасало его личность от того омертвения, которым угрожала ей атмосфера бюрократических учреждений. И все же трудно было бы Сперанскому предохранить себя от вредного воздействия окружавшей его обстановки, когда б не явилось ему нечто, в молодости по-особому ожидаемое, но тем не менее приходящее всегда неожиданно. Бросив молодого поповича в болото чиновной службы, судьба проявила к нему все ж таки свое благоволение и послала ему то, что самой сутью своей предназначено быть подлинным ангелом-хранителем всякой человеческой души от окружающих ее мерзостей. Судьба послала Михайле... любовь.

Действовала она через посредство А. А. Самборского. Во время своего пребывания в Лондоне Андрей Афанасьевич познакомился со швейцарским семейством Плантов, состоявшим из двух взрослых братьев и четырех разного возраста сестер. Родители их некогда проживали в Швейцарии, затем в поисках лучшей доли переехали в Англию и здесь, устроив жизнь своим детям, умерли. Из братьев Плантов Самборский особенно подружился с Джозефом. Тот родился в 1744 году и ко времени знакомства с русским священником работал библиотекарем в Британском музее и одновременно служил в Королевском обществе (английской Академии наук). Из сестер особенно благоприятное впечатление произвела на Андрея Афанасьевича младшая — Анна-Элизабет. Она получила хорошее образование — обучалась музыке, пению, игре на арфе, знала несколько иностранных языков. Наделенная природой живым умом и возвышенными чувствами, она, казалось, была создана для счастья. Однако жизнь принесла ей только горести. Анна-Элизабет полюбила всем своим пылким сердцем сельского пастора Генри Стивенса. Но тот был беден: скудный доход от прихода близ Ньюкасла составлял все его богатство, и ее братья выступили поэтому категорически против того, чтобы она вышла замуж за Генри. Тогда Анна-Элизабет бежала из дому и, обвенчавшись против воли своих братьев с бедным сельским пастором, поселилась у него. Любовь помогала ей стойко переносить обрушившиеся на нее материальные лишения. И кто знает, как бы сложилась в дальнейшем ее жизнь, если б не случилось несчастье. В 1789 году Генри Стивенс умер, и молодая женщина осталась одна с тремя малолетними детьми: сыном Френсисом и двумя дочерьми, старшую из которых звали Элизабет, а младшую — Марианной.

Оказавшись в отчаянном положении вдова Стивенс обратилась к Самборскому, доброму ее знакомому, крестному отцу ее старшей дочери. Андрей Афанасьевич, возвратившийся к этому времени в Россию, пригласил ее к себе в Санкт-Петербург. Иного выхода у бедной женщины не было, и она приняла приглашение. Будучи законоучителем великих князей, Самборский имел большие связи среди петербургской знати, поэтому ему не составило особого труда устроить свою английскую знакомую гувернанткой в один из первых домов Санкт-Петербурга — в семью графа Андрея Петровича Шувалова. Обосновавшись в России, госпожа Стивенс выписала к себе из Англии своих дочерей. Самборский позаботился и об их участи, поместил Элизабет и Марианну в частный пансион.

4 марта 1797 года император Павел I издал указ об учреждении «Экспедиции государственного хозяйства, опекунства иностранных и сельского хозяйства». Общее наблюдение за деятельностью данного органа было возложено на генерал-прокурора князя Куракина. В его состав первоначально вошли два сенатора и четыре члена, одним из которых был назначен Самборский. Первой заботой учрежденной «Экспедиции...» стала организация сельскохозяйственной школы, проект создания которой Самборский подавал когда-то Екатерине II. Императрица, хотя и благосклонно относилась к данному проекту, постоянно откладывала его осуществление. Павел же испытывал большое удовлетворение в тех случаях, когда ему удавалось осуществить на практике то, что его мать намеревалась сделать, но по каким-то причинам не сделала. Его величество выделил для организации сельскохозяйственной школы обширный участок земли, располагавшийся в Тярлево — между Павловском и Царским Селом. Этот участок примыкал к дому Самборского в Белозерке. Назначенный директором школы, Андрей Афанасьевич стал проживать здесь каждое лето. Жена его умерла в 1794 году. Двумя годами ранее скончался от чахотки и его сын Александр. Остался Андрей Афанасьевич с двумя дочерьми: Анной и Софьей. Софья вскоре вышла замуж за Василия Федоровича Малиновского, впоследствии первого директора Царскосельского лицея, а в рассматриваемое время чиновника Коллегии иностранных дел[1]. Анна, старшая из дочерей, замуж не вышла, осталась со своим отцом хозяйкой в его доме.

---

[1] В 1789–1791 гг. Василий Федорович Малиновский (1765–1814) работал в российском посольстве в Лондоне.

Как образованный человек, Андрей Афанасьевич любил беседу и часто приглашал к себе гостей. И гости, зная его как интересного собеседника, с удовольствием принимали приглашения прийти к нему в дом. Навестить Самборского в Белозерке нередко приезжали великие князья Александр и Константин Павловичи. Заглядывал сюда и Михайло Сперанский.

В конце лета 1797 года молодой попович, немногим более полугода назад вступивший в гражданскую службу, приехал в Павловск к начальнику своему князю Куракину. Однажды вечером он решил заглянуть к Самборскому.

У Андрея Афанасьевича в тот вечер был званый обед. Михайло прибыл вовремя. Уселся вместе с другими гостями обедать. Случилось так, что место за столом напротив него оказалось свободным. Увлеченный едой, он не заметил, как туда села опоздавшая к обеду гостья. Когда через некоторое время Михайло поднял глаза, то увидел напротив себя, к великому своему изумлению, чрезвычайно миловидную девушку, обликом своим излучающую свет самой чистой духовности. Он влюбился с первого взгляда. «Казалось, что я тут впервые в своей жизни почувствовал впечатление красоты, — вспоминал позднее Михайло о произошедшем с ним в тот вечер. — Девушка говорила с сидевшей возле нее дамою по-английски, и обворожительно-гармонический голос довершил действие, произведенное на меня ее наружностию. Одна лишь прекрасная душа может издавать такие звуки, подумал я, и если хоть слово произнесет на знакомом мне языке это прелестное существо, то она будет моею женою. Никогда в жизни не мучили меня так сомнение и нетерпеливость узнать мою судьбу, пока на вопрос, сделанный кем-то из общества по-французски, девушка, закрасневшись, отвечала тоже по-французски, с заметным, правда английским ударением, но правильно и свободно. С этой минуты участь моя была решена, и, не имея понятия ни о состоянии и положении девушки, ни даже о том, как ее зовут, я тут же в душе с нею обручился».

Избранницей Сперанского стала шестнадцатилетняя крестная дочь Самборского Элизабет Стивенс. На чувство его она откликнулась всем жаром своей юной души. Спустя годы Сперанский напишет: «Впрочем, всякая любовь есть взаимна. Можно хвалить, удивляться без взаимности, но любить невозможно. По крайней мере, должна быть взаимность надежд. С моей стороны, я никогда не любил, кому не мог я быть ни нужен, ни полезен, кто мог быть счастлив без меня. Сие общение польз и удовольствий, сей ровный, сово-

купный шаг к счастию и совершенству составляет самую сущность всякой любви».

Первое время Михайло общался со своей возлюбленной только на французском языке, но вскоре выучил ради нее английский язык.

Поскольку Элизабет Стивенс принадлежала к «инославной», а именно: англиканской вере, то для заключения брака между нею и Сперанским необходимо было получить разрешение от императора. Михайло написал прошение его величеству. Павел передал дело о браке Сперанского на рассмотрение Духовной консистории. Вскоре жених и невеста были вызваны в это учреждение для сообщения сведений о себе. О том, как проходила процедура их допроса, свидетельствует текст следующего документа, сохранившегося в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге:

«1798 года октября 25 дня в Присутствии Санкт-Петербургской Духовной Консистории сопрящися желающие коллежский советник Михайло Сперанский, содержащий веру Грекороссийского исповедания, и посягающая за него англичанка девица Елизавета Стивенс, состоящая в Реформатском законе, спрашиваны и показали:

*Коллежский советник Михайло Сперанский*. От роду ему 26 лет, родился Владимирской губернии Покровского уезда в селе Черкутине, отец его Михайло Васильев находится в оном селе священником, а мать Прасковья Васильевна (здесь явная ошибка: мать Сперанского звали Прасковьей Федоровной. — *В. Т.*) в живых и содержит веру Грекороссийского исповедания, в коей и он рожден и воспитан, женат не был; и ежели позволено будет ему совокупиться законным первым браком с показанною девицею Елизою Стивенс, состоящею в Реформатском законе, то он сопрящися желает и притом обязуется по сочетании брака во все Воскресенья, Господские, Богородичные и прочих нарочитых святых праздники и Высокоторжественные дни для моления ходить в Российские Церкви к вечерням и утреням, наипаче же к Святым Литургиям, и в доме своем Святые Образа содержать чисто, честно и всяких Святынь сподобляться от Российских Священников; в преданные посты запрещенных брашен не ясть и благочестия Российского не оставлять, к Лютеранскому закону[1] не склоняться, и ежели от них Михайла и Елизы будут рождаться дети, то оных обоего пола крестить в Православ-

[1] Здесь члены Духовной консистории явно спутали две разных веры, а именно: веру англиканскую, в которой на самом деле состояла Элизабет Стивенс, и веру лютеранскую.

ную веру и, от младенчества возвращая, обучать всякому Православной Церкви восточному обычаю, а в Реформатский закон оных детей своих не допущать и по семи лет от рождения для Исповеди и Святого Причастия представлять Российской Церкви Священникам, и все сие показал он сущую правду. *Михайла Сперанский.*

*Девица Елиза Стивенс.* От роду ей 17 год, родилась в Англии в Герцогстве Нортумберландском близ города Гексама, отец ее Генрих Стивенс был Англиканской Пастор и помре, а мать Анна Елизавета Стивенс находится в живых, и состоит в Реформатском законе, в коем она рождена и воспитана, в замужестве ни за кем не была и, ежели позволено будет ей совокупиться первым законным браком с показанным коллежским советником Михайлою Сперанским, содержащим веру Грекороссийского исповедания, то она в супружестве с ним быть желает и притом обязуется по сочетании брака во всю свою жизнь оного своего мужа ни прельщением, ни ласканием и никакими виды в свой Реформатский закон не склонять и за содержание Православной веры никакого ему поношения и укоризны не чинить, ежели от них Елизы и Михайлы будут рождаться дети, то оных обоего пола крестить в Православную веру и, от младенчества возвращая, обучать всякому Православной Церкви восточному обычаю, а в Реформатский закон детей своих не превращать, и по семи лет от рождения для Исповеди и Святого Причастия представлять Российской Церкви Священникам, и все сие показала она сущую правду. *Елизавета Стивенс*»[1].

29 октября разрешение на брак Михайлы Сперанского с Элизабет Стивенс было дано. 3 ноября 1798 года в петербургском соборе Святого Самсона состоялся обряд бракосочетания. При венчании, которое совершал священник Василий Чулков, присутствовал Андрей Афанасьевич Самборский. Поручителем со стороны жениха был друг Сперанского Аркадий Алексеевич Столыпин (в документе он оказался записанным как титулярный советник, Государственного вспомогательного банка товарищ директора Аркадий Алексеев), поручителем со стороны невесты являлся сослуживец Сперанского Франц Иванович Цейер (он был записан как канцелярии генерал-прокурора служащий, губернский секретарь Франц Иванов Грейс).

---

[1] Отдел рукописей Российской национальной библиотеки (далее: РНБ). Фонд 731. Ед. хр. 2. Л. 5. В 1847 г. подлинность приведенного документа и других бумаг в деле о бракосочетании М. М. Сперанского с Элизабет Стивенс проверялась по каким-то причинам коллежским асессором Пашковичем.

Поселился Сперанский со своей женой в небольшой квартире, которую снял в одном из домов на Большой Морской улице. О том, какие чувства он испытывал в то время, можно узнать из его письма, написанного 23 декабря 1798 года ректору Тверской духовной семинарии Евгению. «Высокопреподобный отец, милостивый государь! — обращался Михайло к своему наставнику. — Всегда вы правы, когда упрекаете меня в молчании; но самый упрек принимаю я новым доводом вашей ко мне непоколебимой благосклонности, и в вашей одной благосклонности ищу я себе оправдания. Сии восемь месяцев, в которые я был мертв или, по крайней мере, безгласен для дружбы и благодарности, я был совершенно упражнен делами, страхом, надеждами, любовью и, наконец, женитьбою. Да — женитьбою, мой почтенный и любезный благодетель. Я женился на добродушной, простой, молоденькой англичанке, дочери пасторской, сироте, приведенной тому лет пять в Петербург случаем, делами и матерью. После шести недель трудно определить беспристрастное свое положение; я могу вам только сказать, что я теперь считаю себя счастливейшим из мужей и имею причины думать, что никогда не раскаюсь. Вот вам вся история моего бытия семейственного».

Эту первую, так мгновенно и ярко вспыхнувшую любовь Сперанский проносит в себе всю свою жизнь. Год спустя она пропитается горечью утраты любимой, и навсегда застынет в нем в своем первозданном состоянии. 6 ноября 1799 года Элизабет Сперанская, в девичестве Стивенс, умрет. За два месяца до смерти — 5 сентября 1799 года — она родит дочь, которую Михайло назовет в ее память Елизаветой.

В день своей помолвки с Элизабет Стивенс Сперанский подарил ей массивные золотые часы. Эти часы, возможно, и сыграли роковую роль в судьбе его жены. Через несколько дней после помолвки Элизабет поехала в карете с матерью в гости к княгине Дитрихштейн, жившей в летние месяцы на даче Маврино под Петергофом. Лошади в один из моментов по какой-то причине понесли — карета опрокинулась, и часы сильно вдавились в грудь Элизабет, причинив ей серьезную травму.

Последствия данной травмы скорее всего и вызвали чахотку, открывшуюся после родов. Болезнь оказалась скоротечной и через несколько недель привела к трагичному исходу. Ни сама Элизабет, ни тем более Михайло совершенно не предполагали, что болезнь окажется смертельной. В момент смерти жены Сперанский находился

по службе в Павловске, и Элизабет умерла на руках у своей подруги — Марии Карловны Вейкардт.

Горе едва не сведет Сперанского с ума. Узнав о смерти любимой женщины, он оставит дома записку с просьбой назвать дочь Елизаветой и скроется из дома. После этого он несколько раз будет возвращаться в дом, чтобы снова и снова прощаться с покойной женой. Раздавленный горем Михайло не придет на ее похороны, которые состоятся на Смоленском кладбище, несколько недель он не будет появляться и на службе. Его начнут искать и обнаружат на одном из островов невской дельты. От самоубийства спасла Сперанского его только что родившаяся дочь, которую надо было растить, о которой надо было заботиться.

***Из письма М. М. Сперанского к В. Н. Каразину***[1]
***от 27 ноября 1799 года*:**

*«И время меня не утешает. Вот третья неделя наступает, как я проснулся, и горести мои каждый день возрастают по мере того, как я обнимаю ужас моего состояния. Тщетно призываю я разум, он меня оставляет; одно воображение составляет все предметы моего размышления. Минуты забвения мелькают иногда, но малость, самая малость, ничтожество их рассылает, и я опять пробуждаюсь, чтоб чувствовать, чтоб находить ее везде предо мною, говорить с нею — приди ко мне, о ангел мой! — да теките, придите ко мне, любезные слезы, единое мое утешение. Нет, мой друг, не могу еще писать... Жестокое дитя, немилосердные друзья, один удар, одно мгновение, и я бы разложился. Прах мой смешался бы с нею».*

По каким-то лишь одному ему известным мотивам Сперанский сожжет все свои письма к Элизабет. Но сохранит те, что писала ему она — его невеста, а потом жена.

Он не сможет жить в доме, где был счастлив с нею, и переедет в другое жилище — на Английской набережной.

---

[1] Василий Назарович Каразин (1773–1842) — общественный деятель и просветитель, основатель Харьковского университета. В гражданской службе состоял с 15 октября 1798 г. В то время, когда Сперанский писал Каразину приведенное письмо, Василий Назарович служил при президенте Главного почтового управления статс-секретаре Д. П. Трощинском. 3 февраля 1800 г. он будет произведен «при определении, по высочайшему повелению, к статским делам, в канцелярию государственного казначея и главного медицинской коллегии директора барона Васильева (Алексея Ивановича. — *В. Т.*), коллежским переводчиком».

Во второй брак Сперанский так и не вступит. Капли нерастраченной любви к жене он вольет в любовь к дочери.

***Из письма М. М. Сперанского к ректору Тверской семинарии Евгению от 12 января 1800 года:***

*«Мой адрес тот же: в канцелярии генерал-прокурора. В декабре дали мне чин статского советника, — но никто и ничто не даст уже мне счастия на сей земле, где привязан я одною только дочерью и где каждую минуту теперь я чувствую, что такое есть жить по необходимости, а не по надежде».*

* * *

В ночь с 11 на 12 марта 1801 года император Павел был задушен в собственной резиденции собственными сановниками[1]. Не все петербургские аристократы знали о готовящемся убиении. Для некоторых известие о нем показалось неожиданностью настолько невероятной, что им подумалось даже: не велел ли это известие объявить сам Павел с тем, чтобы узнать, кто из его подданных при этом обрадуется, а кто опечалится. На престоле этот самый странный во всей российской истории император пробыл всего четыре года и четыре месяца. Но и за столь краткий срок ему вполне удалось убедить окружавших его сановников, что он есть величина, фигура и вообще человек, с которым должно считаться. Ни одна смерть — ни до, ни после того — не воспринималась в России с такой неуемной радостью и восторгом, как его, Павла, смерть.

Свершилась она с понедельника на вторник на Вербной неделе, предшествовавшей пасхальной. И эта близость ее к Пасхе, что выпала в тот год на 24 марта, казалась счастливым знамением. В самый день пасхального воскресенья писал письмо к своим родственникам Иван Петрович Кулибин: «Христос воскресе! и при сем троекратно лобызаю (перечисляются имена родственников). Ныне Пасха новосвятая нам возсия, и избавление скорбей! Шестьдесят шесть лет на свете живу, а такой Пасхи еще не праздновал. У нас Пасха началась

---

[1] О причинах и обстоятельствах убийства императора Павла I, а также о реакции различных кругов русского общества на его смерть см. главу четвертую «Без лести предан» в книге (серии «ЖЗЛ»): *Томсинов В. А.* Аракчеев. М.: Молодая гвардия, 2003.

со вторника на Вербной неделе, с того времени на улицах и в домах целуются знакомые и незнакомые. Екатерина воскресе! Воистину воскресе! Россия воскресе, и у камени гроба возсия ангел. То бысть человек, послан от Бога, и имя ему Александр. Сей государь принес всем нам свет и живот, и воскресение. Не глумитеся сему: сам верховный Сердцеведец зрит вся моя внутренняя, Его, Бога моего, беру во свидетели, что не кощунствую. Истинно так!»

В одном механик-самоучка, был, безусловно, прав: в России действительно наступили другие времена. Так уж случилось тогда, что настоящее прощанье с восемнадцатым веком произошло у россиян с уходом из жизни не 1800 года, а императора Павла. И новый век явился россиянам соответственно не с 1-м января 1801 года, а с восшествием на престол императора Александра I. Радищев был всецело искренним в восклицании, которым закончил поэму «Осьмнадцатое столетие»:

*«Зрите на новый вы век, зрите Россию свою!*
*Гений-хранитель всегда, Александр, будь у нас!»*

Новый век и оправдал надежды и не оправдал. Стал он в России действительно веком преобразований, веком реформ. Но вместе с тем взрастил он в Отечестве нашем ненасытное чудовище, выедающее людские души — все самое доброе, разумное и прекрасное в них, на корню пожирающее самые ценные общественные начинания, — чудовище, оказавшееся способным пережить самую кровавую в мировой истории революцию, и не просто пережить, но усилиться за счет революции, выйти из нее еще более страшным и прожорливым, нежели прежде.

Новый век взрастил в России *бюрократию*.

* * *

В последние месяцы правления императора Павла I Сперанский пребывал в состоянии душевного кризиса. Равнодушие, скука, недовольство своим положением явно преобладали среди его настроений. Горечь утраты любимой, невыносимая поначалу, постепенно ослабла. Обезумевшее от боли сердце его потеряло прежнюю свою чувствительность, отупело, замерло. Но безутешный сам, он все же находил в себе силы утешать других. Узнав о том, что приятеля его чиновника канцелярии государственного казначея Василия Назаровича Каразина постигло такое же точно горе, каковое некото-

рое время назад обрушилось на него[1], Сперанский немедленно обратился к нему со словами сочувствия и поддержки. Утешая других, легче утешиться самому.

***Из письма М. М. Сперанского к В. Н. Каразину от 15 ноября 1800 года:***

*«Мой друг, конечно, ни от кого не имеешь ты более права ожидать утешений, как от меня; но что могу я тебе сказать, чего бы сам себе ты не сказал. Я знаю, что быв ранее тебя научен несчастию, имею перед тобою выгоду притупленной чувствительности; но я знаю столько же, что в сердечных болезнях рассуждение есть весьма бесполезный врач. Впрочем, никак не могу я поверить и смею тебе самому запретить думать, что природа потеряла уже пред тобою все свои прелести. Отчаяние во всех родах человеческих положений доказывает только недостаток соображения, иногда от окрепнения сил душевных, а иногда от слабости их происходящей. Не было и нет человека, который бы мог доказать, что он совершенно и всегда будет несчастлив, все переменяется. Наши потери означают только разрушение известного плана счастия, но не истребление всех возможных...»*

Упадок душевных сил давал-таки о себе знать: за фразами утешения срывались с пера слова жалобы — «Я второй день не выхожу с самого приезда из Гатчины. Был болен и лежал дома, теперь все прошло, и я пускаюсь в бездну, по-прежнему ища только одного, чтоб не так глубоко зайти. Хочу держаться поверхности и как можно скорее отстать»[2].

Чиновная жизнь явно тяготила Сперанского. В одном из своих писем, написанных в 1800 году к В. Н. Каразину, он признавался: «Активный мой интерес — юности, беззаботности, удалений от всего, что имеет вид хлопот — я и без того в них стою по уши»[3]. «Я живу по-прежнему, то есть в хлопотах или скуке: два препровождения обыкновенные моего времени»[4], — писал Михайло Михайлович П. Г. Масальскому 19 января 1801 года.

---

1 В начале 1796 г. В. Н. Каразин женился на воспитаннице своей матери Варвары Яковлевны 14-летней крепостной девушке Домне Ивановне. Осенью 1800 г. она умерла.

2 НИОР РГБ. Фонд 32, И. В. Бецкого. К. 16. Ед. хр. 11. Л. 2.

3 Там же.

4 Дружеские письма графа Сперанского к П. Г. Масальскому. СПб., 1862. С. 122.

Счастливец по службе, совершивший не просто карьеру, а прямотаки прыжок к высоким чинам и должностям, баловень судьбы в представлении окружающих, он со всей ясностью понял вдруг, что пирамида должностей есть не что иное, как пирамида клеток. Чем более высокой должности на службе достигает кто-либо, тем в более тесную клетку попадает. «Я болен, друг мой, и в бесконечных хлопотах, — с грустью признавался Михайло в одном из своих писем начала 1801 года. — Пожалей о человеке, которого все просят, который всем хочет добра и редким сделать его может и рвется тем самым, что положение его многих обманывает, — положение, а не сердце. Пожалей о человеке, которому столькие завидуют»[1].

Чувство стесненности в действиях, бессодержательности собственного существования переживалось им с тем большей тоскливостью и тем острее, чем сильнее ощущал он незаурядность своих умственных способностей. В жалобах его на пустоту и скуку чиновной службы скрывалась неутоленная жажда настоящей, плодотворной деятельности. Ему шел тридцатый год, он многого уже достиг, многое утратил, испытал множество разнообразных чувств, о многом передумал, но роман его жизни как будто все еще только начинался. И кто знает, имел бы он сколько-нибудь занимательное продолжение, если бы не случилось в России убийства императора Павла I и не взошел бы вместо него на императорский престол Александр I?

[1] Цит. по: *Якушкин В. Е.* Сперанский и Аракчеев. М., 1916. С. 8.

## *Глава третья*

# На пороге славы и... несчастья

*Не наслажденье жизни цель;*
*Не утешенье наша жизнь.*
*О, не обманывайся, сердце.*
*О, призраки, не увлекайте! —*
*Нас цепь угрюмых должностей*
*Опутывает неразрывно...*

**Александр Грибоедов**

***Из дневника А. С. Пушкина.***
***Запись от 2 апреля 1834 года:***

*«В прошлое воскресение обедал я у Сперанского... Сперанский у себя очень любезен. Я говорил ему о прекрасном начале царствования Александра: Вы и Аракчеев, вы стоите в дверях противоположных этого царствования, как гении Зла и Блага».*

Начало царствования Александра не могло не казаться прекрасным. Привлекательная, одухотворенная внешность нового императора, дружелюбие, простота в манерах, тон и содержание речей, первые шаги его на поприще государственной деятельности — все это вселяло очарованье и надежды даже в тех, кто в жизни своей давно разучился очаровываться и надеяться.

По-прежнему ежедневно устраивались парады, но они стали кратковременными и служили отныне скорее удовольствию Александра показать себя публике, нежели интересам поддержания строгой дисциплины. Там, где появлялся молодой государь, немедленно собирались толпы горожан, восторг которых не знал пределов: не смея прикоснуться к нему, целовали его коня.

Поведение нового венценосца было для россиян явно необычным. Он часто гулял по улицам пешком и без свиты, приветливо отвечал на каждый поклон, каждое приветствие в свой адрес. Любой прохожий мог остановиться и запросто заговорить с ним. Просто, без

роскоши одетый, всегда улыбающийся, уважительный в обращении с кем бы то ни было, молодой и обаятельный наконец — он совершенно выходил за рамки представлений о венценосном властителе, распространенных в русском обществе. Графиня Варвара Николаевна Головина вспоминала о первых днях царствования Александра: «Восторг, который внушал всем император Александр, был неописуем. Все сосланные друзья его возвратились в Петербург, одни — по собственному желанию, другие вызваны были самим. Число жителей столицы увеличивалось, тогда как в конце царствования императора Павла I Петербург стал почти пустынным: многие были сосланы, другие, боясь высылки, сами добровольно уехали. После самого строгого царствования наступила анархия, появились опять всевозможные костюмы, кареты летали сломя голову. Я сама видела, как офицер гусарского полка скакал на лошади галопом по тротуару набережной и кричал: «Теперь можно делать все что захочешь!»[1]

Восторженная публика не замечала печальных глаз Александра и не догадывалась о том, что радостными криками улицы он хотел заглушить стоны своей души, пронзенной острым чувством вины за свое участие в убийстве отца. О подлинном душевном состоянии молодого императора знали только его родственники и приближенные к нему люди, да еще те из посторонних, кто видел его в первые часы после свершившегося убийства Павла I. «Его чувствительная душа навсегда останется растерзанной», — писала 12 марта супруга Александра I императрица Елизавета Алексеевна. «Мысль, что он был причиной смерти отца, была для него ужасна; он чувствовал, словно меч вонзился в его совесть, и черное пятно, казавшееся ему несмываемым, навсегда связалось с его именем» — так характеризовал внутреннее состояние императора Александра после восшествия на престол его друг Адам Чарторижский. Яков Иванович де Санглен видел Александра во время его первого после убийства Павла выхода из Зимнего Дворца утром 12 марта. Позднее он вспоминал: «Новый император шел медленно, колени его как будто подгибались, волосы на голове были распущены, глаза заплаканы; смотрел прямо перед собой, редко наклонял голову, как будто кланялся; вся поступь его, осанка изображали человека, удрученного грустью и растерзанного неожиданным ударом рока. Казалось, он выражал на своем лице: «Они все воспользовались

[1] *Головина В. Н.* Мемуары // История жизни благородной женщины. М., 1996. С. 238–239.

моей молодостью, неопытностью; я был обманут, не знал, что, исторгая скипетр из рук Самодержца, я неминуемо подвергал жизнь его опасности»[1]. Характеризуя в своих записках положение, в котором Александр I оказался после своего восшествия на императорский престол, графиня Роксандра Скарлатовна Эделинг[2] писала: «Всего 23-х лет от роду, без опытности, без руководства, Александр очутился в среде губителей отца своего, которые рассчитывали управлять им. Он сумел удалить их и мало-по-малу укрепить колебавшуюся власть свою, обнаружив притом благоразумие, какого трудно было ожидать от его возраста. Успех этот отнюдь не утешил его в кончине отца. Он должен был скрывать свои чувства от всех его окружавших. Нередко запирался он в отдаленном покое и там, предаваясь скорби, испускал глухие стоны, сопровождаемые потоками слез»[3].

На публике Александр старался не показывать своих истинных чувств и стремился выглядеть таким, каким его хотели видеть. И кажется, он вполне успешно играл эту свою роль. Рассказы о словах и поступках нового самодержца распространялись в обществе так быстро, как будто это были сведения о событиях, от которых зависит судьба государства. Рассказывали, например, как Санкт-Петербургский военный губернатор, успевший за время предшествовавшего царствования привыкнуть к самой тщательной со стороны государя заботе об одеянии подданных, вошел к Александру с докладом, не прикажет ли он сделать распоряжение относительно одежды офицеров. «Ах, боже мой! — отвечал его величество, — пусть они ходят, как хотят, мне еще легче будет распознать порядочного человека от дряни».

Генерал-аншеф Иван Варфоломеевич Ламб, занимавший пост вице-президента Военной коллегии, осмелился вежливо возразить против одного из высочайших распоряжений: «Извините меня, государь, если я скажу, что это дело не так». — «Ах, мой друг! — ответил Александр, положив ему руку на плечо, — пожалуйста, говори

---

1 Цит. по: *Великий князь Николай Михайлович.* Император Александр I. М., 1999. С. 270.

2 В молодости своей Роксандра Скарлатовна носила фамилию Стурдзе и являлась фрейлиной супруги Александра I императрицы Елизаветы Алексеевны: ее описаниям душевных состояний, которые переживал император, вполне можно поэтому доверять.

3 Из записок графини Эделинг // Русский архив. 1887. Вып. 2. С. 205.

мне чаще „не так“, а то ведь нас балуют». Государь назначил смелого генерала членом «Непременного совета», а 15 сентября 1801 года, в день своей коронации, наградил его орденом Андрея Первозванного.

Дмитрий Прокофьевич Трощинский поднес Александру на подпись текст одного из указов Сенату, начинавшийся со слов «НАШЕМУ Сенату», которые обыкновенно ставились в заголовке подобных законодательных актов. «Как нашему Сенату? — воскликнул император. — Сенат есть священное хранилище законов. Он учрежден, чтобы нас просвещать. Сенат — не наш, он — Сенат империи». С этого момента императорские указы, данные Сенату, стали начинаться со слов «Правительствующему Сенату».

Свобода манер и речей нового императора немедленно передалась подданным его. Повсюду с необыкновенной смелостью заговорили о пороках российского управления, о путях и способах их исправления. Александр всячески подбадривал в своих подданных смелость высказываний об общественных порядках, несмотря на то, что выливалась она почти исключительно в их порицание.

С самого начала молодой государь дал понять окружающим, что дело не ограничится в его царствование одними разговорами, но будут проведены государственные реформы. И он действительно уже в первые месяцы своего царствования начал подготовку планов и проектов преобразования «безобразного здания управления империей», создав для этого так называемый «Негласный комитет». В его состав вошли воспитанные на передовых западноевропейских политических идеях молодые аристократы — друзья Александра: граф Павел Александрович Строганов, его двоюродный брат Николай Николаевич Новосильцов, граф Виктор Павлович Кочубей и князь Адам Чарторижский.

Деятельность «Негласного комитета» продолжалась более двух лет — с 24 июня 1801 года до 9 ноября 1803 года. В течение этого времени Александр I успел обсудить со своими друзьями проекты реформы Сената, учреждения министерств, вопрос о преобразовании «Непременного совета», меры по улучшению положения крепостных крестьян, проблемы внешней политики России и др.

Главные цели деятельности «Негласного комитета» были намечены на первом его заседании, во время которого его участники согласились в том, что необходимо «прежде всего узнать действительное положение дел, затем реформировать различные части администрации и, наконец, увенчать эти различные институты гарантией,

предложенной в конституции, созданной в соответствии с истинным духом нации»[1].

Среди бумаг графа П. А. Строганова сохранилась записка «О состоянии нашей конституции»[2], которая поясняет, что в то время понималось под словом «*конституция*». «По моему мнению, — говорится в записке, — конституция есть законное признание прав народа и тех форм, в которых он может их осуществлять. Для укрепления действительности этих прав необходимо иметь гарантию, чтобы посторонняя власть не препятствовала их осуществлению. Если такой гарантии не существует, цель осуществления этих прав, которому препятствует каждая мера правительственной власти, будет противоречить истинному национальному интересу; эта цель, говорю я, будет отсутствовать, и тогда можно будет сказать, что здесь нет конституции. Конституцию можно разделить на три части: установление прав, способ осуществления их и гарантия»[3].

* * *

Либерализм императора Александра являлся в значительной мере уступкой настроениям, распространенным среди русских аристократов. В период правления Екатерины II при царском дворе сложилась целая группа сановников-либералов. В нее входили такие лица, как братья Никита и Петр Панины, князь Д. А. Голицын, граф А. Р. Воронцов, князь А. А. Безбородко и др. Все они выступали против неограниченного произвола монарха в отношении дворян и дворян-помещиков относительно крестьян, высказывались в своих записках и проектах преобразований за ослабление крепостной зависимости, укрепление режима законности, преобразование самодержавно-монархического правления в конституционно-мо-

---

1 Résultat d'une conférence avec l'Empereur le 24 Juin 1801 // Великий князь Николай Михайлович. Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817). Историческое исследование эпохи императора Александра I. В 3-х томах. СПб., 1903. Том 2. С. 61. Текст этой записки и других документов, вошедших в указанную книгу, написан на французском языке.

2 Эта записка не датирована, но можно уверенно предполагать, что она составлена весной 1801 г., во всяком случае, незадолго до того, как начались заседания «Негласного комитета».

3 De l'etat de notre constitution // Великий князь Николай Михайлович. Граф Павел Александрович Строганов. С. 40.

нархическое[1]. Екатерина II, считая либерализм исключительно своей прерогативой как императрицы, относилась к сановникам-либералам с большой подозрительностью, но со службы их особенно не гнала. Это были все-таки влиятельные в русском обществе люди, и предельно осторожная в проявлениях своего властолюбия государыня не хотела ссориться с ними по пустякам. Не встречая к себе со стороны императрицы Екатерины особых симпатий, сановники-либералы возлагали все свои надежды на ее сына и цесаревича Павла Петровича, который показывал хорошее понимание значения в жизни общества законности и свободы.

Читая в ноябре 1778 года записки кардинала де Реца[2], Павел выписал из них среди прочих следующую мысль: «Когда правители государств не ведают ни их основных законов, ни свойственных им нужд, с ними случается несчастье»[3]. В записках же французского государственного деятеля и мыслителя герцога Сюлли[4] Павлу понравилось высказывание: «Первый закон для государя — соблюдение всех законов. Выше его самого два повелителя: Бог и Закон. Правосудие должно восседать на престоле; кротость должна быть прочнейшею его опорою»[5].

В декабре 1784 года Петр Иванович Панин составил проект манифеста на случай, если после своего восшествия на престол Павел соизволит «всемилостивейшее пожаловать Отечество утвердительными какими формою государственного правления и фундаментальными непременными правами»[6]. Он состоял из преамбулы и семи статей. В преамбуле объявлялось, что государь жалует силой своей

---

1 См. подробнее об этом главу «Конституционные проекты периода правления Екатерины II. „Рассуждение о непременных государственных законах“ Н. И. Панина» в книге: *Томсинов В. А.* Конституционный вопрос в России в 60-х — начале 80-х годов XIX века. М.: Зерцало, 2012. С. 33–59.

2 Жан Франсуа Поль де Гонди, кардинал де Рец (1613–1679) — французский политический деятель и писатель.

3 Собственноручные выписки и заметки великого князя Павла Петровича с ноября 1778 г. по январь 1779 г. из Записок Ретца // Русская старина. 1874. Том 10. № 7. С. 552.

4 Полное имя — Максимиллиан де Бетюнь, герцог Сюлли (1566–1641). Прославился в качестве талантливейшего государственного деятеля Франции (и, пожалуй, всей Европы) времен правления королей Генриха IV и Людовика XIII.

5 См.: Русская старина. 1874. Том 10. № 8. С. 740.

6 Письмы с приложениями графов Никиты и Петра Ивановичей Паниных Блаженной Памяти к Государю Императору Павлу Петровичу // Шумигорский Е. С. Император Павел I. Жизнь и царствование. СПб., 1907. Приложения. С. 21–22.

наследственной власти, ради общей и каждого подданного безопасности и блага всех сословий, «на все последующие времена непременные никакой властью никогда фундаментальные узаконения»[1]. Вторая статья данного проекта гласила: «Да будет отныне во всей российской империи по нынешнему ее обладанию не разделяемой никогда никаким самовластием форма государственного правления монаршеская во всей ее силе и точности, принятая во всем разумном свете, с данными и утвержденными Отечеству Нашему фундаментальными от Нас непременными правами, не подверженными на все времена не только к перемене, ниже и к прикосновению никакой власти и силе»[2].

Павел, став императором, надежды сановников-либералов оправдал, но довольно своеобразным способом — не так, как они предполагали. Он оправдал надежды русских либералов тем, что... усилил монархическое самовластие. По словам А. И. Герцена, «в такой простой, такой наивной форме самовластье еще ни разу не являлось в России, как при Павле». Неумеренное своеволие Павла отрицательно сказывалось на его царствовании, но оно положительно действовало для правления его наследников. Своим произволом он убедительно демонстрировал дворянам вред деспотизма монарха и тем самым высоко поднимал в их глазах цену закона и значение упорядоченного управления. Историк Н. М. Карамзин вспоминал впоследствии о том, какой дух «искреннего братства» господствовал в столицах: «Общее бедствие сближало сердца, и великодушное остервенение против злоупотреблений власти заглушало голос личной осторожности». Деспотизм Павла готовил, таким образом, либерализм Александра.

За время Павлова царствования в петербургском обществе резко усилились либеральные настроения, и Александр, взойдя на престол, не мог не считаться с ними. Однако его либерализм был не только уступкой данным настроениям. В объяснении «прекрасного начала» Александрова царствования нельзя забывать о самом Александре.

При том воспитании, каковое было ему дано, он не мог и сам не разделять до известной степени либеральных настроений. Мировоззрение российского императора сформировалось под большим влиянием философа из Швейцарии Фредерика-Цезаря Лагарпа. «Je

---

[1] *Шумигорский Е.С.* Император Павел I. Жизнь и царствование. СПб., 1907. Приложения. С. 33.

[2] Там же.

vous dois le peu de ce que je sais (Я вам обязан тем, что знаю)», — писал Александр ему в письме от 16 января 1808 года. Александр Иванович Михайловский-Данилевский, служивший в 1813–1816 годах при особе его величества, привел позднее в своих записках слова, сказанные ему однажды государем: «Никто более Лагарпа не имел влияния на мой образ мыслей. Не было бы Лагарпа — не было бы Александра». «Tout ce que je sais et tout ce que peut-être je vaux, c'est à M-r Laharpe que je le dois (Всем, что я знаю и, может быть, всем, чего я стою, я обязан именно господину Лагарпу)», — заявил император Александр в 1814 году королю Пруссии, представляя ему своего швейцарского наставника.

Воспитание, полученное Александром в общении с Лагарпом, многое объясняет в его поведении в первые годы пребывания на императорском престоле. Увлечение Александра I идеей всеобщей политической реформы, разработку которой он поручил Сперанскому, возникло в значительной мере из абстрактных представлений об устройстве мира, внушенных его величеству Лагарпом.

Будучи наставником Александра в течение двенадцати лет, швейцарский философ прививал ему политические взгляды, которые получил в процессе своего образования, совершенно не заботясь о том, насколько они необходимы правителю огромной, имевшей тысячелетний исторический опыт, страны.

* * *

Фредерик-Цезарь Лагарп был на двадцать три года старше своего воспитанника — великого князя Александра. Он появился на свет в 1754 году в семье швейцарского дворянина по фамилии Де Ларп (*De L'Arpaz* или *De La Harpaz*)[1].

В возрасте 14 лет Фредерик-Цезарь был помещен в Гальденштейнскую семинарию. Обучаясь здесь в течение двух с половиной лет, он занимался, главным образом, математикой и древней исто-

[1] В годы французской революции Фредерик-Цезарь из опасения подвергнуться гонениям перестал употреблять в своей фамилии частицу «De», свидетельствовавшую о его дворянском происхождении, и таким образом превратился просто в Лагарпа. После падения революционеров-якобинцев он снова стал присоединять к своей фамилии эту частицу и зваться соответственно Делагарпом. Именно так его звали поначалу в России, но с течением времени более употребительной в применении к нему стала (вероятно, из-за его республиканских убеждений) фамилия Лагарп.

рией. Своей внутренней организацией данное учебное заведение воспроизводило устройство древнеримской республики: место собрания всех воспитанников называлось в нем форумом, коллегиальный орган управления — сенатом, должностные лица — консулами, трибунами, квесторами и т. д. Юноши, обучавшиеся в таких условиях, невольно становились приверженными республиканским идеалам, проникались любовью к античности и презрением к современной им действительности. Из подобных людей вышли, как известно, самые жестокие из французских революционеров.

Покинув пропитанные республиканским духом стены Гальденштейнской семинарии, Фредерик-Цезарь Лагарп продолжил свое образование на философском факультете Женевского университета. Затем он изучал юридические науки в университете города Тюбинга. В 1774 году доктор прав Лагарп возвратился на свою родину и посвятил себя юридической деятельности. Удачно проведя одно из судебных дел, он приобрел патент на звание адвоката в высшей Ролльской апелляционной камере.

Занявшись адвокатской практикой, Лагарп очень скоро осознал, что это рутинное занятие, предполагающее тщательную и вдумчивую работу с документами, не подходит его характеру. И он стал искать для себя другого приложения сил. В 1781 году молодой швейцарец решил, что подходящее для себя поприще он сможет найти в Северной Америке, и уже намеревался отправиться туда, как вдруг получил через своего знакомого Фридриха Гримма, состоявшего в постоянной переписке с Екатериной II, предложение сопровождать одного молодого русского офицера, приходившегося братом фавориту императрицы, Александра Ланского, в поездке по Италии. Екатерина отправляла данного офицера в путешествие, главным образом, с целью излечить его от любовной страсти к некой женщине. Лагарп должен был, общаясь с ним, способствовать этому излечению.

Почти год Лагарп ездил с русским офицером по итальянским городам и, как оказалось, не напрасно. Благодаря ли говорливому швейцарцу, впечатлениям от Италии и итальянок или просто действию времени, но брат фаворита императрицы излечился от опасной для него любви. Довольный Александр Ланской решил пригласить Лагарпа в Санкт-Петербург, и Екатерина немедленно сообщила Гримму: «Я желаю, чтобы Лагарп сопровождал своего спутника до Петербурга, где, без сомнения, получит приличное назначение». Так в 1782 году швейцарец оказался в столице Российской империи.

Обещанного российской императрицей «приличного назначения» ему пришлось ждать больше года. В марте 1784 года Екатерина приняла решение назначить Лагарпа преподавателем французского языка к великому князю Александру, которому за три месяца до этого исполнилось шесть лет. Однако наступил месяц май, но Лагарп так и не начинал занятий с Александром. Екатерина писала в это время барону Гримму: «Мы держим г-на Лагарпа про запас, а покамест он гуляет».

10 июня 1784 года недовольный той ролью, которую ему отвели при императорском дворе, Лагарп обратился к государыне с запиской, в которой предложил назначить его наставником великих князей в таких науках, как моральная философия, история, юриспруденция, география, математика или же отпустить из России. Смелый швейцарец утверждал в своем послании Екатерине, что будущий правитель должен усвоить принципы, на основе которых управляется совершенное общество. Он должен знать, в частности, что в древние времена все люди были равны, и хотя обстоятельства с тех пор переменились, это совсем не означает, что общество отдано во власть прихотей какого-либо одного человека, что всевластные монархи не бывают настолько великодушными, чтобы объявить своим подданным о том, что они созданы для служения им.

Прочитав письмо Лагарпа, Екатерина начертала на полях: «Тот, кто сочинил эту записку, способен преподавать не только французский язык». В результате с осени 1784 года швейцарец стал главным наставником Александра.

Тем не менее воспитание великого князя Лагарпу пришлось-таки начать с обучения его высочества именно французскому языку. Александр не знал в то время этого языка, а Лагарп не говорил по-русски.

Швейцарец стал регулярно прогуливаться с любимым внуком государыни по аллеям дворцового парка и при этом учить его французским словам и элементарным правилам французской грамматики. Только после того, как Александр оказался способным понимать французскую речь, Лагарп смог приступить к наставлениям его в политической и нравственной философии.

Назначая Лагарпа наставником к своему внуку, Екатерина знала о том, что он исповедует республиканские убеждения. «Будьте якобинцем, республиканцем, чем вам угодно, — говорила она философу. — Я вижу, что вы честный человек, и этого мне довольно».

Носитель высоких и вместе с тем предельно отвлеченных идей — «ходячая и очень говорливая либеральная книжка», по выражению Ключевского, — Лагарп неустанно внушал своему августейшему воспитаннику мысли о вреде деспотизма и беззакония, о необходимости для монарха быть добродетельным и чтить закон. То же самое он преподавал и великому князю Константину Павловичу. Однако именно Александр оказался наиболее восприимчивым к идеям, которые проповедовал либерально и республикански настроенный швейцарец. Великий князь буквально влюбился в эти идеи. И именно через призму их стал смотреть на окружавшую его действительность. Россия при таком взгляде должна была показаться Александру страной весьма непривлекательной и даже более того — совершенно ему чуждой. Думая о том, что в скором времени эта страна может быть предоставлена ему в управление, **он в мыслях своих примерял ее на себя как одежду и приходил к выводу, что она ему не подходит**. Желание отречься от назначенной ему Богом тяжкой судьбы российского самодержца овладевало им в такие моменты, вызывая намерение покинуть Россию и поселиться с женою на берегах Рейна, чтобы «*жить спокойно частным человеком, полагая свое счастие в обществе друзей и в изучении природы*». Последние слова принадлежат самому Александру: он начертал их в письме к своему другу Виктору Павловичу Кочубею 10 мая 1796 года. Подобное намерение Александр высказывал в письмах и к Лагарпу.

9 мая 1795 года швейцарец, завершив курс обучения великого князя политической и нравственной философии, покинул Россию, но общение его с Александром после этого не прекратилось. «Как часто я вспоминаю о вас и обо всем, что вы мне говорили, когда мы были вместе! — писал великий князь Александр Лагарпу 21 февраля 1796 года. — Но это не могло изменить принятого мною решения отказаться со временем от занимаемого мною звания. Оно с каждым днем становится для меня все более невыносимым по всему тому, что делается вокруг меня. Непостижимо, что происходит: все грабят, почти не встречаешь честного человека; это ужасно!»

В начале 1798 года Лагарп был избран членом директории Гельветической республики и получил возможность испытать на практике либеральные истины, которые преподавались им будущему российскому императору. Швейцарский наставник русского цесаревича быстро убедился, что *либералом легко быть только в част-*

*ной жизни*. И на посту главы Гельветической республики Фредерик-Цезарь Лагарп действовал так же сурово и насильственно, как и властители, которых он обличал, будучи преподавателем политической философии.

А его ученик, великий князь Александр, проходил в это время весьма своеобразную школу политического воспитания — испытание системой сурового Павлова правления. Старшему сыну императора Павла не удалось остаться сторонним наблюдателем проявлений царского деспотизма, но было предоставлено много возможностей испытать его на себе. И это испытание оказалось для Александра на редкость горьким. Временами он чувствовал себя откровенно несчастным. Не проходило дня, в который бы цесаревич не получал от строгого отца-императора какого-либо замечания или выговора за ту или иную оплошность. Делались они как будто специально в форме, больно ранившей самолюбие Александра. К нему приходил генерал-адъютант Павла — обыкновенно это бывал Н. О. Котлубицкий — и говорил, что его величество просил передать его высочеству, что он, его высочество, в таком-то деле «дурак и скотина». Добросовестное исполнение подобных поручений Павла, верная передача его слов Александру дорого обошлась впоследствии Котлубицкому. Сделавшись императором, Александр сперва сослал помощника Павла в Арзамас, а год спустя и вовсе спровадил 26-летнего генерал-лейтенанта в отставку.

Утром 11 марта 1801 года на разводе караула, который находился в ведении великого князя Александра, Павел, заметив какую-то оплошность, заорал: «Вашему высочеству свиньями надо командовать, а не людьми!» Александр, обыкновенно делавший в таких случаях поклон отцу, выражая тем самым согласие с его словами, на сей раз демонстративно отвернулся и закусил губу. Мог ли он, вступив на престол, забыть обиды, нанесенные ему отцом-деспотом? «Если когда-либо придет и мой черед царствовать, то вместо добровольного изгнания себя, я сделаю несравненно лучше, посвятив себя задаче даровать стране свободу и тем не допустить ее сделаться в будущем игрушкою в руках каких-либо безумцев». Эти слова сына и наследника Павла из письма к Лагарпу выглядят вполне искренними. Либерализм имел для Александра помимо прочего и личный смысл. Либерализмом своим он как бы протестовал против отцовского деспотизма, оставившего на его самолюбии глубокий след. Именно поэтому поза либерала была для молодого императора, особенно поначалу, чрезвычайно приятной.

* * *

Восшествие Александра I на императорский престол нарушило однообразие чиновничьей жизни Михайлы Сперанского. Политика нового императора, направленная на изменение всей системы управления страной, требовала для своего осуществления людей, способных разрабатывать проекты государственных преобразований. Сперанскому при его уме, широкой образованности и умении ясно и в строго логичной последовательности излагать на бумаги свои и чужие мысли, предоставлялась возможность подняться еще выше по лестнице чинов и должностей.

Случай завоевать благорасположение Александра Михайло Михайлович имел еще в правление Павла I, когда ему поручено было, в дополнение к основной его должности экспедитора генерал-прокурорской канцелярии, также управление канцелярией «Комиссии о снабжении резиденции припасами, для распорядка квартир и прочих частей, до полиции принадлежащих», которая возглавлялась молодым цесаревичем. Названная комиссия призвана была заниматься не только доставкой продовольствия в Санкт-Петербург, но и контролировать цены на продукты, следить за благоустройством столицы.

13 марта 1801 года император Александр принял на государственную службу тайного советника Д. П. Трощинского, уволенного по собственному прошению ровно пять месяцев назад (12 октября 1800 года). Время, прошедшее со дня ухода со службы, Дмитрий Прокофьевич использовал главным образом для того, чтобы повысить уровень своей образованности: он происходил из рода небогатых малороссийских дворян и не сумел получить в юности хорошего образования. Перебравшись на жительство в Москву, Трощинский всю зиму слушал лекции в Московском университете (будучи уже в пятидесятилетнем возрасте[1]), в свободное же от лекций время предавался чтению книг. При императрице Екатерине II он дослужился

[1] В биографических словарях датой рождения Д. П. Трощинского обыкновенно называется 1754 г. В биобиблиографическом справочнике Д. Н. Шилова «Государственные деятели Российской империи. 1802–1917» его рождение относится к 1749 г. Последняя дата кажется более правильной, поскольку 1 мая 1766 г. Дмитрий Трощинский поступил на службу канцеляристом в Малороссийскую коллегию. Если допустить, что он появился на свет в 1754 г., то, следовательно, его канцелярская служба началась в 12-летнем возрасте, что представляется маловероятным.

до чина действительного статского советника. С сентября 1793 года он состоял «у собственных Ее Императорского Величества дел», то есть занимал место статс-секретаря императрицы. Чин тайного советника Дмитрий Прокофьевич получил при императоре Павле — 25 августа 1797 года. С июня 1798 до апреля 1799 года он являлся присутствующим в 3-м департаменте Правительствующего Сената и президентом Главного почтового управления, оставаясь при этом статс-секретарем. Последние десять месяцев до своего увольнения в отставку Трощинский занимался ревизией Московской, Владимирской, Рязанской и др. центральных губерний Российской империи.

Император Александр назначил Трощинского на должность Главного директора почт, а также членом Сената. Одновременно Дмитрию Прокофьевичу было определено состоять при «Особе Его Императорского Величества».

19 марта 1801 года государь подписал Указ Правительствующему Сенату следующего содержания: «Всемилостивейше повелеваем быть при Нашем тайном советнике Трощинском у исправления дел, на него по доверенности Нашей возложенных, статскому советнику *Сперанскому* со званием Нашего статс-секретаря и с жалованием по две тысячи рублей на год из Нашего Кабинета; получаемое им до сего по должности Правителя канцелярии Комиссии о снабжении резиденции припасами жалованье по две тысячи рублей на год обратить ему в пенсион по смерть его»[1].

30 марта 1801 года Трощинский стал членом так называемого «Непременного Совета», созданного императором вместо собиравшегося от случая к случаю «Совета при Высочайшем дворе». 23 апреля 1801 года Сперанский был назначен на должность управляющего экспедицией гражданских и духовных дел в канцелярии «Непременного Совета».

По должности своей Д. П. Трощинский обязан был представлять государю доклады и редактировать исходящие от него бумаги. Сперанский, обладавший гибким умом, обширными познаниями и к тому же не имевший равных себе в тогдашней России по искусству составления канцелярских бумаг, стал правой рукой нового своего начальника. Дмитрий Прокофьевич начал поручать ему составление проектов манифестов и указов, которых в первые месяцы нового царствования издавалось особенно много. У способного моло-

[1] См.: Реестр именных Высочайших указов // Российский государственный исторический архив (далее: РГИА). Фонд 468. Оп. 1. Ед. хр. 3918. Л. 74.

дого чиновника открылись новые возможности для продвижения по лестнице чинов.

9 июля 1801 года Михайло Сперанский получил чин действительного статского советника, то есть поднялся на четвертую ступень в чиновной иерархии, установленной Табелью о рангах. Этот чин соответствовал воинскому званию генерал-майора.

Незаурядные способности помощника Д. П. Трощинского привлекли к себе внимание молодых друзей Александра I — графа Павла Александровича Строганова, Николая Николаевича Новосильцова, графа Виктора Павловича Кочубея и князя Адама Чарторижского, составивших с целью разработки и обсуждения планов и проектов государственных преобразований так называемый «Негласный комитет». Он регулярно заседал с 24 июня 1801 года по 12 мая 1802 года, затем более года не собирался. 26 октября 1803 года работа «Негласного комитета» возобновилась. До 9 ноября 1803 года друзья-реформаторы Александра I провели четыре заседания и после этого перестали собираться для рассмотрения планов реформ.

Первое заседание «Негласного комитета» началось с того, что его члены, призванные «для осуществления регулярной работы по реформе бесформенного здания правительства империи, согласились с идеей Его Величества, что сначала необходимо иметь картину действительного состояния империи во всех ее частях»[1].

Все, что обсуждалось на заседаниях «Негласного комитета», предназначено было оставаться тайной. Об этом П. А. Строганов договорился с императором во время беседы с ним 9 мая 1801 года. В поданной в этот день его величеству «Записке по поводу основных начал для государственных преобразований» Павел Александрович писал: «С своей же стороны, я особенно буду настаивать быть возможно осмотрительнее в задуманном Вами предприятии, чтобы не вселять в обществе несбыточных надежд, не давать повода к излишним разговорам, с которыми впоследствии трудно будет совладать и придется считаться, тогда как необходимы лишь осторожность и должный такт, чтобы предотвратить несчастные последствия. Хотя Ваше Величество мне передавали свои опасения, что реформа будет некоторыми встречена с неудовольствием, но, с другой стороны,

---

[1] Résultat d'une conférence avec l'Empereur le 24 Juin 1801 // Великий князь Николай Михайлович. Граф Павел Александрович Строганов (1774–1817). Историческое исследование эпохи императора Александра I. В 3-х томах. СПб., 1903. Том 2. С. 61.

найдется много охотников принять участие в занятиях и это обстоятельство только затруднило бы работу, и многие, узнав о Ваших намерениях, могли бы воспламениться совсем понапрасну». Отсюда Строгановым делался следующий вывод: «Предстоит двойная задача: с одной стороны, щадить умы от нежелательного предубеждения против реформ, с другой — понять настолько настроение общества, чтобы не возбуждать неудовольствие напрасно. Это требует заседаний *секретных*, причем надо принять за основу занятий полную *негласность* обсуждаемого» (курсив мой. — *В. Т.*).

В условленный вечер члены комитета собирались в Зимнем или Каменноостровском дворце за обеденным столом у императора. Отобедав, они в отличие от других приглашенных не уезжали сразу из дворца, но проходили через особую дверь в небольшую комнату, смежную с покоями их величеств. Некоторое время спустя туда входил Александр и начинал с присутствовавшими обсуждение различных аспектов реформы государственного управления страной. Несмотря на подобную скрытость, ни состав комитета, ни характер его деятельности не оставались секретом для общества.

Те, кто знал о «Негласном комитете», относились к его деятельности по-разному. Министр юстиции Г. Р. Державин называл молодых друзей Александра I «якобинской шайкой»[1] и говорил, что они ни государства, ни дел гражданских основательно не знают. Бывший начальник Сперанского А. А. Беклешов едко смеялся над членами «Негласного комитета»: «Они, пожалуй, и умные люди, но лунатики. Посмотреть на них, так не надивишься: один ходит по самому краю высокой крыши, другой по оконечности крутого берега над бездною; но назови любого по имени, он очнется, упадет и расшибется в прах». Многие же из тех, кто знал о «Негласном комитете», были настроены к нему благожелательно.

Примечательным, однако, являлось другое — среди знавших о деятельности комитета не было почти никого, кто бы относился к реформаторству друзей Александра равнодушно, то есть никак. Почти все воспринимали это реформаторство серьезно. Всерьез верили в то, что, образованные на западноевропейский манер, не имеющие никакого опыта государственного управления, да и не знающие как следует России молодые люди смогут разработать разумный

[1] Любопытно, что император Александр в шутку именовал «Негласный комитет» «Comité de salut public (Комитетом общественного спасения)», то есть так же, как и Державин, уподоблял своих друзей-реформаторов якобинцам.

проект планомерного, сознательного преобразования этой огромной, необъятной умом и сердцем страны, которую в ее прошлом гнули и ломали, заливали кровью и развращали, перекраивали и перестраивали, но которая тем не менее всегда жила и развивалась по-своему — так, как того хотелось ей, а не какому-либо пресловутому правителю-реформатору!

Странная эта вера отражала дух времени, когда человеческий разум казался могущественнее всего, что есть на свете, — могущественнее даже и самой человеческой истории. Легкость, с которой удалось, опираясь на разум, развенчать прошлое и вконец расправиться с ним, возбуждала мысль о том, что так же легко можно будет, пользуясь разумными идеями-рецептами, спроектировать и построить будущее. Исторические основы того или иного народа, его культурно-национальные особенности считались детскими погремушками, явлениями, не имеющими сколько-нибудь большого значения для будущего. Главным казалось найти правильные принципы устройства будущей политической организации и составить из них соответствующую схему. Последняя, будучи введенной в действие, немедленно и сама по себе даст положительный результат. Идеи, возникшие на западноевропейской почве, мыслились поэтому вполне пригодными для России. А люди, проникнутые ими, долгое время жившие за границей, представлялись серьезными реформаторами.

Никто из членов «Негласного комитета» не отличался способностью воплощать политические идеи в конкретные преобразовательные проекты. Поэтому Сперанский стал для них сущей находкой. Непосредственно на заседания данного комитета попович не допускался. Поручения составить тот или иной проект передавал ему, как правило, В. П. Кочубей. Благодаря такому участию в делах «Негласного комитета» молодой чиновник впервые познакомился с «кухней» государственных преобразований и ближе узнал непосредственное окружение императора. «Тут увидел он, — писал Ф. Ф. Вигель, — пустоту претензий людей, почитавших себя у нас государственными, узнал все их ничтожество, опытность старцев и зрелых мужей презирал, уважал одну только ученость, в этом отношении на гражданском поприще равных себе не видел и с тех пор приучился ставить себя выше всех»[1].

[1] Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть 2. М., 1892. С. 8–9.

С поручением составить ту или иную записку или просто подправить какой-либо текст к Михайле Сперанскому обращались помимо В. П. Кочубея и другие сановники. В архиве графов Воронцовых сохранилась записка о Правительствующем Сенате за подписью Александра Воронцова, которая представлялась им 5 мая 1802 года для обсуждения в «Непременном совете». Пометы на ней выдают руку Сперанского.

В феврале–мае 1802 года в «Негласном комитете» шло интенсивное обсуждение проектов административных преобразований. В период с 10 февраля до 12 мая состоялось восемь заседаний комитета, на которых рассматривались различные вопросы, связанные с учреждением министерств[1]. Ни у императора Александра, ни у его молодых друзей — членов «Негласного комитета» не возникало ни малейших сомнений в необходимости проведения министерской реформы. Характеризуя существовавшую на тот момент систему государственного управления России, В. П. Кочубей писал: «Трудно с точностию определить состав управления, до утверждения Министерства бывший. Он представляется в двух различных видах, судя по тому, с которой точки зрения на него взирают. Судя по первоначальным установлениям, управление сие должно было состоять в том, чтобы все дела из разных коллегий стекались в Сенат и, быв уважены его рассуждением, вносимые были через генерал-прокурора к государю. Но судя по практическому дел течению, сей образ производства, многократно изменяясь, наконец, совершенно отошел из своего первоначального правила. В практическом производстве дел каждая часть имела способы более или менее удобные, по мере случайной доверенности ее начальников, вносить дела свои непосредственно на Высочайшее утверждение. Так, дела военных коллегий шли через своих вице-президентов; коммерческие через министра коммерции; казначейские через государственного казначея; удельные через министра уделов; почтовые через главного директора прямо к государю, не останавливаясь в Сенате, который по отношению к сим делам был сборным только местом Высочайших решений и распорядителем некоторых только дел текущих и маловажных. Прочие части, кои или не имели своего главного директора, или коих директор не имел доступа к государю, входили

[1] Последнее заседание «Негласного комитета» по проблеме министерской реформы пройдет 16 марта 1803 г. Оно будет посвящено предварительным итогам ее практической реализации.

по большей части прямо к генерал-прокурору и от него подносимые были непосредственно на Высочайшее усмотрение. Наконец, дела, кои из всех сих частей случайно и более по усмотрению их начальников, нежели по какому-либо постоянному правилу в Сенат входили, были столько зависимы от влияния генерал-прокурора, что рассмотрение их в Сенате было, так как и большая часть дел в Сенате производимых, только простой обряд; решение же всегда зависело от согласия начальника с генерал-прокурором, и часто от единого мнения сего последнего. Таким образом, дела в существе своем и до установления министерств шли по большей части через главных начальников и особенно и главнейшее через генерал-прокурора, который посредством сего, собственно собою или под прикрытием Сената, имел на все части влияние. Из сего краткого начертания само собою открывается, сколь состав сей в практическом его производстве был недостаточен, произволен и подвержен смешению».

На первом из заседаний «Негласного комитета», посвященных административной реформе, которое состоялось 10 февраля 1802 года, была рассмотрена записка Адама Чарторижского об общих направлениях реформы управления Российской империи. В ней предлагалось, в частности, распределить административные полномочия между несколькими министрами, которые держали бы в своих руках управление внутренними делами, иностранными делами, финансами, юстицией, народным просвещением, полицией, армией, флотом. Все министры должны были образовать совещательный совет при императоре, призванный стоять во главе государственного управления.

10 марта 1802 года в «Негласном комитете» рассматривался проект учреждения министерств, составленный графом Л. К. Платером по образцу организации исполнительной власти в тогдашней Франции. В нем предлагалось создание девяти министерств: 1) юстиции, 2) внутренних дел, 3) иностранных дел, 4) народного просвещения, 5) военного, 6) морского, 7) финансов, 8) казны, 9) полиции.

17 марта 1802 года обсуждались проекты организации министерств, предложенные А. Р. Воронцовым. 24 марта был рассмотрен проект введения к указу об учреждении министерств, представленный В. П. Кочубеем. В нем провозглашалась цель реформы («постоянно возрастающее благосостояние всех граждан») и перечислялись обязанности министров. В одной из статей данного проекта говорилось о замене коллегий канцеляриями министров. Император не со-

гласился на немедленную ликвидацию коллегий и предложил подчинить их сначала министрам и только с течением времени постепенно заменить их на канцелярии. Мнение Александра нашло поддержку только со стороны Чарторижского. Другие члены «Негласного комитета» — В. П. Кочубей, Н. Н. Новосильцов, П. А. Строганов — настаивали на том, что сохранение коллегий даже на какое-то время нежелательно, поскольку сложившиеся в их рамках формы делопроизводства будут сильно препятствовать эффективной деятельности министерств; изменить же делопроизводство коллегий с тем, чтобы приспособить его к осуществлению функций, возложенных на министерства, будет очень трудно. Несмотря на такие аргументы государь не отказался от своего мнения.

На заседании 11 апреля 1802 года члены «Негласного комитета» обсуждали предварительный проект Н. Н. Новосильцова «О разделении министерств и о распределении полномочий». В соответствии с ним предполагалось создать единое Министерство, разделенное на отдельные части, возглавляемые министрами: юстиции, внутренних дел, финансов, государственного казначейства, иностранных дел, народного просвещения, военных и морских дел. При этом предусматривалось, что министр юстиции возьмет на себя также полномочия генерал-прокурора, за исключением административных и финансовых, которые передавались министрам внутренних дел и финансов. Под контролем министра внутренних дел должно было находиться все, относившееся к организации управления на местах и устройству всех путей сообщения. В его ведение переходили генерал-губернаторы и губернаторы, департамент водяных коммуникаций, Мануфактур-коллегия, Экспедиция государственного хозяйства, Главная Соляная контора, гражданские землемеры.

21 апреля 1802 года снова обсуждался проект Новосильцова, но уже полный его вариант, в который были внесены исправления, предложенные членами «Негласного комитета» и находившимся тогда в Санкт-Петербурге Ф.-Ц. Лагарпом. Наставник Александра I предлагал, в частности, разработать до введения в действие плана учреждения министерств единый порядок канцелярского делопроизводства.

Рассказывая о порядке составления министрами своих докладов императору, Новосильцов заявил о целесообразности предварительного их рассмотрения «комитетом, составленным из министров». Но высказанная им идея создания нового органа, стоящего над министрами и объединяющего их деятельность, не была воспринята дру-

гими членами «Негласного комитета». Они предполагали, что достаточно будет разделить «Непременный совет» на два вида: узкий, состоящий из одних министров, и широкий, объединяющий министров и остальных членов «Непременного совета». Лишь в процессе осуществления министерской реформы станет очевидным, что для координации деятельности отдельных министерств необходимо создание особого органа — Комитета министров.

В ходе заседания, проходившего 5 мая 1802 года, члены «Негласного комитета» обсуждали конкретные кандидатуры на должности министров финансов и юстиции. Император Александр предложил назначить на первую из них графа Н. П. Румянцева, на вторую — А. И. Васильева. Но это предложение не встретило поддержки у остальных членов комитета. Его величеству напомнили, что до сих пор в ведении Васильева находилось только казначейство, а юстицией он никогда не занимался. О Румянцеве же членами «Негласного комитета» было сказано государю, что назначать его министром финансов можно лишь при условии, если при нем будет состоять в качестве помощника способный и разбирающийся в данной отрасли управления чиновник. В результате Александр I назначит графа Васильева министром финансов, министром юстиции станет Г. Р. Державин. Граф Н. П. Румянцев продолжит управлять коммерц-коллегией.

12 мая 1802 года членами «Негласного комитета» рассматривались заметки А. Р. Воронцова на проект учреждения министерств. В замечаниях на статью XVIII данного проекта Александр Романович использовал для обозначения заместителя министра вместо термина «поручик министра» словосочетание «товарищ министра». Как известно, именно оно и будет впоследствии принято за норму.

20 мая 1802 года император Александр отправился за границу. В Россию он возвратился 22 июня. Но его друзья-реформаторы продолжали работать над проектом создания министерств. 27 мая П. А. Строганов представил проект С. Р. Воронцову с тем, чтобы выслушать его суждения о подготовленной реформе. Семен Романович высказался против создания в числе различных ведомств Министерства коммерции, указав, что сфера торговли должна находиться в ведении министра внутренних дел. Одновременно он предложил разделить проект учреждения министерств на два законодательных акта: манифест об учреждении министерств и манифест о назначении министров. Это предложение будет принято императором Александром.

Дальнейшая работа над проектом Манифеста «Об учреждении министерств» велась, если судить по документам, Н. Н. Новосильцовым. Но по свидетельству современников, знавших, как на самом деле создавался этот документ, главным его творцом был Сперанский. «Никто из пяти преобразователей не умел ничего написать, — отмечал в своих мемуарах Ф. Ф. Вигель. — Сперанский предложил им искусное перо свое и, принимая вид, как будто собирает их мнения, соглашает их, приводит в порядок, действительно один составил проект учреждения министерств»[1].

4 или 5 сентября 1802 года документы министерской реформы были переданы государю.

* * *

8 сентября 1802 года император Александр I утвердил Именной указ, данный Сенату, «О правах и обязанностях Сената»[2], Манифест «Об учреждении министерств»[3] и Именной указ, данный Сенату, «Об оставлении первых трех коллегий в образе производства дел на прежнем основании и о лицах, избранных к управлению министерствами»[4]. Содержание названных актов показывает, что Александр I решил вести реформу административной системы России постепенно. На первом ее этапе Манифестом «Об учреждении министерств» создавалось так называемое Министерство, разделенное на восемь отделений: военное, морское, иностранных дел, юстиции, внутренних дел, финансов, коммерции и народного просвещения. Эти отделения еще в процессе подготовки реформы называли министерствами, впоследствии это название было закреплено за ними и в законодательных актах. С образованием Министерства прежние коллегии не уничтожались. Они лишь переходили под начало соответствующего министра, который брал на себя роль главного директора коллегии. Новые органы управления должны были поначалу действовать наряду со старыми государственными коллегиями и на основании регулировавшего деятельность этих коллегий «Генерального регламента», который был принят 27 февраля

---

1 Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть 2. С. 8.

2 Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (далее: 1-ПСЗРИ). СПб., 1830. Том 27. № 20405. С. 241–243.

3 Там же. № 20406. С. 243–248.

4 Там же. № 20409. С. 249–250.

1720 года, то есть еще царем Петром I. Манифестом предусматривалось, что в дальнейшем пределы власти министров будут определены в специальных инструкциях. Должность министра юстиции совмещалась с генерал-прокурорской. При этом в третьей статье Манифеста «Об учреждении министерств» устанавливалось, что указанная должность «имеет быть особенно определена при издании сочиняемого уложения законов, а до того времени она должна оставаться на основании инструкции генерал-прокурора». В 1809 году М. М. Сперанский следующим образом объяснит половинчатый характер министерской реформы 1802 года: «В системе разделения дел на министерства, без сомнения, более был уважен порядок предшествовавший, нежели естественная их связь и отношение. Казалось, несходственным — и заключение сие было весьма правильно — пуститься с первого шагу в большие уновления и, строя новое здание, разрушить все прежнее до основания»[1].

Ликвидацию коллегий и других отживших элементов старой административной системы Александр I предполагал осуществить на следующем этапе реформы. Разрабатывать же проекты дальнейших административных преобразований было поручено министру внутренних дел, которым стал В. П. Кочубей. Виктор Павлович остро нуждался поэтому в сотрудниках, наделенных государственным умом и способностями к составлению преобразовательных проектов. Именно таким человеком был Михайло Сперанский. И министр внутренних дел постарался переманить его к себе.

Сказавшись больным, молодой чиновник перестал ходить на службу в канцелярию своего начальника Д. П. Трощинского и втайне от него начал работать на В. П. Кочубея. За два-три дня до утверждения императором Александром Манифеста «Об учреждении министерств» Дмитрию Прокофьевичу сделалась каким-то образом известной тайна «болезни» Сперанского. Немедля бросился он к государю и попытался вернуть себе способного помощника. Но не остался в стороне и Кочубей, желавший заполучить Сперанского в свое ведомство. Ф. Ф. Вигель писал впоследствии в своих мемуарах: «Надобно отдать справедливость этому Кочубею: он имел одно достоинство, которое исключительно должно бы принадлежать ца-

---

[1] *Сперанский М. М.* Введение к Уложению государственных законов (план всеобщего государственного образования) // Сперанский М. М. Юридические произведения / Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. *С.* 416–417.

рям. В нем была удивительная способность выбирать людей, уметь их употреблять и знать им цену. От природы беден, он был самый искусный оценщик чужих сокровищ и без собственных капиталов, одним кредитом, был целый век богат»[1].

Между Кочубеем и Трощинским разгорелся спор о том, где следует служить способному молодому чиновнику. «Сперанский должен необходимо состоять исключительно при Министерстве внутренних дел и быть поставлен вне всякого прикосновения к прежнему месту своего служения», — писал Виктор Павлович императору, добавляя к этим словам нечто очень похожее на обыкновенный донос (видимо, для придания большей убедительности своим аргументам): «Зависимость от двух начальников была бы неуместна даже и при действии обоих по одинаковым началам, а о г. Трощинском известно, напротив, что он есть один из самых упорных порицателей и врагов (!) нововводимой системы».

И то ли Кочубей оказался настойчивее, то ли являлся он более доверенным у государя лицом, или же у его величества просто-напросто возобладал здравый смысл, но в день 8 сентября 1802 года одновременно с Манифестом, объявлявшим о начале министерской реформы, вышел и Высочайший указ, который повелел: «Статс-секретарю Сперанскому быть при Министерстве внутренних дел».

Новый начальник Сперанского превосходил прежнего по всем почти параметрам. Был Виктор Павлович еще сравнительно молод[2] (всего на три года с небольшим старше Михайлы Михайловича), хорошо образован[3], умен, знатен — словом, имел хорошую перспек-

---

1 Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть 2. С. 63.

2 В. П. Кочубей родился 11 ноября 1768 г. в семье Павла Васильевича Кочубея, занимавшего должность головы подкормного полтавского суда. По отцовской линии Виктор Павлович являлся правнуком знаменитого обличителя гетмана Мазепы генерального судьи Левобережной Украины (с 1699 г.) Василия Леонтьевича Кочубея (1640–1708). Мать Виктора Павловича — Ульяна Андреевна — была родной сестрой Александра Андреевича Безбородко, сделавшего успешную карьеру при Екатерине II. При императоре Павле А. А. Безбородко являлся государственным канцлером и входил в число самых влиятельных вельмож Российской империи.

3 Первоначальное образование В. П. Кочубей получил в аристократическом пансионе де Вильнева, считавшемся одним из лучших пансионов Санкт-Петербурга. В 1785 г. он слушал лекции по праву народному в Упсальском университете — в старейшем и лучшем университете Швеции. В 1791 г., пребывая в Женеве, Кочубей в течение полугода слушал лекции по истории литературы и философии в лицее Жана Франсуа Лагарпа.

тиву, в то время как Дмитрий Прокофьевич уже старел — опытный царедворец, он насквозь был пропитан старыми традициями и вряд ли мог подняться по ступеням государственной службы на бóльшую высоту, чем та, которой достиг. На следующий день после издания Манифеста «Об учреждении министерств» император Александр назначил Д. П. Трощинского на скромную должность министра департамента уделов. Дмитрий Прокофьевич будет занимать ее до июня 1806 года, после чего уйдет в отставку на целых девять лет, которые проведет в своем имении в Полтавской губернии. 30 августа 1814 года он будет назначен государем на пост министра юстиции. В августе 1817 года, за два месяца до того, как ему исполнится 68 лет, Д. П. Трощинский окончательно оставит государственную службу. Умрет он в 1829 году.

В Министерстве внутренних дел Сперанский с самого начала стал ведать бумагами министра внутренних дел. 7 января 1803 года был издан нормативный акт, на основании которого в министерстве создавался Департамент, призванный выполнять роль канцелярии при министре. Сперанский занял пост его директора. В подчинении у него оказалось сорок пять чиновников. В соответствии с указанным актом функции Департамента распределялись по четырем экспедициям: Первая ведала народным продовольствием и соляной частью, вторая была экспедицией спокойствия и благочиния, третья — государственного хозяйства и мануфактур, четвертая ведала делами Медицинской коллегии и приказами общественного призрения.

18 июля 1803 года император Александр утвердил всеподданнейший доклад В. П. Кочубея, в котором содержалось предложение о придании Департаменту Министерства внутренних дел помимо функции канцелярии также всех функций коллегий, находившихся под началом министра внутренних дел. В результате первая и третья экспедиции Департамента соединялись в одну — под названием «Экспедиция государственного хозяйства», которая заменяла собой Мануфактур-коллегию, Главную Соляную контору и другие коллегиальные учреждения, ведавшие теми или иными отраслями государственного хозяйства. Вторая экспедиция получила наименование «Экспедиции государственного благоустройства». Четвертая экспедиция становилась третьей — под названием «Экспедиции государственной медицинской управы». Вторая и третья экспедиции, в отличие от первой, не брали пока на себя функций соответствующих коллегий и продолжали оставаться чисто канцелярскими подразделениями.

31 декабря 1803 года его величеством был одобрен всеподданнейший доклад министра внутренних дел, в котором излагался порядок преобразования третьей и отчасти второй экспедиций Департамента. В соответствии с ним третья экспедиция брала на себя все дела Медицинской коллегии, ко второй же отходили дела Приказа общественного призрения.

20 апреля 1806 года государь утвердил новое положение и штат Второй экспедиции, по которому она окончательно реорганизовывалась в такой же канцелярско-управленческий орган, каким являлась Первая. Сперанский, занимавший до этого должность директора Департамента, стал управляющим преобразованной второй экспедиции, называвшейся «Экспедицией государственного благоустройства».

В течение всего времени работы Сперанского в Министерстве внутренних дел главной его задачей была подготовка проектов административных реформ и различных управленческих реорганизаций. Нередко заказчиком подобных проектов выступал сам император. Он поручал министру внутренних дел разработать тот или иной проект, а Кочубей в свою очередь переадресовывал это поручение своему подчиненному — Михайле Сперанскому.

В 1803 году Александр I поручил Сперанскому, через посредство В. П. Кочубея, составить обширную записку об устройстве судебных и правительственных учреждений в России. Годом ранее (видимо, по собственной инициативе) Сперанский представил государю свои размышления о государственном устройстве Российской империи. Так завязывались личные отношения императора со способным чиновником, которые впоследствии перерастут в нечто, похожее на политический союз.

Кроме проектов различных нормативных актов Михайло Михайлович составлял в рассматриваемое время также ежегодные всеподданнейшие отчеты министра внутренних дел императору Александру. С 1804 года они регулярно публиковались в «Санкт-Петербургском журнале» — официальном периодическом издании Министерства внутренних дел. Вместе с отчетами в данном журнале помещались различные официальные документы и статьи, которые также писал главным образом Сперанский. Его легкий, изящный стиль, простая, всем доступная форма изложения канцелярских документов находились в резком контрасте с распространенным тогда тяжелым, путаным, непонятным слогом официальных документов, доступным пониманию только их составителей.

Иван Иванович Дмитриев вспоминал два десятилетия спустя: «При учреждении министерств Сперанский перешел в Министерство внутренних дел и находился при министре оного, графе Кочубее. Он был у него самым способным и деятельным работником. Все проэкты новых постановлений и ежегодные отчеты по министерству были им писаны. Последние имели не только достоинство новизны, но и, со стороны методического расположения, весьма редкого и поныне в наших приказных бумагах, исторического изложения по каждой части управления, по искусству в слоге могут послужить руководством и образцами»[1]. Другие чиновники — из тех, кто был поспособнее, стали постепенно воспринимать стиль Сперанского. Так началось преобразование старого русского делового языка в новый, более современный.

В результате произошедшей жизненной перемены душевное состояние Сперанского решительно изменилось. Из разочарованного, болезненно скучавшего своими служебными занятиями, усталого человека он обратился в личность необыкновенно энергичную, увлеченную — все в нем ожило и засветилось. Ф. П. Лубяновскому довелось в это время служить рядом со Сперанским. Впоследствии он вспоминал: «В исходе 1802 года я нашел его в Министерстве внутренних дел уже в числе знаменитостей молодого поколения по уму и витийству; таланты тогда были еще не так нередки, как нынче, по переизбытку излияния духа. По этой славе, не быв подчинен, я сам искал подчиниться ему: надобно было изучать человека. В продолжение семи лет редкий день проходил без того, чтоб мы не виделись и не говорили о всем — о земном и неземном. Это время назову я весною Сперанского»[2].

Министр Кочубей обладал умом, познаниями и организаторскими способностями незаурядного государственного деятеля. Ему удалось создать в Министерстве внутренних дел атмосферу весьма благоприятную для образованных и талантливых чиновников. Князь И. М. Долгоруков, назначенный в 1802 году губернатором Владимирской губернии, был в 1805 году несколько раз на приеме у Кочубея и разговаривал с ним о делах службы. Общался Иван Михайлович также со Сперанским. В своих записках оставил он следующие суждения о министре и начальнике его канцелярии: «Граф

---

1 *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 197.

2 Воспоминания Федора Петровича Лубяновского // Русский архив. 1872. Вып. 3 и 4. Стлб. 481.

Кочубей заслуживает как государственный человек наилучшие похвалы. Холодная его учтивость с подчиненными, удаляя, что мы просто называем панибратство между им и теми, не имела, однако, той суровости, которая свойственна одному надменному вельможе. Он не обнимался с подчиненными и не шутил с ними, как, например, князь Лопухин, но почитал звание каждого, отдавал всякому должное, вникал в представления словесные, уважал письменные, выслушивал терпеливо возражения. Ему можно было без страха противоречить, с ним беседа была не пуста и не бесполезна. Он разбирал дело. После всякого с ним разговора я выходил от него совершенно доволен и разрешен во всем. Одобрение его уже была награда. Он не любил за все про все выпрашивать подчиненным чины и ленты, но обращение его с ними, вес, который он давал прямым талантам, вознаграждало щедрость в отличиях. Не всякий ими одними пленяется, есть люди, для которых доброе слово дороже алмазной звезды. Для сих последних Кочубей был, конечно, настоящий министр, хороший начальник. Я осмелюсь сказать решительно, что граф Кочубей делал честь своему сану паче многих. Канцелярия его наполнена была лучшими людьми в приказном разряде. Начальники столов и департаментов отличались дарованиями природы и навычным познанием своей обязанности. Сперанский, превосходный человек в гражданской работе, имел сотрудников замечательных в особах Серебрякова, Лубяновского и Магницкого. Отношения ко всем к ним были легки, свободны и приятны. Сам Сперанский был благоприступен, велеречив, тщателен и не отгонял от себя ни грубостью, ни видом спесивым. Умный может быть горд в духе, но кичливость — атрибут одного глупца»[1].

Ф. Ф. Вигель также отличал В. П. Кочубея среди друзей-реформаторов Александра I. «Всех старее если не летами, то чином был граф Кочубей, родной племянник умершего канцлера князя Безбородки, — писал он в своих мемуарах. — Чтобы составить гений одного человека, натура часто принуждена бывает отобрать умственные способности у всего рода его. Так поступила она с великим Суворовым и славным Безбородкой. Окинув взором всех ближних и дальних родственников, покойный канцлер в одном только из них заметил необыкновенный ум, то есть что-то на него самого

[1] *Князь Долгоруков И. М.* Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мною самим и начатая в Москве 1788-го года в августе месяце, на 25-м году от рождения моего. СПб., 2004. Том 1. С. 657–658.

похожее: сметливость, чудесную память и гордую таинственность; и племянника своего, Виктора Павловича, предназначил быть преемником счастия своего и знаменитости. Ничего не пощадив на его воспитание, в самых молодых летах отправил он его в лондонскую миссию, к искусному дипломату, посланнику нашему графу Воронцову на выучку. Оттуда прямо, через несколько лет, нашел он средство, с чином камергера, перевести его самого посланником в Константинополь. До смерти своей сохранив при Павле неограниченный кредит, он сначала вызвал его оттуда членом иностранной коллегии, а потом, в короткое время, успел доставить ему графское достоинство и звание вице-канцлера. Один, без дяди, при Павле Кочубей долго не мог оставаться и, как многие другие, был сослан в деревню.

В царствование Александра надобно уже было ему жить собственным умом; ему было тогда не с большим тридцать лет. Он пренебрег обыкновенными ничтожными занятиями дипломатов, по большей части сплетнями хорошего тона, и хотел посвятить себя внутреннему преобразованию государства. Перед соотечественниками ему было чем блеснуть: он лучше других знал состав парламента, права его членов, прочитал всех английских публицистов и, как львенок Крыловой басни, собирался учить зверей вить гнезда. Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующий взгляд, надменная учтивость — были блестящие завесы, за кои искусно прятал он свои недостатки, и имя государственного человека принадлежало ему, когда еще ничем он его не заслужил»[1].

Знания, ум и бойкое перо могут быть для молодого чиновника лишь предпосылкой успеха, хотя и весьма важной. Многое, если не все, в его карьере зависит от того, кому он будет угождать своим умом и пером, чьим интересам станет служить. Высшая бюрократическая сфера России первых лет Александрова правления была крайне неоднородна по своему составу. Быть может, ни один государь в предшествующей русской истории не имел в своем сановном окружении столько различных по своим интересам и взглядам группировок, сколько имел Александр I. С одной стороны, его окружали старые, не всегда образованные, но всегда опытные и сильные своими аристократическими связями екатерининские сановники, как, например, Н. П. Румянцев и Д. П. Трощинский. С другой стороны, по восшествии своем на престол он приблизил к себе молодых ари-

[1] Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть 2. С. 4–5.

стократов, неопытных в государственных делах, но образованных по высшей для того времени мерке. Наконец, Александр I оставил подле себя часть тех сановников, что были в фаворе у его несчастного отца. В результате молодой император окружил себя людьми самых разных, кое в чем прямо противоположных политических воззрений.

С одной стороны, среди сановников Александра I присутствовали консервативно настроенные, активно выступавшие против каких бы то ни было перемен людей. С другой стороны, в его окружении заметную роль играли люди реформаторских настроений. Кроме того, около молодого императора вращались такие персоны, как Адам Чарторижский, которых нельзя отнести ни к первым, ни ко вторым, которые, в сущности, равнодушны к благу России.

Сами по себе консерваторы также были неоднородны — одни из них относились отрицательно к переменам из патриотических побуждений, из опасения, что власть может при проведении преобразований нарушить естественный ход исторического развития России и тем навредить ей. Другие не принимали перемен оттого, что боялись за свое положение.

Александр I воспринимал эту неоднородность своего сановного окружения как норму и не только не пытался ее преодолеть, но как будто даже сознательно усиливал. Раздав должности стареющим екатерининским сановникам и приблизив к себе молодых аристократов (Кочубея, Новосильцова, Строганова), его величество спустя некоторое время призвал к себе графа Алексея Андреевича Аракчеева, который был одинаково чужд и тем, и другим.

Надо ли говорить, какие трудности испытывал в таком разнообразии лиц и интересов молодой чиновник, одаренный умом и талантом, но не имевший ни знатности, ни связей, ни сколько-нибудь солидного опыта гражданской службы. Здесь буквально на каждом шагу требовалось делать какой-либо выбор. Кому угодить, чьим интересам отдать предпочтение, чтобы не пасть, остаться при должностях, получить награду, занять еще более влиятельное место. Сперанский данные трудности преодолевал на редкость успешно. Каждый раз, когда приходилось ему выбирать между лицами и интересами, он инстинктивно или сознательно поступал именно так, как это и нужно было для его карьеры. Удачный выбор он сделал, например, предпочтя служить под началом В. П. Кочубея, несмотря на то, что тогдашний его начальник Д. П. Трощинский благоволил к нему и возлагал на него большие надежды.

Другой случай, когда Сперанскому пришлось делать важный для своей карьеры выбор, был связан с еврейским вопросом.

9 ноября 1802 года, то есть ровно через два месяца после того, как Сперанский перешел служить в Министерство внутренних дел, император Александр своим Указом, Правительствующему Сенату данным, учредил Еврейский комитет для рассмотрения условий проживания и деятельности еврейских общин на территории Российской империи и «для избрания средств к исправлению настоящего евреев положения». Инициатива создания такого комитета принадлежала министру юстиции Гавриилу Романовичу Державину.

16 июня 1800 года император Павел I издал указ, в котором говорилось: «Господин тайный советник Державин! По дошедшему до НАС сведению, что в белорусской губернии недостаток в хлебе и некоторые помещики, из безмерного корыстолюбия, оставляют крестьян своих без помощи к прокормлению, поручаем вам изыскать о таковых помещиках, где нуждающиеся в пропитании крестьяне остаются без помощи от них, и оных имения отобрав, отдать под опеку и распоряжением оной снабжать крестьян из господского хлеба, а в случае недостатка, заимствовать оный для них на счет помещиков из сельских магазейнов»[1]. Поэт-чиновник отправился в Белоруссию: увиденное там произвело на него гнетущее впечатление. Положение белорусского крестьянства оказалось действительно тяжелым. Но причины его бедственного состояния Державин обнаружил не только в практике злоупотреблений помещиков своими правами, но и в деятельности еврейских предпринимателей, промышлявших винокурением и торговлей. В стремлении к обогащению масса еврейских корчмарей и торговцев, пользуясь поддержкой помещиков, спаивала и обирала крестьян до последней нитки. Ряд необходимых мер для ограничения эксплуатации белорусской бедноты Гавриил Романович предпринял прямо на месте. В своих мемуарах он написал о некоторых из них: «Также сведав, что жиды из своего корыстолюбия, выманивая у крестьян хлеб попойками, обращают оный паки в вино и тем оголожают, приказал винокуренные заводы их в деревне Лёгне запе-

[1] Сенатский архив. Том 1. С. 626. В своих «Записках» Гавриил Романович писал о том, что он был послан императором в Белоруссию чтобы «по оказавшемуся там великому в хлебе недостатку, сделать такие распоряжения, чтоб не умирали обыватели с голоду» (*Державин Г. Р.* Записки. 1743–1812. М., 2000. С. 200).

реть и прочие сделал распоряжения, сберегающие и пособляющие к промыслу хлеба»[1].

Еще во время своего пребывания в Витебской губернии Г. Р. Державин «сочинил о евреях обстоятельное мнение, основанное на ссылках исторических, общежительских сведениях и канцелярских актах»[2]. Прибыв в октябре 1800 года в Санкт-Петербург, он подал императору Павлу записку под названием «Мнение об отвращении в Белоруссии недостатка хлебного обузданием корыстных промыслов евреев, о их преобразовании и о прочем»[3]. Документ этот состоял из двух частей: в первой части описывалось положение «белорусских обитателей», во второй говорилось об устройстве быта евреев и мерах по его преобразованию. Свои выводы относительно характера организации еврейского населения Державин основывал не только на сведениях о его состоянии во второй половине XVIII столетия, но и на фактах древней и средневековой истории евреев.

Характеризуя положение крестьян в Белоруссии, Державин отмечал в своем «Мнении»: «Некоторые также помещики, отдавая на откуп жидам в своих деревнях винную продажу, делают с ними постановления, чтоб их крестьяне ничего для себя нужного нигде ни у кого не покупали и в долг не брали, как только у сих откупщиков, и никому из своих продуктов ничего не продавали, как токмо сим жидам же откупщикам; а сии, покупая от крестьян дешевле истинных цен и продавая им втрое дороже, обогащаются барышами и доводят поселян до нищеты, а особливо при возвращении от них взаймы взятого хлеба: ибо ежели не с сугубым превосходством, то уже, конечно, должны отдать вдвое; кто же из них того не исполнит, бывают наказаны. Такими-то и тому подобными узами (не говорю сего обо всех) отняты все способы у поселян быть зажиточными и сытыми. Однако при всем том есть достаточные, которые вышли из необходимости быть одолжаемы жидами. К вящему же их (т.е. достаточных. — *В. Т.*) расстройству не токмо в каждом селении, но в иных и но нескольку построено владельцами корчем, где для них и арендаторских жидовских прибытков продается по дням и по ночам вино. Сии корчмы ничто иное суть, как сильный соблазн для про-

---

1 *Державин Г. Р.* Записки. 1743–1812. М., 2000. С. 201.

2 Там же. С. 202.

3 Полный текст этой записки напечатан в издании: Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Том 7: Сочинения в прозе. СПб., 1872. С. 229–305.

стого народа. В них крестьяне развращают свои нравы, делаются гуляками и нерадетельными к работам. Там выманивают у них жиды не токмо насущный хлеб, но и в земле посеянный, хлебопашенные орудия, имущество, время, здоровье и саму жизнь»[1].

Для улучшения положения белорусских крестьян Г. Р. Державин предлагал, помимо прочих мер, возобновить запрещения заниматься винокурением и торговлей вином лицам, не имевшим в своем владении деревень.

Вместе с тем Гавриил Романович, желая отвратить евреев от занятия винокурением и торговлей вином, разработал систему мер для преобразования их быта. Он считал, что нормальной жизни евреев в обществе препятствуют такие «вреднейшие» для них институты, как раввинские школы и кагалы.

Вред школ Державин усматривал в том, что в них раввины, «наполняясь исступлением древних их талмудов или толковников их религии, преданиев, обычаев и законов, превращают начальные основания их чистого богослужения и нравственности в ложные понятия о справедливости и неправде, и вместо общественной, практической добродетели поощряют простой народ к одним пустым обрядам и ненависти других народов. А чрез то так его ослепили и непрестанно ослепляют, что возвысилась и утвердилась между ними и прочими не единоверными с ними так сказать неразрушимая стена, которая, окружая их мраком, содержит в твердом единстве и отделении от всех обитающих с ними. Там детей своих они воспитывают с наивеличайшим тщанием относительно только религии их и суеверий, а в прочем ничему иному не учат, правил благонравия и честности не преподают; напротив поощряют и наставляют к обманам, хотя и хвастают, что будто между ими находятся мужи, имеющие великие познания. За научение талмудов платят они дорого и ничего не жалея... Доколе школы будут существовать в настоящем их положении, ни малой не предвидится надежды к перемене их нравов. В сих сонмищах преподается и укореняется суеверное учение, что они почитают себя единственно истинными богочтителями, а о всех других не единоверных с ними думают уничижительно, признавая их за язычников и идолопоклонников, под названием: Акум (поганые). Там вперяется в народ беспрестанное ожидание мессии, которого они в помрачении своем баснословят быть Господом все-

[1] Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Том 7: Сочинения в прозе. СПб., 1872. С. 232–233.

ленной, не духом истины и добродетели, чем Спаситель наш, соединив земное с небесным, учинил человека по блаженству его души, царем мира, Божеству подобным; но они думают, что их Мессия, покорением под свою державу вещественно всех земнородных, будет над ними плотски владычествовать, возвратит им прежнее их царство, славу, великолепие, и воздвигнув материально вновь храм Соломонов, вознесет их имя паче всякого имени. Потому-то из детства упоенные сими предубеждениями, закореневшие и состарившие в оных, или, лучше сказать, не имея никакого понятия о человеколюбии, бескорыстии и прочих добродетелях, ни к чему они более не привязываются, как к собранию богатств, сокровищ, для созидания того храма или для плотских своих удовольствий нужных. Впрочем, думают только о настоящем, не заботясь ни мало о будущем; а потому ни в каком случае не мучатся совестию, пускаются на все»[1].

О кагалах Державин писал в своем «Мнении...», что эти «судилища или места правления, составленные тоже из избраннейших их старейшин или раввинов», и существующие среди евреев, как и школы их, издревле и владычествующие над ними «самовластно», давно превратились в инструмент эксплуатации еврейской верхушкой рядовой еврейской массы. Кагальные старейшины не дают никому никакого отчета в своих действиях и в том числе в расходовании денежных сумм, собранных в среде евреев. «Бедная их чернь от сего находится в крайнем изнурении и нищете, каковых суть большая часть. Взглянуть на них гнусно. Напротив, кагальные богаты и живут в изобилии; управляя двоякою пружиною власти, то есть духовною и гражданскою, в руках их утвержденною, имеют великую силу над их народом. Сим средством содержат они его, или, по-видимому, рассеянное общественное их политическое тело, не токмо в неразрывной связи и единстве, но в великом порабощении и страхе»[2].

Конечный вывод Державина относительно устройства быта евреев гласил: «Школы их ничто иное, как гнездо суеверств и ненависти к христианам; кагалы — опасный status in statu (государство в государстве), которых благоустроенное политическое тело терпеть не долженствует: торговля и все прочие вышеописанные их уста-

---

[1] Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Том 7: Сочинения в прозе. СПб., 1872. С. 250–251.

[2] Там же. С. 253.

новления и деяния ничто иное суть, как тонкие вымыслы, под видом прибылей и услуг ближним истощать их имущество»[1]. На основании этого вывода Гавриил Романович предлагал для «обуздания корыстных помыслов евреев» и улучшения их быта *в первую очередь* ликвидировать раввинские школы и кагалы; *во-вторых*, дать евреям «лучшие и безобиднейшие для других способы к их содержанию». Державин был согласен с проектом просвещенного еврейского торговца из города Шклова Ноты Хаимовича Ноткина, который предлагал для улучшения положения евреев в России склонить их к земледельческим и промышленным занятиям и с этой целью побудить основную массу еврейского населения из западных губерний Российской империи к переселению на территории, примыкающие к Черному морю. *В-третьих,* Гавриил Романович рекомендовал в своей записке, поданной государю, поместить евреев «в классы, пристойные благоустроенному государству»; «привести их под единственное управление самодержавной власти, а для того ослабить их фанатизм и нечувствительным образом приближать к прямому просвещению, не отступая однако ни в чем от правил терпимости различных вер; вообще, истребив в них ненависть к иноверным народам, уничтожить коварные вымыслы к похищению чужого добра; пресечь праздность и тунеядство; словом, устроить их политически и нравственно, подобно просвещенным народам»[2].

Император Павел ознакомился с предложениями Г. Р. Державина по преобразованию устройства быта евреев и передал его записку на рассмотрение Правительствующего Сената. Однако решать возникшую проблему пришлось новому государю.

Для этого Александром I и был создан Еврейский комитет. В него вошли: сам Г. Р. Державин, министр внутренних дел, начальник Сперанского, В. П. Кочубей, граф В. А. Зубов, товарищ министра иностранных дел князь Адам Чарторижский и граф С. О. Потоцкий. Позднее в комитет приглашены были депутаты от еврейских органов самоуправления — губернских кагалов[3], а также наиболее просвещенные представители евреев, проживавших в Санкт-Петербурге:

---

1 Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. Том 7: Сочинения в прозе. СПб., 1872. С. 260.

2 Там же. С. 261.

3 Представители губернских кагалов — в основном, купцы первой гильдии из общин Минска, Каменец-Подольска, Могилева и Киева стали прибывать в Санкт-Петербург для участия в работе Еврейского комитета с лета 1803 г.

откупщики Нота Ноткин, Абрам Перетц, Лейба Невахович, Мендель Сатановер и др.

Реакция евреев-предпринимателей на эту меру была чрезвычайной. 13 декабря 1802 года, то есть чуть более месяца после издания указа о создании Еврейского комитета, состоялось собрание Минского кагала, которое приняло следующее постановление: «Вследствие распространившихся неблагоприятных слухов из столицы Петербурга о том, что дела, касающиеся всех евреев вообще, переданы ныне в руки пяти сановников с тем, чтобы они распоряжались ими по своему усмотрению, необходимо поехать в столицу Санкт-Петербург и просить Государя (да возвысится слава его!), чтобы они не делали у нас никаких нововведений. Так как это сопряжено с большими расходами, то с общего согласия всего собрания решено установить процентный сбор...» Далее в постановлении перечислялась сумма процента, который должны были выделить со своих доходов городские обыватели-евреи.

Не удовлетворившись этим, 17 декабря 1802 года Минский кагал издал новое постановление: «Вследствие крайней необходимости отправиться в настоящее время в столицу Петербург, чтобы испросить милость у царя нашего (да возвысится слава его!) по делу, касающемуся судьбы всего еврейского народа, на что, конечно, требуется много издержек, то в силу этого постановлено учредить сбор со всей нашей губернии согласно числу душ по рублю серебром с каждой, причем, однако, города и местечки взимают этот сбор с капитала (по проценту)...»

20 декабря, в субботний день, кагал вновь выступил с постановлением: «Кто к наступающему вторнику не внесет помянутого сбора, тот будет оглашен как человек, отделившийся от общины. Кроме того, помянутым избранным дается власть такого человека подвергать разным штрафам и преследовать его на столько, на сколько хватит силы Израильского народа».

В результате миллион рублей был собран точно в срок, и вскоре в Петербург отправились еврейские поверенные с задачей воспрепятствовать путем подкупа должностных лиц, занятых решением еврейского вопроса. Надежнее всего было подкупить самого Державина — в то время министра юстиции, поэтому сначала была предпринята попытка всучить взятку ему. В один прекрасный день к Гавриилу Романовичу пришел еврейский торговец Нота Ноткин и предложил ему взять от него сто, а ежели мало, то и все двести тысяч рублей и за это не настаивать на своем предложении, но согласиться

с тем, что будут говорить по еврейскому вопросу другие члены комитета. Державин взял предложенные двести тысяч и отнес их государю, которому и рассказал о визите еврея Нотки[1].

Министр юстиции полагал, видимо, что император Александр немедленно предпримет какие-то меры против подобных действий еврейских представителей. Но вопреки его ожиданиям никакой реакции государя на это не последовало. На первом заседании Еврейского комитета присутствовало четыре члена (кроме В. А. Зубова[2]), и все, кроме Державина, высказали мнение оставить евреям право винной продажи. Поскольку Державин выступил резко против данного мнения, вопрос остался нерешенным.

После этого Гавриил Романович стал ощущать на себе все возраставшее недовольство со стороны Александра I. 8 октября 1803 года он был уволен с должности министра юстиции. Накануне произошло его объяснение с государем, во время которого Державин прямо спросил Александра, чем же он «прослужился» перед ним. «*Ты очень ревностно служишь*»[3], — ответил его величество.

На место Г. Р. Державина назначен был князь П. В. Лопухин, которому было велено заменить Гавриила Романовича также и в Еврейском комитете. Дела комитета сразу пошли успешнее. И в октябре 1804 года государю было представлено на утверждение Положение «О устройстве евреев».

В докладе Еврейского комитета, сопровождавшем текст проекта указанного документа, признавалось, что кагалы действуют во многом в интересах не основной массы еврейского населения, но раввинов и богатеев, которые «составляли всегда особенное свое управление». Здесь говорилось также о том, что раввины, уединяясь «от всех общих установлений», «всегда старались все дела свои гражданские вместить в кагалах, а духовные — в синагогах... Все, что принадлежит до внутренней их полиции, до сбора податей, до сборов по имениям, по содержанию аренд и по всем делам их экономическим, всегда разбирается и определяется в кагалах. Влияние раббинов на дела духовные — почти неограниченно. Не имея никакой открытой и законом уполномоченной власти к исполнению своих определений, они, силою предубеждений, суеверий, навыков, клятвами и за-

---

1 См. об этой истории: *Державин Г. Р.* Записки. 1743–1812. М., 2000. С. 250.

2 Валериан Зубов и в дальнейшем не будет участвовать в заседаниях Еврейского комитета. 21 июня 1804 г. он умрет.

3 См.: *Державин Г. Р.* Записки. 1743–1812. М., 2000. С. 264.

прещением, вознаграждают, часто с избытком, недостаток сей законной силы. Сборы, под видом подаяний для бедных и другими предлогами взимаемые, доставляя в распоряжение их довольно значащие суммы, дают им новое орудие власти».

Тем не менее, Еврейский комитет не решился принять в этом вопросе предложение Державина, то есть ликвидировать кагалы. Власть раввинов была лишь ограничена: им запретили отлучать непокорных евреев от общины, налагать на них штрафы, проклятия, телесные наказания. Статьей 51 Положения «О устройстве евреев» было установлено: «Должность раввинов есть надзирать за обрядами веры и судить все споры относящиеся до религии; но при сем суждении не дозволяется им в решениях своих употреблять никаких способов, кроме увещания и убеждения, и запрещается налагать всякое другое наказание, кроме обличения и выговоров внутри синагог»[1].

Еврейский комитет согласился с Державиным, что необходимо ввести запрет евреям продавать вино крестьянам, однако исполнение данной меры откладывалось на несколько лет. Кагалы требовали, чтобы вступление в силу указанного запрета было отложено на пятнадцать — двадцать лет, но Еврейский комитет отсрочил его введение лишь на три-четыре года. В статье 34 Положения «О устройстве евреев» говорилось по этому поводу: «Никто из евреев, начиная с 1 января 1807 года, в губерниях: Астраханской и Кавказской, Малороссийских и Новороссийских, а в прочих начиная с 1 января 1808 года, ни в какой деревни и селе не может содержать никаких аренд, шинков, кабаков и постоялых дворов ни под своим, ни под чужим именем, ни продавать в них вина и даже жить в них, под каким бы то видом ни было, разве проездом. Запрещение сие распространяется также на все шинки, постоялые дворы, или другие заведения, на большой дороге состоящие, кому бы они ни принадлежали, обществам, или частным людям»[2].

---

[1] Высочайше утвержденное «Положение об устройстве евреев». 9 декабря 1809 года // Законодательство императора Александра I. 1801–1811 годы / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. 305.

[2] Там же. С. 302. На практике исполнение меры, предусмотренной ст. 34 Положения «О устройстве евреев», было отложено на неопределенный период. В 1806 г. император Александр I повелел создать новый Еврейский комитет, которому предложил рассмотреть вопрос о том «не нужно ли принять каких-нибудь особенных мер и отсрочить переселение евреев». Спустя два года он приказал приостановить действие статьи, запрещавшей евреям аренды и винные промыслы, и одновремен-

В основу документа, призванного урегулировать еврейский вопрос, был поставлен такой принцип решения данного вопроса, который позволял вообще его не решать или, во всяком случае, тянуть с его решением довольно долго. Он гласил: «Преобразования, производимые властию правительства, вообще непрочны и особенно в тех случаях малонадежны, когда власть сия должна бороться с столетними навыками, с закоренелыми заблуждениями. Посему лучше и надежнее вести евреев к совершенству, отворяя только пути к собственной их пользе, надзирая издалека за движениями их и удаляя все, что с дороги сей совратить их может, не употребляя, впрочем, никакой власти, не назначая никаких особенных заведений, не действуя вместо их, но раскрывая только собственную их деятельность. Сколь можно менее запрещения, сколь можно более свободы».

Именным Указом, данным Правительствующему Сенату 9 декабря 1804 года, Положение «О устройстве евреев» было утверждено и доведено до общего сведения. Позднее еврейский историк Фин следующими словами оценил данный акт: «В указе своем от 9-го декабря 1804 года император Александр I открыл перед светом свою справедливость относительно нас, евреев, и рекою потекла на нас великая его милость».

Хотя Сперанский не входил в число членов Еврейского комитета, его роль в нем была едва ли не важнейшей. Он явился автором почти всех документов комитета, в том числе и Положения «О устройстве евреев». Именно он сформулировал основной принцип решения еврейского вопроса, выступавший на деле принципом его *нерешения*. Явное потворство Сперанского интересам еврейских торговцев, продолжавшее иметь место и позднее во многих формах, было окружавшим его русским чрезвычайно подозрительным. С чего бы это русский государственный деятель так печется об интересах еврейских торговцев? Какую выгоду имеет он за свои хлопоты?

---

но распорядился оставить евреев на местах «до дальнейшего впредь повеления». Учрежденный в 1809 г. с целью изучения еврейского вопроса и рассмотрения ходатайств представителей еврейских общин комитет сенатора Попова представил императору в марте 1812 г. свой доклад, в котором рекомендовал «решительным образом» прекратить переселение евреев и сохранить за ними право на аренды и на торговлю водкой. Александр I не утвердил этого доклада: настроенный смягчить меру выселения, он не решился совсем от нее отказываться. Отечественная война и заграничный поход русской армии, а потом вопросы послевоенного урегулирования отношений между государствами в Европе отвлекли внимание его величества от еврейского вопроса.

Г. Р. Державин, который знал, что в отношении всех чиновников, принимавших участие в делах Еврейского комитета, предпринимались попытки подкупа, расценивал действия Сперанского в пользу евреев в качестве верного доказательства того, что он получил от них взятку. Вместе с тем Гавриил Романович видел здесь влияние еврейского дельца Абрама Израилевича Перетца, в доме которого Сперанский проживал в период деятельности Еврейского комитета[1]. «Сперанский, — отмечал он в своих мемуарах, — совсем был предан жидам, чрез известного откупщика Перетца, которого он открытым образом считался приятелем и жил в его доме»[2].

Обвинение Державиным Сперанского во взяточничестве зиждилось целиком и полностью на косвенных фактах, то есть являлось по сути своей всего лишь предположением. Но, как бы то ни было, одну выгоду — и это можно сказать с уверенностью — Сперанский в рассматриваемой истории приобрел, а именно: выгоду карьеры и влияния.

В первые годы правления Александра I большую роль при его дворе играли аристократы, владевшие обширными поместьями в Западном краю, где селились в основной своей массе евреи. Эти аристократы, а среди них были и поляки, как, например, Адам Чарторижский и Северин Потоцкий, и русские, как Валериан Зубов, получали с евреев солидные доходы за аренды и, естественно, всячески их поддерживали. Группировавшиеся вокруг друга российского императора Адама Чарторижского, они представляли собой значительную силу, имели большое влияние и на государя. Скоре всего именно под их влиянием Александр I склонился в своих настроениях на сторону евреев. В частности, император с одобрением отнесся к сформулированному Сперанским основному принципу политики в отношении еврейских торговцев «как можно менее запрещения, сколь можно более свободы». При чтении представленного ему Еврейским комитетом доклада, в котором содержались приведенные слова, его величество подчеркнул их и поставил на полях отметку: NB.

Таким образом, молодой и способный чиновник сделал удачный для своей карьеры выбор — стареющим и теряющим влияние при царском дворе русским сановникам он предпочел группу молодых, вошедших в силу при новом государе аристократов-дельцов. В этой связи по-особому любопытна одна подробность во всей рас-

---

[1] В настоящее время это дом № 15 по Невскому проспекту.

[2] *Державин Г. Р.* Записки. 1743–1812. С. 251.

сматриваемой истории. Первоначально текст Положения «О устройстве евреев» поручено было составить производителю комитетских дел Д. О. Баранову. Дмитрий Осипович составил его в духе взглядов Державина и в таком виде принес к Чарторижскому. Тот, ознакомившись с принесенным к нему текстом, выразил свое неудовольствие им и приказал Баранову передать его для переделки Сперанскому.

* * *

Справедливости ради необходимо заметить, что вышеуказанный принцип решения еврейского вопроса находился в полном соответствии со взглядами Сперанского, образованного в духе западноевропейской просветительской философии, которая проникнута была идеями равенства, свободы, культом любви к человечеству.

На фундаменте данных принципов будет строиться впоследствии мировоззрение русских либеральных деятелей. Ф. М. Достоевский напишет о них в одном из своих писем: «Есть много старых, уже седых либералов, никогда не любивших Россию, даже ненавидевших ее за ее „варварство“, и убежденных в душе, что они любят и Россию, и народ. Все это люди отвлеченные, из тех, у которых все образование и европейничанье состоит в том, чтоб „ужасно любить человечество“, *но лишь вообще*. Если же человечество воплотится *в человека*, *в лицо*, то они не могут даже стерпеть это лицо, стоять подле него не могут из отвращения к нему. Отчасти так же у них и с нациями: человечество любят, но если оно заявляет себя в потребностях, в нуждах и мольбах нации, то считают это предрассудком, отсталостью, шовинизмом»[1].

В Сперанском этот, описанный Достоевским, тип русского либерала только зарождался. Для Сперанского народная жизнь не стала еще неким отвлеченным понятием: она была для него его детством, деревней Черкутино, родительским домом, его отцом — Михайлой Васильевичем, матерью — Прасковьей Федоровной. И через них для него и Россия являлась пока еще существом конкретным, вызывавшим не какие-то отвлеченные мысли, но совершенно определенные чувства.

---

[1] *Достоевский Ф. М.* Письмо к Н. Е. Грищенко. 28 февраля 1878 г. // Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений. Том 30. Кн. 1. С. 8.

***Из письма М. М. Сперанского к Е. М. Сперанской от 7 ноября 1816 года:***

*«Я знал Гарриса, американского консула; но племянника его не помню. Дядя весьма неглуп. Содержание твоего разговора прекрасно. Пусть эти господа у нас учатся любить отечество, как любят старую, брюзгливую и всю в морщинах мать. Это труднее и великодушнее, нежели любить Америку».*

Однажды Сперанский сказал о себе: «Существо мое не простое, но сложное». Нам не раз придется убедиться в справедливости данных слов. В душе этого человека гнездилось столько разных свойств, что вполне резонно вопросить: да понимал ли он сам себя? И если нет, то как в таком случае понять его нам, живущим через два столетия с той поры, когда он жил? Не есть ли каждый человек тайна — *тайна, которую не дано знать, быть может, никому*?

Жил в России умный, развитый душою, славный характером, прекрасно образованный юноша, из которого вполне мог выйти или крупный ученый, великий философ, или большой поэт. Но этот юноша отдал себя чиновной службе, и не вышло из него поэта, а получился просто ученый, просто философ и великий *бюрократ*. Таковы начало и конец судьбы Сперанского. Здесь все более или менее ясно. Не ясна середина: как, когда, в какой момент — на каком отрезке судьбы Сперанского произошел этот переход из начала в конец? Где наметились в нем среди необыкновенных его природных задатков черты бюрократа?

В рассматриваемое время — в первые годы царствования императора Александра I — процесс этого превращения, пожалуй, уже в Сперанском шел, но подспудно, невидимо для посторонних глаз. Стремление любыми способами завоевать благорасположение начальства не отделялось в нем еще от желания иметь доброе отношение к себе со стороны всех вообще окружающих. Свойственное чиновнику искательство милости сливалось в нем с присущим любому нормальному человеку искательством симпатии. Усердное его служение влиятельным персонам вполне совмещалось в нем со служением высоким идеалам. Наконец, стремление его к власти питалось скорее естественным для каждого талантливого человека желанием приобрести более широкие возможности для самовыражения, проявления своих способностей и не было пока еще тем властолюбием, что характерно для бюрократа.

* * *

Время работы Сперанского в Министерстве внутренних дел, приходящееся на 1802–1807 годы, составляет в его жизни период, быть может, наиважнейший. Это прелюдия самого захватывающего, самого главного в его жизни — порог его славы и... несчастья. На указанные годы падает последний относительно ровный отрезок его жизненного пути. Все дальнейшие усеяны буграми и колдобинами.

Почти все из тех, кто знал Сперанского в первые годы правления Александра I, видели в нем личность симпатичную, заслуживающую самых добрых и только добрых слов. В адрес молодого чиновника буквально со всех сторон сыпались похвалы, и многие из них были искренни, появлялись чисто из желания подбодрить, поддержать восходящий государственный талант.

Ф. Ф. Вигель в январе 1803 года перешел на службу из Коллегии иностранных дел в Департамент Министерства, директором которого был Сперанский. Часто сталкиваясь со своим начальником по службе, он имел возможность близко его наблюдать. Позднее Филипп Филиппович возненавидит Михайлу Михайловичу как опасного уновителя, но в то время он относился к нему весьма доброжелательно и склонен был видеть в Сперанском только хорошее: «Хотя он (пусть простят мне сие простонародное выражение) и корчил иностранца, но в нем заметна была отличительная черта истинно-русского человека: он не знал мести, не умел ненавидеть»[1]. Внешний облик Сперанского той поры также казался ему вполне привлекательным. Описывая в своих мемуарах впечатление, которое производил тогда чиновник-попович на окружающих, Вигель отмечал: «Он имел лицо весьма приятное и белизну молочного цвета. Голубые взоры его ни на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда не потуплялись, но медленно поворачиваясь в сторону, как будто избегали встречи с другими взорами; голос его был тих и несколько протяжен, улыбка принужденно-ласковая»[2].

В течение 1802–1804 годов из-под пера Сперанского вышла целая серия записок на различные политические темы, создававшихся им частью — по заказу, частью — по собственной инициативе. Уже само название записок показывает круг интересов молодого чиновника: «Размышления о государственном устройстве империи»,

---

[1] Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть 2. М., 1892. С. 10.

[2] Там же. С. 9.

«О коренных законах государства», «Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России», «О постепенности усовершения общественного», «О силе общего мнения», «Еще нечто о свободе и рабстве» и т. д. Если рассматриваемая пора в жизни Сперанского была весною, то, надо признать, весною на редкость плодоносящей.

Члены «Негласного комитета» видели главное содержание необходимых для России реформ в переделке учреждений, в устранении их обветшалого состояния, то есть в реорганизации управления — и только. В соответствии с их замыслами самодержавный монарх в России должен был подчиниться конституции, однако вопрос о средствах обеспечения соблюдения монархической властью конституции и других законов ими совершенно не ставился.

В воззрениях Сперанского на пути и средства преобразования России имелось немало сходного со взглядами членов «Негласного комитета». Он также исходил из мысли, что главным орудием реформ должен быть законный государь. Но Сперанский не считал, что верховному властителю можно доверять настолько, чтобы вообще исключить вопрос о гарантиях соблюдения им конституции и законов. Вопрос этот Сперанский назвал «наиважнейшим предметом размышления всех добрых государей, упражнением наилучших умов, общею мыслию всех, кто истинно любит Отечество и не потерял еще надежды видеть его счастливым». Решению этого важнейшего вопроса он посвятил одну из самых больших своих записок — «О коренных законах государства». Он понимал, что силу может ограничить только сила. Поэтому средство ограничения силы правительства, гарантии соблюдения им законов искал в народе, который, по его мнению, всегда имеет в самом себе достаточно сил, чтобы уравновесить мощь правительства, — «не правительство рождает силы народные, но народ составляет силы его. Правительство всемощно, когда народ быть таковым ему попускает»[1].

Однако для того, чтобы народ мог успешно противостоять правительству в случае, если оно посягнет на установленные законы и конституцию, его необходимо соответствующим образом организовать. По словам Сперанского, «должен быть особенный класс людей, который бы, став между престолом и народом, был довольно

---

[1] *Сперанский М. М.* О коренных законах государства // Сперанский М. М. Юридические произведения / Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. С. 282.

просвещен, чтоб знать точные пределы власти, довольно независим, чтоб ее не бояться, и столько в пользах своих соединен с пользами народа, чтоб никогда не найти выгод своих изменить ему»[1]. Независимость названного класса должна, считал Сперанский, охватывать все аспекты его бытия — как экономические, так и этические. Он должен быть независим от носителя высшей государственной власти не только в имуществе своем, но и в должностях. Но такое возможно лишь при условии, что он будет составлять собою «не место какое-либо, по избранию наполняемое, но целое состояние народа». В том же случае, если класс этот формироваться будет не по рождению, но путем избрания, он быстро окажется в зависимости от верховной власти, которая всегда найдет способ или уничтожить само его избрание, или так организовать последнее, что в состав его попадут одни только преданные ей люди.

Ведая раздачей должностей и наград, носитель высшей политической власти легко сможет сделать людей, призванных охранять закон и ограничивать его произвол, орудием своих страстей. «Составив из них главные судилища, он печатию правосудия освятит и утвердит свои прихоти и, низложив все, будет еще идолом народа, обыкновенно проклинающего бич, коим он поражается, и редко видящего руку, которая сокровенно им управляет»[2]. Независимость класса, призванного служить обузданию верховной власти, должна, по мнению Сперанского, со всей необходимостью дополняться соединением пользы его с пользами народа. В противном случае он сделается ужаснее самого неограниченного самовластья. Но как соединить пользы людей, возвышенных для того, чтобы служить опорой конституции и законам, с пользами народа? Должно установить, — утверждал Сперанский, — во-первых, чтоб дети указанных людей, исключая первородных, были в числе народа, тогда притеснение народа было бы для них равнозначно притеснению собственных детей, во-вторых, «чтоб все то, что касается до имений сего высшего класса, ведомо было в судилищах, по избранию народа составляемых»[3].

Описанную форму политической организации Сперанский назвал «истинно монархическим правлением». Проектируя ее, он вполне сознавал, что она неосуществима в России до тех пор, пока здесь со-

---

1 *Сперанский М. М.* О коренных законах государства. С. 283.

2 Там же. С. 284.

3 Там же. С. 285.

храняется крепостная зависимость крестьян от помещиков и дворян от государя, пока вместо разделения народа русского на «свободнейшие классы дворянства, купечества и проч.» имеют место быть два состояния: «рабы государевы и рабы помещичьи», где первые являются свободными лишь по отношению ко вторым. Все перемены в образе управления Россией, заявлял Сперанский, будут при таком положении сословий касаться «только внешностей, и прочного добра на сей пропорции сил народных никак основать не можно». Одновременно с мерами по преобразованию существовавшей в России формы правления он предлагал поэтому осуществить меры по ликвидации крепостного права, которое, по словам его, «столько противно разуму общему, что должно рассуждать о нем, яко времянном и непременно прейти долженствующем».

Общая реформа общественно-политического строя России мыслилась Сперанским в качестве довольно длительного процесса. «Хотеть в год, в два без крутостей, без разрушения не только разобрать по частям прежнее огромное здание, но и воздвигнуть новое, конечно, невозможно. Состояние государств устрояется веками, и устрояется почти само собою: тот великий человек, кто положил ему твердое основание. Отчего все творения природы столь совершенны и столько кажутся удобны? Оттого, что она долгое время во мраке молчания и тайны приуготовляет их, располагает одним приемом все их части и не прежде выводит на свет, как дав им внутреннюю силу, их оживляющую. После сего они растут и усовершаются сами собою; таким же точно образом должны быть приуготовляемы и перерождения царств земных. То, что кажется невозможным в одно время, быв расположено на известные епохи и основано на общем непременяемом плане, самым движением времени и обстоятельств приходит к совершенству»[1].

Как верный сын своей эпохи, Сперанский был в реформаторстве своем идеалистичен: он имел ряд основополагающих идей о том, как должна быть организована система управления — эти идеи выражали собой, что нетрудно заметить, суть механизма властвования, сложившегося в Англии, стране наследственной аристократии — и эти английские по своему происхождению идеи, казавшиеся ему пригодными для любых условий, он стремился привнести в Россию, страну самобытную, в которой идеи, выросшие на чужой почве, извращаются и отторгаются с такой же легкостью, с каковой поначалу

[1] *Сперанский М. М.* О коренных законах государства. С. 297.

приветствуются и воспринимаются. Сперанский был наивен, полагаясь на то, что законный государь по собственному желанию ограничит свою абсолютную власть. Но мыслителю-чиновнику надо все же отдать должное: создавая проекты общественно-политических преобразований в России, он смотрел и глубже, и дальше всех других современных ему носителей реформаторских замыслов. Идеи западноевропейских философов, принципы, легшие в основание систем правления в Западной Европе, хотя и восхищали его, не затмили в нем здравого смысла. Он не допускал и малейшей мысли о том, чтобы подчинять этим идеям и принципам российскую действительность, насильно втискивать русское общество в рамки представлений, возникших из знакомства с западноевропейскими политическими системами. Напротив, Сперанский утверждал, что «всякая страна имеет свою физиогномию, природою и веками ей данную, что хотеть все переделать есть не знать человеческой природы, ни свойства привычки, ни местных положений; что часто и самые лучшие преобразования, не быв приспособлены к народному характеру, производят только насилие и сами собою сокрушаются; что, во всяком случае, не народ к правлению, но правление к народу прилагать должно»[1]. В записке «О постепенности усовершения общественного», датированной 1802 годом, он писал: «Одно из главных правил лиц управляющих должно быть знать свой народ, знать время. ...Теории редко полезны для практики. Они объемлют одну часть и не вычисляют трения всей системы, а после жалуются на род человеческий!»

Впервые приступая к разработке проектов общественных преобразований, он понимал, что «всякая перемена без нужды и без видимой пользы есть вредна, так как все почти легкие средства в делах государственных по большей части суть средства ненадежные», что «перемены могут быть на время блистательны, но со временем зло возрастает самым исправлением его», что истинный преобразитель общества — скорее *садовник*, нежели *строитель*, что общество человеческое не есть здание, каковое обновить можно враз, перестроив своды, перебрав стены, но более походит на сад, для обновления которого «тот много сделал, кто умел избрать и насадить первый корень, хотя одно время и стечение стихии может взрастить древо».

---

[1] *Сперанский М. М.* О коренных законах государства. С. 294.

* * *

Вплоть до 1807 года Сперанский пребывал в тени. В нем видели всего лишь исполнителя, не более того. Но среди других исполнителей его явно выделяли. 1 января 1803 года он был награжден императором Александром украшенной бриллиантами табакеркой с вензелем его императорского величества. Государю понравилась записка Сперанского «Еще нечто о свободе и рабстве» — в особенности тот ее отрывок, где автор восклицал, обращаясь к монархам: «Хотите ли уменьшить в государстве число рабов и деспотов? Начните с себя — введите закон на место произвола. Утвердите политическую свободу. Желать, чтоб государство было составлено из рабов, друг от друга не зависимых и покоренных воле одного под именем деспота, — есть желать невозможного». Александр пожелал вознаградить смелость и мудрость, проявленную чиновником в этом высказывании.

23 ноября 1804 года Сперанскому была пожалована в награду аренда в Лифляндской губернии сроком на 12 лет с ежегодным доходом в 12 000 рублей ассигнациями.

В 1806 году в 19-м номере журнала «Вестник Европы» появилось стихотворение под названием «Сатира к С... об истинном благородстве». Автор — им был А. Ф. Воейков — пел настоящий панегирик этому С., в котором всеми легко узнавался Сперанский.

*«С..., друг людей, полезный гражданин,*
*Великий человек, хотя не дворянин!*
*Ты славно победил людей несправедливость,*
*Собою посрамил и барство и кичливость.*
*Ты свой возвысил род; твой герб, твои чины,*
*И слава — собственно тобой сотворены;*
*Твои после тебя наследуют потомки*
*Любовь к отечеству, не титлы только громки».*

После падения Сперанского в повторных публикациях этого стихотворения в различных сборниках буква «С» будет заменена автором на вымышленное имя «Эмилий».

В том же 1806 году в жизни Сперанского произошло событие, сыгравшее огромную роль в его последующей судьбе. Часто болевший в то время министр внутренних дел В. П. Кочубей решил посылать его вместо себя на доклады к императору Александру. Михайло получил возможность продемонстрировать государю свои способно-

сти. Этой возможностью он сумел воспользоваться в полной мере. Сперанский предстал перед Александром I именно таким человеком, в каковом его величество нуждался. Выслушав доклад помощника Кочубея, государь заводил с ним разговор, далеко выходивший за рамки деятельности того Министерства, которое тот представлял. Длительные беседы Александра со Сперанским на различные политические темы стали регулярными. Обсуждение часто сопровождалось совместным чтением политических и юридических произведений западноевропейских мыслителей.

Чем более общался император Александр с чиновником Сперанским, тем большей симпатией проникался к нему. Выражением возраставшего благоволения Александра к Сперанскому стали посыпавшиеся на него награды.

18 ноября 1806 года Михайло Михайлович был удостоен ордена Святого Владимира 3-й степени, имевшего девиз: «Польза, Честь и Слава». В сопроводительном рескрипте государь писал Сперанскому: «Желая изъявить особенное Наше внимание к усердию и трудам вашим, пожаловали Мы вас Кавалером Ордена Святого Равноапостольного Князя Владимира третьей степени, коего знаки для возложения на вас при сем препровождаем, пребывая вам благосклонны. Александр».

Не прошло и четырех месяцев после этой награды, как на Сперанского излилась новая монаршья милость — орден Святой Анны 1-й степени, имевший девиз: «Любящим Правду, Благочестие и Верность». В своем рескрипте император заявлял: «Желая наградить ваше усердие и ревность к службе, пожаловал я вас Кавалером Ордена Святые Анны первого класса, коего знаки для возложения на себя у сего препровождая, не сомневаюсь Я, чтоб вы, получа таковое ободрение, не потщились вяще заслужить Мое благоволение. Александр». Примечательно, что орден Святой Анны 1-й степени Сперанский получил, не имея аналогичных наград более низких степеней.

В русском обществе заговорили о Сперанском как о новой восходящей звезде на небосводе политики.

***Из записок С. П. Жихарева.***
***Запись от 16 марта 1807 года:***

*«Вчера М. М. Сперанский получил Анненскую ленту, а находящийся при С. К. Вязмитинове коллежский советник Марченко — Анненский*

*крест на шею. Сперанский быстро продвигается вперед; да и нельзя иначе: умен, деловой, сметлив и мастер писать».*

***Там же. Запись от 17 марта 1807 года:***

*«Много разговаривали прежде о политике, об отъезде Государя, о Сперанском, которому предсказывают блестящую будущность».*

Возвышение Сперанского совпало с окончательным охлаждением императора Александра к своим друзьям — членам «Негласного комитета». Этот комитет давно уже не собирался, но молодые реформаторы, увлеченно работавшие над проектами преобразования России, продолжали оставаться на своих местах товарищей министров.

И вот постепенно они стали покидать столицу. П. А. Строганов, работавший товарищем министра у В. П. Кочубея, уехал с началом военной кампании 1807 года в действующую армию; Н. Н. Новосильцов 6 июля 1808 года ушел с должности товарища министра юстиции и отправился за границу. Адам Чарторижский остался в Санкт-Петербурге, но уволился с должности товарища министра иностранных дел и, сохранив за собой чисто номинальное звание попечителя Виленского учебного округа, всецело предался личной жизни.

Спустя несколько лет, когда основные события в жизни Сперанского уже произойдут, он обратится к истории «Негласного комитета». Давая оценку реформаторской деятельности этого органа, он отметит несомненные достижения ее, как-то: преобразование Совета в 1801 году, восстановление комиссии законов, учреждение министерств, но вместе с тем скажет, что деятельность «Негласного комитета» не достигла своей цели. Предложенные им преобразования были проникнуты, по признанию Сперанского, единым началом. Но задуманные в тишине кабинета, наскоро составленные, осуществлявшиеся отдельными частями и без какой-либо последовательности, они оказались лишенными единства, случайными, предпринимавшимися для удовлетворения временных нужд. Новые учреждения плохо уживались на практике со старыми и производили более зла, нежели добра.

Неудачи в осуществлении реформаторских проектов, разрабатывавшихся в «Негласном комитете», окончательный распад последнего не отвратили Александра I от политики реформ. Российский самодержец был достаточно умен, чтобы понять, что надежды на бла-

гие перемены в общественных порядках необходимо оправдывать. Их лучше не порождать вовсе, чем, породив, не суметь оправдать. *Многих политических революций в человеческой истории просто не было бы, когда бы не было обманутых надежд.*

Будучи не в состоянии оправдать порожденные им по вступлении на престол благие надежды, император Александр должен был прилагать усилия к тому, чтобы не обмануть их окончательно, и по этой причине не мог враз отказаться от игры в реформы. С другой стороны, к определенным переменам, причем именно в направлении укрепления законности, толкали его и насущные интересы самодержавной власти, носителем которой он выступал.

В сложившихся в России к началу XIX века условиях общественной жизни потребности сохранения и повышения могущества самодержавия, усиления его воздействия на общество со всей необходимостью толкали правителей на расширение аппарата государственной исполнительной власти, развитие всепроникающей организации чиновничества. Вступление Александра I на императорский престол совпало с резким усилением в русском обществе влияния бюрократии. Развитая для обеспечения могущества самодержавия, его неограниченной власти над страной, она превратилась в мощную самостоятельную силу, несущую в себе серьезную угрозу этому могуществу и неограниченности. Отдавая население страны в полное подчинение бюрократии, высшая государственная власть всегда со всей неумолимостью сама оказывается в зависимости от нее. В осуществлении административных функций чиновники исходят прежде всего из собственных групповых интересов, которые, как правило, не совпадают с интересами центральной власти. И наиболее ясным проявлением такого расхождения интересов самодержавия, с одной стороны, и интересов его собственного исполнительного аппарата — корпорации чиновников, с другой, была практика неисполнения последними издаваемых императором указов и предписаний. Ею прямо подрывалось могущество самодержавия, ослаблялось его воздействие на общественную жизнь.

*Глава государства, желающий эффективно управлять страной, должен прежде всего научиться действенно управлять собственным исполнительным аппаратом.* А эта задача с разрастанием бюрократии неизбежно усложняется. Попытки императора Александра I управлять корпусом своих чиновников зачастую давали ему только один результат — чувство собственного бессилия. Вероятно, именно в минуту, когда нахлынуло на него такое чувство, вырвалось из души

его горькое признание: ««Я хотел быть строг. Я узнал о таких вещах, которые должны быть наказаны. Но когда я предал виновных суду, они вышли белее снега».

В данных обстоятельствах требование законности, исходившее от государя, являлось, в сущности, выражением его стремления полностью подчинить бюрократию своим интересам, а значит, укрепить устои своей власти. До некоторой степени стремление это питалось прочно засевшей в душе Александра I памятью о трагической судьбе отца — императора Павла, убитого собственными сановниками-чиновниками. Произвол правителя перестает волновать того, кто сам становится правителем. Но не произвол чиновников, смертельно опасный для правителя. Сознавая то зло, что несла в себе развивавшаяся в России бюрократическая система управления, Александр полагал, что избавиться от данного зла возможно будет посредством более рациональной организации управленческих институтов, упорядочением управленческого аппарата. В этом таилось одно из объяснений приближения императором к себе Сперанского. Александр увидел в нем человека, способного разработать схему наиболее рационального политического устройства, в рамках которого умерялся бы произвол чиновников.

Сперанский пользовался в первые годы правления Александра I явным благорасположением петербургского общества. Конечно, незаурядный ум его, энциклопедическая образованность, высокие деловые качества могли вызывать к нему недоброе чувство зависти, но его служебные занятия не задевали в то время ничьих интересов. Поэтому приятность его внешнего облика и манер казалась обыкновенной природной приятностью, а не искусственной маской. В желании его нравиться всем склонны были видеть скорее признак естественного для незнатного человека благоговения перед столичным обществом, нежели проявление угодливости характера. Это почти всеобщее благорасположение к Сперанскому не могло не повлиять и на отношение к нему Александра I.

После Аустерлицкого сражения, в котором император Александр как военачальник потерпел полнейший крах, в русском обществе произошел перелом по отношению к нему: прежние восторги касательно его персоны исчезли, как будто их не было вовсе, в высших общественных кругах все чаще стали выражать недовольство им. Умные наблюдатели не зря говорили тогда, что Александр возвратился с поля под Аустерлицем в Санкт-Петербург более побежденным, чем его армия.

Заключение в Тильзите 7 июля 1807 года договора «о мире и дружбе» с Францией нанесло по репутации российского императора еще более тяжкий удар. Всего лишь несколько месяцев назад было издано «Увещание от Святейшего Синода к православным христианам», где о Наполеоне творилось: «Это тварь, сожженная собственною своею совестью, от которой и благость Божия отступила! И желает он с помощью помощников злодейства его, иудеев, похитить священное имя Мессии». Данное «Увещание» повелено было читать по воскресным дням по всем церквам России вместо проповеди. И вот после серии таких чтений вдруг приходит официальное известие о том, что российский император встретился с этой «тварью» на Немане, обнимался с нею, обменивался орденами, вел переговоры и заключил договор. Русские люди расценили все это как унижение своего национального достоинства. Курс Александра I на сближение с недавним врагом России окончательно оттолкнул от него его друзей-реформаторов, членов бывшего «Негласного комитета».

О том, насколько затруднительным было положение Александра I, свидетельствует и сообщение шведского посланника в Петербурге Штединга своему королю Густаву IV, датированное 28 сентября 1807 года: «Недовольство императором все более и более растет, повсюду говорят такое, что страшно слушать... Раздаются публичные речи о необходимости перемены правления... Говорят, что вся мужская линия царствующего дома должна быть отстранена от власти, а так как императрица-мать и императрица Елизавета не обладают соответствующими данными, то на трон хотят возвести великую княгиню Екатерину (сестру Александра I. — *В. Т.*)».

Нетрудно представить, как должны были восприниматься подобные разговоры Александром, знавшим, что нечто сходное говорилось о его отце после того, как он пошел на союз с Наполеоном, тогда еще первым консулом. Приехавший с Александром в Тильзит Н. Н. Новосильцов однажды прямо заявил ему: «Государь, я должен вам напомнить о судьбе вашего отца». Трагическая участь Павла I и в самом деле была во многом предопределена его сближением с Францией.

По условиям Тильзитского договора Россия присоединялась к континентальной блокаде Англии — страны, с которой имела длительную и прочную торговлю. Теперь эта торговля расстраивалась, вследствие чего русское купечество и дворянство принуждены были нести крупные убытки. Цены на внутреннем рынке в результате выросли, экономическое положение населения ухудшилось. Распро-

странившееся в русском обществе недовольство Тильзитским договором неизбежно приобретало поэтому устойчивый характер.

Сперанский, в отличие от большинства русских сановников, симпатизировал Франции и ее императору. Он не порицал Тильзитского договора, и этот факт имел для Александра I немаловажное значение.

Осенью 1807 года его величество включил Сперанского в состав своей свиты для поездки в Витебск на смотр 1-й армии. Особого значения данное мероприятие не имело, но это была первая поездка, в которой Михайло Михайлович сопровождал государя.

19 октября 1807 года император уволил Сперанского из Министерства внутренних дел, сохранив за ним звание своего статс-секретаря. Этим он сделал еще один шаг по пути приближения к себе способного чиновника.

24 ноября 1807 года с поста министра внутренних дел ушел в предоставленный ему государем «бессрочный отпуск» граф В. П. Кочубей. Незадолго до этого Александр I самолично, не поставив его даже в известность, отдал под суд за злоупотребление властью — саратовского губернатора Белякова, с которым Кочубей был в приятельских отношениях. Виктор Павлович нашел для себя данный поступок императора слишком оскорбительным и именно на него сослался, объясняя ему свое нежелание быть министром.

Сперанский между тем продолжал получать новые назначения, награды и другие знаки монаршей милости. 29 ноября 1807 года он был назначен членом созданного в этот день «Комитета для изыскания способов усовершенствования духовных училищ и к улучшению содержания духовенства». Помимо статс-секретаря Михаийлы Сперанского в его состав вошли: Амвросий, митрополит Новгородский и Санкт-Петербургский; Феофилакт, епископ Калужский; обер-священник Иоанн Державин, обер-прокурор Святейшего Синода князь А. Н. Голицын.

26 июня 1808 года императору Александру было представлено на утверждение от имени данного комитета «Начертание правил об образовании духовных училищ». Текст этого документа, содержавший план реформы системы духовного образования в России, был целиком написан Сперанским. В соответствии с ним предполагалось создание духовных учебных заведений четырех ступеней: академии, семинарии, уездные училища и приходские школы. Для руководства всей системой духовного образования при Святейшем Синоде учреждалась «Комиссия духовных училищ». Каждая из 36 епархий,

существовавших на тот момент в России, должна была иметь одну семинарию, 10 уездных училищ и до 30 приходских школ. В каждом из четырех духовно-учебных округов должна была действовать одна духовная академия (в Санкт-Петербурге, Москве, Киеве, Казани). При каждой из четырех духовных академий создавалась «Конференция по поощрению учености», главным образом, в области богословских наук.

В день утверждения императором «Начертания правил об образовании духовных училищ» представивший его «Комитет для изыскания способов усовершенствования духовных училищ и к улучшению содержания духовенства» прекратил свою деятельность, а его члены были переведены в состав нового органа — «Комиссию духовных училищ». Главной задачей данной комиссии стала на первых порах разработка уставов для учебных заведений всех ступеней. Выполнение данной задачи было возложено на Сперанского. Он написал введение к уставам и первую часть Устава духовных академий. Занятость государственными делами не позволила ему закончить эту работу. Передав ее для завершения Рязанскому архиепископу Феофилакту (Русанову), Михайло Михайлович занялся разработкой проектов новых государственных преобразований.

Деятельность «Комиссии духовных училищ», характер которой был во многом определен Сперанским, впоследствии высоко оценивалась историками церкви. Так, по словам профессора Киевской духовной академии Ф. Титова, благодаря этой комиссии в рамках системы духовного образования в России была создана: «школа идейная, возбуждавшая в своих питомцах дух самосознания, философского, серьезного отношения ко всему окружающему, располагавшая их к критическому свободному обсуждению всяких запросов духа и жизни»[1].

В полной мере осознавая, что качество духовного образования зависит не только от характера преподавания наук в духовных учебных заведениях, но и от того, насколько прочна их материальная, финансовая основа, Сперанский предложил императору Александру передать на содержание духовных школ доходы от продажи церковных свечей. Его величество дал на это свое согласие. Кроме того, Сперанским были предложены и другие меры для финансовой поддержки духовных учебных заведений, позволявшие получить для

[1] *Титов Ф.* Московский митрополит Макарий Булгаков: К 25-летию со дня его кончины // Богословский Вестник. 1907. № 6. С. 393.

этой цели к 1814 году капитал в 25 млн руб. Так, по его плану Святейший Синод должен был положить в банк часть церковного имущества общей стоимостью в 1 200 000 руб. сроком на шесть лет, к этой сумме предполагалось добавить 1 800 000 руб. из государственной казны и 3 000 000 руб. из доходов от годовой продажи свечей.

Подписав 26 июня 1808 года Именной Указ Святейшему Синоду «Об усовершенствовании духовных училищ», император Александр в тот же день издал рескрипт, обращенный к статс-секретарю Сперанскому. В нем говорилось: «Отличные труды ваши о усовершенствовании духовных училищ, в коем вы столь много содействовали к окончании дела полезного для духовенства, Нас удостоверяют еще более, что всякого рода поручения вы исполняете к удовольствию Нашему. Изъявляя за оное особенное Монаршее благоволение, всемилостивейше пожаловали Мы вас Кавалером ордена нашего Святого Равноапостольного Князя Владимира второй степени большого Креста, коего знаки при сем для возложения на вас препровождаем, пребывая всегда Императорскою Нашею милостию к вам благосклонный Александр».

Работая над планом реформы системы духовного образования в России, Сперанский одновременно писал проект устава светского учебного заведения нового типа, — Лицея, названного впоследствии, по месту его расположения, Царскосельским. Черновой вариант устава, занявший тридцать шесть листов, был завершен им 11 марта 1808 года. Сперанский следующим образом определил в его первой статье главную задачу данного учебного заведения: «Лицей учреждается для образования юношества, особенно предназначенного к высшим частям государственной службы»[1]. В окончательном варианте Устава Царскосельского лицея, который император Александр I утвердит 12 августа 1810 года, эта статья примет следующий вид: «1. Учреждение Лицея имеет целью образование юношества, особенно предназначенного к важным частям службы Государственной». Замена слова «высшим» на слово «важным» станет, по всей видимости, следствием отказа царской семьи от первоначального намерения воспитывать в Царскосельском лицее великих князей Николая и Михаила Павловичей.

---

[1] Царскосельский лицей откроется 19 октября 1811 г. Впоследствии, когда однажды кто-то в присутствии Сперанского заведет о нем речь, Михайло Михайлович скажет с обидой: «Училище сие образовано и устав написан мною, хотя и присвоили себе работу сию другие».

8 августа 1808 года Сперанский был определен «присутствующим» в Комиссию составления законов. Михайло Михайлович воспринял это назначение без особой радости, что хорошо видно из написанного им в то время письма графу Кочубею. «При отъезде князя Лопухина в Киев мне досталась комиссия законов, в которую без чаяния и желания моего определен я членом», — жаловался он. Между тем это назначение Сперанского показывало, что дальнейшая его карьера будет связана с разработкой законопроектов. Каких? В то время это было государственной тайной, известной только императору Александру и его статс-секретарю Сперанскому.

18 августа 1808 года Сперанский был назначен членом Лифляндского комитета, созданного в 1804 году для разрешения вопросов взаимоотношений лифляндских крестьян и помещиков[1].

Приближая к себе Сперанского, Александр I возвышал и графа Аракчеева. 27 июня 1807 года император присвоил генерал-лейтенанту А. А. Аракчееву, занимавшему тогда должность инспектора всей артиллерии, чин генерала от артиллерии. В своем письме к графу государь сообщал, что повышения в чине он удостоился за «доведение до превосходного состояния артиллерии и успешное действие оной» во время войны с Францией. «Примите сие, — заключал Александр, — знаком моей признательности и особенного моего благоволения». Эти слова не оставляли сомнений в том, что Аракчеева ждет новое возвышение. Так оно и случилось: 13 января 1808 года его величество назначил графа Аракчеева министром военных сухопутных сил.

Звезды тех, кого поэт Пушкин назвал «гением блага» и «гением зла», восходили на политическом небосклоне России одновременно. Возвышая и приближая к себе поповича и выходца из небогатых дворян графа Аракчеева, Александр Павлович бросал тем самым вызов аристократическим кругам, не принявшим его политики сближения с Францией. Эту политику российский император признавал

---

[1] Основную свою работу Лифляндский комитет выполнил в течение 1809–1810 гг. В феврале 1811 г. Сперанский обратился к императору Александру с просьбой уволить его из этого комитета. «Присутствие мое в сем комитете, — писал он, — совершенно бесполезно, а отнимает много времени. Общие положения, как то: образование крестьянских судов, могут быть сообщаемы в комиссию законов на заключение и тогда, как директор комиссии я поставлен буду в сношение с президентом комитета, не быв принужденным следовать бесполезно за всеми подробностями». Государь согласился с доводами Сперанского и освободил его от присутствия в Лифляндском комитете.

единственно верной в сложившихся условиях, считал ее полностью соответствовавшей интересам России и намерен был проводить ее несмотря ни на что.

2 сентября 1808 года Александр отправился на переговоры с Наполеоном Бонапартом в Эрфурт. Готовясь к данному событию, его величество написал письмо своей матери, в котором постарался разъяснить ей смысл своей политики сближения с Францией. Перед ней, перед самым близким себе человеком, Александр предстал во всем блеске своего политического ума и... воли, затаенных от своих сановников.

***Из письма императора Александра I к императрице Марии Федоровне от 26 августа 1808 года:***

*«Момент, выбранный для свидания, именно таков, что налагает на меня обязанность не избегать его. Наши интересы последнего времени заставили нас заключить тесный союз с Францией; мы сделаем все, чтобы доказать ей искренность, благородство нашего образа действия... Мы спокойно увидим его падение, если на то воля Провидения, и более чем правдоподобно, что государства Европы, устав от бедствий, которым они подвергались такое долгое время, и не подумают начинать борьбы с Россией из мести за то только, что она была союзницей Наполеона в то время, когда каждое из них стремилось к тому же... Если Провидение определило падение этого колоссального государства, сомневаюсь в том, чтобы оно могло быть внезапным, но даже, если это произойдет вдруг, было бы благоразумнее подождать этого падения и тогда только принять меры. Таково мое мнение... В моем политическом поведении я могу только следовать указаниям моей совести, моему главному убеждению, моему желанию, которое меня никогда не покидает, быть полезным отечеству... Признаюсь, мне тяжело видеть, что, когда я имею в виду только интересы России, чувства, которые составляют действительную силу моего образа действий, могут быть так непонятны».*

Уезжая в Эрфурт, император взял с собою помимо прочих сановников и Сперанского, что было явным признаком дальнейшего роста благорасположения его величества к способному чиновнику. Собираясь за границу, Михайло Михайлович написал письмо к своей матери, в котором сообщил: «Я очень был обрадован известием, на сих днях мною полученным чрез П. А. Введенского, что вы, мило-

стивая государыня матушка, находитесь в добром здоровьи. Благодарение Богу, я и дочь моя также здоровы. Брат Козьма получил чин и определен прокурором в Могилев, куда на сих днях и отправился. Я на сих днях отправляюсь также отсюда, на некоторое время, в чужие краи; но отлучка моя более двух месяцев не продолжится. По возвращении не премину вас уведомить. Между тем, испрашивая родительского благословения, пребываю ваш послушный сын».

В Эрфурте Александр I и Наполеон стремились произвести впечатление друг на друга своей свитой. Французский император блеснул сопровождавшими его немецкими королями и владетельными принцами, российский император — своим статс-секретарем.

Согласно рассказу, приводимому в «Воспоминаниях» Ф. В. Булгарина, Наполеон имел однажды со Сперанским приватную беседу, после которой подвел его к Александру I и сказал: «Не угодно ли Вам, государь, променять мне этого человека на какое-нибудь королевство?» О данном эпизоде вспоминал впоследствии и французский статс-секретарь Маре, герцог Бассано. По его словам, Наполеон восхищенно воскликнул, обращаясь к Александру: «Какого человека имеете вы при себе! Я отдал бы за него королевство!»[1] Без сомнения, это была всего лишь удачная шутка. Однако в шутке этой прозвучала высокая оценка Сперанского как государственного деятеля. В знак особого уважения к личности русского статс-секретаря Наполеон преподнес ему в дар богато убранную бриллиантами табакерку со своим портретом работы Изабо на крышке. При этом он назвал Сперанского «единственной светлой головой в России». Данная похвала ложилась одновременно и на Александра I. Это он, российский император заметил талантливого чиновника, это он приблизил его к себе, невзирая на его простое происхождение, — следовательно, он, Александр, достаточно проницателен, чтобы находить таланты, и вполне великодушен, дабы по достоинству их оценивать.

---

[1] По свидетельству М. А. Корфа, дочь М. М. Сперанского Елизавета Михайловна Фролова-Багреева считала рассказ Фаддея Булгарина о предложении Наполеона Александру I обменять Сперанского на какое-либо королевство выдумкой, поскольку в частых разговорах с отцом об Эрфурте она ни разу не слышала об этой истории, которая, если бы действительно имела место, обязательно была бы упомянута Михайлой Михайловичем (см.: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Том 1. СПб., 1861. С. 105). Но как тогда оценить рассказ секретаря Наполеона Хьюга-Бернара Маре, герцога Бессано (с 1809 г.), передавшего почти такое же высказывание французского императора о Сперанском, какое приведено в «Воспоминаниях» Ф. В. Булгарина?

В одной из Эрфуртских бесед со своим статс-секретарем Александр спросил его, какова ему кажется Германия? «Постановления в немецкой земле лучших наших, — ответил Сперанский, — но люди у нас умнее». «Это и моя мысль, — заметил император, тепло пожимая ему руку, — и мы по возвращении в Россию об этом предмете поговорим».

16 октября 1808 года Александр I возвратился в Санкт-Петербург. Два месяца спустя — 16 декабря — Сперанский был назначен на должность товарища министра юстиции. Михайло Михайлович вновь оказался под началом П. В. Лопухина: бывший генерал-прокурор и начальник Сперанского стал министром юстиции еще 8 октября 1803 года, сменив на этом посту своевольного Державина. В высочайшем рескрипте, данном на имя министра юстиции князя Лопухина, новое назначение Сперанского связывалось с необходимостью оживить работу учрежденной при Министерстве юстиции 28 февраля 1804 года Комиссии составления законов. Император заявлял в нем: «Желая сколь можно ускорить совершением возложенных на комиссию составления законов трудов, Я поручаю вам, особенно и исключительно от всех прочих дел, к производству Правительствующего Сената и Департамента Министерства Юстиции принадлежащих, употребить по сей части действительного статского советника Сперанского. По делам сей комиссии, усмотрению Моему подлежащим, имеет он Мне докладывать».

Возросшее значение Сперанского в сановной иерархии нашло свое отражение на страницах камер-фурьерского журнала — в сведениях о лицах, обедавших у императора с императрицей. Согласно им, Сперанский стал приглашаться на обед к их величествам начиная с 1807 года. Тогда у него было 6 таких приглашений. В следующем — 1808 году — он приглашался уже 23 раза. А в 1809-м — 77 раз. В судьбе Сперанского явно наступала новая пора.

Впоследствии, вспоминая об этой перемене в своей чиновной жизни, Михайло Михайлович писал, что «в конце 1808 года после разных частных дел» государь начал занимать его «постояннее предметами высшего управления», «теснее знакомить» с образом своих мыслей. Бумаги, поступавшие на его высочайшее имя, Александр распорядился давать на прочтение и Сперанскому. Император предложил ему подготовить общий план государственных преобразований. Михайло Михайлович после некоторых колебаний принял данное предложение. Знал ли он тогда, что перед ним распахивались двери не только к славе, но и... к несчастью?

Видимо, кое-что из своего будущего Сперанский все же угадывал. «Затруднения были слишком ощутительны, чтобы обольщаться относительно успеха. Оттого-то лишь после многих разведок и с великою медлительностью Сперанский решился принять деятельное участие в делах и следовательно променять жизнь тихую, проходившую в довольстве и сопровождаемую общественным уважением, на поприще, преисполненное препон и опасностей. Тогда он еще не предвидел всех жертв, которые вынужден был впоследствии принести». Так писал впоследствии Сперанский о сделанном им в конце 1808 года роковом для себя выборе. Писал о самом себе в третьем лице, будто о другом, постороннем человеке.

## *Глава четвертая*

# «Выступил на бой один...»

*Честный человек в сем мире есть совершенно редкая находка.*

**Михаил Сперанский**

*Честному человеку всегда трудно занимать важные места государства.*

**Алексей Аракчеев**

*Из всех огорчений самое чувствительное для всякого человека есть расстаться с его идеями добра и находить то невозможным, что столь очевидно было бы полезно. Это мучение Тантала видеть добро, хвататься за него и никогда не поймать. Это судьба всех почти лучших человеческих желаний.*

**Михаил Сперанский**

Летом 1809 года Сперанский, вынужденный прежде кочевать по чужим домам, снимая квартиры, смог, наконец, обзавестись собственным домом. За умеренную цену он купил у статского советника Борзова небольшой двухэтажный особняк — довольно скромное, обветшалое уже здание на Сергиевской улице близ Таврического сада. После ремонта, длившегося почти два месяца, дом приобрел сносный вид, и осенью Михайло Михайлович поселился в нем вместе с десятилетней дочерью и тещей.

Елизавета и госпожа Стивенс расположились в комнатах на первом этаже. Здесь же устроены были гостиная, зала, столовая, комнаты для прислуги и приемный кабинет, весь уставленный шкафами с книгами. Кабинет призван был служить одновременно домашней библиотекой. Сам хозяин дома обосновался на втором этаже — в просторной комнате, наполненной рукописями и тишиной. Она стала для него рабочим кабинетом и спальней. Наряду с письменным столом здесь стоял кожаный диван, на котором обитатель кабинета спал. Окна кабинета смотрели на Таврический сад, окружавший дворец князя Потемкина, в котором давно уже не было жильцов.

В доме на Сергиевской улице Сперанский прожил с осени 1809-го до весны 1812 года. Именно на это время приходится вершина, апогей его судьбы. Никогда его жизнь не была столь насыщенной различными событиями, а его государственная деятельность такой интенсивной, как в эту пору.

Дочь Сперанского вспоминала впоследствии, что рабочий день ее отца в ту пору начинался рано. В шестом, а часто и в пятом часу утра он был уже на ногах: читал, писал, а часов с 7–8 принимал приходивших по разным делам людей. После приема посетителей вновь читал или писал либо выезжал во дворец. В 3 часа дня Михайло Михайлович выходил на ежедневную часовую прогулку, после чего садился обедать. Обедал он обыкновенно с друзьями, тоже чиновниками: А. А. Столыпиным, М. Л. Магницким, А. А. Жерве, Ф. И. Цейером[1]. Образованные, остроумные люди, они всегда охотно откликались на приглашения Сперанского отобедать с ним — обед в его доме был скуден по составу блюд, но зато богат содержанием застольных разговоров. Завязывавшаяся за обедом беседа, полусерьезная, полунасмешливая, занимала время и по окончании его, но не более чем на час. Все участники таких обедов-бесед были предельно раскованными, свободными в выражении себя. Эта атмосфера раскованности и свободы, быть может, и привлекала их более всего в дом Сперанского.

Часов с 5 вечера Михайло Михайлович снова отдавался работе: писал что-либо или же ехал к государю. Перед тем, как его дочь отходила ко сну, он приходил к ней поболтать или поиграть — сам же ложился спать довольно поздно. В горячую пору подготовки проектов государственных преобразований Сперанский работал по 18 часов в сутки, почти без отдыха[2].

---

[1] Ф. Ф. Вигель следующими словами характеризовал в своих «Записках» Франца Ивановича Цейера: «Маленький, чванный, тщедушный сиделец из нюрнбергской лавки, Цейер, был также действительным, хотя довольно безгласным, членом сего общества; это, как говорят французы, был бедный черт, добрый черт. Он славился знанием французского языка, потому он сделался нужен Сперанскому, который взял его почти мальчиком жить к себе в дом; он оставался потом почти целый век при нем вроде адъютанта, секретаря или собеседника, и на хвосте орла паук сей взлетел наконец до превосходительного звания».

[2] Историк М. П. Погодин писал в своей статье, посвященной реформатору: «Сперанский работал с неистовством. По осьмнадцать часов в день сидел он за своим письменным столом и неестественным образом жизни расстроил свой организм до такой степени, что желудок не мог у него варить без возбудительных средств,

По мере сближения с императором Александром круг деятельности Сперанского все более расширялся. 1809 год принес ему чин тайного советника[1], членство в Главном правлении училищ и пост канцлера университета в городе Або (шведское название финского г. Турку)[2], должность управляющего Комиссией для рассмотрения финляндских дел (с 20 июля 1810 года — просто Комиссией финляндских дел)[3]. При этом за ним сохранялись, естественно, прежние должности: статс-секретаря императора, товарища министра юстиции и члена Комиссии составления законов.

7 марта 1809 года Комиссии составления законов была придана новая внутренняя организация: в ее составе были образованы Совет и Правление, а рядовых членов (юрисконсультов) разделили на шесть отделений во главе с начальниками. Отделение первое (Гражданского уложения) возглавил Г. А. Розенкампф, Отделение второе (Уголовного уложения) — Я. А. Дружинин, Отделение третье (Ком-

---

спина не могла разгибаться» (*Погодин М. П.* Сперанский (Посвящается барону Модесту Андреевичу Корфу) // Русский архив. 1871. Вып. 7 и 8. Стлб. 1120).

1 По формулярному списку Сперанский получил чин тайного советника 30 августа 1809 г., но в исторической литературе иногда называют датой получения им этого чина 3 августа 1808 г.

2 Данное назначение состоялось 17 апреля 1809 г.

3 Комиссия для рассмотрения финляндских дел была создана 19 мая 1802 г. для разработки проектов управления территорией Финляндии, отошедшей к России по Абосскому мирному договору 16 июня 1743 г. (провинция Кюменогорская с Нейшлотом, Вильманстрандтом и Фридрихгамом). Председателем ее был И. А. Тейльс. Сперанский начал заниматься делами Финляндии с момента назначения на пост товарища министра юстиции, т. е. с 16 декабря 1808 г. К этому времени территория этой страны в результате победы России в войне со Швецией оказалась под властью российского императора. Юридически вхождение Финляндии в состав России было закреплено русско-шведским мирным договором, заключенным 5 сентября 1809 г. Но документы, оформлявшие систему управления в Великом княжестве Финляндском, предоставлявшие ему широкую автономию, собственные представительные учреждения и другие элементы конституционного строя, стали разрабатываться с ноября 1808 г. Некоторые планы по обустройству Финляндии в составе России были изложены 16 марта 1809 г. императором Александром I в его выступлениях при открытии и закрытии финляндского Сейма в Борго. Тексты этих выступлений писал Сперанский. Именно Сперанский вел по поручению российского императора переговоры с политическими деятелями Финляндии по вопросам организации управления этой страной. В своих проектах политического устройства Финляндии, которые в общем своем объеме составляют целый том, Сперанский исходил из того, что «Финляндия есть государство, а не губерния». Он способствовал сохранению в этой стране местных органов власти и туземных традиций. За эти заслуги перед Финляндией Сперанскому был предложен диплом на финляндское дворянство, но он отказался от него.

мерческого уложения) — Ф. К. Вирст, Отделение четвертое (Публичного права и государственной экономии) — М. А. Балугьянский, Отделение пятое (Свода законов Остзейских губерний) — Е. Ф. Зальдельшт, Отделение шестое (Свода законов Малороссийских и Польских) — А. К. Повстанский. Непосредственное управление названными отделениями и надзор за их деятельностью стало с указанного времени осуществлять Правление комиссии из министра юстиции П. В. Лопухина, товарища министра юстиции М. М. Сперанского и сенатора Н. Н. Новосильцова. Совет комиссии был призван разрешать общие проблемы, которые могли возникнуть в процессе ее работы. На практике все управление Комиссией составления законов сосредоточилось в руках Сперанского.

1 января 1810 года Александр I учредил своим манифестом Государственный совет. Сперанский получил в этом органе, созданном для обсуждения всех частей управления «в главных их отношениях к законодательству», должность государственного секретаря. В ведении его оказалась вся проходившая через Государственный совет документация: он готовил бумаги к заседаниям, составлял доклады и отчеты для представления императору Александру. Выступавшая внешне обыкновенной канцелярской должностью функция государственного секретаря на практике приобретала исключительную важность. Современники сразу поняли это. «*Великий и всемогущий Сперанский, главный секретарь империи и фактически первый министр*» — так писал в одном из своих писем посланник королевства Сардинии в Петербурге граф Жозеф де Местр, и эти слова не были слишком большим преувеличением. Князь И. М. Долгоруков характеризовал в своих записках новое положение Сперанского следующими словами: «Тогда стали как блины выходить разные умозрительные и теоретические системы, которые, чем темнее были писаны, тем превосходнее казались. Надобно ли сказать, кто затирал всю эту брагу? Сперанский, сделавшись вдруг и открытым образом первым лицом в государственном управлении, приспособил к себе новую должность и наименован государственным секретарем, наподобие такого же во Франции, которого представлял Марет, ибо тогда все перенималось у Наполеона: и тактика, и судопроизводство, и хитрое искусство обмана. Новая должность сблизила более, нежели когда-нибудь, Сперанского с государем. Он совершенно овладел его помышлением, и тот не мог с ним расстаться. Не было дела, не было бумаги, которая, как через чистилище, не проходила руками Сперанского прежде обличения ее в юридическую форму. Канцелярия

и образ производства дел в Совете так были устроены, что Сперанский как секретарь все видел, читал, подносил государю в кабинете, провозглашал в присутствии Совета и, наконец, выпускал в мир крещенный. Правою рукою его и главным сотрудником был Магницкий. В прочем все председатели и министры казались нулями и действительно не смели быть гласными буквами. Публика петербургская, старая и подлая рабыня, сперва пленилась обновкой, но, увидя тяжеловесную мочь Сперанского, задумалась и начала шептать, что все это худо, однако никто не смел говорить о том вслух, и под новым изречением, принятым в обычай, «вняв мнению Государственного совета», начал Сперанский выпускать именем государя свои пышные вымыслы в школярном слоге»[1].

В течение трехлетия с 1809 по 1811 год М. М. Сперанский являлся самым влиятельным среди русских сановников лицом — по существу, вторым после императора человеком в Российской империи. С просьбами об устройстве различных дел к нему вынуждены были обращаться даже члены императорской фамилии. Однажды великая княгиня Екатерина Павловна попросила Сперанского о награждении чином коллежского асессора Бушмана, секретаря и библиотекаря своего мужа принца Георгия Ольденбургского. И Сперанский — подумать только! — отказал любимой сестре императора Александра I на том основании, что ее просьба противоречит действующему законодательству о гражданском чинопроизводстве. Граф Ростопчин, узнав об отказе Сперанского Екатерине Павловне, пришел в крайнее изумление, тут же перешедшее у него в раздражение. «Как смеет этот дрянной попович, — возмутился он в присутствии великой княгини, — отказывать сестре своего государя, когда должен был почитать за милость, что она обратилась к его посредничеству».

Воздействие Сперанского на ход государственных дел было в 1809–1811 годах почти всеобъемлющим. Оно распространялось на русскую администрацию и суд, финансы и законотворчество, сферу просвещения и культуры, внутреннюю политику и взаимоотношения России с другими государствами. Сперанский определял, если не прямо, то косвенно, назначения на должности, в том числе и высшие. Когда Александр I, поддавшись уговорам своей сестры — великой княгини Екатерины, решил в начале 1810 года назначить на пост

---

[1] *Князь Долгоруков И. М.* Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни, писанная мной самим и начатая в Москве 1788-го года в августе месяце, на 25-ом году от рождения моего. СПб., 2005. Т. 2. С. 140.

министра народного просвещения Н. М. Карамзина, Сперанский отговорил государя от намерения сделать это и предложил назначить знаменитого историка сначала куратором Императорского Московского университета. Государь дал на это свое согласие, однако Николай Михайлович отказался от предложенной должности, посчитав ее слишком незначительной для своей персоны.

«Сперанский был совершенно исключительным явлением в нашей высшей администрации первой половины XIX века»[1], — писал историк С. М. Середонин. С таким заявлением трудно не согласиться. Одно только перечисление сделанного Сперанским на поприще государственной службы заняло бы множество страниц. Для сколько-нибудь полного описания его государственной деятельности надобны многие тома. Среди разного рода дел, которыми занимался этот необычайно трудолюбивый и работоспособный человек в период с 1809 по 1811 год, главным была реформа политического строя России. Что бы он ни делал, все было так или иначе связано с его проектами государственных преобразований.

* * *

11 декабря 1808 года Сперанский читал императору Александру свою записку «Об усовершении общего народного воспитания». В начале ее говорилось о двух основных средствах, которыми правительство может действовать на народное воспитание. Первое из них, писал Сперанский, состоит «в доставлении способов к просвещению», в устройстве учебных заведений и библиотек. Второе — «в побуждениях и некоторой моральной необходимости общего образования». О первом средстве Сперанский сообщал, что в России оно «давно уже принято и, переходя разные постепенности, в настоящее царствование нарочито усилено». Что же касается второго, то оно, по его мнению, «не было еще довольно употребляемо». «Доселе правительство ограничивало себя частными поощрениями, отличиями, напоминаниями. Но учение никогда еще не было у нас поставляемо условием необходимым и обязанностию непременною для вступления в службу и занятия гражданских мест».

Записка о развитии в России системы народного образования превращалась, таким образом, в дальнейшем своем изложении в за-

---

[1] *Середонин С. М.* Граф М. М. Сперанский. Очерк государственной деятельности. СПб., 1909. С. 179–180.

писку о чинах. Сперанский предлагал ликвидировать их. По его мнению, «чины не могут быть признаны установлением для государства ни нужным, ни полезным». Чины «делят народ на два несоразмерных класса, на дворянство и чернь; не оставляют почти места среднему столь полезному состоянию; ввергают в презрение все, что ими не украшено, дают ложную цену местам и достоинствам, смешивают и ставят наравне людей просвещенных с невеждами, наполняют должности чиновниками не способными и даже из писцов, науками не приуготовленных; одним порядком службы приводят людей к высшим званиям государственным; искательствами и множеством мелких злоупотреблений они развращают дух народный и, что всего горше, заражают самые источники народного воспитания».

Для исправления описанных пороков и повышения значения общего образования Сперанский предлагал установить правило, по которому чин коллежского асессора, как первый чин, дающий право на потомственное дворянство, был бы открыт только для лиц, получивших университетское образование и сдавших соответствующие экзамены. Вместе с тем он высказал мнение о том, что «для канцелярских чинов довольно оставить первые три офицерские чина», а «последующие восмиклассные чины затруднить для не учившихся и облегчить, сколь можно, для тех, кои предъявят свидетельства в их учении». Чин статского советника, как принадлежащий уже к государственной службе, Сперанский предлагал открыть «единственно для людей, в учении испытанных и в службе довольно уже упражнявшихся». Разработанные им новые правила возведения в чины Михайло Михайлович изложил в законопроекте, текст которого приложил к записке «Об усовершении общего народного воспитания».

В дополнение к этим документам Сперанским были представлены государю 11 декабря 1808 года «Предварительные правила для специального Лицея». Речь здесь шла о принципах обучения и воспитания в будущем Царскосельском лицее — учебном заведении, которое предназначалось служить задаче подготовки чиновников для центральных ведомств.

В июле 1809 года, когда император ехал с Каменного острова в Петергоф, карета по какой-то причине опрокинулась, и он серьезно повредил себе ногу. Несколько недель Александру пришлось провести в одной из комнат Петергофского дворца. Этим своеобразным отпуском императора и воспользовался Сперанский для того, чтобы побудить его величество осуществить реформу чинопроизводства. Поселившись в Петергофе, он навещал государя почти ежедневно.

Во время этих визитов и был выработан окончательный текст Именного Указа императора Правительствующему Сенату «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках для производства в коллежские асессоры и статские советники». 6 августа 1809 года, в день Преображения Господня, данный указ был опубликован. Для чиновников точно гром грянул. Восемь с лишним лет жившие спокойно, они вдруг заволновались, забеспокоились за свою судьбу. И эти волнения и беспокойства чиновников не были безосновательными. Не был, наверное, спокоен при издании указа и сам его автор: Михайло Михайлович не мог не сознавать, какую бурю в российских канцеляриях вызовет осуществление на практике предложенного им государю нового порядка производства в чины по гражданской службе. Но вряд ли способен он был представить все роковые последствия этой реформы лично для себя.

Текст Указа от 6 августа 1809 года начинался с напоминания о том, что в изданных 24 января 1803 года правилах народного просвещения было постановлено: «Чтоб ни в какой губернии, спустя 5 лет по устроении в округе, к которому она принадлежит, на основании общих правил училищной части, не определять к гражданской должности, требующей юридических и других познаний, людей, не окончивших учения в общественном или частном училище». После этого отмечалось, что смысл этого постановления состоял в том, чтобы «разным частям гражданской службы доставить способных и учением образованных чиновников; чтоб трудам и успехам в науках открыть путь к деятельности, предпочтению и наградам, с службою сопряженным»[1]. При этом предполагалось, что все свободные состояния и особенно дворянское сословие воспользуются открытием университетов, гимназий и училищ, щедро финансируемых из государственной казны и поддерживаемых добровольными пожертвованиями самого дворянства, и предпочтут отечественную систему обучения «способам учения иностранным, недостаточным и ненадежным». Однако предположения эти — констатировалось в рассматриваемом указе — не осуществились. Из ежегодных отчетов Министерства просвещения видно, что дворянство, которое должно

[1] Именной указ, данный Сенату, «О правилах производства в чины по гражданской службе и об испытаниях в науках, для производства в коллежские асессоры и статские советники». 6 августа 1809 года // Законодательство императора Александра I. 1801–1811 годы / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. 377.

было бы служить примером всем другим состояниям, «в сем полезном учреждении менее других приемлет участия». Между тем государственная служба требует «сведующих исполнителей, и чем далее отлагаемо будет твердое и отечественное образование юношества, тем недостаток впоследствии будет ощутительнее». Причина отмеченного «неудобства» усматривалась указом в существовании возможности «достигать чинов не по заслугам и отличными познаниями, но одним пребыванием и счислением лет службы»[1]. Для того, чтобы воспрепятствовать исканиям чинов без заслуг, а истинным заслугам дать новое признание, указом устанавливался новый порядок производства в чины по гражданской службе.

Согласно правилам, установленным Указом от 6 августа 1809 года, для производства в чин коллежского асессора отныне недостаточным было выслужить положенное число лет в титулярных советниках и положительно характеризоваться своим начальством. Для этого чиновнику надлежало теперь иметь «свидетельство от одного из состоящих в Империи Университетов, что он обучался в оном с успехом наукам, Гражданской службе свойственным», или выдержать экзамен в этих науках в порядке, определенном Главным правлением училищ.

Правила производства в чины до коллежского асессора оставлялись рассматриваемым указом в прежнем виде.

Производство в чины надворного советника и затем коллежского советника, тех, кто на момент издания настоящего указа состоял в чине коллежского асессора, должно было осуществляться в соответствии с Указом от 6 августа 1809 года лишь при условии, если «с полною выслугою положенных лет, соединены будут самые достоверные свидетельства об отличном усердии в делах, особенное одобрение заслуживших». Указ устанавливал порядок, при котором «простое исполнение должности ни в каком случае, хотя бы оно и далее положенных лет простиралось, не дает права на производство»[2].

Однако, чиновникам 8-го класса (коллежским асессорам), предъявившим «свидетельство об успешном их учении или испытании в российском университете», указ давал право производства в следующий чин до статского советника, «невзирая на лета службы, и хотя бы короткое время в настоящем чине находились».

---

[1] Законодательство императора Александра I. 1801–1811 годы. С. 378.

[2] Там же.

Указ запрещал производить чиновников в статские советники «по одним летам службы» и предписывал, что для такого производства необходимо удостовериться, что представляемый чиновник, по крайней мере, десять лет продолжал службу «с ревностию и усердием», что в числе разных должностей, по крайней мере, два года он действительно являлся в каком-либо месте «советником, прокурором, правителем канцелярии или начальником какой-либо положенной по штату экспедиции». Кроме того, ему надлежало представить «аттестат университета об успешном учении или испытании его там в науках, гражданской службе свойственных», а также «одобрение начальства, в коем он служит, изображающее именно, какие он оказал отличные заслуги»[1].

В заключение Указа от 6 августа 1809 года приводилась программа экзаменов для чиновников, представлявшихся в чин коллежского асессора и выше — вплоть до чина статского советника. Они должны были показать *в науках словесных*: «Грамматическое познание российского языка и правильное в оном сочинение. Познание, по крайней мере, одного языка иностранного, и удобность перелагать с оного на российский»; *в правоведении*: «Основательное познание права естественного, права римского и права частного гражданского, с приложением сего последнего к российскому законодательству. Сведения в некоторых нужнейших частях права общего, как то: экономии государственной и законов уголовных»; *в науках исторических*: «Основательное познание отечественной истории». Всеобщей, древней и новой истории «с частями к ней принадлежащими, как то: с географиею и хронологиею». Знание первоначальных оснований статистики, особенно Российского государства; *в науках математических и физических*: «знание, по крайней мере, начальных оснований математики, как то: арифметики, геометрии, и общие сведения в главных частях физики»[2].

Для проведения испытания чиновников Указ от 6 августа 1809 года предусматривал создание особого Комитета из ректора и трех профессоров. Желающий подвергнуться испытанию должен был явиться в этот Комитет и представить аттестаты учебных заведений, которые окончил, если они есть у него. После этого для него назначались часы испытания, которое проводилось по вопросам, составленным в указанном Комитете.

---

[1] Законодательство императора Александра I. 1801–1811 годы. С. 379.

[2] Там же. С. 380.

По правилам, установленным рассматриваемым указом, при испытании, например, в словесных науках, он должен был «тут же на данную материю написать небольшое сочинение и сделать перевод»; в математических науках — «сделать на доске выкладку или разрешить несколько проблем с доказательствами». При экзамене в прочих науках он мог по своему выбору «отвечать словесно или письменно, но не выходя из залы испытания». Кандидаты, не показавшие «нужных познаний», получали отказ, их имена вносились в журналы Комитета. Кандидатам, показавшим достаточные успехи в усвоении наук, «от Правления университетского, по донесению Комитета», выдавался аттестат в надлежащей форме. Он представлялся чиновником своему начальству, которое должно было внести его в послужной список. При производстве чиновника в восьмиклассный чин заверенную копию данного аттестата надлежало представить в высшие инстанции вместе с его послужным списком.

Указ от 6 августа 1809 года предусматривал организацию в летние месяцы в столицах и городах, в которых имелись университеты, для обучения молодых людей, состоявших на гражданской службе и желавших получить более высокие чины, курсов словесных, юридических, математических и физических наук. После обучения на них молодой чиновник мог сдавать экзамен в университете в описанном выше порядке.

Содержание Указа от 6 августа 1809 года полностью соответствовало смыслу писавшихся Сперанским проектов государственных преобразований и отвечало его пониманию сущности коренной общественной реформы в условиях российской действительности.

* * *

Идеей, лежавшей в основе представлений Сперанского о наиболее плодотворных направлениях и способах преобразования русского общества, была мысль о теснейшей взаимозависимости различных сфер общественной жизни. Так, например, изменение существовавшей в России формы правления Сперанский прямо увязывал с ликвидацией крепостничества. «В самом деле, каким образом можно основать монархическое управление по образцу, выше нами предложенному, — писал он в одной из своих записок, — в стране, где половина населения находится в совершенном рабстве, где сие рабство связано со всеми почти частями политического устройства и с воинскою системою и где сия воинская система необходима по простран-

ству границ и по политическому положению?»[1] Ставя вопрос о создании в России независимого в экономическом и политическом бытии своем сословия, с помощью которого только и можно было, по его мнению, обеспечить независимость законодательной власти от исполнительной и тем самым наполнить подлинным содержанием внешние политические формы, Сперанский указывал, что независимость этого сословия может быть обеспечена, в свою очередь, лишь при развитом общественном мнении. Но появление такого общественного мнения возможно лишь при условии просвещения населения, а следовательно, ликвидации крепостничества. Потому как просвещать народ и одновременно оставлять его в рабстве означает дать ему возможность живее почувствовать горестное свое положение и тем самым вызвать массовый протест с его стороны, который может привести к разрушению государства. «Из человеколюбия, равно как и из доброй политики, должно рабов оставить в невежестве или дать им свободу»[2].

Для обеспечения прочности общественных преобразований необходимы прочные законы. Но последние предполагают, в свою очередь, справедливый суд, который невозможен без образованных судей, искусных законоведов, просвещенной публики, совершенной работы тех органов, откуда дела поступают в суд. Одним словом, реформа любой отдельной сферы жизни русского общества, будто по волшебству какому, немедленно попадала в замкнутый круг. И чем большее число сфер охватывала реформа, тем большее количество замкнутых кругов возникало. Отсюда получалось, что осуществлять общественные преобразования в России — все равно что бросать камни в озеро. Каждый бросок производит лишь круги на воде. Взбурливший центр быстро стихает, а круги все продолжают плыть и расплываться.

У Сперанского не было никаких сомнений в том, что современная ему общественно-политическая система в России изжила себя, что «настало время переменить ее и основать новый вещей порядок». Но отчетливое понимание этой истины дополнялось у него не менее ясным осознанием того, что для устройства в России нового

---

[1] *Сперанский М. М.* Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России // Сперанский М. М. Юридические произведения / Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. С. 349–350.

[2] *Сперанский М. М.* О коренных законах государства // Там же. С. 289–290 (примечание).

общественно-политического порядка отсутствовали необходимые предпосылки, и в первую очередь достаточно широкий слой воспитанных в новом духе людей — исполнителей. Реформатор исходил из того, что самый лучший образ управления при отсутствии соответствующих исполнителей не может производить никакого полезного действия. Несовершенный же во внешних формах, но обеспеченный просвещенными исполнителями порядок не будет вредно сказываться на жизнедеятельности населения.

Много лет спустя, когда жизнь Сперанского вся превратится в воспоминание и настанет время для оценки его деятельности, биографы, историки и писатели примутся критиковать его реформаторские замыслы. Особенно резкой критике подвергнет их Николай Гаврилович Чернышевский в своей рецензии на книгу М. А. Корфа «Жизнь графа Сперанского», опубликованной в 1861 году в последнем номере журнала «Современник». Писатель-публицист будет беспощадно бичевать Сперанского за то, что основным средством осуществления в России коренных общественных преобразований он полагал официальную правительственную власть — власть законного государя, что наиболее эффективными признавал в России реформы, осуществляемые сверху, а революцию не считал для своей родины полезной. По словам Чернышевского, Сперанский «не понимал недостаточности средств своих для осуществления задуманных преобразований», реформаторская деятельность его «жалка, а сам он странен или даже нелеп». «Он был русский сановник, и, конечно, никогда не приходила ему в голову мысль прибегнуть к замыслам или мерам, несогласным с законными приемами и обязанностями его официального положения».

Сперанский действительно не принимал революционных способов преобразования общества, но данная позиция обусловливалась не только его сановным положением. Он отвергал революцию, главным образом, потому, что видел в ней лишь разрушение существующих общественных порядков. И у него были серьезные основания для такого ее понимания.

Когда в каком-либо обществе отсутствует слой людей в достаточной мере просвещенных и способных наполнить живительной энергией новую общественно-политическую систему, то как возможно посредством революции достичь цели коренной перестройки данного общества? Разве не прав Сперанский в следующем своем высказывании: «Разрушив прежний вещей порядок, хотя несовершенный, но с привычками народными сообразный, если порядок вновь уста-

новленный не будет обеспечен разумом исполнителей, он по необходимости родит во всех классах народа тем важнейшее неустройство, что все, и самые обыкновенные, упущения ему приписаны будут?»[1]

Революция — взрыв народного негодования против старого порядка, вопль восторга перед порядком новым, разгул страстей народных — разве создает она автоматически тот слой людей, который необходим новому общественно-политическому строю, разве уничтожает она зло, заполнившее собою все поры общественного организма? Не говорит ли мудрая История, что в революциях уничтожаются лишь социальные носители зла, но само зло, если даже и сгорает в огне ее, то затем только, чтоб возродиться, как Феникс из пепла, в ярком оперении революционной фразеологии. Люди, сообразные сознанием, привычками и поведением своим с характером нового строя, не могут возникнуть разом — годом-двумя-тремя. Они взращиваются десятилетиями, если не столетием, постепенно, незаметно. Необходимо только создать соответствующие для этого условия, составляющие в совокупности то свободное состояние общественной жизни, в котором для людей существуют широкие возможности проявления своих личностных свойств. Но мало просто создать подобное состояние — необходимо поддерживать его в течение длительного времени, быть может, целой эпохи, необходимы постоянные, долговременные усилия по развитию просвещения народа, прежде чем получится нужный результат. Можно ли обеспечить выполнение данной задачи без помощи государственной власти? Всякий реально мыслящий даст на вопрос этот, без сомненья, отрицательный ответ.

Те, кто смыслом всей жизни своей поставили борьбу против существующего в обществе зла и ведут ее по мере собственных возможностей, всегда подвержены одной большой угрозе — опасности заразиться настроением, чувством, образом мышления своего врага. Борющиеся против бюрократии часто проникаются бюрократическим сознанием и начинают видеть решение общественных проблем в изменениях лишь внешних социально-политических форм организации общества. Наиболее решительно такую перемену производит революция — отсюда великое с их стороны упование на революцию как на самое подходящее средство искоренения общественного зла.

---

[1] *Сперанский М. М.* Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России // Сперанский М. М. Юридические произведения / Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. С. 343.

Отсюда и воззрение на революцию как на некое волшебное зелье, мгновенно убивающее все зло в обществе и автоматически обеспечивающее людям, его составляющим, блаженное будущее. Главным кажется поэтому совершить революцию, захватить власть, после чего все само пойдет, как считается, к лучшему. Отсюда и непонимание того, что в действительности-то самое главное и трудное начинается после революции, что предпринимать ее, заграбастывать в свои руки власть без отчетливого представления о том, что делать дальше, без обоснованных опытом человеческой истории и знанием человеческой психологии рецептов последующей политики значит бросаться безоглядно в *Никуда* — в пропасть неизвестности и риска, увлекая за собой на бессмысленную погибель целые людские поколения.

Именно вследствие зараженности бюрократическим сознанием происходит неприятие очевидной истины, по которой внешняя свобода для людей осуществима лишь в той мере, в какой они свободны внутренне. Нельзя строить новое общественное здание прежде, чем заготовлен необходимый для него материал, то есть люди с соответствующими психическими наклонностями, умонастроением, стереотипами поведения. А материал-то этот заготавливается длительной исторической эволюцией. И поскольку никакая революция отменить данной закономерности не в силах, постольку перед захватившими власть революционерами интересы общественного прогресса со всей неизбежностью ставят ту же задачу постоянного, долговременного, настойчивого действия в направлении развития просвещения народа, создания и поддержания свободного состояния общественной жизни с предельной гласностью, свободой выражения мнений, господством-*диктатурой* ПРАВДЫ.

Сперанский, уловивший основное противоречие в эволюции русского общества — противоречие между настоятельной необходимостью в новом общественно-политическом устройстве и отсутствием для данного устройства соответствующего человеческого материала, — не сумел найти иного выхода из него, кроме медленного, постепенного совершенствования общественной жизни при содействии государственной власти и... времени. Впрочем, выход этот был в тогдашних обстоятельствах единственно реалистическим, русский реформатор не имел здесь выбора — выбор был в другом: какая политическая власть была бы предпочтительнее в качестве орудия преобразования общества по возможному в ту эпоху пути, власть законного государя или же революционная, возникшая в результате революции? Сперанский выбрал первую, и Чернышевский назвал

данный выбор главной его ошибкой. Но взглянем на выбор Сперанского более внимательным взглядом. Только ли в угоду собственному официальному положению сановника сделал он его?

Власть революционная в одном, безусловно, превосходила бы власть законного государя — она быстрее последней отменила бы крепостную зависимость. Но мог ли Сперанский предполагать такое же безусловное превосходство ее и в иных важных отношениях? Мог ли он иметь уверенность в том, что революционеры, ниспровергнувшие законного монарха и захватившие власть в полное свое распоряжение, будут настойчиво действовать в направлении развития политической свободы, создания и поддержания именуемого интересами прогресса свободного состояния общественной жизни? Очевидно, что русскому реформатору было легче предположить как раз обратное.

Перед революционерами, захватившими политическую власть, на первый план в государственной деятельности всегда выдвигается задача удержания этой власти. И чем более озабоченными данной задачей делаются они, тем менее проявляют склонности действовать в направлении развития демократии и свободы. Отмененная в ходе революции крепостная зависимость населения при таком режиме неизбежно возникнет вновь, пусть и в иных, нежели прежде, формах. И тогда людям мыслящим и страдающим за свое отечество придется начинать все с нуля и даже не с нуля, а с *минуса*, поскольку столкнутся они с более глубокой и обширной развращенностью населения, нежели та, что была фактом до революции. При тогдашнем состоянии русского общества подобный печальный исход был в высшей степени предсказуем. Не личному своему положению царского чиновника в угоду сделал выбор Сперанский, но российской действительности.

Не последнюю роль среди обстоятельств этой действительности играло также недовольство законного государя существовавшими в России порядками и желание его переменить состояние русского общества. Это свое недовольство и стремление к переменам император Александр I постоянно выказывал в общении с окружавшими его сановниками. Как бы то ни было, Сперанский имел предостаточно оснований для самых благих надежд. Та откровенность, с которой писал он свои записки, та жестокая правда о русской общественной жизни, которую он выражал в них, предназначалась ведь для государя: Александр I просил его не скрывать истины о состоянии Российского государства. Это невольно внушало мысль о се-

рьезности намерений его величества преобразовать систему государственной власти России.

* * *

Получив в конце 1808 года поручение от императора Александра составить общий план реформы российского государственного строя, Сперанский посвятил этой работе почти целый год и закончил ее к началу октября 1809 года. Созданному плану реформ он дал многообещающее название — «Введение к Уложению государственных законов». Вместе с этим введением Сперанский представил императору проект и самого уложения под названием «Краткое начертание государственного образования», а также «Общее обозрение всех преобразований и распределение их по временам».

Позднее он будет доказывать государю, что в точности исполнил его заказ, что разработанный им «план всеобщего государственного образования» в существе своем не содержал ничего нового, а просто давал идеям, занимавшим его величество с 1801 года, «систематическое расположение». «Весь разум сего плана, — будет утверждать реформатор, — состоял в том, чтоб посредством законов и установлений утвердить власть правительства на началах постоянных и тем самым сообщить действию сея власти более правильности, достоинства и истинной силы»[1]. И действительно, во «Введении к Уложению государственных законов» он заявил: «Общий предмет преобразования состоит в них, чтоб правление, доселе самодержавное, постановить и учредить на непременяемом законе»[2]. Провозгласив данную цель, Сперанский отметил далее, что достигнуть ее можно двумя способами: первый заключается в том, чтобы облечь самодержавие внешними формами закона, сохраняя под ними прежнюю его силу и пределы власти. Второй же состоит в том, чтобы, помимо придания самодержавию внешних форм закона, «ограничить его внутреннею и существенною силою установлений», то есть основать правление на законе «не словами, но самим делом».

---

1 *Сперанский М. М.* Пермское письмо к Александру Павловичу (январь 1813 г.) // Русский архив. 1892. Кн. 1. Вып. 1. С. 52.

2 *Сперанский М. М.* Введение к Уложению государственных законов (план всеобщего государственного образования) // Сперанский М. М. Юридические произведения / Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. С. 386.

Содержание «Введения к Уложению государственных законов» не оставляет сомнений в том, что именно второй способ ограничения самодержавия входил в подлинное намерение Сперанского. Михайло Михайлович полагал, что для осуществления его необходимо изменить порядок, при котором законодательная, исполнительная и судебная функции целиком и полностью сосредоточиваются в руках государя. Поэтому в проекте преобразования государственного строя России он предусмотрел создание трех коллегиальных органов-сословий: 1) Государственной думы, которой вверялось бы законодательство и которая составлялась бы «из депутатов от всех свободных состояний по избранию дум губернских»[1]; 2) Сената, которому вверялся бы суд и который воплощал бы собой «верховное судилище империи», и, наконец, 3) Министерства, на которое возлагалось бы управление. Самодержавная власть при таком устройстве могла иметь довольно большую силу, однако это была бы уже не прежняя монархическая власть. В самом деле, в порядке законодательном хотя и предусматривалось утверждение законов, одобренных Думой, лично императором, но при этом оговаривалось, что «никакой новый закон не может быть издан без уважения Думы. Установление новых податей, налогов и повинностей уважаются в Думе»[2].

В порядке исполнительном хотя и предполагалось, что все уставы и учреждения восприемлют силу и действие от утверждения самодержавной власти, но при этом устанавливалось, что министры будут ответственны перед законодательным сословием, члены которого получат право требовать от них в положительные сроки соответствующих отчетов, а также предъявлять в их адрес обвинения.

В осуществлении судебной функции действие императорской власти также ограничивалось лишь актом утверждения. В данной сфере император должен был утверждать судей, чье избрание возлагалось на тех лиц, для которых устанавливался суд. Что касается ответственности судей, то здесь действие самодержавной власти ограничивалось лишь надзором за единообразием судебных обрядов, по существу же дела судьи несли ответственность исключительно перед законодательной властью.

---

1 *Сперанский М. М.* Краткое начертание государственного образования // Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 400.

2 Там же.

Подобное устройство ограничивало самовластье в русском обществе. Но такое ограничение вполне допускалось Александром I, оно в определенном смысле было даже целью его. Ограничение императорской власти сопровождалось в данном случае обузданием произвола бюрократии, упорядочением сложного механизма управления империей. Задачу разработки рационального политического устройства, в рамках которого осуществление самодержавной власти ставилось бы в определенные рамки и одновременно умерялся бы произвол чиновничества, Александр I, в сущности, и ставил перед Сперанским.

Неограниченность власти российского самодержца, доходившая до деспотизма, коренилась не только в социально-классовой структуре русского общества, но и в характере сложившейся организации управления. Главной отличительной чертой административной системы России являлась заложенная в ней (как сознательными действиями правителей, так и стихийным стечением обстоятельств) анархия. Яснее всего она выражалась в раздробленности, разобщенности отдельных частей управления, отсутствии непосредственной связи между ведомствами, какой-либо четкости в распределении меж ними административных функций. При таком характере российской администрации единственным фактором, приводящим в согласование различные ее части, единственной силой, связующей управленческие институты в систему, оказывалась власть императора. Благодаря подобной организации управления верховный властитель имел возможность вмешиваться буквально во все. Личная его воля становилась при таких условиях самой влиятельной силой в русском обществе. Вот почему уже одно упорядочение системы управления, ликвидация в ней анархии и четкое распределение функций между ведомствами автоматически влекло за собой ограничение самодержавия.

Но последовательное проведение указанной мысли вело далее простого ограничения самодержавной власти. Предложив расчленение всей системы управления на три части: законодательную, исполнительную и судебную, — Сперанский согласился с тем, что названные части должны соединяться в державной власти, «яко в первом и верховном их начале». Остановись он на этом, он не вышел бы за рамки идей 1801 года — замыслов «Негласного комитета»; в наличии оказывалось бы, конечно, определенное ограничение деспотизма императорской власти, но налицо было бы и его сохранение.

Однако Михайло Михайлович не ограничился выводом о том, что все ветви государственной власти должны соединяться в монархе. Он задался вопросом, а возможно ли на практике эффективно управлять государством монарху, в котором сосредотачиваются все рычаги властного механизма, и пришел к отрицательному ответу. Сперанский счел, что вследствие разнообразия отдельных частей управления, обширности и многосложности дел, находящихся в их ведении, «нельзя предполагать, чтобы лицо державное, само собою и непосредственно на них действуя, могло сохранить с точностью их пределы и во всех случаях сообразить все различные их отношения»[1]. Из этого им был сделан дальнейший вывод: «Посему надлежит быть особенному месту, где бы начальные их правила и действия были единообразно сохраняемы. Отсюда происходит необходимость четвертого установления, в коем бы три предыдущие во всех их отношениях к державной власти сливались воедино и в сем единстве восходили бы к верховному ее утверждению»[2]. Это четвертое установление Сперанский назвал Государственным советом.

Государственному совету реформатор передал, таким образом, важнейшую функцию самодержавной власти — роль согласования деятельности различных частей управления. Государственный совет, а не император, был, в конституционном проекте Сперанского, основным органом, связывавшим управленческие институты в единую систему. Самодержавная власть в России лишалась, следовательно, того, что питало ее силу и служило главным оправданием ее существования.

Возлагая главную надежду в осуществлении своих проектов общественно-политических преобразований на законного государя, Сперанский в полной мере сознавал, что действие его власти окажется эффективным в данном направлении лишь в том случае, если будут созданы надежные проводники этого действия по всей территории страны. Проблема эта для России была особенно острой вследствие обширности ее пространств, многочисленности и этнического разнообразия ее населения. Какое же решение предлагал здесь русский реформатор?

---

[1] *Сперанский М. М.* Введение к Уложению государственных законов (план всеобщего государственного образования) // Сперанский М. М. Юридические произведения / Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. С. 341.

[2] Там же.

Многие современники его и последующие биографы видели в его лице человека канцелярии, закоренелого бюрократа — «чиновника огромного размера», если выражаться словами П. А. Вяземского. На самом деле Сперанский, хотя и допускал управление страной посредством бюрократически организованного чиновничества, однако лишь в определенных пределах и в качестве зла, избежать которого состояние современного ему русского общества не позволяло. Зло бюрократической организации управления реформатор видел, во-первых, в том, что она создавала широкие возможности для произвола. Части управления, вверенные каждая одному лицу, могут действовать быстрее, и действие это будет вероятно, проще по содержанию, но вот порок — «ни одна из них не будет следовать постоянному закону, ибо ни одна не будет ни обеспечена обрядом, ни удержана противоречием, ни просвещена Советом, ни наблюдена в ее отступлениях. Все будет двигаться на самовластии и произволе, и одна личная честность будет порукою закону в его исполнении. Самая быстрота, с коею дела в сем образе управления пойдут, породит стремительность, важные ошибки и неисправимые заблуждения — и при самых лучших намерениях одно ложное правило может завлечь столь далеко, что после и возвратиться к истине будет невозможно». Главным занятием центральной власти при бюрократической организации управления все более становится приведение различных ведомств во взаимное согласие или взаимосвязь, а также надзор за злоупотреблениями, коррупцией сначала отдельных должностных лиц, а затем и всего их слоя. Неумолимо-неостановимо втягиваясь в болото и дебри собственного исполнительного аппарата, высшая политическая власть постепенно отвращается от выполнения основной своей функции и в конце концов предает забвению главную свою обязанность — служить гарантом прогресса общества, поступательного его обновления. Различные уровни государственной власти и управления более занимаются при таком положении отношениями между собой и удовлетворением собственных специфических интересов, нежели живыми отношениями, существующими в обществе, и общественными интересами.

Государь, желающий на деле, а не иллюзорно управлять страной, должен был, по мысли Сперанского, вверить осуществление власти и исполнение своих повелений специально составленным для того сословиям — коллегиальным органам, образуемым на началах выборности из представителей различных слоев свободного населения. Достоинство сословно-коллегиальной организации осуществления

власти Сперанский видел прежде всего в заложенных в ней гарантиях от ошибочных решений, личного произвола, большого влияния на дела страстей и прихотей управляющих.

В отсутствии ответственности перед обществом министров и других чиновников Сперанский видел главную причину, по которой бюрократия превращается в самодовлеющую организацию, функционирующую исходя лишь из собственных интересов, предающую забвению благо общества. Не ощущая никакой зависимости от общества и завися в самом бытии своем от персоны главы государства, чиновники станут весь смысл своей деятельности видеть не в служении Отечеству, но исключительно в угождении прихотям стоящих над ними сановников. «Не быв никакими пользами соединены с народом, они на угнетении его оснуют свое величие», они будут править всем самовластно, а ими столь же самовластно управлять будут наиболее отличаемые главой государства вельможи, которые, между прочим, потому и проповедуют всячески подобную систему управления».

* * *

Начало приведения общего плана государственных преобразований в действие было назначено Сперанским на 1 января 1810 года. Михайло Михайлович предложил императору открыть в этот день Государственный совет. Сразу же по открытии последнего должно было внести в него на рассмотрение проект Гражданского уложения и новый план финансов. К 1 мая 1810 года предполагалось, согласно намерениям реформатора, окончить новое устройство исполнительной части. Тогда же намечалось приступить к устройству «судной части» и окончить ее к 1 сентября 1810 года. На 15 августа того же года Сперанский назначил выборы депутатов из всех состояний» в Государственную думу, которая должна была, по его плану, открыться в первый день сентября. «Естьли Бог благословит все сии начинания, — заявлял он в заключение «Общего обозрения всех преобразований...», — то к 1811-му году, к концу десятилетия настоящего царствования, Россия восприимет новое бытие и совершенно во всех частях преобразуется»[1].

---

[1] *Сперанский М. М.* Общее обозрение всех преобразований и распределение их по временам // Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 410.

В этих словах звучала уверенность в успехе — уверенность тем более поразительная, что исходила она от человека, рассуждавшего об общественной жизни на редкость здраво. В той эпохе, в каковой довелось ему жить, трудно найти более реалистично мыслившую голову. Реализм проявлялся во всех его мыслях, будь то мысли о личном счастье и любви, о долге или свободе. «Главная погрешность, начало всех ошибок состоит в отвлеченном понятии о свободе, — выводил Сперанский в одной из своих вольных заметок. — Сие понятие не может быть отвлеченным; всегда надобно подразумевать свободу *от чего?*»

Ранние политические сочинения Сперанского пронизаны сознанием невозможности искоренения пороков человеческого общежития, мыслью о том, что пороки, сколько бы ни пытались их ликвидировать, всегда были и будут постоянным свойством общества людей. Выведенные из одной сферы, они со всей неизбежностью воцарятся в другой, в каком-нибудь новом обличье — сдерживаемые в частной жизни, они переместятся в жизнь государственную и сполна отомстят за изгнание свое из прежней, более привычной, более комфортабельной для них сферы существования. «*Судьба определила всем обществам человеческим менять только пороки*» — так писал Сперанский в 1802 году в записке «О постепенности усовершения общественного». В разгар трудов по подготовке к осуществлению реформ, которые вели только что вступивший на российский престол Александр I и его молодые друзья-реформаторы — члены «Негласного комитета», в то время, когда почти все вокруг Сперанского верили в близость перемен и потому охвачены были кто чувством светлой надежды, а кто темным страхом за дальнейшую свою судьбу, из-под пера Михайлы Михайловича выходили слова неверия в быстрые перемены в русском обществе. Существовавшее в России правление он определял как деспотическое. Суть же необходимых для России преобразований видел в том, чтобы это, *деспотическое* по своему содержанию, правление превратить в *истинное монархическое*, при котором, в отличие от первого, власть государя оказывалась бы связанной законом. В этом направлении и действовал тогда «Негласный комитет». Сперанский же считал, что «никакая сила человеческая» не может превратить деспотию в монархию, «не призвав в содействие время и постепенное всех вещей движение к совершенству». «В настоящем порядке вещей, — писал он в 1803 году, — мы не находим самых первых элементов, необходимо нужных к составлению монархического управления. В самом деле, каким об-

разом можно основать монархическое управление по образцу, выше нами предложенному, в стране, где половина населения находится в совершенном рабстве, где сие рабство связано со всеми почти частями политического устройства и с воинскою системою и где сия воинская система необходима по пространству границ и по политическому положению?»[1] Тогда же при перечислении вопросов, которые, по его мнению, должно было разрешить для того, чтобы в России могла возникнуть новая политическая система, он признался: «Я смею быть уверенным, что они не разрешимы, и что одно время разрешить их может»[2]. Отвечая на вопрос, каким образом устанавливается политическая свобода в государстве, Сперанский заявлял: «Воли одного государя к сему недостаточно. Нужно единообразное устремление сей воли к свободе в продолжение многих лет. Нужно, чтобы народ столько привык к сему единообразному действию, чтобы не представлял себе и возможным другой образ управления. Уверенность сия производит, наконец, общее мнение, а общее мнение служит оплотом закону и свободе»[3].

В начале 1809 года уезжал в Сибирь, получив назначение на службу в администрации Сибирского генерал-губернатора, Петр Андреевич Словцов. Это была своего рода ссылка: друга Сперанского, занимавшего должность экспедитора в департаменте Министерства коммерции, в начале 1808 года заподозрили по доносу кого-то из сослуживцев во взяточничестве и арестовали. Из-за отсутствия серьезных доказательств делу этому не было дано хода, но начальство воспользовалось случаем, чтобы удалить строптивого чиновника из столицы. Тень мрачного предчувствия отбросило это событие на Сперанского — уныние на короткое время накатилось на его душу.

***Из письма М. М. Сперанского к П. А. Словцову от 5 февраля 1809 года:***

*«Сам ты видишь, любезный мой страдалец, что трудно против рожна прати; лучше покориться, бросить все замыслы и ничего не надеяться,*

---

1 *Сперанский М. М.* Записка об устройстве судебных и правительственных учреждений в России // Сперанский М. М. Юридические произведения / Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. С. 349.

2 Там же. С. 350.

3 *Сперанский М. М.* Еще нечто о свободе и рабстве // Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 269.

*не желать и не мыслить, как токмо о едином. Верь, что Провидение ведет тебя особенно: ибо все человеческие способы и усилия, противные твоему влечению, как брение, сокрушаются. В Москве у Ключарева, почт-директора, найдешь мое письмо. Советую тебе с ним познакомиться; оно, может быть, утешит и несколько поднимет упадший твой дух силой веры. Других утешений представить тебе не смогу: ибо, невзирая на разность положений, и сам их не имею. Размысли, что ты потерял? — Случай к гордости и пищу самолюбия; а более ничего».*

Наступила осень 1809 года, и от мрачных предчувствий в душе Сперанского не осталось и следа. В пору, когда русское общество благоухало верой и надеждой на лучшее будущее, он источал безверие и пессимизм. Теперь же, когда все вокруг него задышало безверием и безнадежностью, Михайло Михайлович вдруг поверил — всерьез поверил в осуществимость коренных реформ. Свои проекты государственных преобразований, составленные в течение 1809 года, он счел вполне удачными и без особого труда осуществимыми. Он как будто был даже зачарован их стройностью, внутренней гармонией, строгим распределением их частей. «Сравнивая сие распределение со всеми известными конституциями, — писал он о главном своем проекте 1809 года, «Введении к Уложению государственных законов», — нельзя не приметить, что все его части столь естественно связаны между собою, что ни одной из них нельзя исторгнуть из своего места, не разрушив целого, и что все они держатся на одном начале». Данное преимущество собственного конституционного проекта перед конституциями других государств Сперанский объяснял тем, что он, в отличие от последних, одолжен бытием своим «не воспалению страстей и крайности обстоятельств, но благодетельному вдохновению верховной власти, которая, устрояя политическое бытие своего народа, может и имеет все способы дать ему самые правильные формы»[1].

Многое указывает на то, что метаморфоза, произошедшая в настроениях Сперанского, была как-то связана с переменой его статуса. Кем был он в начале царствования Александра I? Способным молодым чиновником Министерства внутренних дел, и не более того. Он участвовал в разработке проектов государственных пре-

[1] *Сперанский М. М.* Введение к Уложению государственных законов (план всеобщего государственного образования). С. 378.

образований, но лишь как помощник Кочубея, как писарь и редактор. В качестве реформаторов выступали тогда молодые аристократы — друзья только что взошедшего на престол императора Александра I, для которых Сперанский был, в сущности, человеком посторонним.

В 1809 году он сам был *реформатором*!

* * *

Разгул сановно-чиновного произвола губителен для общества тем, что им создается атмосфера, отравляющая всех — не только поддерживающих этот произвол, но и страдающих от него.

Преобразователи общества, как и все люди, имеют свои предрассудки, заблуждения и просто страсти, которые, быть может, самопроизвольно, но неизбежно привносят в свою реформаторскую деятельность. И все предрассудки и страсти эти не иное есть, как частицы той общественной системы, которую они стремятся преобразовать. В том-то и заключается трагедия всех коренных общественных реформ, что создавать новую общественно-политическую систему история вынуждена призывать людей, выросших в атмосфере системы старой. Те же из них, что напитаны заграничными философиями, только сильнее удостоверяют прочность этой родственной связи: можно перенять выросшие на чужой почве идеи, даже много идей, но нельзя заменить полностью склад характера и образ мышления, полученный в родном Отечестве, на чужой, заграничный. Потому-то при общественных преобразованиях пороки чаще всего меняют лишь кожу, оставаясь в сущности своей прежними пороками.

Наибольшей опасности оказаться в плену страстей при осуществлении общественных преобразований и погубить тем самым новую общественную систему в ее зародыше подвержены люди, получившие в свое распоряжение скипетр самодержавной власти. Вместе со скипетром этим переходит к ним иллюзия, что все их повеления будут беспрекословно и немедленно исполняться. Оно действительно так и бывает, но лишь в мелочах. Когда, проникнувшись требованиями времени, приступают они, полные энергии, к осуществлению коренных перемен, тут-то и обнаруживается вся иллюзорность находящейся в их распоряжении «власти».

Каким желанием перемен, какой энергией горели сердца молодых друзей императора Александра I в тот момент, когда приступали

они к подготовке реформ! Но прошло несколько лет, и что же? Разочарование, усталость и скука овладели их душами. Н. Н. Новосильцов, первый любимец государя, обласканный всеми возможными почестями, сделанный даже председателем Государственного совета, не смог вынести разочарования и в конце концов спился. В. П. Кочубей и П. А. Строганов спаслись от алкогольного пьянства тем, что надежно спрятались в пьянство иного рода — суету чиновных дел. Адам Чарторижский спасся тем, что не был русским. Могло ли быть столь глубоким их разочарование, когда б не оказались они первоначально зачарованными? Но чем же зачарованы они были? Самовластьем! Точнее, сопровождающей всякое самовластье иллюзией, что носитель его и лица подле него стоящие и венцом его укрытые могут сделать с обществом все, что возжелают.

Но не в одной такой иллюзии проявляет себя развращающее действие деспотической власти на ум и характер облеченных его людей. Должно приписать этому действию также привычку все решать самолично, во все вмешиваться, желание настоять на своем и другие тому подобные свойства характера, вредные в любой государственной деятельности, но особенно в деятельности реформаторской. Обуреваемый подобными желаниями реформатор неизбежно будет превращать дело преобразования общества в средство удовлетворения сугубо личных страстей. Император Александр I являл собою пример именно такого человека. Окружавшие его сановники признавали, что он, любя поговорить о либерализме, всегда, когда возникал спор или конфликт, немедленно показывал совсем не либеральное упрямство, желание всячески настоять на своем, подчеркнуть самодержавность своей власти.

Подобным стремлением настоять на своем, невниманием к чужому мнению в том случае, если оно отличалось от собственного, проникнуты были, впрочем, и молодые друзья императора — соратники его в деле преобразования русского общества. Воздух деспотизма, которым напитались они в годы своего духовного роста, придал их душам обостренное самолюбие, а мышлению — вредную категоричность и однобокость.

Адам Чарторижский менее других увлекался реформаторскими замыслами (вероятно, вследствие того, что Россия не была Отечеством его) и являлся скорее посторонним наблюдателем, нежели деятельным их участником. Оттого мог он более критически, нежели остальные «друзья» Александра, взглянуть на ход всего дела. Следующие слова, характеризующие членов «Негласного комитета», не

случайно принадлежат его перу. «Желание руководиться только своими собственными идеями, решать все самолично, чтобы доказать, что нас никто не направляет и что мы вмещаем в себе все нужные способности к всевозможным делам, составляющим лишь эманацию государственной власти, не должно бы, по-моему, исключительно приниматься в расчет, потому что государство будет обязательно от этого страдать. Это желание нас, кроме того, заманивает в ловушку, которой мы хотим избежать и часто, боясь, что нами будут распоряжаться, мы допускаем управлять собой». Реформаторская деятельность при таком характере основных ее участников неизбежно превращалась в игру самолюбий и честолюбий. Оттого мало могла иметь проку.

Во все времена философы не переставали удивляться, как может быть прочным деспотизм и государство, проводящее политику деспотизма. Ведь все содержание его — просто вызов людской жизни: в такой степени противоречит он многообразной человеческой природе. А секрет прочности деспотизма, возведенного в ранг государственной политики, был, как показывал опыт истории, очень прост. Этот секрет заключался в том, что деспотизм губит не только цветущий сад многоликой, разнообразной повседневной жизни людей, не только ростки нового такого сада, но и его садовников! Из деспотизма никогда не было поэтому и быть не может быстрого и легкого выхода.

***Из дневников Льва Николаевича Толстого.***
***Запись от 13 февраля 1907 года:***

*«Освобождение народа, конституция, всякие свободы, величие государств, патриотизм, наилучшее общественное устройство — все это только покровы, под которыми скрываются зависть, властолюбие, честолюбие, тщеславие, праздность, отчаяние. Последствия же всех этих добрых намерений: борьба всех против всех, ненависть вместо любви и все больший и больший упадок нравственности».*

Человек с душой и талантом менее других подвержен опасности заболеть самолюбием и тщеславием. Но, видимо, лишь до тех пор, пока не оказывается в его руках власть — это странное вещество, своего рода яд: в малых дозах — полезный, в больших — зловредный. Из всех разновидностей власти наиболее опасна для человеческой личности власть преобразовывать, переустраивать обществен-

ную жизнь: никакая другая власть не развращает так сильно человека, как эта!

Составляя планы реформ общественно-политического строя России, Сперанский вполне сознавал их абстрактность и схематичность (в определенной степени, впрочем, неизбежные, непреодолимые), но это были *его* планы, *его* реформаторские замыслы, и уже поэтому они должны были быть осуществлены во что бы то ни стало.

Невероятная быстрота, с каковой Сперанский писал обширные проекты государственных преобразований, их эмоциональная наполненность и легкость стиля изложения, безусловно, указывают на то, что здесь работал не один его рассудок, но и увлеченная, страстная душа его. Да и как же могло быть иначе? Любой умный, одаренный талантами человек неизбежно должен был томиться и страдать от тех общественных порядков, при которых судьба его зависела не от собственной его энергии, но от капризного своеволия и изменчивых страстей одной-единственной персоны — вышестоящего начальника или императора, когда ум, талант, доброта мало что значили, но скорее было выгоднее совсем не иметь подобных личностных свойств. По свидетельству П. А. Вяземского, один его знакомый, хорошо усвоивший дух тогдашнего времени, говаривал о своем сыне с умилением и родительским самодовольством: «Мой сын именно настолько глуп, насколько это нужно, чтобы успеть и на службе, и в жизни: менее глупости было бы недостатком, более было бы излишеством. Во всем нужны мера и середка, а сын мой на них и напал».

В такой обстановке каждый человек с душой и талантом, желавший найти им приложение на общественном поприще, принужден был совершать над собою насилие, и чем более души и таланта в нем было, тем большее требовалось насилие. «Человек государственный, естьли не ищет он в делах своей корысти, не находит там ни опоры против злословия, ни возмездия за свои пожертвования», — заметил Сперанский в одной из своих записок, и в данном замечании ясно звучало беспокойство его также и о собственном положении, о собственной судьбе — беспокойство, сполна оправдавшееся в последующем. Мог ли он в тех обстоятельствах, в каковых жил, не желать перемен и более совершенного общественно-политического порядка, при котором появилась бы для него возможность в полной мере проявить себя в лучших свойствах собственной личности? Он был реформатором не только по государеву назначению, но и по зову собственных желаний.

Однако желания всемогущи. Они диктуют свои мысли и часто мысли вопреки действительному положению вещей. Никому из людей не дано избежать диктатуры желаний. И каждый реформатор принужден нести в своих замыслах нечто рожденное единственно из желаний и оттого утопическое. Условия российской действительности, реальное состояние русского общества в начале XIX века настойчиво говорили Сперанскому о тщетности любых попыток быстрого преобразования России. А желание перемен внушало прямо противоположное.

Тот, кто страстно желает истерзанным сердцем своим крутых перемен к лучшему общественному устройству, столь очевидно полезному и доброму для большинства людей в обществе, в котором он живет, и при самом глубоком и прочном реализме своего мышления может проникнуться вдруг мыслью, что стоит только начать, только бросить зерно, правильно избрать и посадить первый корень, как в обществе неудержимо станут взрастать ростки новых, прекрасных порядков, и с каждым днем все ближе и ближе подходить будут люди к своему светлому будущему, пока наконец совершенно не приблизятся к нему и не войдут в него как в некое сказочное царство. Переворот в общественных отношениях, которому всякий здравый ум, свободный от пелены страстей, отвел бы целую эпоху, под влиянием жажды перемен может мыслиться вполне укладывающимся в рамки жизни одного-двух людских поколений, то есть намного более быстротечным, чем должен был бы мыслиться. Но действительность — жестокий учитель. И того, кто голоса желаний своих начинает слушаться более, нежели ее голоса, ждет неотвратимое наказание. И чем сильнее влекома душа его к добру, тем мучительнее будет назначенная ему казнь.

* * *

В 9 часов утра 1 января 1810 года в зале Зимнего дворца[1], расположенном близ императорского кабинета, открылась торжествен-

[1] В некоторых биографиях М. М. Сперанского утверждается, что торжественная церемония открытия Государственного совета состоялась в Шепелевском дворце. Государственный совет действительно заседал одно время в этом дворце, но это было позднее. Первые заседания Государственного совета проходили именно в Зимнем дворце, затем он стал собираться в доме его первого председателя — графа Н. П. Румянцева. И только после того, как этот дом (вместе с другими домами, расположенными на Дворцовой площади), был снесен для постройки здания

ная церемония, посвященная учреждению в России нового органа управления — Государственного совета. Перед собравшимися сановниками выступил с речью император Александр I:

«Господа члены Государственного Совета! Я считаю нужным изъяснить вам причины, побудившие меня собрать вас в сей день. Порядок и единообразие дел государственных требуют, чтоб было одно средоточие для общего их соображения. В настоящем составе управления нет у нас сего установления. Каким образом в государстве столь обширном разные части управления могут идти с стройностию и успехом, когда каждая движется по своему направлению, и направления сии нигде не приводятся к единству? Одно личное действие власти при великом разнообразии дел государственных не может сохранить сего единства. Сверх сего лица умирают, одни установления живут и в течении веков сохраняют основания государств. Государственный Совет будет составлять средоточие всех дел высшего управления. Бытие его отныне станет на чреде установлений непременных и к самому существу империи принадлежащих».

Модест Корф впоследствии напишет, что государь «произнес речь исполненную чувства, достоинства и таких идей, которых никогда еще Россия не слышала с престола».

По окончании речи император повелел государственному секретарю, тайному советнику Сперанскому огласить перед присутствующими Манифест об образовании Государственного совета. Сущность нового органа определялась в этом документе следующим образом: «В порядке государственных установлений Совет составляет сословие, в коем *все части управления в главных их отношениях к законодательству соображаются* и чрез него восходят к верховной имперской власти»[1] (курсив мой. — *В. Т.*).

Данная формулировка существенно отличалась от формулировки «Введения к Уложению государственных законов». В этом проекте речь шла о том, что «в порядке государственных установлений Совет представляет сословие, в коем *все действия порядка законодательного, судного и исполнительного в главных их отношениях соединя-*

Главного штаба и Министерства иностранных дел, Государственный совет начал заседать в принадлежавшем когда-то камергеру Шепелеву отдельном четырехэтажном здании, которое выходило на Миллионную улицу и было связано с Зимним дворцом галереей.

[1] Манифест от 1 января 1810 года «Образование Государственного совета» // Законодательство императора Александра I. 1801–1811 годы / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. 398.

*ются* и чрез него восходят к державной власти и от нее изливаются»[1] (курсив мой. — *В. Т.*). По смыслу выражений «Введения», Государственный совет должен был взять на себя функцию, которая лежала на монархе, то есть функцию координации деятельности различных частей управления. По Манифесту же от 1 января 1810 года, роль Государственного совета сводилась единственно к упорядочению процедуры принятия закона. Вместо высшего органа, объединяющего деятельность всех центральных учреждений, он становился всего лишь законосовещательной инстанцией. Анархия в системе управления Россией не ликвидировалась, а скорее усиливалась.

И речь Александра I на открытии Государственного совета, и Манифест о его образовании писал Сперанский, император только редактировал тексты этих документов, внося исправления (лишь в некоторых местах существенные, в большинстве же своем незначительные). Появление здесь нового определения сущности Государственного совета, принципиально отличного от того, которое приводилось во «Введении к Уложению государственных законов», менее всего отражало перемену точки зрения реформатора на указанный предмет. Все дело заключалось здесь в государе. Александр I не согласился с первоначальным намерением Сперанского. И тот быстро сориентировался — в «Записке о необходимости учреждения Государственного Совета», составленной им после обсуждения с его величеством «Введения к Уложению...», речь уже шла о нем как органе «для общего соображения дел государственных в отношении их к части законодательной».

Манифестом 1 января 1810 года устанавливалось, что на заседаниях Государственного совета, проходящих в присутствии российского императора, председательствовать будет его императорское величество. В отсутствие же государя место председателя будет занимать один из членов Совета, им назначенный. В качестве такого человека император избрал графа Николая Петровича Румянцева. В день выхода в свет Манифеста об учреждении Государственного совета Александр I издал указ, гласивший: «Государственным секретарем и директором Комиссии составления законов повелеваем быть товарищу министра юстиции тайному советнику Сперанскому».

---

[1] *Сперанский М. М.* Введение к Уложению государственных законов (план всеобщего государственного образования) // Сперанский М. М. Юридические произведения / Под редакцией и с биографическим очерком В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2008. С. 427.

Функции государственного секретаря определялись в Манифесте 1 января 1810 года следующим образом: «Государственный секретарь управляет государственной канцелярией. На ответственность его возлагается точность сведений, предлагаемых Совету, и надлежащая ясность их изложения. На его ответственность возлагается изготовление всех исполнительных бумаг по журналам Совета, как в общем его собрании, так и по департаментам». Делопроизводство в Совете было организовано таким образом, что все дела, поступавшие в Государственный совет, входили в государственную канцелярию и присылались на имя государственного секретаря.

Эффективность деятельности Государственного совета сильно зависела от качества работы государственной канцелярии. Тем не менее, ей не было предоставлено отдельного помещения ни при открытии данного органа, ни потом. По меньшей мере, в течение двух последующих десятилетий все чиновники государственной канцелярии работали в своих домах. Сперанский имел свой кабинет, но это не был кабинет государственной канцелярии Госсовета.

Манифест об образовании Государственного совета определял не только функции этого органа, его состав и организацию, но и главные предметы рассмотрения на первых его заседаниях.

Это, во-первых, «гражданское уложение, по мере совершения его с принадлежащими к нему судебными обрядами и устройством судебных мест», а также уложение уголовное. Император Александр заявлял в Манифесте: «От успешного окончания сего труда зависит общее устройство судебной части. Вверив оную особенно Правительствующему сенату, Мы не умедлим дать сему высшему в империи нашей судебному сословию образование, важному назначению его свойственное, и присоединим к его установлениям все, что может их усовершить и возвысить».

Это, во-вторых, «различные части, министерствам вверенные». В Манифесте провозглашалось, что Государственный совет рассмотрит «начала окончательного их устройства и главные основания общего министерского наказа, в коем с точностью определятся отношения министров к другим государственным установлениям и будут означены пределы действия и степень их ответственности».

Это, в-третьих, «настоящее положение государственных доходов и расходов». Его величество обещал внести в Совет «план финансов, составленный на началах, части сей наиболее свойственных». Суть данного плана должна была состоять, по его словам, в том, «чтоб всевозможным сокращением издержек привести их в надлежащую

соразмерность с приходами, установить во всех частях управления истинный разум доброй экономии и самыми действенными мерами положить твердое основание постепенной уплаты государственных долгов»[1].

Указанный план преобразований в области финансов был составлен Сперанским. Его осуществление началось 2 февраля 1810 года. Согласно вышедшему в этот день манифесту прекращался выпуск бумажных денег — ассигнаций, сокращался объем финансовых средств, поступавших в распоряжение министерств, финансовая деятельность министров ставилась под контроль. Одновременно предусматривалось увеличение размера налогов, вводился особый налоговый сбор с дворян-землевладельцев, прежде свободных от налогообложения.

Летом того же года развернулась новая реформа органов исполнительной власти, продолжавшая реформу 1802 года. Манифестом от 25 июля 1810 года «О разделении государственных дел на особые управления, с означением предметов, каждому управлению подлежащих», выделялись пять сфер министерского управления: 1) «внешние сношения», 2) «устройство внешней безопасности», 3) «государственная экономия», 4) «устройство суда гражданского и уголовного», 5) «устройство внутренней безопасности»[2]. Соответственно этому разделению дел формировалась и структура исполнительных органов, которую составили: министерство иностранных дел, военное министерство, морское, министерства финансов, внутренних дел, народного просвещения, полиции и юстиции, а также призванные действовать на правах министерств новые ведомства: Главное управление путей сообщения, Государственное казначейство, Ревизия государственных счетов, Главное управление духовных дел иностранных исповеданий и т. д. Цель реформы, провозглашенной Манифестом от 25 июля 1810 года, состояла в том, чтобы «в разделении дел государственных ввести более соразмерности, установить в производстве их более единообразия, сократить и облегчить их движение, означить с точностью пределы власти и ответственности и тем самым доставить порядку исполнительному более способов к скорому и точному исполнению»[3].

---

1 Манифест от 1 января 1810 года «Образование Государственного совета». С. 399.

2 1-ПСЗРИ. Том 31. № 24307. С. 278.

3 Там же.

17 августа 1810 года был издан новый Манифест, посвященный внутренней организации и функциям министерств, — под названием «Высочайше утвержденное разделение государственных дел по министерствам»[1], в котором давалось «означение» круга вопросов, передававшихся в ведение министерств и ведомств, определялась структура Министерства полиции, Министерства финансов, Министерства народного просвещения. Министерство коммерции, согласно этому законодательному акту, упразднялось.

Принципы организации исполнительной власти, установленные двумя вышеназванными Манифестами, были подтверждены и конкретизированы в «Общем учреждении министерств», которое было приведено «в надлежащую его силу и действие» высочайшим Манифестом от 25 июня 1811 года[2]. Данным Манифестом предусматривалось, что «сверх сего Общего учреждения все министерства снабжены будут на основании оного, особенными их Учреждениями». Два из таких «особенных Учреждений», а именно: учреждения, разработанные Сперанским для Министерства полиции и финансов, были введены в действие одновременно со вступлением в силу «Общего учреждения».

Само «Общее учреждение министерств» состояло из двух частей: «Образования министерств» (§ 1–204) и «Общего наказа министерствам» (§ 205–401). В первой части устанавливалось разделение дел и предметы каждого министерства и главного управления, управление и структура министерств. Две трети содержания данной части составляли параграфы, посвященные порядку производства дел (§ 61–204). В тексте «Образования Государственного совета» также отводилось немало места правилам ведения документации: они излагались здесь в специальном разделе под названием «Образ производства дел», занимавшем 28 параграфов и, кроме того, семь параграфов было посвящено в этом документе описанию формы издания постановления. То, что Сперанский уделял порядку делопроизводства столь большое внимание, является весьма примечательным фактом, обнаруживающим самое существенное, пожалуй, последствие разработанных им административных реформ. Способствуя упорядочению управления Российской империи, эти реформы одновременно влекли за собой стремительный рост значения канце-

---

[1] См.: Законодательство императора Александра I: 1801–1811 годы / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. 434–442.

[2] См.: Там же. С. 458–505.

лярий в системе государственного управления и резкое увеличение количества канцелярских служащих. Бюрократия становилась в результате государственных реформ первого десятилетия правления Александра I значительно более мощной силой в России, чем была прежде.

К началу 1811 года Сперанским был подготовлен проект преобразования Сената. Реформатор предложил отделить судебную функцию этого государственного органа от административной, образовав два Сената — Правительствующий и Судебный. Состав последнего должен был, по его замыслу, частью назначаться императором, частью избираться дворянством. Эта реформа, как и другие, предлагавшиеся Сперанским, не была доведена до конца. Сенат остался в прежнем состоянии. Любопытно, что проект преобразования Сената, хотя и вызвал при обсуждении резкие возражения, был большинством членов Государственного совета одобрен. Император Александр также дал согласие на введение его в действие. Однако действующим этот проект так и не стал. И главным инициатором отсрочки осуществления проекта реформы Сената на практике выступил не кто иной, как его автор — Михайло Сперанский.

* * *

Всего год прошел с того момента, как началось проведение в жизнь задуманных Сперанским политических реформ, а от прежнего оптимизма, прежней уверенности в успехе не осталось в нем и следа. Глубокое разочарование и уныние овладели им, приземлили его душевные порывы. Успех, который выпал на долю Сперанского, его стремительная карьера закономерно порождали по отношению к нему ревность и зависть со стороны других сановников. У тех же из царедворцев, чьи интересы возвысившийся попович прямо затрагивал, возникала к нему, помимо зависти, еще и злоба. Сколь бы ни было высоко положение царедворцев, как бы ни было оно безопасно ограждено, всякий успех в их глазах преступен — к такому выводу пришел в своих наблюдениях за царским окружением Владимир Алексеевич Муханов[1]. «Им нужна монополия тех благ, кото-

[1] Владимир Алексеевич Муханов (1805–1876) работал переводчиком в Московском Главном архиве Министерства иностранных дел. В его дневнике немало страниц уделено Сперанскому, но все приводимые сведения о реформаторе основаны на рассказах других людей: сам Муханов никогда не сталкивался с ним по службе.

рые исходят от двора, — писал он в своих «Дневных записках». — Царедворец, как змея, при каждом случае испускает свой яд. Если он был тяжело болен, и вы ему оказывали участие или какие-либо другие важные услуги, он не помнит, что вы делали для него, а знает только, что должен вас топить. Чем он действует для вас вреднее, тем он с вами любезнее»[1].

Ярким представителем данного рода людей был Густав Андреевич Розенкампф — до 7 марта 1809 года главный секретарь и референдарий первой экспедиции Комиссии составления законов. Выступавший до назначения в Комиссию Сперанского ее фактическим управляющим, Г. А. Розенкампф делал в ней все, что хотел: перекраивал в угоду лично себе ее состав — давно работавших в ней русских уволил, заменив их немцами и французами; людей, знавших российское законодательство, поменял на невежд, кроме того, наполнил штаты комиссии множеством переводчиков, так как сам плохо владел русским языком. В таком окружении Розенкампф чувствовал себя тем более превосходно, что осуществлявшие надзор за Комиссией составления законов русские сановники — министр юстиции П. В. Лопухин и товарищ министра юстиции Н. Н. Новосильцов (до 6 июля 1808 г.) — то ли по причине ленности своей, равнодушия к делам или же вследствие недостатка знаний, мало вмешивались в ее деятельность.

Ситуация изменилась после того, как «присутствующим» в Комиссии назначен был М. М. Сперанский. И уж совершенно другим стало положение Розенкампфа после того, как Михайло Михайлович занял, по своей должности товарища министра юстиции (с 16 декабря 1808 г.), место управляющего Комиссией составления законов, а после учреждения Государственного совета стал ее директором. Попав под начало человека сведущего в законодательстве и к тому же энергичного, каковым был Сперанский, Розенкампф окончательно лишился свободы действовать по собственному усмотрению. Убедившись в совершенной беспомощности иностранцев, привлеченных Розенкампфом на службу в Комиссию, Михайло Михайлович распорядился прекратить им выплаты денежного содержания.

О том, сколько желчи пролил Густав Андреевич на Сперанского в связи с таким поворотом событий, хорошо свидетельствуют его за-

[1] Из «Дневных записок» В. А. Муханова // Русский архив. 1896. Кн. 3. Вып. 10. С. 328–329.

писки[1]. Они весьма путаны и полны разнообразных, в большинстве своем надуманных обвинений в адрес Сперанского. Складывается впечатление, что автор писал их единственно для того, чтобы излить переполнявшую его злобу и мстительность. И действительно, мог ли он сделать это иным способом? Ведь Сперанский не был его подчиненным.

***Из «Записок» барона Густава Андреевича Розенкампфа:***

*«Обладая очень счастливыми дарованиями, привлекательною наружностью и при том в высшей степени искусством, лестью, уступчивостью соглашаться со всеми мнениями лиц высших, уступавших ему в дарованиях, ему удалось быстро пройти по первым ступеням служебной лестницы, отодвигая в сторону сослуживцев, причем не было недостатка с его стороны в различных всякого рода интригах... В его власти было если не вполне достичь желаемой цели, то по крайней мере, положить прочное к тому основание, именно тем, чтобы основательно и правильно постигнуть значение общественных учреждений. Сперанский в состоянии был бы это сделать, если бы эту большую заслугу не принес в жертву своему стремлению к новшеству, своему пустому тщеславию все переделать».*

Помимо Розенкампфа, судьбе угодно будет послать Сперанскому в качестве злейшего его врага еще одного иностранца и барона. Им станет швед Густав Мориц Армфельд, о котором еще будет разговор.

Вообще говоря, злобность и мстительность весьма часто встречались у иностранцев, состоявших на службе российскому императору. Попадая в Россию, они редко приобретали к ней ту привязанность, что сродни чувству любви к родине[2]. А при отсутствии сей привя-

---

[1] См.: Барон Густав Андреевич Розенкампф. Записки // Русская старина. 1904. Том 120. № 11. С. 371–429.

[2] «В отношении к России у наших немцев, даже сделавшихся русскими сановниками, — особый кодекс чувств и воззрений. Верноподданнические чувства сосредотачиваются на одной личности Государя, не обнимая общих интересов Отечества, т. е. России; а иногда случается, что и личная преданность эта Государю бывает как-то условная, поддерживаясь во всей силе лишь до тех пор, пока Государь блюдет местные интересы и уважает местные остзейские особенности, отнюдь не жертвуя ими общим государственным интересам» — так писал в своих записках один из русских чиновников, наблюдавший поведение остзейских немцев, состо-

занности, этого священного чувства, заложенный в человеческой природе эгоизм всегда получает прекрасную возможность для буйного расцвета. Должность легко превращалась в руках иностранца из средства служения стране, обществу в источник личной наживы. И чем более искусным как специалист был иностранец, тем успешнее обделывал он на государственной службе в России свои делишки. Постоянно ощущая естественную в такой ситуации неприязнь к себе со стороны русских, иностранные специалисты сполна компенсировали ее карьеризмом, преследованием неугодных им людей, глумлением над личностным достоинством окружающих. Главным орудием и здесь становилась должность.

С. М. Соловьев восславлял Петра I за то, что, привлекая отовсюду «полезных» иностранцев, он не давал им первых ролей, которые оставались за русскими. Неужто не догадывался знаменитый наш историк вслед за Петром, что вторые-третьи-четвертые... роли в государственном управлении в чем-то очень существенном для нации поважнее ролей первых? Поважней во все времена в том самом главном, что именовать принято «нравственностью» или *духом нации*!

Впрочем, это не вопрос еще. Не чужестранцам нас озадачивать! Что нам чужие, когда *свои*, *природно русские* (не все, но в приличном довольно множестве), заимевши в своем Отечестве должности и власть, будто по волшебному порядку какому, оборачиваются в *иностранцев*! Как же повелось на Руси такое? *Отчего до сих пор ведется*?..

Среди русских сановников-чиновников недоброжелательство к Сперанскому развивалось по тем же законам, что и среди иностранцев. Оно росло по мере возвышения Сперанского, но до определенного времени оставалось скрытым. Ситуация резко изменилась сразу после того, как Михайло Михайлович, сделавшись ближайшим советником императора, приступил к осуществлению своего плана реформ.

По причине ли особенной застойности русской общественной жизни иль под впечатлением незабвенных реформаторских деяний Петра Великого укоренилась в характере русской знати привычка смотреть на всякую реформу как на революцию. Любых реформ в обществе русские вельможи — и в том даже случае, если ничего-

---

явших на государственной службе в Российской империи (см.: Русская старина. 1882. Том 35. № 7. С. 65).

шеньки не знали конкретного о содержании и смысле их, — боялись. Боялись так, как боятся обыкновенно каждого стука в дверь, каждого шороха у своего жилища мелкие казнокрады. Когда на место «Негласного комитета» встал Сперанский и, облеченный доверием государя, приступил к разработке проектов государственных преобразований, прежняя боязнь реформ превратилась у них прямо-таки в панический страх.

Этот страх обрел реальную почву после издания 3 апреля 1809 года высочайшего Именного Указа Правительствующему Сенату «О неприсвоении званиям камергеров и камер-юнкеров никакого чина, ни военного, ни гражданского, и об обязанности лиц, в сих званиях состоящих, вступить в действительную службу и продолжать оную по установленному порядку с первоначальных чинов»[1]. До этого в России существовало правило, согласно которому лица, получавшие придворный чин камер-юнкера, приобретали соответственно ему воинский чин полковника или бригадира и гражданский — статского советника, а возведенные в придворный чин действительного камергера приравнивались к воинскому чину генерал-майора[2] и гражданскому — действительного статского советника. Такое положение давало ощутимое преимущество отпрыскам знатных фамилий, которые могли делать карьеру без особого труда, даже и вовсе не состоя на службе в каком-либо ведомстве. Указом от 3 апреля 1809 года это правило производства в придворные чины было объявлено источником «неудобства», которое становится тем более ощутительным, что «молодые люди, в сии звания определяемые, большею частию принадлежа к знатнейшим домам российского дворянства, рождением, воспитанием, способами имущества, предопределены быть надеждою Отечества, наследством тех заслуг и личных достоинств, коими предки их, стяжав славу своему имени предали им ее в залог сохранения и умножения, завещали им

---

1 См.: Законодательство императора Александра I: 1801–1811 годы. С. 375–377.

2 Такой порядок был установлен Высочайшим Именным Указом, данным Сенату, от 6 февраля 1742 года «О бытии камер-юнкерам в чине бригадирском и о считании действительных камергеров и камер-юнкеров по старшинству с воинскими чинами» // 1-ПСЗРИ. № 8510. С. 579. Этот Указ приравнял чин камер-юнкера к воинскому чину бригадира; тем самым он внес уточнение в Высочайший Указ Сенату от 12 января 1737 г., которым чин камер-юнкера был уподоблен воинскому чину полковника, а чин действительного камергера приравнивался к чину генерал-майора. По Табели же о рангах 1722 г. чин действительного камергера соответствовал воинскому чину полковника, а камер-юнкера – чину капитана.

искать почестей в делах, а не в званиях, и в подвиге отечественных польз предшествовать всем другим состояниям»[1].

Всем камергерам и камер-юнкерам, пребывавшим при императорском дворе и не состоявшим ни в военной, ни в гражданской службе, предписывалось избрать в течение двух месяцев от издания сего указа «род действительной службы» и сообщить о том государю. Те из них, которые не изберут службы, должны были считаться в отставке.

Указ от 3 апреля 1809 года обращал звания камер-юнкера и камергера, которые будут присваиваться в будущем, в придворные отличия, знаки особенного внимания императора к роду или предшествующим заслугам того лица, которое их будет удостоено. Носители этих званий должны были при вступлении в военную или гражданскую службу проходить ее «с первоначальных чинов, по установленному порядку».

Сперанскому совсем нетрудно было убедить императора Александра в необходимости этой реформы. Его величество весьма неприязненно относился к придворным званиям. Камер-юнкеров и камергеров, предназначенных украшать собою разные дворцовые церемонии, то есть шаркать по паркету дворцовых зал, он презрительно называл «полотерами»[2]. И однако же все возмущение носителей придворных званий, принужденных Указом от 3 апреля 1809 года искать работу в пыльных канцеляриях, обратилось на одного Сперанского.

Подобное произошло и в результате издания вышеописанного Указа от 6 августа 1809 года, которым для продвижения на гражданской службе требовалось иметь университетское образование или прочные знания в словесных, исторических, юридических, математических и физических науках и сдавать по ним экзамены. Нена-

---

[1] Законодательство императора Александра I: 1801–1811 годы. С. 375.

[2] Любопытно, что столь же неприязненно, как император Александр I, относился впоследствии к придворным персонам и поэт Пушкин. А. О. Смирнова-Россет пересказала в своих записках немало своих разговоров с ним. По ее словам, Александр Сергеевич сказал однажды: «Ненавижу я придворное дворянство. С ним-то государю всего труднее будут справиться в деле освобождения: оно всегда будет восставать против реформ. Пропасть наша заключается в том, что мы еще слишком завязли в привычках прошлого; побеждать приходится не политические идеи, а предрассудки, и самый узкий из всех — это верить, что единообразие есть порядок, безмолвие — согласие, и что истина не выигрывает при обсуждении мнений».

висть к Сперанскому охватила на этот раз необъятную армию необразованных чиновников.

Настроения, распространенные в среде столичных чиновников после издания Указа от 6 августа 1809 года, хорошо передавала следующая ироническая «Элегия» харьковского стихотворца Акима Нахимова[1]:

*«Восплачь Канцелярист, Повытчик, Секретарь,*
*Надсмотрщик возрыдай и вся приказна тварь!*
*Ланиты в горести чернилами натрите*
*И в перси перьями друг друга поразите:*

*О сколь вы за грехи наказаны судьбой!*
*Зрят тучу страшную палаты над собой,*
*Которой молния грозит вам просвещеньем,*
*И акциденций всех и ябед истребленьем.*

*Как древо сокрушен падет подьячих род;*
*Увы! настал для вас теперь плачевный год!*
*Какие времена! должны вы слушать курсы,*
*Судебные места все превратятся в Бурсы.*
. . . . . .

*Беда Коллежскому теперь Секретарю.*
*О чин Ассесорский, толико вожделенный!*
*Ты убегаешь днесь, когда я восхищенный*

*Мнил обнимать тебя, как друга, как алтын;*
*Быть может — навсегда прости, любезный чин.*
*Столь тяжко для меня, степенна человека,*

*Учиться начинать, проживши уж полвека.*
*Какие каверзы, какое зло для нас*
*О просвещении гласящий нам Указ!»*[2]

Негативную реакцию неизбежно вызывали к себе и те преобразования, которые Сперанский осуществлял в области финансов. Повышение размеров податей и пошлин, обложение налогом дворянства значительно расширяли круг его недоброжелателей.

---

[1] Аким Николаевич Нахимов (1782–1814) написал немало сатирических стихотворений и басен, но прославился приведенной элегией, созданной в 1809 г. См.: *Маслович В.* Память о харьковском стихотворце Акиме Николаевиче Нахимове. СПб., 1818.

[2] Сочинения Акима Нахимова в стихах и прозе, напечатанные по смерти его. М., 1822. С. 31–32.

К концу 1810 года атмосфера всеобщего недовольства окутала всю государственную деятельность реформатора. В каждой брошенной им фразе, в каждом шаге его усматривали злой умысел, скрытое намерение причинить вред.

Разработка Сперанским проектов социально-политических преобразований совершалась втайне от общества, и это еще более усугубляло его положение. Отсутствие сколько-нибудь определенных сведений о предполагаемых реформах облегчало задачу его противников. В обстановке искусственно созданной вокруг реформ таинственности слух, сплетня, интрига становились острым оружием в борьбе с неугодным реформатором. Любой домысел, любая ложь с легкостью распространяются в обществе, которому неизвестна правда. С другой стороны, здесь нетрудно скрыть свою сугубо эгоистическую, корыстную цель под личиною общественного интереса.

Реформы Сперанского, создававшие талантливым и образованным людям более благоприятные условия для карьеры на государственной службе и подрывавшие позиции бездарностей и невежд, стали изображаться противниками этих реформ покушением на самые устои государства, а сам реформатор — человеком, поставившим своей целью подрыв самодержавной власти. Слухи, толки об этом быстро распространились в русском обществе и, естественно, дошли до ушей императора Александра. В мемуарах Якова Ивановича де Санглена[1] нашел отражение весьма примечательный разго-

[1] Яков Иванович де Санглен (1776–1864) был назначен летом 1811 г. правителем Особой канцелярии Министерства полиции. В его ведение входили цензура печатных изданий, надзор за иностранцами, выдача заграничных паспортов, а также выполнение «особенные дела, которые министр полиции сочтет нужным предоставить собственному своему сведению». Занимая эту должность, де Санглен являлся одновременно личным агентом императора Александра и выполнял секретные поручения его величества по сбору сведений о тех или иных лицах или слежке за ними. Ф. Ф. Вигель писал о нем в своих записках: «По секретной части, в так называемой особой канцелярии, однако же, дело не обошлось без немца. Правителем сей канцелярии (еще пока не директором) назначен был надворный советник Яков де-Санглен, вероятно, потомок одной из французских фамилий, которые бежали в Германию во время гонений на реформатскую веру. Перед тем, кажется, был он частным приставом и прославился наглостию, подлостию и проворством своим. Не знаю, оттого ли, что русские были тогда избалованы Александром, или оттого, что они чувствовали себя сильными единодушием своим, единомыслием, только никто из них не хотел скрывать глубокого презрения к такого рода людям. Сколь ни опасен, сколь ни страшен для каждого из них был этот де-Санглен, никто не хотел ни говорить с ним, ни кланяться ему».

вор его с государем, происшедший как раз в рассматриваемое нами время. «Из донесения графа Ростопчина о толках московских, — говорил его величество, — я вижу, что там ненавидят Сперанского, полагают, что он в учреждении Министерства и Совета хитро подкопался под самодержавие»[1].

Сам Михайло Михайлович ясно сознавал главные мотивы поведения своих противников и всю подоплеку того недовольства им, что обнаружилось вдруг, как казалось, во всех слоях русского общества. Свое понимание происходившего он попытался изложить императору Александру. Для этого в начале 1811 года подвернулся удобный случай — государственный секретарь должен был отчитаться перед его величеством в работе по исполнению плана реформ. Представленный им государю 11 февраля 1811 года «Отчет в делах 1810 года» подводил итог осуществленным за указанный период преобразованиям.

В первых его строках Михайло Михайлович писал: «Представив Вашему Императорскому Величеству в свое время обыкновенный срочный отчет, считаю долгом моим представить ныне отчет и в делах, особенно мне порученных, дабы изволили из оного усмотреть истинное их положение и определить по усмотрению Вашему меру будущего их движения». Свой отчет в делах 1810 года Сперанский составил из четырех отделений: 1) по управлению Государственной канцелярии, 2) по управлению Комиссии законов, 3) по плану финансов, 4) по делам финляндским. Взяв поначалу в своем отчете оптимистический тон, остановившись на успехах реформаторской деятельности: создании Государственного совета, завершении проектов реформы министерств и Сената, достижениях в области финансов и в финляндских делах, Сперанский заговорил затем о неудачах: «Никогда, может быть, в России в течение одного года не было сделано столько общих государственных постановлений, как в минувшем. В нем положены первые основания истинного монархического устройства в части законодательной, в устройстве министерств, и особенно в финансах.

Но в нем положены *одни первые основания*; много начато и ничего еще не кончено. Между тем опыт протекшего года показал, что много было потеряно времени, и часто самые нужные положения не выходили к своему сроку единственно потому, что, стекаясь

---

[1] Записки Якова Ивановича де Санглена // Русская старина. 1883. Том 37. № 2. С. 378.

в одне руки, они не могли быть скоро приуготовлены»[1]. Отсюда Сперанский делал вывод, что для успешного выполнения плана реформ «необходимо нужно усилить способы его исполнения».

Далее в отчете рисовалась программа последующих преобразований. Сперанский считал, что в новых условиях должно сосредоточиться на устройстве «порядка судного и исполнительного». В частности, «окончить уложение гражданское», составить судебное и уголовное уложения, «окончить устройство сената судебного», «составить устройство сената правительствующего», преобразовать губернское управление «в порядке судном и исполнительном», «основать государственные ежегодные доходы». Главную роль в осуществлении перечисленных мер Сперанский отводил себе. «Сколь дела сии ни обширны, я надеюсь, что виды Вашего Величества по всем сим предметам будут с точностию исполняться. Надежда сия утверждается наиболее тем, что я вошел уже, так сказать, в существо их, что материалы их готовы и что, впрочем, по самому свойству своему они между собою нераздельны»[2].

Однако положение его в обществе, как оно сложилось к тому времени, внушало Сперанскому серьезные опасения. Он постарался описать ситуацию, в которой оказался, императору Александру. «Представляясь попеременно то в виде директора комиссии, то в виде государственного секретаря; являясь, по повелению Вашему, то с проектом новых государственных постановлений, то с финансовыми операциями, то со множеством текущих дел, — отмечал он в своем отчете, — я слишком часто и на всех почти путях встречаюсь и с страстями, и с самолюбием, и с завистью, а еще более с неразумием. Кто может устоять против всех сих встреч? В течение одного года я попеременно был мартинистом, поборником масонства, защитником вольности, гонителем рабства и сделался, наконец, записным иллюминатом. Толпа подьячих преследовала меня за указ 6 августа эпиграммами и карикатурами. Другая такая же толпа вельмож, со всею их свитою, с женами и детьми, меня, заключенного в моем кабинете, одного, без всяких связей, меня, ни по роду моему, ни по имуществу не принадлежащего к их сословию, целыми родами преследуют как опасного уновителя. Я знаю, что большая их часть и

---

1 *Сперанский М. М.* Отчет в делах 1810 года, представленный императору Александру I 11-го февраля 1811 года // Сборник Императорского Русского исторического общества. Том 21. СПб., 1877. С. 458.

2 Там же. С. 460.

сами не верят сим нелепостям; но, скрывая собственные их страсти под личиною общественной пользы, они личную свою вражду стараются украсить именем вражды государственной; я знаю, что те же самые люди превозносили меня и правила мои до небес, когда предполагали, что я во всем с ними буду соглашаться, когда воображали найти во мне послушного клиента и когда пользы их страстей требовали противуположить меня другому. Я был тогда один из самых лучших и надежнейших исполнителей; но как скоро движением дел приведен я был в противоположность им и в разномыслие, так скоро превратился в человека опасного и во все то, что Вашему Величеству известно более, нежели мне.

В сем положении мне остается или уступать им, или терпеть их гонения. Первое я считаю вредным службе, унизительным для себя и даже опасным. Дружба их еще более для меня тягостна, нежели разномыслие. К чему мне разделять с ними дух партий, худую их славу и то пренебрежение, коим они покрыты в глазах людей благомыслящих? Следовательно, остается мне выбрать второе.

Смею мыслить, что терпение мое, время и опыт опровергнут все их наветы. Удостоверен я также, что одно слово Ваше всегда довлеет отразить их покушения.

Но к чему, Всемилостивейший Государь, буду я беременить Вас своим положением, когда есть самый простой способ из него выйти и раз навсегда прекратить тягостные для Вас и обидные для меня нарекания»[1].

Сперанский просил императора отстранить его от должности государственного секретаря и управления финляндскими делами и сохранить за ним лишь один пост директора комиссии законов. «Зависть и злоречие успокоятся, — указывал он на последствия такой перемены. — Они почтут меня ниспровергнутым, я буду смеяться их победе, а Ваше Величество раз навсегда освободите себя от скучных предположений. Сим приведен я буду паки в то счастливое положение, в коем быть всегда желал, чтоб весь плод трудов моих посвящать единственно Вам, не ища ни шуму, ни похвал, для меня совсем чуждых... Тогда, и сие есть самое важнейшее, буду я в состоянии обратить все время, все труды мои на окончание предметов выше изображенных, без коих, еще раз смею повторить, все начинания и труды Ваши будут представлять здание на песке»[2].

---

[1] Сборник Императорского Русского исторического общества. Том 21. С. 460–461.

[2] Там же. С. 461.

Столкнувшись при осуществлении плана государственных преобразований с яростным сопротивлением и открытой враждебностью со стороны аристократии и чиновничества, Сперанский, таким образом, не нашел для их преодоления иного средства, как обратиться за поддержкой единственно к государю. Странная вещь: он, придававший в писанных на бумаге произведениях огромное значение при проведении реформ общественному мнению, когда дело дошло до самой практики осуществления их, совершенно исключил «дух народный» из числа своих союзников. Он не сделал ни малейшей попытки ознакомить со своими проектами реформ русское общество, показать своим соотечественникам истинные цели и смысл своей деятельности. В подлинном содержании разработанный Сперанским план государственных преобразований остался поэтому известным лишь узкому кругу людей: императору Александру да некоторым из его родственников и приближенных. Ряд членов августейшей фамилии (среди них в особенности великая княгиня Екатерина Павловна) и окружавших императора сановников относились к личности реформатора и ко всем его действиям с чрезвычайной предубежденностью, не скрывали своей неприязни к нему. Те же, которые действительно желали многое в России переменить к лучшему и могли стать Сперанскому опорой в деле осуществления преобразований, не знали ни его самого, ни его планов в истинном их содержании. Отброшенное им в сторону как ненужный хлам общественное мнение было взято на вооружение его врагами и использовано против него самого.

Выбрав в качестве главного орудия осуществления преобразований верховную политическую власть, Сперанский упустил из виду, что носитель этой власти (в данном случае император Александр I) есть лицо предельно открытое для различных влияний со стороны тех или иных общественных кругов. Для того, чтобы государь мог успешно выполнять предназначенную ему роль, то есть служить орудием перемен, он должен был постоянно испытывать соответствующее давление снизу, хотя бы из своего сановного окружения. Недовольство действовавшей в России системой управления было в обществе широко распространено. Необходимо было лишь превратить его в фактор, постоянно толкающий верховную власть в направлении реформ. Сперанский никаких усилий для этого не предпринял, он остался сугубо канцелярским реформатором. Отсюда проистекала непоследовательность его реформаторской деятельности и слабость его как реформатора.

Просьбу своего государственного секретаря об отставке император Александр не удовлетворил. Сперанский продолжал работать над проектами преобразований с той же энергией, что и прежде. Но в прежнем духе продолжали развиваться и настроения общественных кругов. Негативное отношение к реформам стали открыто выражать и те, чье социальное положение никоим образом ими не затрагивалось. Одним из таких людей был историограф Николай Михайлович Карамзин.

Биографы будут впоследствии противопоставлять друг другу писателя-историка и государственного деятеля-реформатора. Даже Ф. М. Достоевский, с его высоко развитой способностью угадывать единство в самых, казалось бы, противоположных вещах, разделит их, дабы противопоставить предельно резко: «Кто: Сперанский или Карамзин? Вопрос должен именно в том состоять, кто передовой: Сперанский или Карамзин?» Между тем эти выдающиеся личности были духовными родственниками: роль человека в мире и многие другие вопросы общественного бытия понимали сходно. Позднее они почувствуют духовную родственность друг друга и каждый из них воздаст другому должное. Сперанский высоко оценит Карамзина как писателя-историка. «Весьма благодарен вам за „Историю“ Карамзина, — напишет он 5 марта 1818 года в письме своему другу А. А. Столыпину. — Что бы ни говорили ваши либеральные врали, а „История“ сия ставит его наряду с первейшими писателями в Европе»[1]. 7 мая того же года и опять А. А. Столыпину: «Пусть Карамзин меня бранит сколько угодно, а я хвалить „Историю“ его не перестану. Разность между нами та, что он бранит меня, не зная, а я хвалю его с основанием. „История“ его есть монумент, воздвигнутый в честь нашему веку и словесности».

Позднее Карамзину все же представится случай узнать Сперанского, и не только узнать, но и расхвалить его, причем именно как государственного деятеля-реформатора. Но в 1811 году Сперанский и Карамзин друг друга не знали. Оба являлись по натуре отшельниками. Каждый подавал себя на стол своих современников крайне скудными порциями.

В конце 1809 года Н. М. Карамзин познакомился с сестрой императора Александра великой княгиней Екатериной Павловной. С тех пор он регулярно ездил к ее высочеству в Тверь, где она постоянно

---

[1] *Сперанский М. М.* Письмо к А. А. Столыпину от 5 марта 1818 г. // Русский архив. 1869. Вып. 5. Стлб. 919.

проживала как супруга генерал-губернатора Тверского, Новгородского и Ярославского Георга Ольденбургского. В приезды свои Николай Михайлович обыкновенно читал великой княгине отрывки из писавшейся им в то время «Истории государства Российского». Но в феврале 1811 года он прочел ей записку «О древней и новой России», в которой со всей откровенностью высказывался о прошлых и настоящем царствованиях, ругал не только Екатерину II и Павла I, но даже и Александра I, то есть правившего еще императора. С резкостью, граничившей с дерзостью, историк критиковал стремление Александра преобразовать государственный строй России, решительно призывал его отказаться от любых реформ, хоть в малейшей степени ослабляющих самодержавную власть. «Если бы Александр, вдохновленный великодушною ненавистью к злоупотреблениям самодержавия, взял перо для предписания себе иных законов, кроме Божиих и совести, — говорилось в записке Карамзина, — то истинный добродетельный гражданин российский дерзнул бы остановить его руку и сказать: „Государь! Ты преступаешь границы своей власти. Наученная долговременными бедствиями Россия пред святым алтарем вручила самодержавие твоему предку и требовала, да управляет ею верховно, нераздельно. Сей завет есть основание твоей власти, иной не имеешь; можешь все, но не можешь законно ограничить ее!“» С этой позиции Карамзин резко порицал реформы Сперанского, хотя нигде не упоминал имени реформатора.

Великой княгине, и без того неприязненно относившейся к Сперанскому, подобные выпады историка против осуществлявших тогда в русском обществе реформ пришлись по сердцу. Делясь с Карамзиным своим впечатлением о его записке, она призналась ему, что находит записку «очень сильною».

18 марта 1811 года Екатерина Павловна передала записку «О древней и новой России» своему венценосному братцу, приехавшему погостить к ней в Тверь. Написанная в резком тоне и содержавшая нелестные, мягко говоря, высказывания об образе жизни Екатерины II, упоминавшая о неприятном для императора Александра событии 11 марта 1801 года, порицавшая, наконец, его внутреннюю и внешнюю политику (курс на преобразование политического строя России и сближение с Францией), записка Карамзина произвела на него при первом чтении неблагоприятное впечатление. Однако постепенно недовольство его величества Карамзиным, порожденное запиской, прошло. Возвратившись в Санкт-Петербург, государь говорил уже (французскому послу Коленкуру), что «нашел

в Твери очень разумных людей». Эта перемена в настроениях императора Александра была весьма примечательной...

Многое в обрушившемся на него несчастии Михайло Михайлович будет позднее приписывать своей незнатности. «Если бы я был в фамильных связях с знатными родами, то, без сомнения, дело приняло бы другой оборот. Кто хочет держаться в свете, тот должен непременно стать на якоре из обручального кольца». Он не слишком далеко ушел от истины. Родственная связь с какой-либо знатной русской фамилией, конечно, вряд ли спасла бы его реформы. Но самого его, безусловно, избавила бы от большинства наветов и оскорблений, а судьбу его освободила бы от многих печальных обстоятельств.

От реформ Сперанского в среде русского дворянства не ждали ничего хорошего вследствие уже одного того факта, что автор их имел незнатное происхождение. Какими бы ни были реформы по содержанию, их страшились потому уже, что реформатор был по происхождению поповичем. И, видно, очень силен был этот страх, раз сумел прожить целую человеческую жизнь и не исчезнуть бесследно, но мумией слов застыть в тетрадях одного из величайших русских писателей.

***Из «Записной тетради» 1876–1877 годов Ф. М. Достоевского:***

*«Семинарист, сын попа, составляющего status in stato, а теперь уже и отщепенца от общества, а казалось бы, надо напротив. Он обирает народ, платьем различается от других сословий, а проповедью давно уже не сообщается с ними. Сын его, семинарист (светский), от попа оторвался, а к другим сословиям не пристал, несмотря на все желание. Он образован, но в своем университете (в Духовной академии). По образованию проеден самолюбием и естественною ненавистью к другим сословиям, которые хотел бы раздробить за то, что они не похожи на него. В жизни гражданской он многого внутренне, жизненно не понимает, потому что в жизни этой ни он, ни гнездо его не участвовали, оттого и жизнь гражданскую вообще понимает криво, лишь умственно, а главное отвлеченно. Сперанскому ничего не стоило проектировать создание у нас сословий, по примеру английскому, лордов и буржуазию и проч. С уничтожением помещиков семинарист мигом у нас воцарился и наделал много вреда отвлеченным пониманием и толкованием вещей и текущего».*

Дальнейшее течение дел и времени приносило Сперанскому все новых и новых недоброжелателей. Среди них немало было тех, которые совсем недавно всячески поддерживали его, способствовали его карьере хотя бы уже тем, что повсеместно и во всеуслышание его расхваливали, создавая ему в светском обществе, а значит, и во мнении императора авторитет выдающегося по своим нравственным и профессиональным качествам государственного деятеля. Теперь эти же люди во всем и повсюду его порицали — причем порицали с таким же пафосом, с каким некоторое время назад превозносили. Сперанский не оправдал возлагавшихся на него надежд. Помогая ему возвыситься, от него ждали содействия в решении разного рода мелких *делишек*, а он, возвысившись, затеял *дело*, да такое, которого менее всего от него требовали, — дело реформы общественно-политического строя России.

К лету 1811 года холодная атмосфера недоброжелательства вокруг Сперанского стала почти беспросветной. К нему охладели даже те, кого он считал своими приятелями, кто часто посещал его дом. Оскорбления, насмешки в его адрес сделались обычным атрибутом разговоров в столичном обществе о правительстве и правительственной политике. Жить в такой атмосфере можно было, лишь закутавшись в облако равнодушия ко всему окружающему. И Сперанский старался напустить на себя это облако.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину от 24 октября 1811 года*:**

*«Я называю излишними затеями все мои предположения и желание двинуть грубую толщу, которую никак с места сдвинуть не можно. Пусть же она остается спокойна; а я не буду терять моего здоровья в тщетных усилиях. Вот вам краткое описание физического и политического моего бытия. Девиз мой: хоть трава не расти. Советую и тебе приняться за то же: это и спокойнее, и здоровее».*

Характеризуя свое положение в столичном обществе в 1811 — начале 1812 года, Михайло Михайлович писал: «Существенные преобразования, и особенно преобразования финансовые, везде влекут за собою важное неудобство: прикосновение к частным интересам. Людей и интересы их никогда нельзя затрагивать безнаказанно. Наиболее опасны такие столкновения в таких государствах, где общественное мнение слишком еще слабо, чтобы защищать усердие и талант

от нападений зависти и невежества. Вопиют против нововведений, не вникая ни в их свойства, ни в настоятельность причин. Таково было положение Сперанского. Без связей и родства, без опоры, без состояния, сам создатель своего счастия, знакомый при этом более с делами, нежели с людьми, он *выступил на бой один*. Можно ли ему было не пасть!..»[1]

Можно было бы подивиться той редкой проницательности, каковую проявил здесь Сперанский, если б не одно важное обстоятельство: приведенные слова были написаны им спустя *двенадцать* лет после описанных событий.

Ах, как богат он был умом, обращенным в прошлое, и как был нищ умом, направленным в свое будущее! Как не хотел он верить в безжалостно справедливое — в то, что «*будущее — наихудшая часть настоящего*»!

[1] Сперанский в 1808–1811 гг. (Дополнительные заметки к «Жизни графа Сперанского»). (Из бумаг академика А. Ф. Бычкова) // Русская старина. 1903. Том 114. № 4. С. 38–39.

## *Глава пятая*

# Падение

*Я узнал Россию: всё, что полезно, умно, касается общего дела и направлено к возвышенной цели и при этом не имеет в виду мелких интересов и выгод, встречает лишь препятствия и затруднения, между тем как всё противоположное идёт быстрыми шагами.*

**Густав-Мориц Армфельд**
Из письма к барону Розенкампфу
19 мая 1812 года

Тучи сгущались над головой Сперанского с неудержимой быстротою, но гроза медлила. Она не разражалась довольно долго даже после того, как время для нее совсем, казалось бы, наступило. Недоставало, видно, чего-то громовержцу. После грозы станет известно: чтобы вызвать у самодержца гнев на реформатора, нужна была обыкновенная интрига.

Интрига всегда играет большую роль там, где существует режим личной власти, где общий интерес растворен в молекулах личных самолюбий, страстей, побуждений, где политическая жизнь не подчиняется никаким иным правилам, кроме правил, по которым удовлетворяются сугубо личные, эгоистические интересы. Интрига здесь, в сущности, заменяет политику, и наиболее искусным политическим деятелем является наиболее искусный интриган. Александр I не случайно сказал однажды: «Интриганы в государстве так же полезны, как честные люди; а иногда первые даже полезнее последних».

С позиции властителя Александр I был, конечно, прав — властвовать без интриганов в России вряд ли возможно, но с точки зрения нормального человека он ошибался. Между честными людьми и интриганами всегда существует, по меньшей мере, одно большое различие: честных людей, когда возникает острейшая потребность в них, вполне может и не оказаться в наличии — интриганы же, лишь только появляется нужда в интриге, всегда находятся, они всегда на месте, будто на страже, и только ждут момента, когда дан

будет на них политический заказ. Так было в случае со Сперанским. Когда понадобилась интрига, чтобы свалить его, интриганы немедленно нашлись.

Главную роль в развернувшихся событиях сыграл шведский барон Густав Мориц Армфельд. Еще в Швеции он прославился своим непомерным честолюбием и высокоразвитой способностью к интриге. В Санкт-Петербург шведский барон прибыл в июле 1810 года. В это время решался вопрос о статусе Финляндии, завоеванной Россией в недавней войне со Швецией, и Армфельд, который имел в Финляндии большие поместья, стремился принять в данном вопросе активное участие с тем, чтобы направить его решение в выгодную для себя сторону. Здесь и произошло его столкновение со Сперанским, на которого Александр I возложил общее управление финляндскими делами. Армфельд сперва произвел на русского госсекретаря благоприятное впечатление: Михайле Михайловичу импонировали его либеральные настроения и, в частности, негативное отношение к крепостному праву, проявлявшееся не только на словах, но и в практических мерах (Армфельд, например, освободил своих крепостных крестьян в Выборгской губернии). Сперанский, всецело поглощенный реформой государственного управления своей страны, полностью доверился в финляндских делах Армфельду и способствовал тем самым его возвышению. Именно при содействии Сперанского шведский барон получил вскоре должность председателя комиссии по делам Финляндии, которая дала ему возможность непосредственных докладов императору.

Переписка Армфельда обнаруживает, что он с самого начала испытывал нелюбовь к России и ненависть к Сперанскому. Шведский барон писал, например, о нем: «Странная личность, которая иногда возвышает нас, а подчас дает нам чувствовать нашу зависимость. К тому же он всегда считает пустяками то, что касается Финляндии». И еще: «Сперанский имеет громадную власть; он удивительно умен и хитер, но так же самолюбив, как и невежествен; жаждущий того, что дает только внешний вид счастья, он не способен постигнуть того блага, которое ведет к спокойствию души. Он боится быть понятым и потому надевает на себя тысячу масок: иногда он гражданин и хороший подданный, иногда ярый фрондер, употребляющий все усилия, чтобы убедить публику в своих талантах и не обнаруживающий своих сил...»

Как ближайший советник императора Александра, умный человек и знаток своего дела, Сперанский мешал Густаву Армфельду

проворачивать свои делишки, и в этом таилась главная подоплека ненависти к нему со стороны шведского барона. В данной ненависти с ним быстро сошелся давний враг Сперанского барон Густав Розенкампф.

К этому дуэту присоединился министр полиции Александр Дмитриевич Балашов. В марте 1808 года он был назначен Санкт-Петербургским обер-полицмейстером, через два месяца стал в дополнение к основной своей должности исполнять в столице также обязанности военного губернатора. 1 января 1810 года сорокалетний генерал-лейтенант Балашов был назначен, по представлению Сперанского, членом Государственного совета. 25 июля того же года он был поставлен во главе Министерства полиции, учрежденного на основании Манифеста «О разделении государственных дел на особые управления...». В то время Михайло Михайлович не знал, кого он возвысил. Свои отрицательные свойства Балашов проявил в полной мере лишь после того, как стал руководителем Министерства полиции.

По словам В. П. Кочубея, Балашов «превратил его в министерство шпионства». Город наполнился шпионами всех цветов — наемными шпионами русскими и иностранцами, шпионами-друзьями, сплошь и рядом переодетыми полицейскими офицерами, причем в переодевании, как говорят, принимал участие и сам министр. Эти агенты не ограничивались тем, что стремились узнавать новости и давать возможность правительству *предупреждать* преступления; они старались *создавать* преступления и возбуждать подозрения. Они вступали в откровенные разговоры с людьми различных классов, «жаловались» на государя, «критикуя меры правительства, лгали, чтобы вызвать такие же откровенные заявления или жалобы». Картежный шулер в молодые годы, Александр Балашов, получив в свое распоряжение полицейскую власть, стал заниматься поборами и вымогательством взяток. Сперанский, стремившийся установить контроль за деятельностью министров, прямо угрожал его положению, приносившему ему столь большие выгоды. Чтобы отвести от себя данную угрозу, Балашов пустился в интригу.

Направлявшаяся умелой рукой, разработанная до мельчайших подробностей интрига против Сперанского строилась с учетом особенностей характера императора. Сколько бы ни говаривал Александр в молодые свои годы о желании ограничить самодержавную власть, а то и вообще отказаться от нее, удалившись из России в тихую жизнь частного европейского обывателя, не мог он заста-

вить свое окружение поверить в серьезность подобных высказываний. Слишком неправдоподобным казалось, что кто-то в человечестве, которого всю историю должно обозначить одним выражением «борьба за власть», может вдруг отказаться от абсолютной власти, самим небом ему посылаемой. Да и вполне было заметно в характере Александра нечто такое, что никогда, ни в коем разе не могло позволить ему исполнить это странное желание.

Этим «нечто» было в первую очередь его огромное самолюбие, с которым он как будто даже родился. Один из русских воспитателей великого князя Александра оставил свои записки, где под датой «апрель 1792» приводится любопытное наблюдение: «Замечается в его высочестве лишнее самолюбие, а оттого упорство во мнениях своих, и что он во всем будто уверит и переуверит человека, как захочет. Из сего открывается некоторая хитрость, ибо в затмевании истины и в желании быть всегда правым неминуемо нужно приступать к подлогам»[1].

К самолюбию прибавлялась в Александре чрезвычайная боязнь насмешки над собой. Уже после того, как он стал императором, часто бывало так, что если кто-либо засмеется в его присутствии или улыбнется, на него посматривая (просто так, без всякой «задней» мысли), Александр тут же начинал думать, что это над ним смеются, и как-то непроизвольно старался оглядеть себя, подходил для этого даже к зеркалу и до тех пор не успокаивался, пока не осматривал всего себя и спереди и сзади. При том характере, каковой имел российский самодержец, достаточно было показать ему, что кто-то из его приближенных насмехается над ним и в душе его презирает, чтобы навлечь на этого человека его гнев и незамедлительную кару. В случае со Сперанским данная задача была выполнена блестяще.

Сговорившись между собой, участники интриги против Сперанского стали с некоторых пор регулярно сообщать императору Александру разные дерзкие отзывы о его августейшей персоне и насмешки, которые представляли исходящими из уст его государственного секретаря. Многое из сообщавшегося интриганами выдумывалось, однако некоторые из таких отзывов об Александре и шуток в адрес его величества действительно произносились. Так, однажды Балашов разговаривал со Сперанским о расширении круга полномочий своего министерства. Михайло Михайлович сказал ему,

---

[1] Заметки одного из русских воспитателей императора Александра Павловича // Русский архив. 1866. Вып. 1. Стлб. 99.

что сделать это можно лишь со временем, и прибавил в пояснение: «Вы знаете подозрительный характер государя. Все, что он делает, он делает наполовину. Он слишком слаб, чтобы управлять, и слишком силен, чтобы быть управляемым». Эти слова Сперанского были незамедлительно переданы министром полиции императору.

В другой раз, беседуя с кем-то, Михайло Михайлович сказал: «Пора, наконец, нам сделаться русскими!» Собеседник его тут же вопросил: «Что же, не тебя ли уже в цари русские?» — «А хотя бы и меня, не меня одного — и вас, мало ли людей русских кроме немцев». И это высказывание Сперанского было сообщено государю.

Раздраженный нерешительностью императора Александра в осуществлении реформ, Сперанский нередко выставлял его в своих разговорах человеком, равнодушным к пользе Отечества, беззаботным, красовавшимся фигурою, подобно женщине, и т. п. Причем широко использовал при этом выражения язвительного Вольтера. Деятельность интриганов в значительной мере облегчалась столь смелым и независимым поведением неугодного им реформатора. Им меньше приходилось выдумывать, достаточно было лишь довести высказывания Сперанского до ушей самодержца. Однако и для этого требовалось определенное искусство. Александр ни в коем случае не должен был заподозрить, что его пытаются использовать в качестве слепого орудия, — открытие им этого факта могло иметь для интриганов, учитывая больное императорское самолюбие, довольно плачевные последствия. Интриганы действовали поэтому с большой осторожностью. Содержание доносов на Сперанского и манера их подачи императору Александру тщательно ими отрабатывались и согласовывались. В результате получалось так, что одно и то же высказывание неосторожного на язык Сперанского, подлинное или приписанное ему, порочившее личность российского самодержца, доходило до слуха его величества из самых различных источников, передавалось в разное время, иногда с интервалом в несколько недель. Для того, чтобы у Александра не появилось мысли о сговоре, которая, естественно, напрашивалась при одинаковости доносов, участники интриги против Сперанского всячески показывали государю, что они находятся между собой в ссоре, делая одновременно с доносами на реформатора доносы и друг на друга.

Сила врагов Сперанского — людей, составивших против него настоящий заговор, заключалась также в их хладнокровной расчетливости. В своей интриге они старались не скатываться до примитивной, голой клеветы в отношении реформатора, избегали делать на

него целиком лживые доносы. В каждом их навете обязательно присутствовало и нечто действительно имевшее место, нечто правдивое. И хотя это нечто составляло чаще всего не более чем крупицу, ее было достаточно, чтобы всему навету придать окраску правды.

Так было, в частности, с поступившим к императору Александру известием о том, что Сперанский принадлежит к тайному союзу иллюминатов и является главой этой масонской организации в России. В своей интриге против русского реформатора интриганы явно делали на этот «факт» особую ставку. Говоря об источнике, из которого было получено сведение о нем, Александр впоследствии ссылался на Балашова. Между тем о принадлежности Сперанского к иллюминатам государь знал также от полковника Полева, донесение которого было обнаружено после смерти его величества в императорском кабинете. В нем приводился даже список соратников Сперанского по масонской ложе, куда включались почти все его тогдашние приятели: Михаил Магницкий, Константин Злобин, Игнатий Аврелий Фесслер и др.

Кроме того, информацию о принадлежности своего госсекретаря к революционному масонству самодержец мог иметь и от Екатерины Павловны. Великая княгиня получила в 1811 году от графа Ростопчина специальную записку о революционных масонах-мартинистах, в которой перечислялись наиболее видные среди них лица (граф Разумовский, адмирал Мордвинов, князь Козловский, фельдмаршал Кутузов и др.) и говорилось, что «они все более или менее преданы *Сперанскому*, который, не придерживаясь в душе никакой секты, а может быть, и никакой религии, пользуется их услугами для направления дел и держит их в зависимости от себя». Своей целью эти люди, утверждал Ростопчин, поставили «произвести революцию, чтоб играть в ней видную роль, подобно негодяям, которые погубили Францию и поплатились собственною жизнью за возбужденные ими смуты»[1]. Сообщая императору Александру о том, что Сперанский является главой иллюминатов в России, министр полиции Балашов никоим образом не рисковал навлечь на себя обвинение в клевете — об этом широко говорили в Петербурге. Но мало того: сардинский посланник в России граф Жозеф де Местр еще в декабре 1809 года послал своему королю следующее донесение: «Этот государственный секретарь, господин Сперанский — одно из случай-

[1] *Ростопчин Ф. В.* Записка о мартинистах, представленная в 1811 году великой княгине Екатерине Павловне // Русский архив. 1875. Кн. 3. Вып. 9. С. 80–81.

ных явлений, возможное только в этой стране. Он попович, т. е. самого низкого происхождения. Он умен, с головою, с познаниями и особенно хорошо знает свой язык, что здесь не очень обыкновенно. Мне однажды только удалось говорить с ним, и я заметил, что он последователь Канта. В доме обер-гофмаршала и особенно перед его женою он превозносит воспитание иезуитов, но в кабинете государя, я уверен, вместе со многими знающими положение дел, он следует предписаниям великой секты, стремящейся к уничтожению всякой верховной власти»[1].

Спустя год в Сардинию из Петербурга было послано еще одно сообщение от Жозефа де Местра на эту же тему. «Что такое Сперанский? — писал сардинский посланник своему королю. — Это великий вопрос. Он человек умный, трудолюбивый, изящный писатель, в этом не может быть никакого сомнения; но он сын священника, то есть принадлежит к самому низшему разряду свободных состояний, из которого, естественно, выходят по преимуществу преобразователи. Он сопровождал императора в Эрфурт, там он беседовал с Талейраном, и некоторые думают, что он до сих пор переписывается с ним. Из всех его служебных действий видно, что он проникнут новыми идеями и особенно сочувствует конституционным установлениям. Он был ревностным покровителем Фесслера. Один из важных сановников, в откровенном разговоре, сказал мне: в последние два года я не узнаю императора, до такой степени он сделался философом! Это слово меня поразило. Не может быть никакого сомнения в том, что существует великая и страшная секта, которая издавна стремится ниспровергнуть все престолы, и для этой цели с адскою ловкостью она заставляет служить ей самих государей... Я уверяю вас, что моим глазам представляется здесь то же самое, что мы уже видели (во Франции в 1789–1794 годах. — *В. Т.*), то есть тайная сила, которая подрывает верховную власть и пользуется для этой цели ею самой, как орудием. Устроена ли эта секта и составляет в полном смысле общество, которое имеет своих вождей и свои законы, или она заключается в естественном согласии множества людей, стремящихся к одной и той же цели, это для меня еще вопрос; но ее действия не подлежат никакому сомнению, хотя деятели и не вполне известны. Способность этой секты очаровывать правитель-

[1] Цит. по: *Попов А. Н.* Граф Местр и иезуиты в России // Русский архив. 1892. Кн. 2. Вып. 6. С. 161.

ства представляет собою одно из ужаснейших и чрезвычайных явлений, какие только видел мир»[1].

В 1822 году, когда император Александр официально запретил масонские ложи в России и возложил на своих сановников-чиновников обязанность дать расписку об их неучастии в какой бы то ни было масонской организации, Сперанский исполнил данную обязанность, отослав Алексею Николаевичу Оленину, исправлявшему в то время должность государственного секретаря, следующую бумагу: «Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что я ни к какой масонской ложе и ни к какому тайному обществу, ни внутри империи, ни вне ее, не принадлежу и впредь принадлежать не буду. Сие объявление относится не только к настоящему, но и ко всему прошедшему времени со следующим изъятием: в 1810-м году, по случаю рассмотрения масонских дел в особо учрежденном от правительства комитете, коего я был членом, я был принят здесь, в Санкт-Петербурге, с ведома правительства, в масонские обряды под председательством известного доктора Фесслера в частной домашней ложе, которая ни имени, ни состава, ни учреждения, ложам свойственного, не имела. Посетив оную два раза, после того, так как и прежде, нигде ни в какой ложе, ни тайном обществе я не бывал и к оным не принадлежал. Тайный советник М. Сперанский. В Санкт-Петербурге 11 сентября 1822»[2].

В дополнение к тексту приведенной расписки Михайло Михайлович написал пояснительное письмо для А. Н. Оленина, в которой сообщил: «Милостивый государь мой, Алексей Николаевич! Препровождая при сем к вашему превосходительству показание мое о том, что я не принадлежу ни к какой масонской ложе, ни к тайному обществу, считаю нужным сопроводить оное следующим изъяснением:

В 1810-м или 1811-м году повелено было дела масонские подвергнуть рассмотрению особого секретного комитета, в коем велено было и мне находиться. По случаю сего рассмотрения, дабы иметь о делах сих некоторое понятие, я вошел с ведома правительства в масонские обряды; для сего составлена была в здесь в С[анкт]-Петербурге частная, домашняя ложа из малого числа лиц под председательством и по системе доктора Фесслера. Как целию моею в сем деле было одно познание масонских обрядов: то и счел я достаточным посетить сие собрание *два раза*; после чего как в сей, так и ни

---

1 Русский архив. 1892. Кн. 2. Вып. 6. С. 162.

2 В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 738.

в какой ложе, ни тайном обществе я не бывал; да и самое собрание сие, не принадлежавшее к числу правильных и установленных лож, сколько мне известно, само собою прекратилось. С совершенным почтением честь имею быть вашего превосходительства покорнейший слуга М. Сперанский. В С.-Петербурге 7 сентября 1822»[1].

21 апреля 1826 года, в разгар следствия над декабристами, император Николай I издаст распоряжение «истребовать по всему государству вновь обязательства от всех находящихся в службе и отставных чиновников и не служащих дворян» письменную расписку о своем участии или неучастии в любых тайных обществах, в том числе и масонских ложах. При этом всем указанным лицам будет предписано ответить на вопросы специальной анкеты предельно откровенно. За сокрытие же требуемых сведений государь пообещает подвергнуть «строжайшему наказанию как государственных преступников». Сперанский будет вынужден дать еще одну расписку: «Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что ни к какой масонской ложе и ни к какому обществу ни внутри Империи, ни вне ее не принадлежу и впредь принадлежать не буду. Тайный советник М. Сперанский».

Нет никаких оснований полагать, что Сперанский лгал, сознательно преуменьшал степень собственного участия в масонстве. Напротив, существуют ясные доказательства того, что он не считал масонство сколь-нибудь серьезным движением. В 1818 году, когда в Петербурге вспыхнула очередная кампания охоты на «иллюминатов», Михайло Михайлович открыто смеялся над «охотниками». Самому близкому своему другу той поры А. А. Столыпину он писал: «Как мало еще просвещения в Петербурге! Из письма вашего я вижу, что там еще и ныне верят бытию мартинистов и иллюминатов. Старые бабьи сказки, коими можно пугать только детей».

Пренебрежительное отношение к масонству не было для Сперанского случайным. Оно обусловливалось всем характером его политического мышления и, в частности, теми взглядами, которые он имел на переустройство общественной жизни. Сперанский принципиально отвергал в качестве средства этого переустройства заговор и революцию, поскольку считал, что подлинный переворот в общественных отношениях способен произойти лишь с переменой в пси-

[1] В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 737–738. Пометка Сперанского в верхнем углу этого письма «оставлено» свидетельствует, что оно так и не было послано адресату.

хологии людей и, следовательно, постепенно — с течением времени. Изменение же одних внешних политических форм, в чем, собственно, и заключается суть революции, не может дать для общества положительного эффекта. Новые политические учреждения, возникшие в результате революции, не имея подпоры в соответствующем человеческом материале, будут действовать неминуемо вопреки тому высокому замыслу, с которым они созданы, и неумолимо потянут общество к гибели. Настоящее переустройство общества на новых началах Сперанский понимал в качестве долговременного эволюционного процесса. Потому-то и не принимал он масонской организации в виде средства переустройства общественной жизни и не считал, что с помощью какой-либо организации можно достичь лучшего общественного устройства.

Определенный интерес к масонам, а может, и какую-то надежду на их организацию Сперанский, видимо, имел, но интерес и надежда эти вряд ли были прямо связаны с его реформаторством. Можно с большой долей вероятности предполагать, что масонство интересовало Сперанского только с точки зрения возможности использовать его в качестве силы, способной содействовать просвещению людей и их нравственному усовершенствованию. Но масонство начала XIX века было мало приспособлено к выполнению данной миссии. Оно являлось в то время, в сущности своей, организацией шарлатанов и интриганов со всеми характерными для таких союзов таинственностью, символикой и обрядовостью.

В 1809 году по приглашению Сперанского в Санкт-Петербург приехал для преподавания еврейского языка в Александро-Невской духовной академии знаменитый теолог, сменивший римско-католическую веру на лютеранскую, профессор восточных языков и герменевтики Игнатий Аврелий Фесслер. Он был увлечен масонством и по приезде в Россию организовал здесь масонскую ложу «Полярная звезда», в основу идеологии которой положил разработанную им так называемую «сиентифическую (научную) систему масонства». Данная система выдвигала на первый план в деятельности масонов просветительство и содействие нравственному усовершенствованию людей. Именно поэтому к ложе И.-А. Фесслера Сперанский проявил особый интерес: он даже вступил в нее в 1810 году. Но, побывав на двух ее заседаниях, Михайло Михайлович испытал глубокое разочарование и порвал с ней какую-либо связь.

В масонстве разочаровывались тогда многие — даже те, кто в своем желании содействовать общественному прогрессу России

уповали на революционный заговор. В масонские ложи охотно вступали, например, будущие декабристы. Но и у них увлечение масонством сменилось охлаждением. Так, 5 ноября 1819 года Комитет масонской ложи Трех Добродетелей постановил исключить из списка своих членов как «закрывших работы» С. И. Муравьева-Апостола и Н. М. Муравьева. В этом же постановлении рядом с братьями, исключенными из числа членов ложи как «долговременно отсутствовавшие, никакого известия о себе не сообщившие и не участвовавшие ни в каких обязанностях» под номером шестым значился и П. И. Пестель.

Ф. В. Ростопчин старался внушить императору Александру и его близким мысль о вредности масонских организаций и их враждебности к правительствам и государям. Это не мешало, однако, графу поддерживать приятельские отношения с таким видным представителем масонов, как А. Ф. Лабзин; дружбу с ним Федор Васильевич, по собственному признанию, очень ценил. Он вел с Лабзиным активную переписку, обсуждая текущие политические дела, причем именно в 1811 году, то есть в то время, когда составлял свою знаменитую записку о мартинистах. «Преобразование Сената меня не удивляет, но жалею о заблуждении мастеровых, которые, переименовывая и переодевая и переводя людей, помышляют о их превращении, — писал Ростопчин Лабзину в письме от 12 июня 1811 года. — Места президентов в департаментах, конечно, важны, но наука мешать полезному доведена до совершенства. Я жалею очень, что утвердился и уверился в том, что ни на что не гожусь. Во-первых, по-нынешнему — стар, а притом честен, усерден и не якобинец».

Высоко ценил Ростопчин и другого видного мартиниста своего времени — Николая Ивановича Новикова. «Я рад был начать с ним знакомство, — писал он о Новикове в письме к Лабзину от 27 марта 1802 года, — и отвечал ему не головою, а сердцем, кое много раз о нем соболезновало, и один раз удачно был его ходатаем у престола. Я весьма бы желал знать его лично, и если вы можете сие в течение лета сделать, то меня обяжете. Умных людей и хороших для самих себя я видал много, а честных и любящих паче всего отечество как-то мало, и я боюсь иногда, чтоб этот род воспитанием и вообще не истребился»[1].

---

[1] Письма графа Ф. В. Ростопчина к А. Ф. Лабзину // Русская старина. 1913. № 2. С. 421.

Император Александр первоначально не придавал масонским ложам большого значения, считал участие в них формой развлечения и спасения от скуки, тяжело отравлявшей жизнь тогдашнего русского аристократа. Во второй половине 1811 года он переменил свой взгляд на масонство, стал относиться к масонским организациям серьезно и с большой даже опаской. Из письма Александра I к великой княгине Екатерине Павловне, датированного 18-м декабря 1811 года, ясно видно, как боялся он в то время масонов — его пугало уже одно упоминание о них в переписке: «Ради Бога, никогда по почте, если есть что-либо важное в ваших письмах, особенно ни одного слова о *мартинистах*». Столь резкая перемена в отношении государя к масонам произошла в значительной мере вследствие усиления в нем страха пасть жертвой заговора, подобно собственному отцу. При таком душевном состоянии императора Александра сообщения Армфельда и Балашова о том, что Сперанский является «главой» российского «революционного» масонства, записка графа Ростопчина о том же самом не могли оставаться без последствий: его величество все более проникался недоверием к своему госсекретарю.

В конце октября 1811 года Армфельд и Балашов осуществили еще одну весьма хитроумную операцию против Сперанского. Через посредство статс-секретаря Государственного совета Михаила Леонтьевича Магницкого интриганы обратились к нему с просьбой о встрече. Михайло Михайлович ответил согласием, и встреча состоялась. Во время нее шведский барон и министр полиции предложили Сперанскому учредить, объединившись с ними, секретный комитет для управления всеми государственными делами, но госсекретарь сразу же отказался от участия в таком мероприятии, сказав при этом: «Упаси, Боже, вы не знаете государя, он увидит тут прикосновение к своим правам, и нам всем может быть худо». О предложении Армфельда и Балашова Сперанский сообщил Магницкому, и тот дал совет немедленно рассказать обо всем государю. Но Михайло Михайлович заявил, что не сделает этого, так как подобный поступок был бы «подлою интригою с его стороны». Иначе поступили Армфельд и Балашов. Естественно, что инициатором предложения создать секретный комитет ими выставлен был Сперанский.

Для укрепления в императоре мнения о том, что его госсекретарь ведет, помимо явной, некую тайную жизнь и нечто тайное, а значит, плохое, замышляет, интриганы умело обыграли давно известный Александру I от самого Сперанского факт его увлечения мистицизмом. Судя по сохранившимся в архивных фондах бумагам, Михайло

Михайлович изучал мистические явления с целью их философского осмысления.

Составленная им «теория мистики» включала, в частности, следующие положения: «1. Телесный мир не есть истинный мир. Он есть явление мира духовного. 2. Существо человека не есть чувственное, но духовное. Дух — живот, тело служит ему только покрывалом. 3. Настоящая жизнь не есть еще бытие, но переход от ничтожества к бытию. 4. Истинное бытие есть в Боге. 5. В душе человеческой есть семя истинного бытия, дух Божий. Он иначе называется Иисус Христос, Сын человеческий. 6. Евангелие изображает нам, каким образом Сын Божий в каждой душе зачинается, рождается и живет... 11. Все дело спасения состоит в приращении жизни духовной»[1].

Противники Сперанского изобразили все так, будто бы в своих занятиях мистицизмом он преследовал не теоретическую, а сугубо практическую цель — стремился вооружиться мистическими средствами воздействия на окружающих и в том числе на государя для того, чтобы подчинять их поведение своим интересам.

В декабре 1811 года Балашов представил императору Александру донос о своем посещении Сперанского. Министр полиции писал в нем, что приехал к дому госсекретаря в семь часов вечера и едва вошел, как оказался объятым ужасом. В передней тускло горела свеча, в следующей комнате тоже. Его провели в кабинет — здесь также был полумрак. При входе в кабинет, продолжал описывать Балашов, он почувствовал, что пол под его ногами сотрясается, как на пружинах; в шкафах вместо книг стояли склянки, наполненные какими-то веществами. Хозяин дома сидел в кресле перед большим столом, на котором лежало несколько старинных книг: одну из них он читал, но как только увидел Балашова, спешно закрыл ее. «Как вздумалось вам меня посетить?» — обратился он к вошедшему и пригласил его сесть на стоявшее по другую сторону стола кресло. Завязалась беседа...

И сам склонный к мистицизму Александр I вполне верил подобным россказням. Под их влиянием подозрительность его величества к Сперанскому еще более возрастала.

Прилагая разнообразные усилия к тому, чтобы окончательно скомпрометировать госсекретаря в глазах императора, интриганы стремились воздействовать на его величество не только прямо, но и косвенно — через посредство общественного мнения. Для воз-

---

[1] НИОР РГБ. Фонд 74, Н. В. Гоголя. К. 4. Ед. хр. 48.

буждения русского общества против Сперанского интриганами был искусно пущен слух о том, что он якобы изменяет своему Отечеству, продавая известные ему государственные тайны врагу России Наполеону Бонапарту.

Позднее император Александр сам будет опровергать этот слух. «Сперанский никогда не был изменником Отечества, — скажет однажды его величество графу А. А. Закревскому, — но вина его относилась лично ко мне». Нечто подобное услышит от Александра в 1812 году и Н. Н. Новосильцов. Император признается другу своей молодости, что не считает Сперанского изменником. «В действительности он виноват только против меня одного, — заявит Александр, — виноват тем, что заплатил за мою доверенность и дружбу самой черной, самой ужасной неблагодарностью». Данное признание во многом раскрывает ту роль, которую сыграла в судьбе Сперанского затеянная против него интрига. Посредством ее Александру I был внушен искаженный взгляд на действия Сперанского. Буквально в каждом буквально поступке и слове государственного секретаря император начал усматривать какой-то подвох, что-то направленное против него самого.

В измену Сперанского его величество поверить не мог, поскольку хорошо знал, что Михайло Михайлович при всех своих симпатиях к Наполеону и французской системе управления делает многое для того, чтобы Россия как можно лучше подготовилась к войне с Францией.

Заключив Тильзитский мир, Александр I затеял тонкую политическую игру с Наполеоном Бонапартом. Он не сомневался, что рано или поздно в ходе беспрестанных войн с соседними государствами Франция утратит свое экономическое могущество и военное превосходство. Внутренние противоречия наполеоновского режима резко обострятся и в конце концов вызовут его крах. При такой перспективе российский император считал благоразумным всячески воздерживаться от прямого военного столкновения с Наполеоном, но не препятствовать военным конфликтам Франции с другими странами, а определенным образом даже поощрять их. Сперанский был чуть ли не единственным человеком из сановного окружения императора Александра, кто понял смысл его политической игры с Наполеоном. Поэтому он стал в этой игре главным партнером своего государя.

С ведома, а возможно, и по совету Александра I, Сперанский вскоре после возвращения из Эрфурта близко сошелся с Арманом де Коленкуром, который с декабря 1807 года являлся французским

послом в России. В течение 1809 года столичные жители часто видели их совместные прогулки и беседы. На этой почве впоследствии и строились слухи об измене Сперанского в пользу Франции. Никто не знал тогда, что встречи русского госсекретаря с французским послом были лишь прелюдией к более значительным событиям — приватным беседам Коленкура с самим Александром I. Они организовывались примерно так же, как некогда заседания «Негласного комитета». Арман де Коленкур приглашался на обед и после обеда как бы ненароком задерживался за столом, тогда как другие гости уходили. Беседуя с французским послом, Александр всячески старался убедить его в том, что испытывает глубокие и непоколебимые дружеские чувства к Франции и ее императору. Польщенный до глубины своей честолюбивой души той обходительностью, с которой обращался с ним российский самодержец, Коленкур и сам начинал верить в его искренность и склонял к тому же Наполеона.

В январе 1809 года Наполеон обратился через своего посла к российскому императору с вопросом, не поддержит ли он его своими войсками в случае войны с Австрией. Александр I ответил, что если Франция вздумает воевать с Австрией, Россия выполнит свой союзнический долг — русские войска будут к ее услугам в любой момент. Наполеон принял эти заверения за правду и стал усиленно готовиться к войне. Между тем Александр I дал понять австрийскому правительству, что в случае начала войны Австрии с Францией он и пальцем не пошевельнет, дабы помочь своему союзнику. В марте 1809 года австрийская армия развернула активные военные действия против французских войск. Наполеон, опять-таки через своего посла в Санкт-Петербурге Коленкура, стал настойчиво просить российского императора о поддержке. Александр же каждый раз отвечал, что русская армия уже на границе и готовится к выступлению. Русские войска численностью в 70 тысяч человек в то время действительно были на границе, но во все продолжение войны Франции с Австрией так и не двинулись с места. И лишь когда Наполеон вышел на берега Дуная и решил тем самым участь Австрии, Александр I дал приказ командовавшему ими князю С. Ф. Голицыну перейти границу. В июле 1809 года русские войска без единого выстрела заняли польский город Краков. Война с Австрией закончилась. Россия не потеряла в ней ни одного своего солдата. Наполеон после этой истории стал догадываться, что российский император ведет с ним хитрую игру, но окончательно понял это лишь год спустя. И поняв, отозвал Коленкура из России.

Покинув Санкт-Петербург, Арман де Коленкур не прекратил своих сношений со Сперанским, а значит, и с Александром I. Они продолжали еще несколько лет переписываться. На замену Коленкуру Наполеон послал в Петербург генерала Лористоуна.

Впоследствии Наполеон обращался с Коленкуром крайне пренебрежительно. Называл его «старым куртизаном петербургского двора». Однажды — было это в августе 1811 года — французский император имел у себя во дворце разговор с князем Александром Борисовичем Куракиным[1]. В конце этого разговора Наполеон раздраженно заявил: «Что бы ни говорил г-н Коленкур, император Александр хочет на меня напасть». Выпалив залпом все свои упреки в адрес российского императора, он добавил: «Господин де Коленкур сделался русским. Его пленили любезности императора Александра». Отойдя после этих слов от князя Куракина, Наполеон подошел к стоявшему неподалеку Коленкуру и с еще большим, чем прежде, раздражением сказал: «Разве не правда, что вы сделались русским?» «Я вполне хороший француз, государь, — отвечал Коленкур, — и время докажет вашему величеству, что я говорил вашему величеству правду, как верный слуга!» Услышав столь уверенный ответ, французский император слегка стушевался и уже примирительным тоном, сдобренным улыбкой, сказал Коленкуру: «Я хорошо знаю, что вы честный человек, но любезности императора Александра вскружили вам голову, и вы сделались русским»[2].

В 1811 году Александр I подходил к пониманию неизбежности военного столкновения с Наполеоном. Важнейшую роль в осознании его величеством неизбежности такого хода событий сыграл Сперанский. В течение 1810–1811 годов из-под пера госсекретаря одна за другой выходили записки, в которых он убеждал Александра I

---

[1] Братом бывшего генерал-прокурора и начальника Сперанского Алексея Борисовича Куракина.

[2] Разговор этот передал сам Арман де Коленкур — в своих мемуарах, посвященных походу Наполеона Бонапарта в Россию. Бывший французский посол в России сопровождал своего императора в течение всего его похода до Москвы и во время отступления французской армии из России. Одна из глав мемуаров Коленкура называется «В санях с императором Наполеоном». То, что Наполеон взял Коленкура, пользовавшегося приязнью со стороны Александра I, в свой несчастный поход в Россию, является весьма примечательным фактом. Это явное свидетельство того, что французский император пошел со своей армией в Россию прежде всего для того, чтобы принудить российского императора заключить с ним мир на новых, более выгодных для Франции, условиях. Наполеон Бонапарт имел достаточно ума, чтобы понимать, что завоевание России — идея совершенно безумная.

в том, что война России с Францией неминуема, что Россия должна упорно готовиться к ней. В этих записках анализировалось состояние русско-французских отношений, давалась оценка международному положению. Одновременно Сперанским разрабатывался конкретный план подготовки России к войне.

В первую очередь Михайло Михайлович советовал своему государю занять в отношениях с французским императором твердую позицию. «Необходимо, — подчеркивал он, — показать решительную твердость, что не токмо по видам пользы, но по совершенной необходимости мы принуждены удерживать прежние наши положения во всей силе. Податливости и снисхождения тут могут только поощрить предприимчивость Наполеона, а между тем готовиться к неминуемой войне». Так ставился вопрос о взаимоотношениях России с Францией в записке Сперанского, поданной императору Александру 11 марта 1811 года. Проанализировав предшествующие неудачные боевые действия русских войск с французскими, госсекретарь пришел к выводу, что главные причины неудач состояли в отсутствии опыта и наличных денег. Россия вела войну в долг, оттого войска наши, отмечал он, бились «храбро на местах, но вперед никогда не подвигались». К настоящему времени русские войска, по мнению Сперанского, приобрели опыт. Задача заключается, следовательно, в том, чтобы приобрести денег. Для этого Михайло Михайлович предлагал государю использовать энтузиазм населения: «Впрочем, хотя энтузиазму много верить и не должно, но нельзя отрицать, что энтузиазм есть великая мера, когда не *управляются* им, а *управляют*. Известно же, что войны с Франциею у нас все желают, и нет, может быть, известия, которое принято бы было с равным восхищением. Не должно предаваться сему восхищению, но можно воспользоваться им в свое время следующим образом; 1) войну вести не в долг, но наличными деньгами; 2) денег достать можно: а) посредством внутреннего окладного займа, расположенного по имуществу на дворянство и купечество... Заем у обоих состояний без всякого усилия составить может до ста миллионов рублей, б) заем серебром в посуде». По мнению Сперанского, если готовиться к войне заблаговременно, то в нее можно будет вступать с твердостью. Успех ее для России неизвестен, «однако из двух зол всегда надо выбирать меньшее: и война, конечно, лучше, чем потеря восьми западных губерний и все последствия этой потери».

«Во всех случаях должно быть уверенным, — взывал Сперанский к императору Александру, — что Россию можно *победить раз*

*и два, но покорить ее*, по самому физическому ее положению, невозможно».

Одновременно со сбором денежных средств госсекретарь советовал своему императору скрытно продвинуть ближе к границе войска и склады. В области внешней политики он желал государю наладить отношения с Англией, привлечь как можно больше союзников на сторону России и изолировать ее потенциальных противников. Рекомендации Сперанского на этот счет были весьма подробны и разумны. Неблагоразумно будет, заявлял он, «вступая в войну с Франциею продолжать ее с Англиею. Из сего само собою уже следует, что с первым, так сказать, выстрелом должно восстановить связь с Англиею. Но тогда восстановить ее будет поздно и неудобно. Англия возмечтает, что нужда заставила нас броситься в ее систему, и поставит податливости своей высокую цену. Следовательно, связь с Англиею должно издалека приготовить и, ничего не переменяя в настоящем, устроить будущее. По сему ныне же нужно завести там безгласного агента из купечества, который бы словесно и по одной рекомендации графа Воронцова мог передавать наши виды, по мере их раскрытия, ведя сие дело так, чтобы при открытии войны оставалось только его кончить. Сим одним все связи наши по необходимости теперь должны быть ограничены».

В то время, когда писалась приведенная записка, было издано уже «Положение о нейтральной торговле», которое закрепило новые тарифные правила, фактически лишавшие Францию всякой торговли с Россией. Наполеон, узнав про новый тариф, заявил, что считает его равнозначным заключению Россией мира с Англией. Автором этого антифранцузского закона являлся не кто иной, как Сперанский.

К началу 1812 года Михайло Михайлович завершил в основном разработку стратегии подготовки России к войне с Францией. Александр же в это время все еще сомневался в неизбежности данной войны. И госсекретарю вновь и вновь приходилось убеждать своего императора в том, что ход событий неминуемо влечет обе страны к военному столкновению друг с другом.

В записке «О вероятностях войны с Францией после Тильзитского мира», поданной в начале 1812 года его величеству, Сперанский рассмотрел сложившееся положение России и Франции на международной арене, состояние их взаимоотношений и, исходя из фактов, сделал категорический вывод о том, что войну можно лишь отдалить, но никоим образом «нельзя отвратить ее на долгое время». По его словам, «Тильзитский мир по существу своему есть

мир невозможный, не потому, чтоб Россия не могла выдержать торговых его последствий, но потому, что она не может никогда представить Франции достаточного ручательства в точном его сохранении. Следовательно, удаляя войну, должно, однако же, непрестанно к ней готовиться. Должно готовиться не умножением войск, которое всегда опасно, но расширением арсеналов, запасов, денег, крепостей и воинских образований»[1].

Любопытно, что в то время, когда Сперанский писал приведенные строки, из Парижа в Петербург шли сообщения о том, что Франция усиленно готовится к войне. Так, 30 ноября 1811 года посол России во Франции князь Ал-р Б. Куракин сообщал канцлеру Н. П. Румянцеву: «Слухи о начатии военных действий на севере и всякого рода приготовления к оным не перестают умножаться. Повсюду при дворе и в городе явно говорят о скорой, непременной войне против нас. С сожалением должен я повторить, что оное не подвержено уже ни малейшему сомнению... Военный министр в доверенном разговоре с одним приятелем своим сказал, что Франция готовясь теперь к войне против нас никогда еще не имела столь обильной попечательно снабженной армии, потому что на сии приготовления имела время и оные не теряла. Великие силы и способы Наполеоном к ополчению против нас изготовлены. Не время уже нам манить себя пустою надеждою, но наступает уже для нас то время, чтоб с мужеством и непоколебимою твердостию достояние и целость настоящих границ России защитить»[2]. В донесении графу Румянцеву от 24 декабря князь Куракин еще раз обращал внимание на подготовку Франции к войне. «Признаки враждебных намерений императора Наполеона в отношении к нам, на которые я уже указывал вашему сиятельству в предшедших моих депешах, с каждым днем увеличиваются и становятся очевиднее, — подчеркивал он. — Военные приготовления продолжаются непрерывно и в настоящее время уже не скрываются»[3].

Предостережения Сперанского о неизбежности войны с Францией, его настойчивые призывы готовиться к этой войне, конкретные и разумные советы о том, как это делать, не давали Алексан-

---

1 *Сперанский М. М.* О вероятностях войны с Франциею после Тильзитского мира // Русская старина. 1900. Том 101. № 1. С. 65.

2 Донесения и письма князя А. Б. Куракина канцлеру графу Н. П. Румянцеву // Сборник Императорского Русского исторического общества. Том 21. СПб., 1877. С. 351–352.

3 Там же. С. 352.

дру I ни малейших оснований для сомнений в преданности его России. Напротив того, поведение госсекретаря говорило скорее о его искреннем желании блага своей стране. Мысль императора работала поэтому совсем в другом направлении, нежели то, каковое задавали ей внушения интриганов — противников реформатора. Не помышляя об измене Сперанского Отечеству, Александр I все более склонялся к мнению об измене госсекретаря лично ему, российскому самодержцу.

Как-то — было это в самом начале 1812 года — Александр I в разговоре со Сперанским о предстоявшей войне спросил у него совета, участвовать ли в ней ему, российскому императору. Михайло Михайлович обрисовал все то сложное положение, в котором окажется в случае войны Россия, описал военные таланты Наполеона и предложил государю воздержаться от личного участия в войне, но, собрав Государственную думу, предоставить вести войну ей. Спустя несколько дней после упомянутого разговора Якову де Санглену довелось слышать, как возмущался император Александр этим вполне разумным советом Сперанского: «Что же я такое? — Нуль! Из этого я вижу, что он подкапывался под самодержавие, которое я обязан вполне передать наследникам моим».

Сперанский был эгоистичен, но не так обыкновенно, как другие. Он был *необыкновенно* эгоистичен. Он хотел, чтобы все вокруг подчинялось его воле. Не будучи самодержцем по титулу и не имея шансов на то, чтобы когда-либо стать таковым, он желал быть самодержцем по своему фактическому положению. И в определенной мере действительно был им. Став доверенным лицом императора Александра, Сперанский быстро наполнил министерства своими людьми, через посредство которых мог быть в курсе всех государственных дел. Буйно разраставшиеся министерские канцелярии испытывали крайнюю нужду в грамотных и толковых делопроизводителях. Госсекретарь старался самолично удовлетворять данную нужду. Он находил способных юношей в семинариях и пристраивал их на работу в канцелярии. За такую услугу каждый семинарист щедро расплачивался со своим высокопоставленным покровителем информацией обо всем, что творилось в его министерстве. Сперанский являлся поэтому самым информированным лицом в окружении императора Александра и этим во многом обусловливалось его влияние на августейшую персону.

К концу 1811 года Александр I стал, видимо, понимать, что степень информированности Сперанского далеко выходит за пределы,

допускаемые его должностью государственного секретаря. Сперанский обнаруживал в своих записках к его величеству и личных с ним беседах столь обширную осведомленность о разных обстоятельствах внутренней и внешней политической жизни России, что невольно внушал ему сомнения в том, кто же действительно правит империей — он, российский император, или вознесенный им на вершину власти и допущенный в царский дворец выскочка-попович?

Это появившееся в душе Александра подозрение, что в лице Сперанского рядом с ним, законным *государем-самодержцем*, появился *государственный секретарь-самодержец*, с течением времени неизбежно получало все новую пищу. Сперанский все более брал на себя подготовку к ведению войны с Францией, усиленно занимался финансовым обеспечением этой войны. Он старался следить за малейшими переменами на международной арене и в развитии русско-французских отношений. Через своих людей в Министерстве иностранных дел государственный секретарь сумел получить доступ к секретным документам, даже к тем из них, знакомство с которыми составляло исключительную прерогативу императора. Из всех фактов, представленных Александру I интриганами с целью компрометации Сперанского, этот последний вызовет у него наибольший гнев. По воспоминаниям некоторых людей, приближенных в то время к государю, Александр в порыве самого большого гнева на Сперанского будет думать даже о его расстреле. Затем, правда, остынет и переменит свои мысли в отношении самовольного госсекретаря.

При начале войны с Наполеоном роль Сперанского в управлении Российской империей неизбежно возросла бы до огромной степени. Сам Михайло Михайлович, во всяком случае, к этой своей высокой роли сознательно готовился. Быть главным организатором победы над врагом, стремившимся покорить его Отечество, да еще над каким! Быть, таким образом, спасителем Отечества, что для него могло быть славнее этой роли! А у кого слава, у того и влияние. Но все это понимал и Александр I. Высказанное Сперанским его величеству в начале 1812 года предложение собрать Государственную думу и поручить вести войну ей прежде всего, конечно, ущемляло личное самолюбие российского императора. Но вместе с тем реакция Александра на данное предложение, зафиксированная в воспоминаниях де Санглена, показывает, что в нем появилось явное опасение того, как бы его царственную персону совсем не отстранили в ходе войны от власти. Вероятность такого поворота со-

бытий усиливалась по мере возрастания в русском обществе недовольства политикой императора Александра I, и в особенности его уступками Наполеону.

В августе 1811 года его величество, не на шутку встревоженный сведениями, поступившими к нему от интриганов, принял решение установить за Сперанским специальное наблюдение. Он поручил сделать это министру полиции Балашову. Спустя четыре месяца государь пришел к выводу о необходимости иметь собственный надзор за поведением и разговорами Сперанского. На роль своего агента по слежке он выбрал, по подсказке Армфельда, чиновника Министерства полиции Якова де Санглена, человека неглупого и к тому же хорошо образованного.

Громадная по своему размаху сеть интриги против Сперанского захватила императора Александра, потащила его к не им намеченной развязке. И он вместо того, чтобы сопротивляться, вдруг безропотно потащился, сначала пассивно, волочась за другими, но постепенно стал на ноги, пошел сам, обогнал тащивших его и сам потянул их за собою туда, куда лишь недавно тащили его они. С начала 1812 года уже не Армфельд с Балашовым, а сам российский император вел интригу против Сперанского. Он, давно уже тяготившийся чересчур умным и слишком информированным, по его мнению, госсекретарем, сделался главным интриганом. Личному своему агенту Якову де Санглену Александр дал в январе 1812 года задание присматривать не только за Сперанским, но и за Армфельдом с Балашовым. Интрига, а вернее будет сказать, заговор против «главного секретаря империи», вступила в свою последнюю стадию.

Вместе с российским императором в этот заговор активно включились его сановники, причем даже те из них, которые сами не испытывали к Сперанскому сколь-нибудь сильной враждебности. Одним из таких сановников был министр финансов Д. А. Гурьев. Во время одного из заседаний Государственного совета он обвинил Сперанского во взяточничестве. Будь на месте Михайлы Михайловича какой-либо другой чиновник, такое обвинение вряд ли было воспринято всерьез. Взяточничество было настолько распространенным явлением среди русских сановников-чиновников, что на практике часто и не считалось большим преступлением. С ним вполне мирились, оно являлось скорее даже обычаем. Во всяком случае, удивлялись в России не тому, что какой-либо сановник берет взятки, — удивление вызывал, напротив, тот факт, что кто-то, имея высокую должность и возможность брать взятки, не брал их.

«Зачем вы брали подарки?» — спросил однажды своего отца Э. Н. Стогов — чиновник, служивший под началом Сперанского. «Чтобы не оскорбить просителя», — мгновенно ответил отец. Факт широкого распространения взяточничества в системе управления империей служил хорошим оправданием чиновнику, погрязшему в поборах. Таково свойство любого греха: чем более распространяется он среди людей, тем менее греховным становится каждый отдельный человек, ему предающийся. Не так было в случае со Сперанским. Он был не простым чиновником, а реформатором. Он посягнул на существовавшую в России систему государственного управления — на то, что составляло самую глубокую основу взяточничества. И вдруг борец со взятками сам оказался не кем иным, как взяточником! Можно вообразить себе, какое счастье испытывали сановники, слушая обвинение Сперанского во взяточничестве.

Слух этот быстро расширился, оброс многими пикантными подробностями. Сперанского стали называть «известным взяточником». Секретарь императрицы Елизаветы Алексеевны Н. М. Логинов писал о нем 13 сентября 1812 года С. Р. Воронцову: «Полагают, что имение его неисчестно, и кроме деревень, он имеет 11 каменных домов здесь (в Петербурге. — *В. Т.*) и множество капиталов; но, наверно, никто того не знает, и большая часть домов, говорят, куплена на имя Злобина, купца, коего сын ему свояк и им в службе получил чины, места и жалованье, кроме того, что отец по торговле и процессам своим имел в Сперанском подпору и защиту, а в спекуляциях — товарища».

Сын купца Злобина Константин действительно являлся свояком Сперанского: он был женат на сестре жены Михайлы Михайловича — Марианне. Но связь этих двух людей не сводилась к родственным отношениям. Константин являлся добрым другом Михайле и был им до того, как стал свояком. Судьба назначила ему короткую жизнь. Вскоре после описываемых событий он умрет. Отец его, богатый купец, останется еще пожить на этом свете, но только для того, чтобы разориться вконец и умереть на соломе, то есть в совершенной бедности. Факт наличия в собственности у Сперанского 11-ти каменных домов, записанных якобы на имя Злобина, никогда не подтвердится, что, в общем-то, и не удивительно. Взяточничество и нажива были чужды натуре Сперанского, искавшего в должностях более возможности влиять своей личностью на ход общественных дел, нежели средства для собственного обогащения. Это хорошо знали многие близко соприкасавшиеся с ним чинов-

ники. Тайный советник Д. П. Поздняк был секретарем Сената и по роду своих занятий состоял со Сперанским на протяжении ряда лет в тесных служебных отношениях. Когда однажды в его присутствии высказано было предположение о том, что Сперанский имел склонность ко взяткам, он пришел в состояние крайнего волнения от возмущения: «Это была бы горькая неправда, и никто сего сказать не посмеет. Я сам видел на опыте, как Михайло Михайлович отвергал самые невинные предложения. Правда, он был нерасточителен, бережлив и во всем соблюдал умеренность, но если, по сим качествам, он менее нуждался, нежели товарищи, то можно ли достоинство ставить в предосуждение».

Сперанский жил как на сцене. Каждое его действие, каждое оброненное им на людях слово мгновенно замечалось и подхватывалось. Но так же, как и собственные его деяния, не оставались незамеченными и деяния его врагов. Интрига против русского реформатора быстро перестала быть тайной интриганов. Едва начавшись, она стала известной обществу во многих своих подробностях. Знали в обществе и прямо называли имена шведа Армфельда и министра полиции Балашова в качестве главных участников интриги против Сперанского. Эта известность им нисколько, однако, не мешала, напротив — они имели от нее даже некоторую выгоду. Всякий, кто был недоволен Сперанским, любой тот, кого он каким-либо образом ущемил, знал теперь, что ему делать и к кому обращаться, дабы осуществить свою месть. К Армфельду и Балашову пошли доносчики и доносы на Сперанского, которые дали им возможность представить свою интригу против реформатора целым общественным движением.

Делались эти доносы по разным поводам, как мелким, так и крупным. Вот один из таких случаев, о котором впоследствии неоднократно вспоминали в Петербурге. Сперанский был в рассматриваемое время дружен со своим подчиненным статс-секретарем Михаилом Магницким и одновременно имел добрые отношения с его женой. (В Петербурге ходил даже слух, что у госсекретаря была с женой его подчиненного интимная связь). У Магницкой, в свою очередь, имелась подруга, муж которой — вице-губернатор — в чем-то провинился и получил от императора Александра полную отставку. В начале 1812 года она приехала в Петербург хлопотать об оправдании мужа и, естественно, в первую очередь бросилась к Магницкой, чтобы через нее воздействовать на Сперанского. Михайло Михайлович взялся помочь и обратился с просьбой об оправдании незадачливого вице-губернатора к самому императору Александру. Но тот

хорошо помнил отставленного от должности вице-губернатора и решительно отказал своему госсекретарю.

Спустя некоторое время Сперанский обратился к его величеству вторично и вновь получил отказ. Между тем жена отставленного вице-губернатора не оставляла в покое Магницкую, и та написала при ней записку к Михайле Михайловичу с просьбой сообщить, есть ли надежда на благоприятный исход дела. Эта записка вскоре вернулась в дом Магницких с припиской Сперанского следующего содержания: «Что мне делать с бестолковой, плешивой головой, которая никаких резонов слышать не хочет и, с свойственным ему упрямством, во второй раз отказала мне решительно». Магницкая дала записку на прочтение своей приятельнице. Та, прочитав ответ Сперанского, сунула записку к себе в карман и, распрощавшись, поехала прямым ходом к министру полиции Балашову. Показала ему нелестные фразы об императоре, начертанные рукой Сперанского, и объяснила свою просьбу. Обрадованный таким подарком Балашов пообещал выхлопотать ее мужу назначение на службу, взял принесенную записку и поехал к Армфельду. В тот же день записка со словами Сперанского была передана интриганами императору Александру. Можно представить себе, какова была реакция его величества на оскорбительную для него приписку госсекретаря.

Успеху интриги против Сперанского весьма поспособствовали подметные письма, каковые в большом количестве стали появляться с начала 1812 года в Москве и Петербурге. В них госсекретарь Александра I обвинялся, причем в самых резких выражениях, в покушении на самодержавие, в разругании политической системы России, в тайных сношениях с Наполеоном и т. п. Нет сомнения, что большая часть этих писем исходила из среды лиц, напуганных его реформаторской деятельностью и пытавшихся поэтому любыми, в том числе самыми негодными, средствами прекратить ее. Однако некоторые письма сочинялись людьми, искренно и горячо желавшими перемен к лучшему в русском обществе, но попавшими в условиях таинственности, которая окутывала реформы Сперанского, под влияние распространенных его противниками клеветнических слухов. Во всяком случае, на одного из таких людей можно указать с достаточною уверенностью. Среди ходивших по рукам подметных писем, порочивших русского реформатора, особенно выделялось послание, подписанное именем графа Ростопчина. Содержание его, включавшее самые дикие домыслы о деятельности Сперанского, было чрезмерно дерзким и для российского императора. Автор писал, в част-

ности, что «письмо сие последнее, и ежели останется недействительным, тогда Сыны Отечества необходимостью себе поставят двинуться в столицу и настоятельно требовать как открытия сего злодейства, так и перемены правления». Вследствие такого дерзкого содержания по письму был произведен специальный розыск с целью открытия подлинности его сочинителя. В ходе розыска установили, что оно исходило из-под пера 67-летнего Федора Каржавина, человека по тем временам вольнодумного и даже революционно настроенного.

Такова в России участь любого, кто подвергается травле: раз начавшись, травля эта быстро приобретает всеобщий характер. А спроси травителей, за что травят, большинство ответит невразумительно, а многие промолчат. И только некоторые, способные вдуматься в совершаемое, устыдятся. Поймут, что травля была для них всего лишь развлечением. Там, где общественная жизнь убога и бедна своим содержанием, где царствуют однообразие и скука, любое событие, которое хоть как-то их нарушает, становится развлечением, будь это просто-напросто перекидывание грязи от одного к другому или забрасывание ею кого-либо из своих соотечественников, под руку подвернувшегося. А подворачивается здесь под руку чаще всего тот, кто посмел выделиться из общей массы своей независимостью. Но те, которые затевают травлю, хорошо знают, за что травят.

* * *

1 января 1812 года — в день своего сорокалетия — Сперанский получил от государя очередную награду. В своем Указе, изданном по этому торжественному случаю, император Александр объявил: «Нашему тайному советнику, государственному секретарю Сперанскому. Во изъявления особенного Нашего благоволения к отличному усердию, ревности и трудам вашим на пользу Отечества признали Мы за благо пожаловать вас кавалером Ордена Святого Александра Невского, коего знаки для возложения на вас препровождая, пребываем Императорскою Нашею Милостию всегда вам благосклонны».

В сложившейся к тому времени ситуации вокруг Сперанского данное награждение не было в действительности признаком государева благоволения, а являлось скорее плохим предзнаменованием. Александр I имел обыкновение награждать тех, кого собирался отправить в отставку.

По инерции Сперанский продолжал работать с прежней интенсивностью, но император уже не приглашал его к себе как прежде, по любому случаю, а постепенно и вовсе перестал это делать. События неумолимо шли к окончательной развязке.

Люди, которые прежде искали встреч со Сперанским и были счастливы, если добивались от него едва заметного проявления доброго к себе расположения, теперь избегали его и старались не встречаться с ним даже взглядом. Те, которые считались ему друзьями и были вхожи в его дом, как будто растворились в пространстве: не только перестали ходить к нему в гости, но и на службе прекратили какое-либо с ним общение.

В начале 1812 года умерла сестра жены Сперанского Марианна. В 1802 году она вышла замуж за друга юности Михайлы Михайловича Константина Злобина. Молодожены поселились в доме мужа — Василия Алексеевича Злобина (взяв с собой маленькую Елизавету Сперанскую), но прожили вместе недолго. Уже через несколько месяцев совместной жизни с Марианной Константин стал подумывать о разводе с ней. Госпожа Стивенс в надежде вылечить их брак разлукой постаралась увезти Марианну на какое-то время из Петербурга, предложив ей отдохнуть на одном из курортов в Курляндии. Но старания эти оказались напрасными. Узнав, что Марианна возвращается в Петербург, Константин Злобин в феврале 1805 года бросил службу и отправился в Вольск управлять делами своего отца.

Более года после этого Марианна продолжала жить в доме своего свекра: Василию Алексеевичу, напротив, нравился ее характер и в особенности то, что она привлекала в его дом гостей.

В начале 1806 года шестилетняя Елизавета Сперанская заболела скарлатиной. Болезнь в конце концов отступила, но для окончательного выздоровления доктора посоветовали поселить девочку на некоторое время на юге — в местности с более благоприятным климатом. Марианна с Елизаветой и со своей матерью — госпожой Стивенс отправились в Киев и стали жить там в доме, купленном на деньги старика Злобина. В августе и сентябре у них гостил несколько недель Сперанский[1].

Где-то в начале 1811 года Сперанский купил частью на свои деньги, но большей частью на деньги, полученные Марианной от

[1] Сохранилось письмо Сперанского к П. Г. Масальскому из Киева, датированное 12 сентября 1806 г. См.: Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому. СПб., 1862. С. 124.

свекра, небольшое имение под названием Великополье с красивым домиком в окружении прекрасного парка и с видом из окон на реку Вишеру, серебряной лентой обвивавшую сельцо. Располагалось данное имение в девяти милях от Новгорода и занимало 1400 гектаров земли. Помимо сельца Великополья, составлявшего его центральную часть, на территории имения находились две деревни: Жадово и Радионово. Всего в имении проживало тогда 84 крепостных крестьянина[1]. Когда-то Великополье принадлежало известному деятелю времен Анны Иоанновны фельдмаршалу графу Миниху.

Лето 1811 года семья Сперанского, и в том числе Марианна, в первый раз проводила в этом имении. Покидая Великополье, Михайло Михайлович не догадывался, что в следующий раз приехать сюда он сможет только через три года. А в жизни Марианны это было последнее лето...[2]

* * *

День 17 марта 1812 года Михайло Михайлович будет вспоминать в последующей жизни как роковой свой день. Было воскресенье, и он дозволил себе развлечься обедом у приятельницы покойной жены госпожи Вейкардт. Здесь, в ее доме, и нашел его фельдъегерь от императора с приказанием явиться в царский дворец в тот же день к 8 часам вечера. Полагая, что предстоит обыкновенная деловая встреча, Сперанский поехал сначала домой за бумагами, но к назначенному времени был в секретарской комнате и ждал приглашения войти в государев кабинет.

Разговор его с Александром происходил в тот вечер наедине и подлинным своим содержанием навсегда остался тайной. Лишь некоторые его детали выявились впоследствии, благодаря рассказу самого Сперанского. Остальное дошло до нас в различных версиях, в передаче разных лиц и потому уже лишено полной достоверности. Доподлинно известно только то, что разговор этот продолжался бо-

---

[1] А. Э. Нольде написал в своей биографии М. М. Сперанского, что в имении Великополье было 1420 десятин земли и 81 крепостная душа. См.: *Нольде А. Э.* М. М. Сперанский. Биография. М., 2004. С. 131.

[2] Друг Сперанского Константин Васильевич Злобин пережил Марианну, свою бывшую супругу, на год и восемь месяцев: он умер в сентябре 1813 г., оставив свою вторую жену беременной и с тремя детьми, да еще долгов после себя не на один миллион рублей.

лее двух часов и по содержанию был весьма необычным. Вот некоторые его подробности, рассказанные Сперанским Х. Я. Лазареву.

Когда государственный секретарь вошел в императорский кабинет, Александр ходил взад-вперед, о чем-то размышляя. «Здравствуйте, Михайло Михайлович, — сказал он, — много у тебя сегодня бумаг?» — «Довольно», — был ответ. — «Хорошо, оставь их здесь, я просмотрю их после». После этих своих слов Александр немного помолчал. Затем подошел к Сперанскому поближе и спросил: «Скажи мне по совести, Михайло Михайлович, не имеешь ли ты чего на совести против меня?» Сперанский, услыхав сей вопрос, растерялся, ноги у него, как сам он признавался впоследствии, задрожали. Александр тем временем продолжал: «Повторяю, скажи, если что имеешь». — «Решительно ничего», — отвечал, несколько опомнившись, госсекретарь. Тогда император произнес то, ради чего, собственно, и вызвал Сперанского к себе и затеял весь этот разговор с ним: «Обстоятельства требуют, чтобы на время мы расстались. Во всякое другое время я бы употребил год или даже два, чтобы исследовать истину полученных мною против тебя обвинений и нареканий. Теперь же, когда неприятель готов войти в пределы России, я обязан моим подданным удалить тебя от себя. Возвратись домой, там узнаешь остальное. Прощай!»

Сперанский не сказал Лазареву, в чем заключались официально выдвинутые против него «обвинения и нарекания». Суть последних приоткрыло его письмо к Александру I, датированное январем 1813 года. «Я не знаю с точностию, в чем состояли секретные доносы, на меня возведенные, — писал в нем Михайло Михайлович. — Из слов, кои при отлучении меня Ваше Величество сказать мне изволили, могу только заключить, что были три главные пункта обвинения: 1) что финансовыми делами я старался расстроить государство; 2) привести налогами в ненависть правительство; 3) отзывы о правительстве».

По свидетельству сановников, находившихся во время разговора в секретарской комнате, Сперанский вышел из кабинета императора в начале одиннадцатого часа. Он был в крайне расстроенных чувствах, которые попытался было скрыть от присутствовавших, повернувшись к ним спиной, но не сумел. Подвела попавшая под руку собственная шляпа. Михайло Михайлович стал укладывать ее в свой портфель вместо бумаг и, обнаружив, что делает что-то несуразное, опустился в бессилии на стоявший рядом стул. Кто-то, встревоженный бледностью его лица, побежал за водой, и в этот момент дверь

государева кабинета вновь отворилась, и показался Александр, весьма мрачный лицом. Упавшим голосом он произнес: «Еще раз прощайте, Михайло Михайлович» — и скрылся.

Сперанский по выходе из дворца направился сначала в дом к Магницкому. Там ему представился случай точнее угадать свою участь: Магницкого дома не оказалось — он только что был увезен в ссылку. К своему дому Михайло Михайлович подошел около полуночи, внешне совершенно спокойный. Еще издали заметил он приставшую к подъезду почтовую кибитку. В самом же доме встретил министра полиции Балашова и правителя его канцелярии Якова де Санглена. Уже готовый к наихудшему, Сперанский равнодушно выслушал государево предписание немедленно ехать в ссылку в город Нижний Новгород. Тут же были собраны имевшиеся в доме деловые бумаги и заперты в кабинет, который де Санглен запечатал. Часть бумаг Сперанский сложил в особый пакет, написал к ним несколько строк сопроводительного письма, скрепил пакет собственной печатью и отдал Балашову с просьбой передать лично государю. Затем подошел к двери в спальню, за которой спали его дочь и теща, но так и не решился войти и разбудить их. На скорую руку набросал им записку прощания с приглашением приехать к нему по весне. Вновь подошел к двери спальни и по русскому обычаю перекрестил ее в знак прощального благословения спавших за нею. После чего торопливо простился с прислугой, вышел из дому и сел в кибитку. Стояла морозная погода, и потому невозможно было ехать без теплой шапки. Но у Сперанского, как оказалось, таковой не имелось. Тогда его камердинер Лаврентий, довольно ленивый, но добродушный мужик, отдал ему собственную теплую шапку, которую недавно купил.

Современники назовут это событие «падением Сперанского», но будут вполне осознавать, что в действительности произошло не простое падение высокого сановника, которое часто случается в сложной и азартной игре, именуемой политикой. Пал не просто сановник, но реформатор. Сама форма «падения» — внезапная ссылка без какого-либо официального указа или объявления, — вызывала по меньшей мере недоумение. За что мог подвергнуться Сперанский столь странному наказанию? Это недоумение должно было возрасти еще более вследствие тех слухов, которые облепили случившееся с ним.

Самым распространенным был слух об измене. «Велик день для Отечества и для нас всех 17-й день марта! — восторгалась в сокро-

венных своих записках Варвара Ивановна Бакунина. — Бог ознаменовал милость свою на нас, паки к нам обратился, и враги наши пали. Открыто преступление в России необычайное, измена и предательство. Не известно еще всем ни как открылось злоумышление, ни какие точно были намерения и каким образом должны были приведены быть в действие. Должно просто полагать, что Сперанский намерен был предать отечество и Государя врагу нашему. Уверяют, что в то же время хотел возжечь бунт вдруг во всех пределах России, дав вольность крестьянам, вручить им оружие на истребление дворян. Изверг, не по доблести возвышенный, хотел доверенность государя обратить ему на погибель»[1]. Сходными чувствами преисполнен был Александр Яковлевич Булгаков, восклицавший в своей дневниковой записи 22 марта 1812 года: «Открыт в Петербурге заговор, состоявший в том, чтобы Россию французам отдать... Как не сделать примерного наказания — Сперанского не повесить?!.. О, изверг! Чудовище! Неблагодарная, подлая тварь!»[2]

Не все, однако, поверили, в измену. К примеру, военный министр Барклай-де-Толли, узнав об изгнании Сперанского из Петербурга, возмутился: «Итак, зависти и злобе удалось-таки взять верх над правдою!» По происшествии некоторого времени, когда первые страсти, порожденные описываемым событием, улеглись, в русском обществе начали более склоняться к мнению, что измена здесь ни при чем. Главную причину падения Сперанского с вершины власти многие стали усматривать в его реформаторской деятельности, в попытке ограничить самодержавие.

***Из депеши датского министра Блома государственному министру Розенкранцу от 26 марта 1812 года:***

*«Любопытство публики относительно того, за что сосланы Сперанский и Магницкий, не удовлетворено. Однако с большею вероятностью начинают предполагать, что вина их скорее касается внутренних дел, а не преступных внешних сношений... Сперанский был главным деятелем в последнем образовании Государственного Совета. В нем приспособил он себе место важное не столько по внешности, как по*

---

1 Двенадцатый год в записках Варвары Ивановны Бакуниной // Русская старина. 1885. Том 47. № 9. С. 393.

2 Выдержки из записок Александра Яковлевича Булгакова // Русский архив. 1867. Вып. 12. Стлб. 1367.

*сущности, предоставлявшее ему непререкаемую возможность иметь главный голос во всех совещаниях. Пользуясь сверх того отменным доверием Государя, он более или менее произвольно распоряжался всеми определениями этого Совета. Сам он как будто не появлялся на сцене, а между тем волочил, задерживал, останавливал или же ускорял и воспроизводил под другим видом дела, подлежавшие обсуждению, смотря по тому, какой оборот они принимали, угодный ему или неблагоприятный. Оставаясь позади занавеса и держа в своем распоряжении пружины, он действовал ими с большою ловкостью, так что министр, несогласный с ним во мнении и чуждавшийся его направления, непременно проигрывал в борьбе с этим человеком, вооруженным столь превосходными средствами. Направление, господствовавшее во всем, что сходило с его рабочего стола, проникнуто началами новых философов. Он, между прочим, стремился стеснить и определить неограниченную власть правительства. Но почва слишком мало подготовлена, чтобы возращать на ней плоды республиканские. Произошло явление чрезвычайное: публика противится усилиям Государя, желающего лишиться значительной доли своей власти: тогда как везде в других странах это стремление к преобразованиям обнаруживается совершенно в противоположном направлении. Мне кажется, можно предсказать, что новый Государственный Совет, ныне лишенный главного дельца своего, скоро сделается по-прежнему ничем не значащим».*

***То же. От 29 марта 1812 года:***

*«Заботливо и живо следят за секретным комитетом по делу Сперанского; но работы его покрыты непроницаемою тайною. По мнению, наиболее вероятному, главное преступление, в котором он повинен, состоит в предумышленном и полном расстройстве существующего образа правления».*

В 1841 году митрополит Филарет вспомнит события тридцатилетней давности, связанные с падением Сперанского. «Сперанский и Магницкий чуть было не ввергли в пропасть наше Отечество, — напишет он в письме к Порфирию Успенскому. — Они вздумали ввести у нас конституционное правление и уже предложили покойному Государю для подписи свое постановление, которым ограничивалась власть самодержавия: но, к счастью, дух Русский одолел их, и постановление разобрано».

* * *

Противники Сперанского торжествовали. Главные интриганы чувствовали себя героями. «Откровенность, с которой я действовал, мужество, которое я употребил, чтобы сорвать маску с этого человека, пользовавшегося неограниченным доверием и милостью государя, наконец, средства, которые были даны ему для оправдания, — все это вместе взятое возбудило великое удивление всех русских; слава и честь, выпавшие на мою долю по этому поводу, были преувеличены, так как я исполнил лишь свой долг» — так оценивал Густав Мориц Армфельд свою роль в интриге против русского реформатора. Эту похвалу в собственный адрес он выразил в письме к дочери, написанном 12 июня 1812 года. Три месяца прошло после высылки Сперанского из Петербурга, но шведский барон продолжал исходить восторгами. Как мало все же надо интригану для счастья!

Для Сперанского с высылкой из столицы наступили времена новых испытаний. «*Есть ли возможность понять будущее?*» — вопрошал он у себя, будучи молодым. Ответа же дать не мог. Ответ на такой вопрос не дается никому в начале жизни — в ту пору, когда будущего больше прошлого. Он дается нам лишь тогда, когда будущее в нашей жизни становится коротким отрезком времени, а прошлое расползается длинной чередой разнообразных событий, различных житейских подробностей. Тогда и только тогда появляется возможность увидеть, что в каждом мгновении нашей судьбы непременно есть нечто, предвещающее будущее, и что нет в человеческой жизни события, на которое не было бы в предшествующем хоть малейшего намека.

Будучи государственным секретарем, Сперанский, помимо дел внутреннего управления, занимался также некоторыми делами международной политики. Он являлся, в частности, посредником в секретной переписке графа Карла Васильевича Нессельроде, пребывавшего в Париже с сентября 1807 до февраля 1810 года в качестве советника российского посольства, с императором Александром. В целях поддержания тайны главным лицам, без упоминания которых в этой переписке трудно было обойтись, придумали присвоить условные имена. Так, Наполеон обозначался словами «мой друг», «Терентий Петрович», «милое сердце»; Талейран — «мой кузен Генрих», «юрисконсульт»; его величество Александр I выступал «мудрецом» или «Луизой». Сперанскому было назначено имя «путешественник». 17 марта 1812 года Михайло Михайлович и в действительности стал путешественником.

* * *

Филипп Филиппович Вигель, относившийся к Сперанскому со стойкой враждебностью и с радостью воспринявший его изгнание из Петербурга, пытался найти объяснение этому событию, которое, не случись войны с Францией, было бы, несомненно, самым значительным из всего произошедшего в России в 1812 году. Но и много лет спустя останавливался в недоумении, не находя сколько-нибудь разумного ответа на вопрос, за что же был Сперанский изгнан из мира столицы и власти.

***Из «Записок Филиппа Филипповича Вигеля»:***

*«Уже давно все это было, уже давно нет того, кто был благом и казнию Сперанского, его самого уже нет, а повесть об его изгнании все еще остается для нас загадкою, и вероятно, даже потомством нашим не будет разгадана. В преданиях русских она останется то же, что во Франции история о Железной Маске».*

Разные бывают тайны в истории. Бывают такие, что заключаются в неизвестности главных участников событий. Случай с Железной Маской — самый яркий пример подобного рода тайн. Здесь неизвестно главное действующее лицо — человек, спрятанный под железной маской, которая заменила собой не только его физиономию, но даже и само имя его.

Однако бывают и такие исторические события, о которых известно почти все: большинство действующих лиц и действий их. Тем не менее, события эти предстают для всех самой загадочной тайной. Здесь таинственность заключается в неизвестности смысла — в необъяснимости события. Именно такой род исторической тайны являет собой изгнание Сперанского из Петербурга в 1812 году.

В 1847 году Ф. Ф. Вигель написал в письме к Модесту Корфу, собиравшему в то время материалы для книги о Сперанском: «В последние три года его первого могущества [я] со всей Россией разделял 82 подозрения на счет соумышленности с ее врагами; наконец, собственным рассудком и размышлениями убедился, что вечные его теории нанесли более вреда государству, чем принесли ему пользы».

## *Глава шестая*

# Жизнь в изгнании

*Человеку, кроме счастья, необходимо и несчастье, и много-много.*

**Федор Достоевский**

*Несчастие! Его должно бы было называть другим именем, именем благороднейшим, какое только есть в происшествиях человеческих. В духовном смысле оно есть помещение в число чад Божиих, сыноположение. В моральном — сопричтение в дружину великодушных. Несчастие! Его должно бы было вводить в систему воспитания и не считать его ни оконченным, ни совершенным без сего испытания.*

**Михаил Сперанский**

Нет для русского чиновника худшего несчастия, чем удаление со службы. Должность, даже самая обыкновенная, наделена в России поистине волшебными свойствами. Она и скатерть-самобранка, дающая прокормление, и шапка-невидимка, сокрывающая от суда и закона, и меч-кладенец, разящий недругов, и ковер-самолет, возносящий в те высокие сферы, где не слышны стоны обездоленных и вопли униженных, где не ощутим смрад разложения общественного организма, где воздух ароматизирован приторно-сладким запахом лести и притуманен густым фимиамом лжи. Но мало того — должность еще и сказочное средство, восполняющее отсутствие знаний, ума, таланта. Зачем иметь все это, если есть власть — та чудодейственная сила, с помощью которой любой человечишко, будь он самым посредственным и мерзопакостным, способен выдавить из людей восторг и поклонение относительно своей персоны, внушить им веру в собственную гениальность и даже непогрешимость. Должность есть цель и смысл всей жизни чиновника — тот единственный челнок, что тянет нить его судьбы. Чем же в таком случае может быть для него удаление со службы, как не страшным бедствием? Нет и не может быть для русского чиновника худшего несчастия, чем

утрата должности. Сия утрата сравнима разве что с утратой жизни, чаще всего она для него и равнозначна смерти. «Служба теперь в России есть жизнь, — вздыхал Ф. Ф. Вигель, — почти все у нас идут в отставку, как живые в могилу, в которой им тесно и душно и из которой, при первом удобном случае, они вырываются».

Сперанский был душою и умом довольно редким исключением в чиновном мире — своего рода диковинкой в этой среде штампов, шаблонов, стереотипов. Да и отставка со службы досталась ему довольно странная — не такая, каковая выпадает обыкновенно другим. Как же отнесся он к своему падению, что думал о своей участи, сидя в кибитке, уносившей его от столицы, где имел он власть и был в чести, в далекую провинцию — в безвластье и бесчестье?

В пути, выпадающем после бурных житейских событий, трудно уберечься от раздумий. Особенно если путь долгий, каким был он от Санкт-Петербурга до Нижнего Новгорода в памятном для каждого русского 1812 году. Сперанский ехал к месту своей ссылки почти целую неделю. О том, как проходило это его путешествие, он рассказывал впоследствии Александру Сергеевичу Пушкину. На одной из станций случился забавный казус — не давали лошадей, и сопровождавший его частный пристав Шипулинский пришел к нему, арестанту, просить покровительства: «Ваше превосходительство! помилуйте! заступитесь великодушно. Эти канальи лошадей нам не дают».

В течение всего пути полицейский чиновник относился к изгнаннику с явным почтением. И Михайло Михайлович не остался в долгу. 23 марта в 8 часов утра кибитка прибыла в Нижний Новгород. Сперанский в первом же отведенном ему пристанище сел писать письмо императору Александру; закончив его, набросал записку министру полиции Балашову: «Примите, милостивый государь Александр Дмитриевич, истинную благодарность мою за доброго товарища и спутника, коего вы мне дали. Ежели бы к тому понятию, которое вы о нем имеете, мог я что-нибудь присовокупить, то осмелился бы рекомендовать его вам как чиновника отличного, умного и усердного. Повергните меня к стопам государя императора и примите на себя труд вручить письмо при сем прилагаемое».

Больше всего Сперанского беспокоила тогда судьба многочисленных рукописей, оставленных им в своем кабинете. Михайло Михайлович обратился к государю с просьбой позаботиться о том, чтобы они не пропали. Особое внимание он просил проявить к рукописям «плана всеобщего государственного образования (введе-

ния к уложению государственных законов)». С этим «планом» Сперанский связывал главную причину своего изгнания из столицы и с государственной службы. Он писал императору Александру: «Единственное благодеяние, о котором я осмелился бы просить в настоящее время, это не позволять, чтобы бумаги, захваченные в моем кабинете, были разрознены или затеряны... Они двух родов. Одни относятся к плану государственного образования, составленному под вашим руководством и по вашему непосредственному приказанию. Подлинник этого плана должен находиться в кабинете Вашего Величества, а французский перевод его был вручен в то время по вашему повелению принцу Ольденбургскому. Этот труд, Государь, *первый и единственный источник всего, что случилось со мною*, имеет слишком важное значение для того, чтобы допустить смешение его с другими бумагами и дать ему валяться в канцеляриях министерства... *Это моя собственность, самая священная и, быть может, самая значительная*. Было ли бы справедливо, если б я лишился ее»[1] (курсив мой. — *В. Т.*). Сперанский не знал, что император Александр уже проявил к его бумагам свой интерес: 20 марта он сформировал специальную комиссию для их разбора.

Приведенное письмо Сперанского — первое из многочисленных его посланий к Александру I, написанных им во время пребывания в ссылке. Изгнанный императором из столицы, лишенный власти и чести реформатор станет писать его величеству письмо за письмом: все будет доказывать ему что-то, просить о чем-то. Многое будут выражать эти послания опального сановника: обиду, укор, надежду на то, что прошлое может вернуться, и вместе с тем его желание определить свое положение, которое не только обществу, а и ему самому не могло не представляться странным.

Увольнение Сперанского от должностей и высылка его из столицы не была оформлена никаким официальным указом. Сохранили молчание об этом незаурядном событии и тогдашние российские газеты, призванные сообщать об увольнении со службы всякого, в том числе и мелкого, чиновника. Ситуация несколько прояснилась 3 апреля 1812 года, когда императорским указом было, как о том писалось в газетах, «высочайше повелено статс-секретарю Государственного Совета тайному советнику *Оленину* как старшему

---

[1] Текст данного письма, оригинал которого был написан на французском языке, опубликован в «Трудах комиссии по изданию сочинений, бумаг и писем графа М. М. Сперанского» (вып. 1. Петроград, 1916. С. 7).

из статс-секретарей править должность государственного секретаря впредь до дальнейшего *Высочайшего* приказания». Спустя 6 дней — 9 апреля — на это место Александр I назначил вице-адмирала Александра Семеновича Шишкова. На следующий день в консисторию Абовского университета была отправлена из канцелярии Государственного совета бумага, в которой говорилось, что так как государственным секретарем назначен Шишков, то его величество «находит, что Сперанский уже не может быть канцлером университета; почему консистории следует приступить к выбору нового лица на эту должность».

В апреле 1812 года перестал пустовать и другой немаловажный в государственном управлении пост, который занимал прежде Сперанский, — должность директора Комиссии составления законов. 13 апреля в эту комиссию прибыл князь П. В. Лопухин, назначенный 30 марта председателем трех департаментов Государственного совета: законов (вместо В. П. Кочубея), государственной экономии (вместо Н. С. Мордвинова) и военных дел (вместо А. А. Аракчеева), а с 1 января 1810 года занимавший в этом органе должность председателя департамента военных дел. Собрав сотрудников Комиссии законов, Лопухин объявил им, что «по председательству его во всех департаментах Государственного совета, в том числе в департаменте законов, его императорское величество за благо признал вверить ему управление Комиссии законов, с тем чтобы он вошел в рассмотрение всех обстоятельств, изъясненных в поданной ему записке от действительного статского советника Розенкампфа и чтобы Комиссии дано было надлежащее движение в производстве ее дел». В то время, когда директором Комиссии законов являлся Сперанский, все разработанные чиновниками данной комиссии для рассмотрения в Государственном совете документы поступали сначала именно ему. Князь Лопухин ввел 11 мая 1812 года новый порядок: бумаги Комиссии законов, предназначенные для обсуждения в Государственном совете, должны были рассматриваться сперва особым советом из Г. А. Розенкампфа, Я. А. Дружинина и А. И. Тургенева.

Никаких распоряжений не было сделано императором относительно должности товарища министра юстиции, которую с 16 декабря 1808 года занимал Сперанский. Эта должность как будто сама растворилась: никакого распоряжения о ее ликвидации Александр I не издавал, но до конца его правления в Министерстве юстиции не будет товарища министра. И при Николае I он появится не сразу, а лишь спустя полтора года после его восшествия на престол:

24 апреля 1827 года товарищем министра юстиции будет назначен князь А. А. Долгорукий.

Статус изгнанного из столицы Сперанского несколько прояснится, когда будет составляться список высшим гражданским чинам Российской империи. Публиковался он в те времена от герольдии. И вот при составлении такого списка на 1813 год у герольдмейстера Грушецкого возникло затруднение, а именно: показывать ли в нем Сперанского, ведь он занимал до этого несколько высоких должностей и хотя в настоящее время от них уволен, об увольнении этом Сенату не дано именного высочайшего повеления. Министр юстиции И. И. Дмитриев внес данный вопрос в Комитет министров, который действовал тогда в связи с отсутствием императора с особыми полномочиями. И Комитет, поразмыслив, принял следующее решение: «Сперанского в изготовляемый список не вносить, поелику он ни при должностях не находится, ни при герольдии не состоит». Таким образом, об увольнении Сперанского с государственной службы и в этом случае сказано не было.

О том, что Сперанский был уволен от должностей только фактически, а по юридическому своему статусу отставленным от службы не считался, будет подтверждено в 1839 году записью в дипломе на его графское достоинство, сделанной на основании распоряжения Николая I. Не терпевший малейших неточностей в документах император прикажет записать в этом дипломе, что с 1812 по 1816 год Сперанский «*находился вне службы*» и ничего больше!

Решив обойтись при изгнании Сперанского из столицы и с государственной службы без официального указа, Александр I тем не менее распорядился сообщить нижегородскому гражданскому губернатору Андрею Максимовичу Руновскому условия пребывания опального сановника в Нижнем Новгороде. 26 марта Руновский получил от министра полиции Балашова следующее уведомление: «К вашему превосходительству явится чиновник С.-Петербургской полиции надворный советник Шипулинский, а с ним вместе, по высочайшему повелению, прибудет в Нижний Новгород и г. тайный советник Сперанский. Государь Император, определяя Нижний Новгород местом пребывания тайного советника Сперанского, высочайше повелеть мне изволил поручить вашему превосходительству: 1) дабы вы имели бдительное наблюдение, чтобы переписка г. Сперанского была доставляема сюда, для доклада Государю Императору; 2) чтобы доносили вы о всех тех лицах, с коими он будет иметь тесную связь, знакомство или частое обращение; 3) доносить обо всем в отноше-

нии к настоящему положению его, что может быть достойно примечания. Впрочем Государю Императору благоугодно, дабы тайному советнику Сперанскому во время пребывания его в Нижнем Новгороде оказываема была всякая пристойность по его чину».

Полицейский надзор был распространен и на переписку родственников Сперанского и его знакомых. Министр Балашов строго предписал губернатору Руновскому: «Кроме прямой переписки г. Сперанского, куда бы то ни было и с ним других лиц, порученной вашему надзиранию, надлежит иметь подобное наблюдение и за перепискою не токмо его окружающих, но и тех лиц, коих связь или знакомство с ним может обращать на них подозрение в том, что они употребляются средством как к передаче ему, так и к пересылке его писем под посторонними адресами».

Специальные меры для перехвата переписки Сперанского были приняты министром полиции и в Санкт-Петербурге. Балашов отдал приказ руководителю почтовой службы в столице немедленно доставлять ему все «пакеты», адресованные на имя М. М. Сперанского (и М. Л. Магницкого)[1].

Чтение переписки своего бывшего госсекретаря император Александр почитал одной из первейших своих обязанностей, не прекращал его и после начала войны с Наполеоном, и в самые тягостные ее моменты, и даже тогда, когда отправился вести военную кампанию за пределы России. Вся переписка Сперанского в данное весьма хлопотное для императора время аккуратно доставлялась в Санкт-Петербург, а оттуда отправлялась за границу, прямиком в его августейшие руки. Внимательно прочитав письма от Сперанского и к нему, Александр возвращал их в Петербург с собственноручной припиской «отправить по надобности». И только после этого письма шли по назначению.

Михайло Михайлович быстро догадался о том, что вся его переписка подвергается перлюстрации. Уже 12 апреля 1812 года он сообщал мужу своей сестры М. Ф. Третьякову в Черкутино: «Если захотите вы ко мне писать, то не иначе, как чрез г. Астафьева, а никак не по почте». Астафьев, отставной штабс-капитан и нижегородский помещик, не стал, однако, более надежным, чем почта. Копия указан-

---

[1] См. письмо министра полиции А. Д. Балашова к почт-директору Н. И. Калинину от 31 марта 1812 г., опубликованное в сборнике Н. Дубровина «Письма главнейших деятелей в царствование Императора Александра I (с 1809–1825 год)». (СПб., 1883. С. 51).

ного письма, переданного через него, оказалась у нижегородского губернатора, а затем и у министра полиции.

Спустя четыре дня после своего прибытия на место ссылки Сперанский написал письмо своей теще — госпоже Стивенс[1]. «Я совсем уже устроился в Нижнем и совершенно успокоясь насчет своей участи, мечтаю теперь лишь о моменте, когда мы снова соединимся. Я взял во владение маленький дом, о котором уже писал вам: он поистине очень красив и удобен; уверен, что он вам понравится, моя дорогая и добрая maman; около него есть сад, отделенный от всех других домов, так что вы сможете выходить в него, не испытывая беспокойства со стороны окружающих людей».

Михайло Михайлович советовал в этом письме своим близким отправляться к нему в Нижний город не ранее начала мая, когда реки войдут после разлива в свои берега. Но Елизавета с бабушкой уже были в пути в то время, когда Сперанский писал это письмо[2]. Вместе с ними поехали в Нижний Новгород сын госпожи Стивенс Фрэнсис и воспитанница Марианны Анюта. По распоряжению императора Александра семье Сперанского была предоставлена придворная карета. Его величество предлагал госпоже Стивенс и деньги на дорогу, но она отказалась принять этот дар.

Весенняя распутица сделала их путь долгим, а распространившиеся по России слухи об «измене» Сперанского — морально тяжким. Почти в каждом городе или селении, где они останавливались на отдых, если узнавали, что едет семья «изменника», их осыпали бранными словами. Госпожа Стивенс, вместо того, чтобы охранить внучку от оскорблений, начинала громко проклинать себя за то, что

---

[1] Оригинальный текст данного письма, написанного Сперанским 27 марта 1812 г. на французском языке, опубликован в книге: Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому. СПб., 1862. С. 22–24.

[2] По словам М. А. Корфа, письмо Сперанского к теще, а с ним и письмо к П. Г. Масальскому «пришли в Петербург еще до отправления Государя в армию. За выездом уже г-жи Стивенс, Балашов вручил оба Масальскому, распечатанными, с объявлением, что их прочел государь и что если он, Масальский, намерен писать Сперанскому, то письма свои доставлял бы ему, Балашову, а если его уже не будет более в Петербурге (он должен был ехать с государем), то вступающему в должность министра полиции на время его отсутствия Сергею Козьмичу Вязмитинову». Балашов при этом якобы прибавил: «Но чтоб в письмах не было ничего лишнего». Петр Григорьевич ответил, что ему не о чем и писать Сперанскому, кроме как о домашних делах. Сын Петра Григорьевича Масальского Константин, приводя в составленном им сборнике писем Сперанского текст письма Михайлы Михайловича к теще, отметил, что его отцу данное письмо передала сама госпожа Стивенс (см.: Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому. С. 22).

когда-то согласилась отдать свою дочь за Сперанского. Свой приезд в Нижний Новгород Елизавета восприняла поэтому как настоящее спасение. Впоследствии она вспоминала о том, как удивилась, встретив отца таким же, каким видела его в петербургском доме, — в таком настроении, как будто в его жизни ничего не произошло: «Трепеща от нетерпения и душевного волнения, я не могла дождаться нашего приезда и когда минута свидания наступила, то бросилась в комнату как безумная и повисла на шее у батюшки, думая найти и его в горьком отчаянии. И что же? Он был точно так же спокоен, весел, светел, как накануне нашей разлуки в Петербурге, когда никто из нас и не подозревал готовившегося несчастья. По его виду казалось, что это заточение — только прогулка, простая перемена жительства по собственной воле. С обыкновенным обаянием его ума и прекрасной души изгнанник уже успел в такое короткое время совершенно привлечь и покорить себе хозяев того дома, в котором жил».

О том, как спокойно воспринимал Сперанский свое пребывание в Нижнем Новгороде, свидетельствует и его письмо в Черкутино, написанное 12 апреля 1812 года. «До вас, верно, достигли уже слухи о путешествии моем в Нижний, где ныне имею я пребывание, — утешал он своих родственников. — Прошу вас не верить нелепостям, кои на счет мой будут рассеваемы; пребывание мое здесь есть временное и я верную имею надежду возвратиться, а если б и не возвратился, то беда невелика. Прошу утешать матушку, а если что вам нужно, то меня уведомить. Если бы кто из родственников моих вздумал меня здесь навестить, то их от сего отвращать: ибо, во 1-х, я не знаю, сколько здесь пробуду, а может быть, отправлюсь в Казань для свидания с братом, во 2-х же, мне здесь принимать никого неприлично».

Тем временем в Санкт-Петербурге началось разбирательство с чиновниками, сотрудничавшими со Сперанским, и проверка доносов на него. Император Александр распорядился создать для этого специальный орган — «Комитет охранения общей безопасности». Во главе его был поставлен новый председатель Государственного совета (с 29 марта 1812 года) граф Н. И. Салтыков. Данный Комитет изучал, в частности, донос о распространении Сперанским писем с критикой внутренней и внешней политики Александра I, дело о «злонамеренных сношениях Сперанского... с французским двором»[1].

[1] Сведения об этом деле каким-то образом просочились на страницы французских газет.

27 апреля 1812 года «Комитет охранения общей безопасности» начал разбирательство по делу «О советнике Министерства иностранных дел д. ст. сов. Христиане Беке и директоре канцелярии того же министерства Жерве, привлеченных к ответственности за сообщение тайно от государственного канцлера гр. Румянцева секретной дипломатической переписки бывшему государственному секретарю Сперанскому». А. А. Жерве несколько раз допросили, но арестовывать не стали. А Христиан Бек, занимавшийся в Министерстве иностранных дел шифровкой сообщений, был заточен в Петропавловскую крепость. Ничего интересного для императора о Сперанском подследственные не рассказали. Х. Бек, например, дал письменное показание о том, что Сперанский пытался уговорить его вступить в масонскую ложу И.-А. Фесслера, но этот сюжет не привлек внимания его величества. В результате через два месяца государь принял решение прекратить дело о сообщении содержания секретной дипломатической переписки Сперанскому. А. А. Жерве после этого более не беспокоили по данному делу. Христиан Бек вышел на свободу, дав предварительно расписку следующего содержания: «По Высочайшему Его Императорского Величества повелению нижеподписавшийся обязуется чрез сие наистрожайшим образом, что он впредь будет жить и вести себя смирно и ни в какие сплетни вмешиваться не станет, равно и о деле, по которому призван был в Комитет, никому и ничего говорить не будет, под опасением: за неисполнение сего поступлено с ним [будет], яко с нарушителем Монаршьей воли. Июля 6 дня 1812 года. Д. статский советник Христиан Бек».

* * *

12 (24) июня 1812 года наполеоновская армия, переправившись через Неман, вступила в пределы России. В воззвании к войскам, подписанном двумя днями ранее, Наполеон назвал затеянную против России кампанию «второй польской войной» и выразил твердую уверенность, что она «будет для французского оружия столь же славна, как и первая», окончившаяся в Фридланде и Тильзите. Однако в душе французского императора была тревога, которая, как ни старался он ее скрыть, прорывалась-таки наружу и распространялась на его свиту. Еще в 1811 году Наполеон делился своими предчувствиями с поляком князем Понятовским: «Наше дело впрок не пойдет. Я рад всеми силами поддерживать вас, но вы от

меня слишком далеки, а от России слишком близки. Что ни делай, а тем кончится, что она вас завоюет, мало того, завоюет всю Европу».

Весть о том, что Наполеон пошел войной на Россию, всколыхнула все русское общество. «Русский народ поднялся как один человек, и для этого не требовалось ни прокламаций, ни манифестов, — писал в одном из своих писем из Петербурга чиновник министерства иностранных дел России Готхильф Фабер. — Правительство говорило о том, чтобы положить предел вызванному движению; но письменными приказами нельзя сдержать подобных порывов, подобно тому, как нельзя возбудить их такими приказами. Совершенно исключительное зрелище представлял этот народ, прямо подставляющий неприятелю свои открытые груди... Русская любовь к родине не похожа ни на какую другую. Она чужда всякой рассудочности; она — вся в ощущении. С одного конца России до другого она проявляется одним и тем же способом, решительно все выражают ее одинаково; это не расчет, это ощущение, и это ощущение — молния. Бороться и все принести в жертву, огнем и мечом — вот в чем сила этой молнии. Вступать в сделку с неприятелем — такая мысль не вмещается в русской голове. Никакое примирение невозможно, ни о каком сближении не хотят и слышать. Победить или быть побежденным, середины для русских не существует»[1].

Бедствие, нависшее над страной, отрывало людей от мелких житейских забот, заглушало в них эгоистические чувства и помыслы. Люди начинали жить интересами своего Отечества, мыслями о его судьбе, его спасении. Что переживал в эти дни Сперанский, можно только гадать. Несомненно одно: в тяжкую для России годину он был бы очень полезен своему Отечеству на государственной службе. Никто лучше Сперанского не мог ориентироваться в экстремальных ситуациях, создаваемых войной. Никто лучше него не знал состояния государственного хозяйства России, степени готовности страны к ведению войны. Он держал в своей голове обширнейшую информацию о положении дел на международной арене и был незаменим в военных условиях как дипломат. Но вместо всех этих поприщ выпала Сперанскому незавидная участь — томиться в ссылке и использовать свой выдающийся государственный ум, свои обширные познания в области финансов только на то, чтобы обеспечить спо-

[1] *Фабер Г. Ф.* Письмо из Петербурга // Недаром помнит вся Россия... К 175-летию Отечественной войны 1812 года. М., 1987. С. 45–46.

койствие и сносное материальное существование лично себе и своей семье[1]. Понимая, что из ссылки ему суждено вернуться не скоро, Михайло Михайлович начал было подумывать о покупке в Нижнем Новгороде дома для себя и дочери с тещей. Однако планам его снова не суждено было сбыться.

Бедствие, навалившееся на Россию в лице наполеоновской армии, казалось, должно было ослабить внимание к Сперанскому его врагов. Кто способен думать о личных своих недругах в то время, когда опасность угрожает Отечеству? Выявилось, что многие способны. С началом войны России с Францией сановники, считавшие Сперанского личным своим врагом, решили воспользоваться новой ситуацией, дабы окончательно с ним расправиться.

30 июня 1812 года граф Ростопчин, ставший не более двух месяцев назад губернатором в Москве, обратился к императору Александру с письмом: «Народ снова возмутился против Сперанского, когда пришло было известие об объявлении войны, и я не смею скрыть от Вас, государь, что все, от первого и до последнего по всей России, считают его изменником. Между купцами стало известно, что он находится в Нижнем, и что это недалеко от Макарьева, куда многие отправляются на ярмарку, то поговаривают, что можно его там убить»[2]. Не успокоившись на этом, Ростопчин написал 23 июля еще одно письмо: «Не скрою от Вас, государь, что Сперанский очень опасен там, где он теперь. Он тесно сблизился с архиепископом Моисеем, который известен как великий почитатель Бонапарта и великий хулитель ваших действий. Кроме того, Сперанский, прикидываясь человеком очень благочестивым, народничая и лицемеря, снискал себе дружбу нижегородцев. Он сумел их уверить, будто он жертва своей любви к народу, которому якобы хотел он доставить свободу и что Вы им пожертвовали министрам и дворянам»[3].

---

[1] Зная, что в любом государстве, которое ведет войну, бумажные деньги, как правило, обесцениваются, а драгоценные металлы вырастают в цене, Сперанский, находясь в Нижнем Новгороде, старался обменять ассигнации на золото. Это было истолковано его недругами как проявление с его стороны неверия в победу русского народа в Отечественной войне.

[2] *Ростопчин Ф. В.* Письмо к Александру I от 30 июня 1812 года // Русский архив. 1892. Кн. 2. Вып. 8. С. 407.

[3] *Ростопчин Ф. В.* Письмо к Александру I от 23 июля 1812 года // Русский архив. 1892. Кн. 2. Вып. 8. С. 435.

22 августа добрый знакомый графа Ростопчина нижегородский вице-губернатор Крюков, исполнявший в то время должность гражданского губернатора, направил министру полиции следующее секретное «представление» о тайном советнике Сперанском: «6-го числа настоящего августа в день Преображения Господня, когда я был на Макарьевской ярмонке, здешний преосвященный епископ Моисей по случаю храмового праздника в кафедральном соборе давал обеденный стол, к коему были приглашены некоторые из губернских чиновников. После обедни был тут и г. тайный советник Сперанский, обедать однако ж не оставался; но между закускою занимался он и преосвященный обоюдными разговорами, кои доведя до нынешних военных действий, говорили о Наполеоне и о успехах его предприятий, к чему г. Сперанский дополнил, что в прошедшие кампании в немецких областях при завоевании их он, Наполеон, щадил духовенство, оказывал к нему уважение и храмов не допускал до разграбления, но еще для сбережений их приставлял караул, что слышали бывшие там чиновники, от которых о том на сих днях я узнал. О чем долгом поставляю вашему высокопревосходительству всепокорнейше донести. Вице-губернатор Александр Крюков». О характере этих якобы состоявшихся разговоров Сперанского с епископом Моисеем нижегородскому вице-губернатору Крюкову стало известно из доноса губернского предводителя дворянства князя Е. А. Грузинского. 6 сентября министр Балашов доложил об этом «представлении» нижегородского вице-губернатора Александру I.

8 сентября император направил пребывавшему в Нижнем Новгороде начальнику 3-го округа военного ополчения графу Петру Александровичу Толстому письмо, в котором предупредил его о намерении командования русской армией оставить Москву и выразил надежду, что ополченцы сумеют при необходимости выступить против врага. «Граф Петр Александрович! — писал его величество. — Время настало, где вы можете оказать знаменитые услуги Отечеству и мне. По-видимому, враг впущен в Москву. Хотя я рапортов с 29-го августа по сие число от князя Кутузова не имею, но по письму от графа Ростопчина от 1-го сентября через Ярославль извещен я, что князь Кутузов намерен оставить с армиею Москву. Причина сей непонятной решимости остается мне совершенно сокровенна, и я не знаю, стыд ли России она принесет или имеет предметом уловить врага в сети. В первом случае действия ополчения, вам вверенного, становятся наиважнейшими. Я надеюсь на привязанность вашу к Отечеству и ко мне и на дух, оживляющий всех русских, что вы не упу-

стите ничего из виду, дабы поразить врага и наказать его за безбожное его вторжение»[1].

В конце своего письма государь сообщил графу П. А. Толстому: «При сем прилагаю рапорт вице-губернатора Нижегородского о тайном советнике Сперанском. Если он справедлив, то отправить сего вредного человека под караулом в Пермь, с предписанием губернатору, от Моего имени, иметь его под тесным присмотром и отвечать за все его шаги и поведение»[2].

В Нижний Новгород это письмо прибыло в годовщину коронации Александра I — 15 сентября. В этот день, тотчас после обедни, Сперанский заглянул к графу П. А. Толстому с поздравлением и здесь впервые увиделся и познакомился с одним из виновников своего падения — историком Н. М. Карамзиным. Побыв немного в доме Толстого, Михайло Михайлович ушел, а вскоре после его ухода прибыл фельдъегерь из Санкт-Петербурга. Ознакомившись с императорским повелением, граф Толстой не стал терять времени на проверку справедливости рапорта вице-губернатора Крюкова, но вызвал к себе состоявшего за адъютанта коллежского асессора Филимонова, подал ему запечатанный конверт и сказал: «Поезжай сейчас к Руновскому, вручи ему этот конверт и не отходи ни на минуту, пока все не будет исполнено, а потом возвратись ко мне с подробным обо всем отчетом».

Андрей Максимович, прочитав содержавшееся в конверте, всплеснул руками в растерянности: «Боже мой, кто бы это думал!» Тут же вызвал к себе частного пристава и поехал с ним и с Филимоновым в дом, где проживал ссыльный сановник. Там Руновский объявил ему высочайшее повеление отправиться в тот же вечер в Пермь.

Михайло Михайлович воспринял перемену места ссылки внешне вполне спокойно: «Ну, я этого ожидал, — бросил он вошедшим. — Надеюсь, однако же, господа, что вы не откажете дать мне час времени привести в порядок кое-какие бумаги и написать одну бумагу». Губернатор согласился. Тогда Сперанский сел к столу и начал писать. Писал он более часа. Тем временем подготовили дорожную коляску. Сперанский встал из-за стола, подошел к Филимонову и вру-

---

[1] *Белокуров С. А.* Письмо императора Александра I к графу П. А. Толстому по поводу оставления кн. Кутузовым Москвы (8 сентября 1812 г.). М., 1913. С. 4. Помимо напечатанного текста государева письма в данном издании приведена копия его оригинала, из которой видно, что письмо целиком писано рукою самого императора Александра I.

[2] Там же. С. 4–5.

чил ему два запечатанных конверта с просьбой передать их графу Толстому. Один конверт предназначался графу, другой был на имя государя. «Кланяйтесь графу, — сказал Михайло Михайлович — попросите его отправить как можно скорее. Содержание его весьма важно». Быстро собравшись в дорогу, изгнанник молча вышел из дому, не проронив ни слова, сел в коляску и отправился в сопровождении частного пристава в новый свой путь.

В письме Сперанского на имя графа П. А. Толстого говорилось: «Приношу вашему сиятельству следующие мои всепокорнейшие просьбы: 1) прилагаемое при сем письмо доставить государю, при вашем донесении; 2) при отправлении семейства моего оказать возможную помощь и снисхождение; 3) врагам моим здесь и разным их толкам наложить молчание; 4) наконец, и сие для меня всего важнее, сохранить доброе ваше о мне мнение. Оно всегда было для меня драгоценно, и, смею сказать, по чувствам моим и правилам я его достоин. Князю Егору Александровичу (Грузинскому. — *В. Т.*) прошу поклониться».

17 сентября 1812 года граф Толстой направил императору Александру донесение о выполнении предписания его величества об отправлении Сперанского в Пермь: «Всемилостивейший государь! Получив высочайшее вашего императорского величества повеление от 9-го сентября, в ту же ночь отправил тайного советника Сперанского в Пермь под присмотром полицейского офицера и с должным предписанием к тамошнему гражданскому губернатору. Выпровождавший его из города полицмейстер доставил мне от него конверт, в коем я нашел письмо на высочайшее ваше имя и которой у сего посылаю. Остаюсь в недоумении однакож, должен ли я был сие сделать или нет, и не прогневаю ли тем ваше императорское величество»[1].

За день до своего отъезда из Нижнего Новгорода Сперанский получил письмо от мужа своей сестры Марфы М. Ф. Третьякова. Михайло Федорович сообщил, что живет в страхе и всерьез думает, не бежать ли ему со всей своей семьей из Черкутина. Истинной причиной страха, охватившего Третьякова, была реакция жителей Черкутина на дошедшие до них слухи о «предательстве» Сперанского. Местные крестьяне восприняли их настолько серьезно, что решили «раскатать по бревнам» дом «предателя Отечества». Однако Третьяков скрыл этот факт и написал Сперанскому только о своей бо-

[1] НИОР РГБ. Фонд 471, Аракчеева А. А. К. 9. Ед. хр. 45.

язни прихода французов. Михайло Михайлович немедленно ответил ему. «Письмо ваше, любезный мой Михайла Федорович, весьма меня опечалило, — писал он. — Я не знаю, как и изъяснить намерение ваше оставить село. Куда ехать и где сокрыться! Везде та же самая судьба постигнуть вас может. Впрочем, будьте уверены, что страхи ваши основаны на самых пустых и неосновательных слухах. Зачем неприятелю бродить по селениям и даже зайти в Черкутино, которое столь далеко стоит от большой дороги. Да ежели бы он и пришел, неужели вы думаете, что там будет для вас опаснее, нежели во всяком другом месте. Священник, а особливо протопоп, нигде не может быть безопаснее, как при своей церкви и при своем словесном стаде. Не слушайте бабьих басен, будто на духовный чин нападают — совсем нет. Какой стыд бежать от пустого страху и как вам после к своим прихожанам показаться! Не скажут ли они вам: вот пастырь, который от пустого страху бросил свое стадо. И сверх сего: куда бежать? Я бы душевно был рад принять вас здесь; но здесь опаснее, нежели где-нибудь, и сверх того так все набито, что не только угла для житья, но и шалаша найти нельзя. В Володимере еще хуже. Умоляю вас и матушку остаться дома и не постыдить и себя и меня. Я отвечаю вам за все убытки, если бы вы их и потерпели. Между тем на нужду посылаю чрез А. В. Астафьева 200 р.; только ради Бога останьтесь. Более послать теперь не могу: ибо и сам терплю нужду, доколе сообщение с Петербургом не возобновится».

* * *

Вечером 23 сентября 1812 года в доме пермского губернатора Б. А. Гермеса собрались гости, с которыми Богдан Андреевич и супруга его Анна Ивановна обыкновенно коротали свободное время. Шел обычный светский разговор, когда около полуночи отворилась дверь, и в гостиную вошел высокий лысеющий худощавый человек приятной наружности, одетый в серый фрак с двумя звездами на груди. Подойдя к губернатору, он негромко, но слышно для всех сказал: «Государственный секретарь Сперанский имеет честь явиться под надзор вашего превосходительства». Услышав фамилию вошедшего, Гермес совершенно растерялся и застыл, не зная, что делать, как повернуться. Выручила супруга, разливавшая в этот момент чай. Налив чашку, она поднесла ее Сперанскому: «Вы с дороги устали и, может быть, озябли. Не угодно ли выкушать чаю и обогреться?» Сперанский принял чай с благодарностью, выпил, немного поси-

дел, сказал несколько малозначащих фраз и ушел на отведенную ему квартиру.

Первые три недели своего пребывания в Перми Михайло Михайлович проживал в квартире на втором этаже дома, принадлежавшего разорившемуся купцу Ивану Николаевичу Попову[1]. Наступление холодов заставило его в середине октября переселиться в более теплый и просторный дом купца Иванова[2].

Главным занятием Сперанского во время пермской ссылки было чтение книг. Как правило, читал опальный сановник произведения на религиозные темы из библиотеки Пермской духовной семинарии. Для того, чтобы понимать Ветхий завет в оригинальном его варианте, он даже стал изучать древнееврейский язык.

И. Н. Попов вспоминал впоследствии, что, проживая в его доме, Михайло Михайлович просыпался обыкновенно в семь часов — пил кофе без сливок и сразу садился за книги. В 9 часов он отвлекался от чтения на завтрак, который каждый день был почти одинаковым: пять яиц всмятку — одни желтки с хлебом да рюмка портвейна. После этого опять читал. С часу до двух прогуливался по улицам, в два часа обедал: как правило, обед его составляли суп, какая-нибудь вареная рыба, жаркое и две рюмки портвейна. Пообедав, подходил к окну и некоторое время стоял, смотря на небо благодарным взором и с таким выражением лица, каковое бывает только при искренней молитве. Потом обыкновенно играл в течение получаса с хозяином дома в шашки. Затем снова читал — на этот раз до самого вечера. Иногда часов в 8 вечернего времени прерывал чтение и садился с хозяином дома за стол выпить пунша с вином да поговорить на разные темы. Чаще всего он рассказывал об известных людях, с которыми встречался во время своей жизни в столице, или о тех или иных знаменательных событиях, в которых ему довелось участвовать. В этих вечерних беседах нередко принимал участие проживавший во флигеле дома Попова игумен Соликамского монастыря, инспектор Пермской семинарии Иннокентий Коровин.

Смущение пермского губернского начальства перед опальным сановником прошло немедленно после того, как оно ознакомилось

---

[1] Этот дом находился на углу тогдашних Монастырской и Обнинской улиц (переименованных при Советской власти соответственно в улицы Орджоникидзе и 25 октября). Он сохранился в Перми до настоящего времени.

[2] В то время, когда в этом доме жил Сперанский, им владели наследники купца Иванова. Он располагался на углу Торговой улицы и Верхотурского переулка и был уже довольно старым: в 1837 г. его из-за ветхости снесли.

с предписанием императора иметь его под строгим присмотром. И скорее всех опомнилась губернаторша, которая, по непонятным причинам, словно задалась целью сделать жизнь изгнанного из столицы сановника насколько возможно невыносимой. Прежде всего она позаботилась о том, чтобы окружить его доносчиками. Последних найти было совсем не трудно. Поручение доносить о разговорах и поступках столь высокой недавно и известной особы, каковой был в России Сперанский, нисколько не оскорбляло провинциальных чиновников. Скорее наоборот: многие находили в этой подлости нечто для себя почетное, возвышающее во мнении окружающих и не упускали случая похвалиться ею.

Одновременно губернаторша распорядилась приставить к квартире ссыльного двух будочников. «Пускай временщик при виде караульных поймет конец своей роли», — объяснила она данный свой поступок. Кроме того, по поручению Анны Ивановны городничий и два специально отобранных для того частных пристава должны были в любое время дня и ночи регулярно и безо всяких церемоний входить в квартиру «врага отчизны», как звала она Сперанского, и докладывать ей обо всем увиденном и услышанном там. Подобного рода «надзор» над опальным сановником продолжался и после того, как он переселился в нанятый им отдельный дом.

Михайло Михайлович пытался скрасить свое однообразное существование долгими пешими прогулками по городским улицам. Но едва он останавливал кого-то из прохожих, чтобы поговорить с ним, как откуда-то появлялся строгий полицейский, который советовал местному жителю проходить мимо ссыльного сановника, не останавливаясь.

Исполняя желание губернаторши, приближенные к ней чиновники с помощью разных лакомств побуждали мальчишек гоняться за Сперанским, когда тот прогуливался по улицам, и кричать ему: «Изменник! Изменник!», бросая в него при этом комья грязи.

Свое презрение к Сперанскому за то, что он якобы предал свое Отечество, не упускали случая выказать даже привезенные в Пермь пленные французы: они, например, отказывались принимать от него милостыню.

Зато с большим почтением относились к опальному сановнику с самого начала и во все пребывание его в Перми учащиеся местной духовной семинарии. Для семинаристов он, выходец из их круга, был героем несмотря ни на что. И он, в свою очередь, в ответ на их

почтительные поклоны непременно снимал шляпу и вежливо им кланялся. Пермские обыватели, привыкшие к тому, что особо важные персоны никогда не отвечают на приветствия и поклоны в их адрес, не переставали удивляться такому поведению столичного сановника.

Здание Пермской семинарии располагалось на берегу Камы. Михайло Михайлович любил прогуливаться по набережной. И часто сидел на скамейке, стоявшей на берегу напротив здания духовной семинарии и смотрел на реку.

В ноябре 1812 года в Пермь приехали дочь, теща и младший брат Сперанского Кузьма Михайлович. До изгнания Михайлы Михайловича из столицы Кузьма Сперанский занимал должность Казанского прокурора и вполне успешно работал. Но после того, как его брат был выслан в Нижний Новгород, он получил сообщение и о собственной отставке: причем оформлена была эта отставка довольно странным способом — без какого-либо высочайшего повеления, одним сенатским указом.

Елизавета Сперанская и госпожа Стивенс пробудут в Перми почти три месяца. 4 февраля 1813 года они отправятся в Санкт-Петербург с намерением переехать по весне в Великополье. Казалось, проживая в Перми вместе со своими близкими родственниками, Сперанский мог испытывать только довольство, но его душа была так устроена, что любая радость в ней была неотделима от горечи.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину от 23 февраля 1813 года:***

*«Из всех горестных моих приключений сие было самое горестное, и, может быть, первое, которое до души меня тронуло. Видеть всю мою семью за меня в ссылке и где же! В Перми. Надобно, чтоб я дал некоторые пояснения о сем городе. Зима стала в сентябре. 32 градуса — мороз обыкновенный, а бывает и 38 градусов. Соленые огурцы — лакомство и редкость; судите о других овощах. С трудом можно достать картофелю; рыбу и говядину привозят из Сибири; почти все население составлено из ссыльных. Бем, сосланный за убийство по суду, есть здесь один из обывателей почетных».*

Позднее Аркадий Алексеевич Столыпин посетит своего друга Сперанского в Перми и пробудет здесь довольно долгое время, скрашивая скудное на яркие события бытие опального сановника.

Весной 1813 года отношение пермских чиновников к изгнанному из столицы сановнику резко переменилось к лучшему. Случай же, поспособствовавший этой перемене, произошел в начале октября 1812 года. К Сперанскому приехал тогда от брата Кузьмы Михайловича нарочный Василий Варламов с серебром, домашней утварью и письмом. Отправляя его 7 октября в обратную дорогу, Михайло Михайлович зашил ему в шапку свое письмо к брату. Но в первом же городе на тракте из Перми в Казань нарочный был остановлен полицией и подвергнут досмотру: в результате письмо Сперанского у него изъяли и отослали в столицу.

Михайло Михайлович узнал об этой выходке губернских властей буквально через день. Тогда-то и вырвалось из души его возмущение.

***Из письма М. М. Сперанского к Александру I от 10 октября 1812 года:***

*«Среди всех горестей моих я не мог себе представить, чтоб Вашему Величеству угодно было попустить подчиненным начальствам, под надзором коих я состою, притеснять меня по их произволу. Уважая драгоценность Вашего времени, я не дерзал жаловаться на сии притеснения из Нижнего. Прибыв в Пермь, я силился по возможности привыкать к ужасам сего пребывания. Между тем, здешнее начальство признало за благо окружить меня не неприметным надзором, коего, вероятно, от него требовали, но самым явным полицейским досмотром, мало различным от содержания под караулом. Приставы и квартальные каждый почти час посещают дом, где я живу, и желали бы, я думаю, слышать мое дыхание, не зная более, что доносить. Если бы я был один, я перенес бы и сии грубые досмотры, но среди семейства быть почти под караулом невыносимо... Умилосердитесь надо мною, всемилостивейший государь, не предайте меня на поругание всякого, кто захочет из положения моего сделать себе выслугу, пятная и уродуя меня по своему произволу».*

В тот же самый день опальный сановник обратился с жалобой и к министру полиции. «Еще в Нижнем, — писал он Балашову, — губернское начальство дозволяло себе много раз переступать пределы благопристойного за мною надзора и тем часто подавало повод к слухам, которые и без сего возбуждения для меня горестны». Описав министру полиции свою жизнь в местах ссылки, Сперанский просил

его содействовать, во-первых, более точному определению свойства своего «удаления» из Петербурга, а во-вторых, назначению ему содержания.

При высылке Сперанского из столицы никаких выплат назначено ему не было. Михайло Михайлович остался, таким образом, без какого-либо содержания. Какую-то денежную сумму он захватил с собой, когда отправлялся в ссылку. И во время пребывания в Нижнем Новгороде он не испытывал большой нужды в деньгах: ему удалось даже купить там дом — правда, небольшой и расположенный на окраине города.

Однако в Перми денежные средства, находившиеся в распоряжении Сперанского, иссякли. Первое время ему приходилось жить продажей имевшихся у него золотых украшений. Потом, как свидетельствовали знавшие его в Перми люди, он жил на деньги, взятые в долг — по расписке у прислуги, или под заклад вещей или своих орденов. Из-за недостатка денег ему пришлось даже отказаться от кофе, вина, табака. Но в конце концов преодолеть безденежье помог Сперанскому друг купца И. Н. Попова купец Д. Е. Смышляев, который дал Михайле Михайловичу беспроцентный кредит в 5000 рублей, причем без какой-либо расписки.

Прошение Сперанского о назначении содержания министр полиции передал государю. 6 декабря 1812 года Балашов дал ответ на жалобы и просьбы опального сановника. «Письмо вашего Превосходительства и всеподданнейшее прошение я имел честь получить и повергнуть Высочайшему усмотрению, — сообщал он. — Государю Императору угодно было определить на содержание ваше 6000 в год, что для исполнения от меня уже и сообщено г. министру финансов. Касательно отобранного письма вашего от посланного Его Величество изволил отозваться, что причиной сего был вид скрытности, тому отправлению данный, то есть письмо не было показано губернатору и было зашито в шапке, что изволит находить не соответствующим положению вашему».

По приказу императора Александра составили справку о прежнем годовом жалованье бывшего государственного секретаря. Она удостоверяла, в частности, что получал Сперанский следующие суммы: 1) по должности госсекретаря — 12 тысяч рублей; 2) по должности директора комиссии законов — 6 тысяч рублей; 3) по должности статс-секретаря финляндских дел — 4 тысячи рублей; 4) по должности товарища министра юстиции — 6 тысяч рублей; 5) пенсии по особому высочайшему указу 2 тысячи рублей. Всего, таким образом,

его годовое жалованье до высылки из Петербурга составляло 30 тысяч рублей.

Рассмотрев эту справку, государь повелел своим указом выплачивать Михайле Михайловичу 6 тысяч рублей в год, начиная притом не со дня подачи им просьбы, а с момента выезда из Петербурга. Вместе с тем Александр распорядился выдать бывшему государственному секретарю все то, что причиталось ему за службу по день высылки и что он не успел получить.

В марте 1813 года в Пермь пришло из Санкт-Петербурга следующее распоряжение министра финансов Д. А. Гурьева: «От министра финансов Пермской казенной палате предложение. Высочайшим Его Императорского Величества указом от 29 декабря 1812 года повелено: пребывающему в Перми тайному советнику Сперанскому производить на содержание его по шести тысяч рублей в год из государственного казначейства, включая в то число и те две тысячи рублей, которые определены ему в пенсион по указу 19 марта 1801 года».

В Министерстве финансов сосчитали, что Сперанский недополучил за 1812 год 8 тысяч 480 рублей 99 копеек. На основании этого граф Гурьев поручил Пермской казенной палате выдать ему эту сумму.

Слова «пребывающему в Перми тайному советнику Сперанскому...», с которых начинался упомянутый императорский указ, подействовали на пермских чиновников как ушат холодной воды. Им сделалось ясным вдруг, что в преследовании, притеснении Сперанского они слишком переусердствовали. Став опальным, он не перестал быть *сановником*. Надо было срочно замолить свои грехи. Облачившись в мундиры, пермские чиновники пошли во главе с самим губернатором к дому изгнанника, желая поскорей отдать ему приличествовавшее его сану запоздалое почтение. Увидев неловко входившую к нему, но с признаками торжественности процессию, Михайло Михайлович слегка привстал в знак приветствия с кресла, но никого не пригласил сесть. Равнодушно выслушал провинциально-чиновничьи славословия в свой адрес, сказал в ответ несколько слов и замолчал. А чиновники еще немного потоптались перед тайным советником Сперанским, побормотали что-то льстивое и пошли. Интересно, что было бы с ними, если бы привиделось им тогда не столь уж далекое будущее, в котором Сперанскому суждено было стать генерал-губернатором Сибири?

Испытанных от пермских чиновников унижений Михайло Михайлович не забудет никогда, но никому из них не станет мстить,

хотя возможностей для этого он, занимая должность Сибирского генерал-губернатора, будет иметь предостаточно.

В памяти жителей Перми ссыльный Сперанский остался человеком приветливым, добродушным и вместе с тем совершенно холодным в проявлении какого-либо уныния или недовольства своей участью. Дошел до него как-то слух о том, что он будто бы продал Отечество не за деньги, а за польскую корону. «Слава Богу! — отвечал на этот слух Михайло Михайлович. — Начинают лучше обо мне думать: за корону все-таки извинительнее соблазниться».

Но всего яснее о том, что ссылка не сломила Сперанского, свидетельствуют его письма. «Последнее чувство, которое во мне угаснет, — писал он 6 июля 1813 года Петру Григорьевичу Масальскому, поверенному в своих финансовых и имущественных делах, — это будет доверие к людям, и в особенности к друзьям моим»[1].

К роковому дню своей чиновной карьеры Сперанский пришел в состоянии крайней душевной усталости. Ее усиливала в значительной мере атмосфера недоброжелательности и открытой враждебности, сложившаяся вокруг него во время осуществления реформ. Учтем также, что каждодневные упражнения в сдерживании истинных своих душевных побуждений, в проявлении себя противно собственной натуре не проходили для Сперанского бесследно. Могло ли удаление со службы, чрезвычайно бедственное для обыкновенного чиновника, не быть для него желанным освобождением?

И в самом деле, спустя десять месяцев после своей отставки, находясь в Перми, Сперанский написал письмо к государю, где в последних, а потому особо значимых строках заявил, что не ищет другой награды, кроме *«свободы и забвения»*. Это послание, датированное январем 1813 года, привезла в Санкт-Петербург его дочь Елизавета. Михайло Михайлович писал его почти месяц и каждое слово в нем хорошо обдумал. Его содержание выражало поэтому настоящие настроения опального сановника.

Данное письмо показывало, в первую очередь, что Сперанский не сломился под тяжким бременем обстоятельств. После всего произошедшего он был преисполнен ясным сознанием собственной правоты и потому считал ниже своего достоинства в чем-либо оправдываться перед императором. «Если бы в правоте моей совести и дел

---

[1] Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому. СПб., 1862. С. 29.

нужно мне было ниспускаться[1] к сим потаенным сплетням, на коих основаны мои обвинения, я легко мог бы показать и начало их, и происхождение, — писал Сперанский Александру I, — открыть и воздушные их финансовые системы, и личные, корыстолюбивые их расчеты, указать все лица, запечатлеть каждое из них своею печатью, обличить ложь в самом ее средоточии и представить на все то столь ясные доводы, что они сами бы, может быть, онемели. Но к чему все сии улики? Они будут теперь иметь вид рекриминаций, всегда ненавистных. И сверх того, враги мои, может быть, и в сию минуту, стоят перед Вашим Величеством, а я за две тысячи верст и весь почти совершенно в их власти». К последним словам Сперанский добавил замечание: «Это не фраза, а сущая истина».

Несправедливое обвинение и наказание, поток незаслуженных оскорблений и клеветы, бесчестье, наконец, изо дня в день поддерживаемое слежкой и надзором, — все это, для любого человека крайне жестокое испытание, немыслимо, кажется, выносить в одиночестве. Пребывая в нем, низвергнутый с вершины власти сановник ничем не сможет отвлечь себя от произошедших событий и против своей воли непременно будет снова и снова возвращаться в мыслях своих к прошлому, столь для него горестному, и тем самым станет снова и снова вспоминать и переживать свое падение, терзая и без того истерзанное сердце свое до тех пор, пока совершенно не отупеет душою от боли, досады, злости. Не должно ли потому всякому падшему с пьедестала власти всячески избегать одиночества? Сперанский и в этом случае проявил необычность своей натуры. Низвергнутый с вершины власти и сосланный в бесчестье, он не в чем ином, как в одиночестве сумел найти необходимое себе спокойствие. Описывая одному из своих приятелей собственное пребывание в Перми, он признался, что очень возмутился однажды приездом к нему какого-то родственника, простого обывателя: «Ну, сказал я сам себе, — теперь конец моему спокойствию!»

Не в чем-либо внешнем — в деятельности или же в людях — искал опальный сановник забвения, но прежде всего в своей душе.

---

[1] Во всех известных мне публикациях этого письма почему-то вместо очевидного слова «ниспускаться», то есть нисходить или спускаться, печатается слово «не спускаться». См., например: Русский архив. 1892. Кн. 1. № 1. С. 63; *Сперанский М. М.* Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 583. Между тем Сперанский писал в действительности о том, что если бы ему нужно было спуститься к потаенным сплетням — опуститься до уровня этих сплетен, то он легко показал бы их происхождение.

Почти все дни ссылки он посвящал, как сам про себя рассказывал впоследствии, исключительно «благочестивым рассуждениям и чтению книг». Неслучайно вырвалась у него в письме к П. А. Словцову от 6 августа 1813 года следующая сентенция: «В горьких внешних обстоятельствах не иметь внутренних, верных утешений, конечно, весьма горестно».

Упомянутое письмо весьма примечательно. Оно писано человеку, которого Михайло Михайлович называл «судьей совести». Потому содержание его предельно сокровенно и правдиво, особенно в последних строках: «В заключение скажу вам несколько слов и о житейском моем положении. Я живу здесь *изряднехонько*, то есть весьма уединенно и спокойно. Возвратиться на службу не имею ни большой надежды, ни желания; но желаю и надеюсь зимою переселиться в маленькую мою новгородскую деревню, где теперь живет моя дочь и семейство, и там умереть, если только дадут умереть спокойно. Вот вам всея судьба моя настоящая и грядущая. Люди и несправедливости их, по благости Божией, мало-помалу из мыслей моих исчезают»[1].

Было уже в судьбе Сперанского время жизни преимущественно внутренней — интенсивной жизни души. Это был тот период, когда, окончив обучение в Александро-Невской семинарии, он не помышлял еще о государственной деятельности, не предполагал, что отдаст себя суете чиновничьей службы. И вот повторение спустя двадцать лет, повторение и вместе с тем нечто совершенно иное. Он возвращался туда, где настоящее прибежище каждого человека, первая и последняя его обитель — его душа и совесть. Но возвращался не прежним. Он возвращался в собственную свою совесть, как возвращается в родительский дом блудный сын. Жизнь, проведенная вне родительского дома, представляется ему всецело никчемной и напрасной и, чувствуя за собою вину, он, чем долее пребывает в родительском доме, тем более удивляется тому, как мог он покинуть его когда-то и прельститься пустой, ничтожной суетой. И в удивлении этом и самобичевании нисколько не догадывается, что данная жизнь потому и перестала прельщать его, потому и кажется ему отныне никчемной и напрасной, что была у него, произошла — из будущего переместилась в прошлое.

Лишенный высокого положения в общественной иерархии, изгнанный из столицы и брошенный в бесчестье, он как бы взамен

[1] НИОР РГБ. Фонд 471, Аракчеева А. А. К. 9. Ед. хр. 45.

всего этого, что сам назвал несчастьем, получил ту полноту внутренней, духовной жизни — жизни души, ума и сердца, — каковая способна дарить блаженство в самых бедственных обстоятельствах, в полнейшем засилии разнообразных мерзостей. Никогда более государственная деятельность не будет иметь для него той привлекательности, которую имела она в дни его молодости и потом во времена наивысшего его взлета по служебной лестнице. Не в какой-либо внешней практической деятельности станет находить он главную для себя усладу, но исключительно во внутренних душевных состояниях. Жизнь в изгнании выделала из Сперанского философа.

В заключение январского 1813 года письма к Александру I Михайло Михайлович обращался к его величеству с просьбой, в которой выражал главную доминанту в своем тогдашнем настроении: «В награду всех горестей, мною претерпенных, в возмездие всех тяжких трудов, в угождение Вам, к славе Вашей и к благу государства подъятых, в признание чистоты и непорочности всего поведения моего в службе и, наконец, в воспоминание тех милостивых и лестных мне частных сношений, в коих один Бог был и будет свидетелем между Вами и мною, прошу единой милости: дозволить мне с семейством моим, в маленькой моей деревне, провести остаток жизни, поистине одними трудами и горестями преизобильной».

Под своей маленькой деревней Сперанский имел в виду Великополье. Император Александр не ответит на это письмо. Должны будут пройти полтора года и окончиться война России с Францией, в русском обществе должны будут подзабыть неугодного реформатора, прежде чем его величество соизволит удовлетворить просьбу Сперанского о переезде из Перми в новгородскую деревню. Лишь 31 августа 1814 года — в день, когда вышел высочайший манифест об окончании войны с Наполеоном, — государь объявил повеление Сперанскому переехать на дальнейшее житье в Великополье.

16 сентября Михайло Михайлович покидал Пермь, где провел ровно два года своей жизни. Чиновники и знатные горожане вознамерились было проводить его до Оханска, но губернатор Гермес тайком оповестил их о высочайшем повелении везти опального сановника до самой его деревни под полицейским надзором и, по приезде, рапортовать о том министру полиции. Все тогда отказались от первоначального своего намерения. Однако пришли все же на проводы, принеся с собою для отъезжающего разные лакомства на дорогу и слова похвалы и напутствия.

Прощаясь с игуменом Иннокентием, который был с ним в дружбе и тем самым всегда рисковал навлечь на себя недовольство губернских властей, Сперанский сказал: «Прощайте, добрейший отец Иннокентий! Если со временем я буду счастлив, то и вы будете счастливы». Пермский друг опального сановника не придал тогда никакого значения этим словам, но спустя двенадцать лет он вспомнит о них: в 1826 году ему неожиданно будет предложено место настоятеля Псковского монастыря, спустя некоторое время ему предоставят викарную кафедру в Москве, а потом определят на должность архиепископа Волынского и Житомирского.

В прощальном же разговоре с Иваном Николаевичем Поповым Михайло Михайлович посетовал: «Очень жаль, что не могу увезти с собою в кармане вашу Каму».

* * *

С переездом Сперанского в Великополье его главное желание исполнилось — он получил то, к чему, по его собственным словам, стремился, а именно: «свободу и забвение». Рядом с ним была дочь Елизавета, любимое им существо — единственное для него в целом свете, которому он мог теперь посвящать все свое время. Михайло Михайлович смог, наконец, всерьез заняться ее образованием. О том, *как* он это делал, рассказал в своей книге «Жизнь графа Сперанского» Модест Корф: «Враг всякого педантизма и даже слишком большой учености в женщинах, Сперанский не столько *преподавал* дочери, в обыкновенном значении этого слова, сколько читал с нею, в особенности же *разговаривал*. Эти разговоры были всего важнее. Его современники помнят еще, какою возвышенностию отличались его беседы; с какою платическою ясностию он излагал предметы самые отвлеченные; какую логику и убедительность имели его доводы; какая, наконец, точность и вместе с тем поэзия была в его выражениях. При уроках и в сообществе такого наставника дочь его не могла не выдти одною из просвещеннейших и вообще примечательнейших, в умственном развитии, женщин»[1].

---

[1] *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Том 2. СПб., 1861. С. 96. Следует отметить, что образованием своей дочери Михайло Михайлович занялся еще в 1806 году. Об этом свидетельствует сохранившийся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки план воспитания Елизаветы Сперанской под названием «Элементы наук и нравственности от 7 до 17 лет». Следуя этому плану, Михайло Михайлович приглашал к ней лучших учителей и при этом сам преподавал ей

Впоследствии Михайло Михайлович признается Елизавете: «Полезнейшим временем бытия моего я считаю время моего несчастия и два года, которые я посвятил тебе». А еще он напишет ей в одном из своих писем: «Как все легко с любовию, моя любезная Елизавета; и как все тяжко без нее. Самоотвержение! Какое ужасное слово, но что другое есть любовь как не само отвержение, как не исчезновение нашего личного бытия и прелияния его в Существо другого»[1].

Некоторое время в Великополье проживали отставленный от службы и лишенный средств существования брат опального сановника Кузьма Михайлович[2] и бабушка Елизаветы. Госпожа Стивенс, которая всегда была недовольна своим зятем, стала после того, как его удалили из столицы и с государственной службы, совершенно невыносимой. Беспрестанно упрекала Сперанского в чем-либо, а бывало и громко, да в присутствии посторонних людей проклинала свою судьбу за то, что выдала когда-то свою дочь замуж за государственного преступника — изменника своему Отечеству. Поэтому когда в начале 1815 года госпожа Стивенс вдруг засобиралась в Киев, Михайло Михайлович, дабы не было у нее причин возвратиться в Великополье, объявил своей теще, что берет на себя все ее содержание там, и выделил 5000 рублей на первый год пребывания ее в Киеве. При этом он обещал, что на каждый последующий год будет пересылать ей сумму от 2000 до 3000 рублей. В апреле 1815 года Елизавета Андреевна Стивенс отправилась в Киев, но щедростью своего «непутевого» (как она считала) зятя ей довелось пользоваться недолго. В начале 1816 года теща Сперанского скончалась. Михайле Михайловичу сообщили, что за несколько дней до прихода смерти «она глубоко покаялась и с искренним сокрушением говорила о своем прошедшем».

Желая увеличить доходность своего хозяйства, Михайло Михайлович стал изучать агрономию. Но достичь этой цели он стремился не только применением передовых сельскохозяйственных технологий, но и новой организацией труда крепостных крестьян, доб-

---

различные науки, правда, из-за недостатка свободного времени не мог это делать систематически.

[1] Я обнаружил список с этого письма М. М. Сперанского в архивном фонде № 74 Н. В. Гоголя в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки. На нем нет даты написания.

[2] После назначения Михайлы Михайловича генерал-губернатором в Сибирь его брат Кузьма Михайлович будет определен императором Александром на должность вице-губернатора на Кавказ.

рым к ним отношением. Он пытался даже ввести выплаты жалованья своим работникам. Например, служившим у него в усадьбе дворовым людям Михайло Михайлович платил ежемесячное жалованье от двух с половиной до пяти рублей и при этом обеспечивал их пищей, одеждой и обувью. Стремясь помочь наиболее бедным из своих крестьян преодолеть нужду, он бесплатно давал коров и лошадей. Забота Сперанского о крестьянах, работавших у него на полях, доходила бывало до того, что он запрещал им пить холодную воду и взамен приказывал доставлять из его дома квас. Еще он пытался бороться с вредной привычкой некоторых своих крестьян пить водку в то время, когда они должны были неустанно трудиться. Грозил пьяницам «тяжелым ответом на суде Божьем» за их порок. Великопольские крестьяне долго потом помнили своего чудака-барина.

Хотя Михайло Михайлович и проживал в своем имении, он попрежнему имел статус ссыльного и потому не мог по своему усмотрению выезжать из него. Покидал он Великополье только для того, чтобы посетить церковную службу в располагавшемся неподалеку Савво-Вишерском монастыре. Он старался в меру своих средств поддерживать этот монастырь: в частности, построил для него новую колокольню, обновил иконостас.

В монастырской библиотеке Михайло Михайлович обнаружил полное собрание творений святых Отцов Церкви. И во все последующее время своего пребывания в Великополье он читал их, выписывая из них то, что казалось ему наиболее свойственным времени, в которое он жил.

Никакого постоянного полицейского надзора за собой, от которого он сильно страдал в Нижнем Новгороде и Перми, Сперанский во время пребывания в Великополье не ощущал. Но подозревал, что в какой-то форме слежка за ним все же ведется. 3 декабря 1814 года он писал П. Г. Масальскому: «1) Я положительно удостоверился, что сюда ничего совершенно о мне и сношениях моих не предписано. 2) Даже на почте никакого здесь не учреждено надзора, и на сих днях получил я два письма из Нижнего (пустые), совершенно и по числам и по печати целые. Сие не должно, однако же, нас ободрять к уменьшению осторожности».

Постоянного надзора за опальным сановником во время пребывания его в Великополье действительно не было учреждено. Тем не менее без присмотра его не оставили. Буквально на следующий день после того, как Сперанскому было разрешено государем переехать из Перми в свое новгородское имение, престарелый Сергей Кузьмич

Вязмитинов, управлявший тогда Министерством полиции, предписал исполнявшему должность Новгородского губернатора вице-губернатору Николаю Назаровичу Муравьеву немедленно сообщить ему о прибытии Сперанского в Великополье и при этом добавил: «Распорядитесь, чтобы без всякой огласки известно вам было о его образе жизни и знакомствах, о чем и мне от времени до времени давайте знать».

22 октября 1814 года С. К. Вязмитинов направил Н. Н. Муравьеву новое предписание относительно Сперанского. Вице-губернатору поручалось обеспечить, чтобы переписка Сперанского непременно доставлялась в Петербург для доклада государю, а сведения о всех лицах, с которыми он будет иметь «тесную связь, знакомство или частое обращение» немедленно передавались бы в Министерство полиции. В дополнение к этому на Новгородского вице-губернатора возлагалась обязанность сообщать «обо всем в отношении к настоящему положению его, что может быть достойно примечания». При этом Вязмитинов подсказывал Муравьеву, что «Его Величеству угодно, дабы г[осподину] тайному советнику Сперанскому, во время пребывания его в деревне своей, оказываема была всякая пристойность по его чину».

Во исполнение всех этих поручений в Великополье иногда приезжал из Новгорода капитан-исправник, но как будто только для того, чтобы убедиться, что ссыльный сановник находится в отведенном ему для отбывания ссылки месте. Однажды, правда, капитану-исправнику удалось каким-то образом заметить, что Сперанский старался свои письма доставлять по назначению не посредством государственной почты, но с помощью частных лиц, случайно или неслучайно проезжавших мимо тех, кому эти письма писались. Н. Н. Муравьев немедленно доложил об этих подозрениях в Министерство полиции, но в предельно осторожной форме. «Долгом считаю заметить, — высказал он свое мнение о переписке вверенного его попечению опального сановника, — что ежели бы г[осподин] Сперанский и имел, или бы желал иметь ее в каком-либо отношении значущем и сокровенном, то он может ее производить независимо от почты и явных путей, чрез своих свойственников и посредством его собственных людей. Но за всем тем, во исполнение высочайшего повеления, я бдительнейше стану наблюдать, чтобы переписку г[осподина] Сперанского, какого бы рода ни была, ежели не избежит моего видения, усмотрению вашему представлять». В других своих донесениях управляющему Министерством полиции Новгородский

вице-губернатор сообщал: «Г[осподин] тайный советник Сперанский с приезда своего в здешнюю свою усадьбу живет с семейством своим уединенно, выезжая только в соседственный ему монастырь св. Саввы для слушания божественной службы»; «заехавшему к нему исправнику он оказал всякую вежливость и приветливость, изъявив желание приобресть к себе благоприятство здешних дворян»; «он здоров и кажется быть совершенно спокоен».

* * *

В деревенской тиши — вдали от столичной расчетливости и подлости — хорошо читаются книги о любви человека к ближнему, ее возвышенности и силе. Одна из лучших среди таких книг — произведение, приписываемое святому Фоме Кемпийскому, «О подражании Христу». Все ее содержание пронизано идеей любви. «Любовь есть великое дело, великое поистине благо. Она одна облегчает все тяжести и с равнодушием переносит все неровности. Она несет бремя свое, не чувствуя его тяжести, и самую горесть превращает в сладость и удовольствие». Подобными сентенциями наполнена вся книга. Сейчас она забыта, а в прошлые века ее считали первейшей после книг Священного Писания в ряду христианской литературы.

Названную книгу всю свою сознательную жизнь имел при себе Сперанский, и не просто имел, но черпал из нее мудрость целыми пригоршнями. Письма его содержат не одну фразу, прямо заимствованную из этой книги. Знакомая уже нам: «Человек есть то, что он есть пред Богом, ни более, ни менее», — как раз оттуда.

Еще будучи в Санкт-Петербурге и на государственной службе, Михайло Михайлович начал переводить имевшийся у него латинский текст книги на русский язык, предаваясь этому занятию в редкие часы отдыха, а скорее именно ради него. Он продолжал переводить трактат «О подражании Христу» и в Нижнем Новгороде, и в Перми. Продолжил и в новгородском имении Великополье. Содержание переводимого сочинения как нельзя лучше соответствовало тогдашнему его душевному настрою. И кто знает, не было ли искание изгнанным из столицы Сперанским «свободы и забвения» поддержано в существенной степени жившим за пять столетий до этого христианским писателем, в частности, такой вот сентенцией из его произведения: «*Ты будешь свободен внутренно, когда не станешь желать и искать ничего другого, как только угождения Богу и пользы ближнему*».

Несчастье в политической жизни, крушение всех надежд на плодотворную государственную деятельность и данное взамен этому счастье в жизни внутренней, душевной, сожаление об утраченных в суете чиновной службы телесных и духовных силах и времени, раскаяние, наконец, в том, что когда-то втянулся в эту азартную, но пустую игру, — все это могло бы стать прекрасным завершением книги судьбы Сперанского. Могло — но не стало. За этим сюжетом, просто предназначенным для заключительных страниц романа его жизни, последовал новый сюжет, причем столь странный, столь противоречащий предыдущему, что, право, читая его, нельзя не прийти в изумление.

## *Глава седьмая*

# Возвращение к власти

*Я никогда не удивлялся худым поступкам людей; но всякое добро от них для меня неожиданно.*

**Михаил Сперанский**
Сельцо Великополье
30 мая 1815 года

*Полезнейшим временем бытия моего я считаю время моего несчастия и два года, которые посвятил я тебе.*

**Михаил Сперанский**
Из письма к дочери Елизавете. 1 января 1817 года

Время, проведенное в сельце Великополье, Сперанский будет считать лучшим временем своего бытия. Что же касается предшествовавшей столично-чиновной жизни, то в день, когда ему исполнится 45 лет, он окинет всю ее внимательным взором и вынесет ей беспощадный приговор. «Сколько времени, потерянного в науках тщетных, в исканиях ничтожных, в мечтах воображения!» — будет сокрушаться он. Тогда же, исповедуясь в письме к своей дочери, Михайло Михайлович заявит: «Если бы Бог не даровал мне тебя, то я мог бы сказать, что я 45 лет работал Лавану[1] за ничто»[2].

В судьбах людских бывают удивительные совпадения. Приблизительно в ту же самую пору, в которую Сперанский писал приведенные строки, другой изгнанник с вершины власти также оглядывал свою предшествовавшую жизнь, ища в ней мгновения, в каковые он был счастлив. И подобно Сперанскому лучшее время находил не в той поре, когда имел власть и славу.

«Лучшим временем был для меня период от шестнадцати до двадцати лет. В то время я также посещал ресторанчики; я жил скудно;

---

[1] Лаван — персонаж Ветхого завета. См. историю о нем: Бытие. 29. 1–35.

[2] *Сперанский М. М.* Письмо к дочери Елизавете от 1 января 1817 года // Русский архив. 1868. Вып. 7. Стлб. 1125.

помещение стоило мне около трех луидоров в месяц. Это были самые счастливые дни моей жизни. Достигнув власти, я не испытал счастья; у меня было такое множество занятий, что не оставалось времени для досуга, в котором только и есть истинное счастье». Так говорил в пору пребывания на острове Святой Елены, вспоминая события своей жизни, Наполеон Бонапарт. Он проклинал ту власть, которой обладал, проклинал за то, что она лишила его нормального человеческого счастья. И проклинал искренно и убедительно. Но при всем том, если б получил он возможность возвратиться к этой власти, то, можно не сомневаться, затеял бы возвращение к ней. Проклинавший власть узник далекого океанского острова в то же самое время тосковал по ней, сожалел о ее утрате. «Я не могу больше жить частным человеком», — грустно признался он однажды.

Власть, какой бы она ни была, есть наркотик, причем сильнодействующий: тот, кто хоть раз обладал властью, — навечно становится ее «наркоманом». Он будет проклинать ее и отрекаться от нее, будет уверять себя и других, что не имеет к ней ни малейшего влечения, но никогда не покинет ее. А удаленный от власти, неминуемо пойдет к ней, едва мелькнут пред ним ее блестки.

Нет никаких оснований сомневаться в том, что Сперанский был искренен, когда 6 августа 1813 года писал П. А. Словцову: «Возвратиться на службу не имею ни большой надежды, ни желания». Подобные настроения он выражал в письмах и к П. Г. Масальскому. «Для меня вся сила в том, чтоб забыли о бытии моем на сем свете», — писал Михайло Михайлович Петру Григорьевичу 3 декабря 1814 года. Но Сперанский был вполне искренен и тогда, когда в тиши Великополья заговорил вдруг о желательности своего возвращения в Санкт-Петербург. 14 марта 1815 года опальный сановник писал письмо к А. А. Столыпину, и, быть может, невольно, вырвались из него слова: «Если бы я был на месте, то я все победил бы одним моим молчанием; ибо молчание есть наилучший ответ на все пасквили».

Но самым ярким свидетельством переворота в настроениях Сперанского являются его письма к императору Александру 1815–1816 годов. Тон и содержание их заставляют подозревать, что чувство личного достоинства, которое сохранялось в Сперанском в любых обстоятельствах, покинуло его. Он, правда, в этих письмах настойчиво просит императора Александра открытого суда над собой и решения об оправдании. Но сквозь витиеватость выражений просматриваются признаки того, что свойственно любому обыкновенному

сановнику и что именуется исканием милости у вышестоящего, а в просторечии — угодничеством.

Многое в поведении Сперанского в Великополье свидетельствует, что в нем возродился пропавший было интерес к политическим делам. Михайло Михайлович с жадностью ловил каждое известие из Петербурга, всякий слух о событиях в царском дворце. Пребывая в Великополье, он выписывал и читал столичные газеты и журналы. Его вновь интересовало буквально все, что происходило, что менялось в политической жизни русского общества.

А перемены были и на самом деле большими. Всего четыре года прошло со дня изгнания реформатора из столицы, но для России эти годы составили *целую эпоху*. Война с Францией дала русскому обществу множество новых впечатлений, настроений, идей. Сардинский граф Жозеф де Местр писал 12 октября 1815 года русскому князю П. Б. Козловскому: «В настоящую минуту мне кажется, что для умного наблюдателя нет нигде такого обширного и привлекательного поприща, как ваша страна».

Отечественная война всколыхнула Россию, заставила русских ощутить себя — едва ли не в первый раз — *русскими*. Никогда не появлялось в России столько искренних и пылких патриотов, никогда русский патриотизм не был столь чист и пронзителен, как в рассматриваемое время. А был он таковым потому, что зарождался и взрастал в людских сердцах без всякого содействия правительства, несмотря на это правительство. «Наше время, торжественно провозглашаемое веком просвещения и философии, едва ли в известном смысле не носит на себе более зачатков варварства, чем все предыдущие поколения; потому что наше полупросвещение, наше ложное образование, эгоизм и развращение наших нравов, развиваемое нашим правительством в течение последних пятидесяти лет, уже давно успели бы затушить в нас всякую искру патриотизма, если бы наш патриотизм не восторжествовал над угнетающею его силою, так сказать, вопреки правительству, которое, руководимое немцами и ливонцами, само вводило к нам пороки...»[1] — так писал 7 марта 1813 года графу Ф. В. Ростопчину граф Семен Романович Воронцов.

Император Александр, едва закончилась война с Наполеоном, вновь повел разговоры о переменах в России. Отзвуки этих разговоров доходили до Сперанского. Опальному реформатору не могло

[1] *Воронцов С. Р.* Письмо к Ф. В. Ростопчину от 7 марта 1813 года / Русская старина. 1903. Том 116. № 11. С. 253.

не чудиться в них нечто знакомое, запретно-сладостное. Не потому ли стал он вдруг томиться тихой деревенской жизнью, не оттого ли засобирался, пока еще помыслами своими, в Санкт-Петербург? Это объяснение произошедшему со Сперанским во время пребывания его в Великополье видится таким логичным, что трудно представить себе, как могло быть иначе. А между тем все действительно было иначе.

* * *

Прознав о создании при деятельном участии российского императора так называемого Священного Союза, о чем возвещено было 25 декабря 1815 года специальным Манифестом, Сперанский поспешил заявить Александру I о своем одобрении его политики, связанной с указанным Союзом.

***Из письма М. М. Сперанского к императору Александру I от 6 января 1816 года:***

*«Истины, в манифесте 25 декабря и в акте союза изображенные, налагают на всех поданных Ваших новую обязанность неограниченного доверия и откровенности. Более, нежели многие другие, я должен чувствовать и исполнять сию обязанность. На пути, коим вело меня Провидение в вере, пытливость разума часто ввергала меня в изыскания более тонкие, нежели основательные; изыскания сии были в свое время предметом бесед, коих Ваше Величество меня удостоивали. Могу ли и должен ли я теперь молчать, когда вижу несомненные признаки истинной, сердечной, а не умственной благодати, сердце Ваше озарившей!»*

В записке, приложенной к приведенному письму, опальный реформатор высокопарно заявлял, что «Союз, Манифестом 25 декабря возвещенный, есть величайший акт, какой только от самого первого введения христианской веры был постановлен. Его можно хвалить без лести, потому что он происшел не из самолюбия... Он есть чистое излияние преизбыточествующей Христовой благодати»[1].

---

[1] *Сперанский М. М.* Письмо к императору Александру Павловичу с поднесением записки, в которой изложены мысли по поводу Манифеста 25 декабря 1815 года // Сборник исторических материалов, извлеченных из архива Первого отделения

Однако император Александр не отвечал на письма своего бывшего госсекретаря. Сперанский попытался воздействовать на его величество через посредничество В. П. Кочубея. Но Виктор Павлович уклонился от этой щекотливой роли, сообщив Сперанскому, что разговаривал с государем не один раз и тот ни словом о нем не обмолвился.

И тогда — было это в июле 1816 года — Сперанский обратился к тому, кто сделался в ту пору правой рукой государя, и через кого искали тогда в царском дворце милости. Он послал письмо графу Аракчееву.

«Гнев Государя для всякого и всегда должен быть великою горестию, но обстоятельства, в коих я оному имел несчастье подвергнуться, безмерно увеличили его тягость, — жаловался Михайло Михайлович Алексею Андреевичу. — Время двукратной моей ссылки, особливо же последней из Нижнего в Пермь; образ, коим она была произведена; крутые и бесполезно жестокие формы, кои при сем исполнителями были употреблены; злые разглашения, везде меня сопровождавшие, все сие вместе поселило и утвердило общее мнение, что, быв уличен или, по крайней мере, глубоко подозреваем в государственной измене, одним милосердием Государя я спасен от суда и последней казни. Таково точно есть положение, в коем я нахожусь четыре года с половиною. Я не утруждал Е[го] В[еличество] никакими жалобами, доносами, ожидая всего от Его собственного великодушия».

Далее Сперанский сетовал в письме на то, что с течением времени ему будет все труднее и труднее оправдаться перед обществом: многое забывается, важные свидетели умирают, да и сам он может сойти в гроб, навсегда оставшись в общественном мнении в качестве «государственного преступника» и оставив своей дочери «в единственное наследство бесчестное и всех проклятий достойное имя». И здесь опальный сановник указал на обстоятельство, которое более всего тревожило его. «У меня дочь невеста, и кто же захочет или посмеет войти в родство с человеком, подозреваемым в столь ужасных преступлениях... Заслужил ли я сии ужасы?» — вопрошал он Аракчеева.

Обрисовав в самых мрачных тонах свое положение, Сперанский предлагал два выхода из него: «Или дать мне суд с моими обвинителями. Естьли обыкновенные судебные обряды покажутся для сего

---

Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Вып. 1. СПб., 1876. С. 37–38.

несвойственными, то Комиссия или Комитет, временно для сего поставленный, могли бы скоро все окончить... Или же, когда сие средство представится почему-либо несовместным: не возможно ли бы было решить все самым простым, хотя несравненно менее удовлетворительным образом: это есть оставить мне способ оправдать себя против слов не словами, а делами, отворив мне двери службы. В каком бы звании или степени гражданского порядка в столице ли или в отдалении, где бы и как бы ни угодно было Г[осударю] И[мператору] употребить меня, я смею принять на себя строгую обязанность точным и верным исполнением Его воли изгладить все горестные впечатления, кои лично о свойствах моих могли бы еще в душе Е. В. оставаться. Есть точка зрения, в коей все случившееся со мною может представиться в виде менее крутом, нежели оно было на самом деле. В 1812 году по вошедшим донесениям государь им[ператор] соизволил удалить секретаря своего от службы — ныне по подробном рассмотрении найдя донесения сии недоказанными, Е. В. соизволяет его употребить-таки на службу. Тут ничего нет особенного или чрезвычайного».

В заключение своего послания к графу Аракчееву Сперанский просил его посодействовать освобождению из Вологодской ссылки бывшего статс-секретаря М. Л. Магницкого[1] и помочь с продажей имения Великополье в государственную казну.

К тексту данного письма Михайло Михайлович осмелился приложить проект императорского указа о своем возвращении на государ-

[1] Сперанский, кажется, не знал, что удаленный с государственной службы и сосланный в Вологду Магницкий не смирился со своей участью и с осени 1812 г. (а возможно, еще и с более раннего времени) активно добивался своего оправдания императором Александром и возвращения из ссылки. В частности, 17 декабря 1812 г. Михаил Леонтьевич обратился к Александру I с письмом, в котором благодарил государя за то, что он вспомнил о его просьбе (о какой именно просьбе, в письме не говорилось), и «за доставление средства к оправданию». В письме к императору Александру от 30 июня 1814 г. Магницкий заявлял, что не может «видеть себя поверженным в политический гроб позорной ссылки», что третий уже год претерпевает со своим семейством «ужаснейшее наказание, какое может постигнуть человека, в образованном обществе живущего: лишение чести, личной свободы и последнего куска хлеба, без суда, без объявления преступления и невинно». Подобно Сперанскому Магницкий старался в своих усилиях по возвращению на государственную службу заручиться поддержкой Аракчеева. Летом 1816 г. Михаил Леонтьевич так же, как и Михаил Михайлович, посещал Алексея Андреевича в его Грузинской обители, и скорее всего именно это посещение всесильного в ту пору графа оказало решающее влияние на последующую судьбу его, а не заступничество за него опального Сперанского.

ственную службу. Он выразил желание, чтобы в указе было прямо заявлено: «...Ныне, по подробном рассмотрении, находя донесения сии недоказанными, Его Величество соизволяет его употребить паки на службу...» Не знал, не понимал Сперанский императора Александра или... не хотел его понимать.

Алексей Андреевич охотно откликнулся на обращение к нему Сперанского. И помог опальному сановнику возвратиться на государственную службу. 6 сентября 1816 года в Великополье привезено было ответное послание Аракчеева. «Письмо вашего превосходительства государю императору, — сообщал граф Сперанскому, — я имел счастие представить, и Его Величество изволил читать не только оное, но и ко мне вами писаное. Какая же высочайшая резолюция последовала, оное изволите увидеть из прилагаемой копии указа, данного правительствующему сенату. Государю императору приятно будет, если вы, милостивый государь, отправитесь из деревни прямо в назначенную вам губернию».

К письму была приложена копия подписанного императором Александром 30 августа 1816 года Указа Правительствующему Сенату. В нем говорилось: «Пред начатием войны в 1812-ом году при самом отправлении моем к армии доведены были до сведения моего обстоятельства, важность коих принудила меня удалить от службы: тайного советника Сперанского и действительного статского советника Магницкого; к чему во всякое другое не приступил бы я без точного исследования, которое в тогдашних обстоятельствах делалось невозможным.

По возвращении моем приступил я к внимательному и строгому рассмотрению поступков их и не нашел убедительных причин к подозрениям. Поэтому, желая преподать им способ усердною службою очистить себя в полной мере, всемилостивейше повелеваю: тайному советнику Сперанскому быть Пензенским гражданским губернатором, а действительному статскому советнику Магницкому Воронежским вице-губернатором»[1].

Приведенный Указ в основном повторял своим содержанием проект, составленный Сперанским. Но предложенная опальным са-

[1] В формулярном списке Сперанского текст данного Указа приводился без упоминания имени Магницкого, но с добавлением следующих слов: «Вместе с тем повелеваю продолжить пожалованную ему аренду на следующие 12 лет и производить (сверх 3 т. жалованья и столовых по месту) тот оклад (по 6 т. р. в год), который ему с 17 марта 1812 года был производим».

новником фраза «...находя донесения сии недоказанными...» в окончательный текст Указа от 30 августа 1816 года не попала. Вместо нее были вставлены слова «...желая преподать им способ усердною службою очистить себя в полной мере...», которые не могли не причинить Сперанскому боль. В печальной истории своего изгнания из столицы и с государственной службы Сперанский имел одно большое утешение — вина его *нигде не была публично объявлена*. Слова названного Указа «...желая преподать им способ усердною службою очистить себя в полной мере...» впервые в официальной форме, пусть косвенно, но признавали его (и Магницкого) виновным.

Неприятным для Сперанского было и заявление графа Аракчеева в сопроводительном письме к высочайшему Указу о назначении его Пензенским губернатором: «Государю императору приятно будет, если вы, милостивый государь, отправитесь из деревни прямо в назначенную вам губернию». Опальному реформатору, таким образом, не дозволялось приезжать в столицу своей страны. Если указом ему наносилась рана, то заявлением этим на рану сыпалась соль.

* * *

Тем не менее, именно с этой истории началось сближение между собой Аракчеева и Сперанского. Современники считали их полными противоположностями друг другу. Выражая этот взгляд, поэт Пушкин назвал Аракчеева и Сперанского «гениями Зла и Блага». Впоследствии именно так будут смотреть на них и все (за редким исключением) историки. Приведенные слова А. С. Пушкина часто приводится в исторической литературе — менее известно сравнение Аракчеева со Сперанским, данное Г. С. Батеньковым[1], который работал под началом обоих государственных деятелей.

***Из письма Г. С. Батенькова к императору Николаю I от 29 марта 1826 года:***

*«Аракчеев страшен физически, ибо может в жару гнева наделать множество бед; Сперанский страшен морально, ибо прогневить его значит уже лишиться уважения. Аракчеев зависим, ибо сам писать не*

[1] Данное Г. С. Батеньковым сравнение Аракчеева и Сперанского опубликовано в сборнике: Восстание декабристов. Документы. Том 14. М., 1976. С. 143.

*может и не учен; Сперанский холодит тем чувством, что никто ему не кажется нужным.*

*Аракчеев любит приписывать себе все дела и хвалиться силою у государя, всеми средствами; Сперанский любит критиковать старое, скрывать свою значимость и все дела выставлять легкими.*

*Аракчеев приступен на все просьбы к оказанию строгостей и труден слушать похвалы; все исполнит, что обещает. Сперанский приступен на все просьбы о добре; охотно обещает, но часто не исполняет; злоречия не любит, а хвалит редко.*

*Аракчеев с первого взгляда умеет расставить людей, сообразно их способностям, ни на что постороннее не смотрит; Сперанский нередко смешивает и увлекается особыми уважениями.*

*Аракчеев решителен и любит наружный порядок; Сперанский осторожен и часто наружный порядок ставит ни во что.*

*Аракчеев в обращении прост, своеволен, говорит без выбора слов, а иногда и неприлично; с подчиненными совершенно искренен и увлекается всеми страстями. Сперанский всегда является в приличии, дорожит каждым словом и кажется неискренним и холодным.*

*Аракчеев с трудом может переменить вид свой по обстоятельствам; Сперанский при появлении каждого нового лица может легко переменить свой вид.*

*Мне оба они нравились, как люди необыкновенные. Сперанского любил душою».*

В судьбах Аракчеева и Сперанского — двух крупнейших государственных деятелей России первой трети XIX века — было немало общего. Оба происходили из незнатных семей. Оба возвышались по ступеням государственной службы благодаря в первую очередь собственным талантам и трудолюбию. Благорасположения к себе со стороны высоких сановников и государей, без которого невозможно сделать успешную чиновничью карьеру, и Аракчеев, и Сперанский добивались своим умом, работоспособностью и исполнительностью.

Любопытно, что граф Николай Иванович Салтыков, в дом которого Алексей Аракчеев был вхож как учитель графского сына, являлся владельцем села Черкутино Владимирской губернии, в котором родился и провел свое детство Михайло Сперанский.

В 1809 году отношения между Аракчеевым и Сперанским были весьма прохладными: граф ревниво относился ко всем, кто заслонял его персону от государя, — будь это сановник или женщина. Так, он

невзлюбил красивую женщину — Марию Антоновну Нарышкину, и ненавидел ее только за то, что она была любовницей государя и часто и надолго уединялась с ним во дворце или на даче[1]. Когда и Сперанский стал уединяться с императором Александром, когда и с ним его величество стал проводить много времени в уединенных беседах, Аракчеев невзлюбил и Сперанского. Впрочем, и Михайло Михайлович весьма неуважительно относился в рассматриваемое время к графу. Н. И. Греч в своих «Записках» заметил: «Подле графа Аракчеева не мог существовать с честью и пользою никакой министр. С ним ладил только иезуит Сперанский». Так действительно и было, но лишь в последнее десятилетие царствования Александра I. В первое же его десятилетие Сперанский не только не ладил с графом Аракчеевым, но, кажется, особенно и не хотел ладить с этим тяжелым в общении человеком.

В декабре 1809 года между Сперанским и Аракчеевым разразился настоящий скандал, и спровоцировал его своим излишне пренебрежительным отношением к графу, занимавшему в то время пост военного министра, именно Сперанский. Михайло Михайлович завершал работу над проектом «Образования Государственного Совета». Текст этого проекта смотрели, помимо императора Александра, князь П. В. Лопухин, графы В. П. Кочубей, Н. И. Салтыков и Н. П. Румянцев. Графу же Аракчееву ознакомиться с ним не дали. Почувствовав себя оскорбленным таким пренебрежением к своей персоне, Алексей Андреевич пожаловался государю, и его величество приказал Сперанскому дать проект «Образования Государственного Совета» на прочтение также Аракчееву. Для передачи графу текста документа были назначены определенное время и место в Зимнем дворце. Алексей Андреевич приехал в назначенный час во дворец и стал ждать Сперанского, который должен был передать ему текст проекта. Михайло Михайлович вскоре тоже прибыл, но захватил с собою лишь оглавление проекта. Он сказал графу, что перескажет ему суть нового учреждения своими словами. Аракчеев пришел в страшный гнев, отказался что-либо слушать, наговорил Сперанскому грубостей и покинул дворец.

24 декабря Алексей Андреевич написал императору Александру весьма дерзкое письмо, в котором попросил увольнения от должности военного министра и, несмотря на упреки государя, настоял на

---

[1] См. об этом: *Томсинов В. А.* Аракчеев (Серия «ЖЗЛ»). М.: Молодая гвардия, 2003. С. 211–212.

своем. Его величество вынужден был после этого назначить Аракчеева председателем военного департамента Государственного совета.

Изгнание Сперанского из столицы и с государственной службы Алексей Андреевич воспринял как дурное для себя предзнаменование. В нижеследующих словах его из письма к брату Петру Андреевичу это настроение проступает предельно отчетливо.

***Из письма А. А. Аракчеева к П. А. Аракчееву от 3 апреля 1812 года:***

*«Милостивый государь любезной друг и брат Петр андреевич[1]. дружеские ваши письма — первое от 8, а последнее от 27 марта — мною получены, но последнее мне очень неприятно, что вы нездаровы. Берегитесь, у вас некому в болезнях и пособить. Теперь я рад, что нашол случай писать к вам не по почте, а с госп: хохряковым, то и намерен вам написать целую историю здешних произшествиев, и потом из оных вывесть и завлючение, касающееся собственно до нас.*

*Воина не избежна, и уже все воиски наши на границах, и главнокомандуюшие на своих местах, а и государь из с. петербурха выезжает завтре; место Его, а следовательно и всех с ним находящихся, предположено в вильне;1) воина предполагается самая жестокая, усильная, продолжительная, и со всеми возможными строгостями, о которых выдано конфермованное из четырех частей положение, коего один екземплар к вам при сем посылаю. Если вы поедете в армию, то возьмите его с собою, ибо оные книжки еще редки, то и надобны там будут...*

*Вы увидите в сих положениях строгую военную полицыю, которая должна все знать, и обо всем доносить, к сему употребятся те люди, которые к сему привыкли здесь, в с. петербурхе, и которые уже несколько лет живут счастливо на несчасье других людеи.*

*Теперь приступаю вам к описанию, что я думаю известно вам уже выезд из с. петербурха Госп: сперанскаго, и госп: магнитскаго; на их счет много здесь говорят нехорошаго, следовательно естли ето так, то оне и заслужили свою нынешнюю участь, но вместо оных теперь парьтия знатных наших господ зделалась уже чрезмерно сильна, состоящая из графов салтыковых, гурьевых, толстых и голицыных, — следовательно я не был спервыми в связях, был оставлен без дела, а*

[1] Я сохраняю орфографию данного письма в ее оригинальном виде.

*сими новыми патриотами равномерно нелюбим, так же буду без дела и без доверенности.*

*сие все меня бы не безпокоило, ибо я уже ничего нехочу, кроме уединения и спокоиствия, и предоставляю всем вышеписанным верьтеть и делать все то, что к их пользам; но безпокоит меня то, что, при всем оном положении, велят еще мне ехать и быть в армии без пользы, а как кажется только пугалом мирьским; и я верен, что приятели мои употребят меня в первом возможном случае там, где иметь я буду верной способ потерять жизнь, к чему я и должен быть готов; вот вам мое положение в ясности...*

*Теперь располагай сам, как ты хочешъ; я думаю выехать из петербурха около 15 апреля, следовательно на первых днях святой недели думаю быть в вильне; вотъ тебе мое положение, а душа моя всегда соединена с твоею, следовательно о дружбе братской моей к тебе нечего сумневатся, более ничего неимею писать, как только остаюсь невеселои твой брат и верный друг Граф Аракчеев»*[1].

Слова «невеселои твой брат», которыми Алексей Андреевич подписался под письмом, выражали его крайнюю озабоченность последними событиями и, как видно из содержания письма, больше всего беспокоила графа Аракчеева не надвигавшаяся война с Францией: он был душевно готов к ней и знал, какой она будет, поэтому с некоторым даже равнодушием писал, что война неизбежна и предполагается, что будет она «самая жестокая, усильная, продолжительная». Самую большую тревогу вызывало у Аракчеева удаление из Петербурга Сперанского с Магницким, вследствие чего, как он считал, «партия знатных наших господ сделалась уже чрезмерно сильна». Его опасение по поводу усиления аристократии в окружении императора Александра доходило до самой крайней степени: Алексей Андреевич начинал даже подозревать, что его отправили в стоявшую у западной границы России армию только для того, чтобы предоставить ему «верный способ потерять жизнь».

* * *

В 1816 году ситуация изменилась. Граф Аракчеев безраздельно господствовал в окружении Александра I. Он был управляющим Соб-

[1] Полный текст данного письма в первозданном виде был опубликован в 1874 г. в журнале «Русская старина» (Том 10. № 5. С. 190–192).

ственной Его Императорского Величества канцелярией, докладчиком государя по делам Комитета министров и Государственного совета, председателем военного департамента Правительствующего Сената. Император Александр имел к нему неограниченное доверие. А Сперанский был вообще отстранен от государственной службы: его единственным *полем* деятельности стало *Великое Поле* — как в старину именовали сельцо, в котором проживал опальный сановник. Это было его старинное название, превратившееся позднее в Великополье. В этих условиях у Аракчеева не было никаких причин недолюбливать Сперанского. И граф стал видеть в нем человека, который мог быть ему полезнейшим соратником на государственной службе и вернейшим союзником в политических интригах.

По этой причине Алексей Андреевич вполне искренно стремился возвратить Сперанского на государственную службу. По слухам, которые ходили в 1816 году среди сановников в Санкт-Петербурге, он регулярно заводил с императором Александром разговор о судьбе Сперанского и не упускал малейшего случая, дабы представить его государю с самой лучшей стороны.

Сперанский внимательно следил за слухами, распространявшимися в столице. И, пожалуй, многое знал об этой интриге Аракчеева. Приводившееся выше письмо, которое Михайло Михайлович написал графу в июле 1816 года, не могло бы иметь такого содержания и быть написано в таком тоне, если бы Сперанский не обладал твердой уверенностью в том, что найдет у Аракчеева полную поддержку своему желанию возвратиться на государственную службу. И не прилагал бы опальный сановник к тексту данного письма проект императорского рескрипта о своем назначении на государственную должность, если бы не был уверен в том, что он понадобится. Возможно, этому письму предшествовала устная договоренность Сперанского с Аракчеевым: она могла быть достигнута, например, во время их личной встречи в аракчеевском имении Грузино, находившемся в 70 верстах от Великополья.

Узнав 6 сентября из присланного графом Аракчеевым текста императорского указа о том, что ходатайства Аракчеева перед государем о возвращении его на государственную службу дали положительный результат, Сперанский обратился 14 сентября 1816 года к графу с просьбой о личной с ним встрече. «Довершите ваши ко мне милости, дозволив мне себя видеть или здесь, или в Грузине, — просил он. — Как скоро дозволите, то через час или два я буду в Нов-

городе. Не откажите, милостивый государь, в сей милости. Это есть первая необходимость сердца, исполненного благодарности». На оригинале этого письма, сохранившегося в архиве, рукою Аракчеева выведено: «Новгород. 15-го сентября, отвечал тот же час».

Михайло Михайлович отправился в Грузино сразу по получении ответа от графа Аракчеева. Он был тепло принят хозяином, имел с ним сердечный разговор. Проводив гостя, Алексей Андреевич пригласил к себе на вечерний чай домашнего своего доктора, а также протоиерея местного собора и в их присутствии завел разговор о только что уехавшем госте. «Знаете ли, какой это человек? — сказал он. — Если бы у меня была *треть* ума Сперанского, я был бы великим человеком!» Этими словами Аракчеев воздавал похвалу прежде всего своей собственной персоне: граф хотел показать, сколь искусно он может пользоваться умом. Но вместе с тем выражала эта фраза неподдельное восхищение Аракчеева способностями Сперанского. Те, кого Пушкин назвал гением Зла и гением Блага, хорошо понимали друг друга. И не удивительно, что на государственную службу Сперанский возвращался благодаря усилиям Аракчеева, и не было ничего странного в том, что в своем новом возвышении гений Блага опирался на гения Зла.

* * *

Собираясь в Пензу, Михайло Михайлович решил, что какое-то время, необходимое ему для бытового устройства на новом месте, дочь его должна пожить в Петербурге на попечении Марии Карловны Вейкардт. Кузьма Михайлович также отправился на зиму в столицу — поправить свое здоровье. Живший в Великополье Ф. И. Цейер получил в декабре чин статского советника и был определен на службу в Комиссию составления законов.

1 октября Сперанский выехал из Великополья в Пензу. Навестил по пути Москву, потом родное свое село Черкутино. Побыв немного у матери, повидав своих родственников, поехал во Владимир, в котором когда-то учился и где получил не только первоначальное образование, но и фамилию свою. Его родная семинария, которая в 1788 году была закрыта, снова возродилась. Сперанский посетил ее: его с почтением встретили у входа в здание ректор семинарии отец Иосиф, преподаватели и ученики. Среди них стоял и бывший его учитель — состарившийся уже протоиерей И. И. Певницкий. Вместе с ним Михайло Михайлович пошел по классам. В богослов-

ском классе увидел профессора П. И. Подлинского — своего сокурсника в Санкт-Петербургской Главной семинарии.

После обеда с местным губернатором Сперанский навестил еще нескольких своих родственников и поздним вечером покинул Владимир.

В то время, когда Михайло Михайлович ехал в Пензу, туда везли Указ Правительствующего Сената от 26 сентября 1816 года. В нем излагался текст императорского Указа от 30 августа о назначении Сперанского Пензенским губернатором и следующее сенатское предписание: «Правительствующий Сенат приказали: сие Всемилостивейшее Его Императорского Величества повеление объявить с приведением к присяге».

Это означало, что перед своим вступлением в должность Пензенского губернатора Сперанский обязан был принести императору Александру присягу. Его государственная служба начиналась как бы заново — он вступал в нее так, будто был в России *иностранцем*.

## *Глава восьмая*

# Пензенский губернатор

*Жизнь губернаторская тем, между прочим, несносна, что везде и во всем надобно быть на сцене и более или менее действующим лицом.*

**Михаил Сперанский**

***Из письма М. М. Сперанского дочери Елизавете от 22 октября 1816 года:***

*«Третьего дни, в три часа утра наконец достиг я Пензы. В 7 часов я был уже в мундире и на службе*[1]*. Стечение зрителей необыкновенное. В крайней усталости Господь дает мне силы. Доселе все идет весьма счастливо. Кажется, меня здесь полюбят. Город, действительно, прекрасный... Приносят с почты письма; множество вещей приятных от друзей из Петербурга — но от тебя ни строчки. Это не упрек и не жалоба».*

Известие о том, что Сперанский возвратился на государственную службу, восприняли в Санкт-Петербурге примерно так же, как приблизительно за полтора года до этого воспринята была весть о возвращении Наполеона с острова Эльбы в Париж. «Самая странная и поражающая новость» — так назвал сообщение о назначении Сперанского Пензенским губернатором Н. М. Логинов в письме к графу С. Р. Воронцову от 8 сентября 1816 года. «Новость первой важности, как для Петербурга, так и для всей России: снята опала со Сперанского», — писал своему королю 31 октября того же года сардинский посланник Жозеф де Местр.

Возвращение на государственную службу удивляло и самого Сперанского. Он столько раз говорил себе и своим близким, что более всего желает «свободы и забвения». И у государя просил дозволить ему тихую жизнь в деревне. И вот, когда желание его исполнилось, когда получил он возможность свободно предаваться в тиши дере-

---

[1] Отсюда следует, что Сперанский вступил в должность Пензенского губернатора 19 октября 1816 г.

венского существования своим любимым занятиям: чтению книг и размышлениям — вдруг произошло возвращение его к суетливой чиновничьей службе. И притом всецело добровольное. Пытаясь объяснить случившееся с ним, Михайло Михайлович останавливался в недоумении: «Явное противоречие: всю жизнь желать покоя и уединения, и в самую почти минуту события опять погнаться за суетою!»

Настроение Сперанского после назначения его Пензенским губернатором было не слишком радостным. «Указ получил я прямо от графа Аракчеева из Москвы, — писал Михайло Михайлович другу своему А. А. Столыпину 6 сентября 1816 года. — Будет ли сие началом новой службы или последним ее пределом, все равно; дело мое кончено, и никто пусть мне не говорит о прошедшем; я всем простил и прощаю».

Но сановники, прекратившие всякое общение со Сперанским после его изгнания из Санкт-Петербурга, когда узнали о том, что он возвращен императором на государственную службу, решили напомнить ему о себе и выразить свое уважение. «Приемлю сей случай для принесения вам, милостивый государь мой, искреннего приветствия со вступлением вновь на путь государственного служения, на котором известные достоинства ваши, конечно, возвратят вам в полной мере доверенность монарха», — написал 16 октября 1816 года новому Пензенскому губернатору министр юстиции Д. П. Трощинский. Две недели спустя поздравил Сперанского с назначением на губернаторский пост светлейший князь П. В. Лопухин, занимавший в то время должность председателя Государственного совета и Комитета министров. «Я всегда искренне вас любил и почитал и прошу быть уверенным, что чувства сии сохраню, пока жив», — изливался он 30 октября 1816 года в письме к бывшему своему подчиненному по генерал-прокурорской службе.

О своем прибытии в Пензу Сперанский немедленно сообщил графу Аракчееву. Алексей Андреевич написал ему ответное письмо только через месяц с лишним, но это письмо было весьма необычным для строгого, не склонного к выражению лирических настроений, временщика.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Аракчееву от 28 ноября 1816 года:***

*«Благодарю вас, что вы уведомили меня о благополучном своем прибытии к месту. Сожалею, что моя Гру́зинская пустыня не в Пензен-*

*ской губернии; она бы, конечно, усовершенствовалась, имея такого начальника как ваше превосходительство. Но я уверен, что вы и в Пензе вспомните как сию пустынь, так и игумна оной, который ничего так не желает, как жить в оной спокойно и тогда-то, ваше превосходительство, будет приятно принять и посещение ваше, в чем я, кажется, и не сомневаюсь. Хотя вы, милостивый государь, по знаниям вашим и нужны государству на службе, но всему есть граница и предел, то может быть, еще и вы, под старость свою, оснуете спокойствие свое также в Новгородских пределах и тогда-то Грузинский игумен будет приезжать к вам наслаждаться беседами вашими и вспоминать прошедшее, приготовляясь оба к будущему; и сим-то только, кажется, способом можно спокойно и равнодушно войти в врата вечные. Я сегодня еду в свою пустыню праздновать храмовой праздник св. апостола Андрея*[1]*, где, конечно, буду помнить и того, коему с почтением пребуду навсегда, и пр.».*

Граф Кочубей в момент назначения Сперанского Пензенским губернатором пребывал в Италии и узнал об этом событии из письма Натальи Кирилловны Загряжской, родной тетки своей супруги Марии Васильевны. О чувствах, с которыми Виктор Павлович воспринял восстановление бывшего своего подчиненного на государственной службе, он расскажет ему только после своего возвращения в Россию. При этом Кочубей вспомнит в письме к Сперанскому про его удаление с государственной службы в 1812 год и про свое молчание во все время его опалы. Он попытается оправдать свое малодушие, проявленное тогда, но будет делать это как-то неловко — с помощью примитивного вранья.

***Из письма В. П. Кочубея М. М. Сперанскому от 4 сентября 1818 года:***

*«Возвратясь из путешествия моего в чужих краях*[2]*, горестными обстоятельствами моими вынужденного, немалое удовольствие нахожу я, милостивый государь мой Михайло Михайлович, возобновить с вами прежние мои сношения. Если с 1812 году оставался я в молчании, то легко вы себе представить можете, что оно было для меня столько же прискорбно, сколько и самое положение ваше. Никогда не мог я во-*

[1] Данный праздник приходился на 30-е ноября.

[2] В. П. Кочубей возвратился из Италии в Россию в конце июля 1818 г.

*образить, чтоб могло иметь какое-либо основание взведенное что-то на вас неприятелями вашими, ибо и досель я ничего о сем не знаю; но как столь гласное удаление вас знаменовало гнев Высочайший, то я, почитая оный как должно, ожидал в молчании, чтоб вера Его Величества была просвещена и всегдашняя его склонность к благотворению обратилась на вас. В Италии известился я, чрез посредство Натальи Кирилловны, о случившейся перемене в положении вашем, и я не скажу вам ничего нового, если удостоверю вас, что известие сие было для меня и для жены моей одно из приятнейших, какое давно мы имели. Сожалею несказанно, что государь и государство лишились в продолжение многих лет полезных трудов ваших и, проклиная интриги и интригантов, кои везде и всегда были пагубны, я искренно желаю, чтоб угнетавшие душу вашу происшествия не отняли у вас склонности к занятиям общественным. Чем более живу я, чем более с летами приобретаю опытности, чем более вникаю в положение дел наших, тем более удостоверяюсь, что государь не может употребить достаточно стараний, дабы везде отыскивать людей способных. Без них никакие учреждения, сколько бы они совершенны ни были, не пойдут. Намерения Его Величества самые лучшие везде заградятся или незнанием, или грубым, но скрытным, сопротивлением».*

Не надо было Виктору Павловичу писать в этом письме о том, что не мог он никогда вообразить, чтобы могло иметь «какое-либо основание» взведенное «что-то» на Сперанского его врагами. Михайло Михайлович был осведомлен о том, что на самом деле Кочубей в 1812 году вполне допускал обоснованность обвинений, бросавшихся в адрес бывшего его подчиненного.

На следующий день после высылки опального реформатора из Петербурга в Нижний Новгород П. Г. Масальский посетил графов В. П. Кочубея и П. А. Шувалова. Обоих просил он, дабы употребили они все средства для того, чтобы государь истребовал у Сперанского письменное объяснение относительно возведенной на него клеветы. Граф Шувалов выразил в ответ на эту просьбу свою готовность помочь Сперанскому и просил Петра Григорьевича сообщить Михайле Михайловичу, что ежели нужно ему будет подать через него письмо государю, то он тотчас это исполнит. Реакция же Кочубея оказалась совершенно другой: Виктор Павлович стал спрашивать о причинах высылки Сперанского из Петербурга. И когда Масальский сказал, что уверен в невиновности Сперанского, задал странный вопрос, а именно: великое ли богатство имеет Михайло Михайлович? Масаль-

ский постарался уверить проявившего странную подозрительность Кочубея в том, что все богатство Сперанского состоит лишь из жалованья, которое он получал на государственной службе, да в деньгах, сбереженных после продажи всемилостивейше пожалованных ему саратовских земель, и заключается в пятидесяти тысячах рублей ассигнациями, если только какая-то часть этой суммы не была прожита им в течение прошедшего времени. К этому Петр Григорьевич добавил, что счета, которые должны храниться в кабинете Сперанского с 1798 года, откроют и его недостатки, и крайне умеренную его жизнь. Однако эти уверения любопытства Кочубея не прекратили: он задал Масальскому еще один вопрос, который вызвал у собеседника такое удивление, что Виктор Павлович сам почувствовал его странность и переменил тему беседы. О своих посещениях графов Кочубея и Шувалова и о разговорах с ними и в том числе о странных вопросах Кочубея Масальский подробно написал в письме Сперанскому[1], которое переправил ему еще в 1812 году и не по почте, а через одного надежного человека.

Вполне вероятно, что только назначение Сперанского на должность Пензенского губернатора заставило графа Кочубея поверить в его невиновность и в ложность бросавшихся в его адрес накануне Отечественной войны обвинений.

* * *

Биографы писали впоследствии, что, пребывая в Пензе, Сперанский «брезгал своею должностию» и мало уделял внимания делам. Действительно, бывший всего пять лет назад первым сановником Российской империи, он тяготился своей губернаторской должностью, звал ее пренебрежительно «инвалидною». Но пренебрегая *должностью*, Сперанский отнюдь не пренебрегал *делами*.

Немедленно по прибытии в Пензу, Михайло Михайлович принялся наводить порядок в самом губернском управлении: упорядочил и рационализировал делопроизводство, страшно запущенное при прежних губернаторах, ускорил рассмотрение годами тянувшихся судебных тяжб, развернул активную борьбу со злоупотреблениями местных чиновников. Аппарат управления губернией новый Пензенский губернатор обновил за короткое время почти полностью.

---

[1] См.: Дружеские письма графа М. М. Сперанского к П. Г. Масальскому. СПб., 1862. С. 14–15.

В обращении с чиновниками он всячески отличал людей умных и способных, приближал их к себе, награждал, советовал трудиться с большим рачением, упорством и энергией, говоря, что только такой труд откроет для них «путь к успехам и счастию». В частности, им был принят на работу в канцелярию выпускник местной духовной семинарии двадцатилетний Козьма Григорьевич Репинский. Долгие годы он будет личным секретарем Сперанского и впоследствии сделает очень успешную карьеру на государственной службе, достигнув чина действительного тайного советника.

«Хотите ли знать образ моей жизни, — сообщал Сперанский 31 октября 1816 года П. Г. Масальскому. — Утро — в губернском правлении. Обедаю каждый день на большом званом обеде у здешних весьма избыточных дворян. Вечер — дела уголовные. Сплю прекрасно и давно уже не бывал так бодр и здоров. Со временем надеюсь быть свободнее, когда очищу губернское правление и земские суды от множества запущенных дел». Ему же — 20 ноября: «Новость дел и лиц окружила меня здесь как бы туманом».

Из-за навалившихся дел Михайле Михайловичу пришлось даже отложить на время свои занятия языками. В письме к своей дочери Елизавете от 31 октября 1816 года он сетовал на то, что вынужден временно разлучиться со своими «греческими и еврейскими седыми бородами». Позднее, когда появится свободное от дел губернского управления время, Сперанский возобновит занятия древними и современными языками. Он изучит, в частности, — и причем всего за три месяца — немецкий язык, да так что сможет свободно читать и объяснять произведения немецких поэтов: Фридриха Готлиба Клопштока и Иоганна Фридриха Шиллера.

За весьма короткое время — уже к концу 1816 года — новый Пензенский губернатор разработал на основе сведений, предоставленных местной полицией, и чертежей местного землемера конкретный план благоустройства территории города Пензы и тотчас же принялся за его практическое осуществление. Данный план делился на статьи «общие» и «особенные». В «статьях общих» говорилось: «Во всех улицах ветхие заборы должны быть исправлены и приведены в такой вид, как около дома и сада господина губернского предводителя и все должны быть выкрашены желтою краскою; колодцы на улицах или исправить и вместо оцепов поставить колесо на двух столбах и сделать обрубы с крышками, выкрасив их желтою краскою или же вовсе уничтожить и выровнять. Полисады перед домами ветхие снести. Поперечнные мосты в проулках сделать все одинакие во всю ши-

рину улиц так же точно, как на базарной площади и выкрасить, а по сторонам мостов от канавок сделать надолбы». В «статьях особых» Сперанский расписал порядок благоустройства каждой городской улицы и площади. Так относительно Верхней городской площади в плане говорилось: «Площадь выпланировать, от собора лес и кирпичи убрать, так чтобы к первому маю все было чисто». Планом Сперанского предписывалось снести «неуклюжие строения», выровнять улицы, отремонтировать дома и т. п.[1] Надзор за исполнением плана благоустройства городской территории Пензенский губернатор поручил местной полиции, но и сам постоянно следил за тем, как идут работы. В результате через два года Пенза изменилась по сравнению с 1816 годом неузнаваемо: загроможденные и грязные прежде площади стали просторными, улицы чистыми, дома красивыми.

Верный своей идее о первостепенной важности для будущего России просвещения Сперанский активно взялся за организацию в Пензенской губернии уездных училищ.

16 января 1817 года Михайло Михайлович сообщал из Пензы графу Аракчееву: «Пребывание мое здесь день ото дня становится лучше и тверже. И в малом круге есть много упражнений». К весне Сперанский настолько втянулся в пензенские дела, что решил окончательно остаться в этой губернии. Одолжив деньги, он купил здесь небольшое имение Хоненевку.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Аракчееву.***
***Пенза. 27 марта 1817 года:***

*«Пристрастие мое к здешнему краю основано на причинах весьма твердых. Здесь, в первый раз после пятилетнего моего странствования нашелся я в некоторой свободе, без подозрений и надзора и с уверенностию быть кому-нибудь и сколько-нибудь полезным. Присоедините к сему, что край сей и сам по себе есть действительно край благословенный как по плодородию земли, так и по свойству людей. Не скрою от вашего сиятельства, что помышляю даже о продаже Великополья. Купив здесь деревню в 300 душ, сделав, следовательно, долги, не знаю еще, могу ли оборотиться в них одною продажею петербургского дома».*

[1] Подробное описание составленного Сперанским плана благоустройства Пензы дано в документе, который хранится в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (Фонд 357, А. В. Храбровицкий. К. 1. Ед. хр. 48).

* * *

Желание стать пензенским помещиком возникло в Сперанском не только вследствие того, что земля была здесь плодороднее, чем в Новгородской губернии и позволяла получать с имения больший доход, но и потому, что он нашел в Пензе круг людей, общение с которыми могло скрашивать его жизнь и на которых он мог в тяжелых обстоятельствах опереться. Это были, в первую очередь, родственники его друга А. А. Столыпина, составлявшие один из самых знатных и влиятельных в Пензенской губернии дворянских кланов. Богатые помещики, они ценили искусство, литературу, музыку, старались детям своим дать самое лучшее образование.

Глава клана Столыпиных — отец Алексея Аркадьевича — Алексей Емельянович Столыпин являлся в 1787–1789 годах[1] пензенским губернским предводителем дворянства и одновременно предприимчивым купцом, состоятельным помещиком. К началу 90-х годов XVIII века ему принадлежали только в Пензенской губернии шесть сел и деревень с 1046 крепостными крестьянами обоего пола, а также дома в Пензе, Москве и Петербурге. Был у него свой театр, в котором актерами состояли крепостные[2].

Свое богатство А. Е. Столыпин частью унаследовал от отца, но в большей мере нажил сам — на винных откупах, поставляя в Санкт-Петербург и другие российские города крупные партии вина, произведенного на собственных винокуренных заводах, которые были им устроены в принадлежавшей ему деревне Столыпино (Архангельское) в Городищенском уезде Пензенской губернии[3]. Эта деятельность связала Алексея Емельяновича с крупными столичными вельможами, которые за плату помогали ему получить выгодные заказы от казны на поставку вина. Некоторые вельможи сами не чурались заниматься поставками вина. Одним из них был, например, Алексей

---

1 По некоторым данным, в первый раз А. Е. Столыпин стал пензенским губернским предводителем дворянства в 1780 г.

2 Впоследствии, уже при Александре Первом, дела Алексея Емельяновича пойдут не слишком успешно и он примет решение продать театральную труппу. Актеры обратятся к императору с просьбой купить их для государственного театра. Его величество удовлетворит их желание: купленные казной у А. Е. Столыпина за 32 000 рублей актеры получат свободу и положат основание труппе Московского Малого театра.

3 Существуют сведения о том, что винокуренный завод был устроен А. Е. Столыпиным и в городе Пензе.

Борисович Куракин. Однажды он оказался не в состоянии исполнить свои обязательства по договору с казной, и А. Е. Столыпин поставил крупную партию вина за него. Став генерал-прокурором, князь Куракин отблагодарил своего компаньона тем, что принял на службу в свою канцелярию его сына Аркадия. Именно в куракинском доме Аркадий Алексеевич и познакомился со Сперанским.

Помимо сына Аркадия, родившегося в 1778 году, в семье Алексея Емельяновича Столыпина и его жены Марии Афанасьевны (в девичестве Мещериновой) было пятеро сыновей[1] и пять дочерей. Старшей из их дочерей была Елизавета Алексеевна, родившаяся в 1773 году[2]. В 1794 году она вышла замуж за Михаила Васильевича Арсеньева[3], а в 1795 году родила дочь Марию. В то время, когда Сперанский прибыл в Пензу, Мария Михайловна была замужем за Юрием Петровичем Лермонтовым. В 1814 году у них родился сын Михаил, которому суждено было стать великим русским поэтом.

Во время пребывания Сперанского в Пензе Аркадий Алексеевич Столыпин был в Санкт-Петербурге. В 1812 году он служил в Сенате — после изгнания Сперанского из столицы ему пришлось оставить службу. Но Аркадий Алексеевич не перестал общаться со своим другом. Он не только не прекратил переписки с опальным санов-

---

[1] Старший сын Алексея Емельяновича — Александр Столыпин родился в 1774 г., в 1795 и 1797 гг. он служил адъютантом у А. В. Суворова. Умрет он в 1847 г. в Симбирске в чине коллежского асессора. После Аркадия у четы Столыпиных родился в 1780 г. сын Петр, но прожил он всего семнадцать лет. Родившийся в 1781 году сын Николай будет участником Отечественной войны 1812 г., станет впоследствии генерал-лейтенантом, в 1830 году его, командира Ямбургского полка и временного военного коменданта Севастополя убьет толпа во время чумного бунта. Младшему сыну Столыпиных Афанасию, который появился на свет в 1788 г., также доведется участвовать в войне 1812 г. Он геройски проявит себя в Бородинском сражении и будет удостоен за храбрость шашкой, украшенной золотом. Выйдя в отставку в чине штабс-капитана, он станет предводителем дворянства Саратовской губернии. Умрет в 1864 г. Дмитрий Алексеевич Столыпин, родившийся в 1785 г., также выбрал своей стезей военную службу, которую начал в 1801 г. В 1804 г. он получил первый офицерский чин, состоя на службе в гвардейской артиллерии. Во время Отечественной войны 1812 г. был произведен в чин капитана, в 1813 г. стал полковником, в 1820-м — генерал-майором. Умрет Дмитрий Алексеевич Столыпин 3 января 1826 г. Его сын Аркадий был отцом выдающегося государственного деятеля России Петра Аркадьевича Столыпина.

[2] После Елизаветы в семье Алексея Емельяновича и Марии Афанасьевны Столыпиных родились дочери: Екатерина Алексеевна (1775–1830), Александра Алексеевна (1777– ?), Татьяна Алексеевна (1782– ?), Наталья Алексеевна (1786–1851).

[3] Михаил Васильевич Арсеньев родился в 1763 г., в 1810 г. он покончил жизнь самоубийством.

ником, но время от времени навещал его, дабы поддержать его дух в несчастии. Сперанский со своей стороны мог помочь ему разве только советами. 13 февраля 1816 года он писал Аркадию Алексеевичу из Великополья: «В письмах ваших, говоря непрестанно обо мне, вы ничего еще не сказали мне о себе. Неужели не сделали вы никакого шагу для помещения в службу, и какое было последствие. Кажется, путь через к[нязя] Лопухина был бы для вас наименее тягостным и наиболее приличным, а говорят, что он в силах. Но на месте вы лучше это знаете. Надеюсь, что в первом письме вы мне что-нибудь о сем скажете. Прощайте, душевно вас обнимаю»[1].

Получив 6 сентября 1816 года известие о своем назначении на губернаторство в Пензу, Михайло Михайлович в тот же день написал своему верному другу: «Нет, любезный мой Аркадий Алексеевич, вы так легко от меня не отделаетесь, мне необходимо должно с вами повидаться и получить от вас сведения о лицах и делах в Пензе... Уверяю вас, что без свидания с вами я отсюда не двинусь, а если и двинусь, то на ваш счет поставлю все ошибки и глупости, которые неминуемо в Пензе сделаю, когда пущусь туда, как в лес без вожатого...»

Пребывая в Пензе, Сперанский писал письма Аркадию Алексеевичу почти каждую неделю[2]. В них он рассказывал о событиях своей пензенской жизни, даже о самых мелких; о проблемах, с которыми

---

[1] Это письмо Сперанского к А. А. Столыпину примечательно еще тем, что в нем упоминается отец убийцы поэта Михаила Лермонтова Николая Соломоновича Мартынова. «Я не помню, любезный мой Аркадий Алексеевич, — писал Михайло Михайлович, — просил ли я вас о дрожках, оставшихся в Нижнем у Соломона Михайловича. Весьма бы я желал, если бы мог он мне их нынешним зимним путем доставить. Но при сем я бы желал, чтобы он не счел сие каким-либо с моей стороны притязанием: ибо поистине я столь много обязан был дружеским его расположением, что не хотел бы никак его оскорбить. Вы сладите сие — умненько и без лишнего моего настояния». Как видно из содержания письма, отец убийцы поэта Лермонтова, проживавший в Нижнем Новгороде, очень хорошо относился к высланному в этот город опальному сановнику Сперанскому. Соломон Михайлович Мартынов был пензенским помещиком — принадлежавшие ему села Липяги Инсарского уезда и Кучки Пензенского уезда располагались по соседству с селами Столыпиных. В Нижнем Новгороде он занимался винными откупами, здесь и родился в 1815 г. его сын Николай.

[2] Эти письма потом бережно хранились в семье сына Аркадия Алексеевича — Дмитрия Аркадьевича, который часть этих писем опубликовал (см.: журнал «Русский архив» за 1869 г. и 1871 г.). Бóльшая же часть писем М. М. Сперанского к А. А. Столыпину до сих пор остается неопубликованной и хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства. См.: РГАЛИ. Ф. 195. Оп. 1. Д. 5933. Л. 51, 61–64, 66–86, 93–94, 99–106, 108–117, 148–153, 161–164, 168–170, 190–192.

сталкивался; делился с другом своими мыслями и настроениями, вызванными губернаторской деятельностью. Аркадий Алексеевич, в свою очередь, одолжил Сперанскому 50 000 рублей на обустройство дома в Пензе, представил его своим пензенским родственникам.

Губернским предводителем пензенского дворянства стал незадолго до приезда Сперанского в Пензу Григорий Данилович Столыпин[1], женатый на младшей сестре Аркадия Алексеевича Наталье Алексеевне Столыпиной. У супругов был общий предок — Сильвестр Афанасьевич Столыпин, пожалованный в 1672 году в московские дворяне и умерший в 1683 году. Михайло Михайлович подружился с этой семьей. Их домашний учитель Густав Вильде, выпускник Дерптского университета, будет впоследствии сопровождать Сперанского в поездке по Сибири.

В начале ноября 1816 года в Пензу приехала Елизавета Алексеевна Арсеньева с намерением навестить заболевшего отца и познакомиться с новым губернатором. Михайло Михайлович был в гостях у Столыпиных и видел ее и Алексея Емельяновича, очень растроганного преподнесенным ему портретом внука Николая — двухлетнего сына Аркадия Алексеевича[2].

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину от 7 ноября 1816 года:***

*«Батюшка ваш принял портрет Николеньки со слезами. Он очень слаб телом, но довольно бодр еще духом, а особливо поутру. Вечер играет в карты, обедает всегда за общим столом, хотя и не выходит из тулупа. Ноги очень плохи. Прекрасная вещь видеть, как водят его ваши сестрицы (Наталья и Александра Алексеевны. — В. Т.) из одной комнаты в другую: ибо один он пуститься уже не смеет. Одно слово о Кавказе веселит его, как ребенка, и я уверен, что он может еще там помолодеть и запастись здоровьем на долгое время. Он отправляется туда в марте; но собирается уже и ныне. Елизавета Алексеевна также здесь. Не знаю, увижу ли Лермонтовых. Трудности в помещении, все*

---

1 Григорий Данилович Столыпин (1773–1829) будет занимать должность пензенского губернского предводителя дворянства до 1821 г.

2 Николай Аркадиевич Столыпин родился 27 июня 1814 г. Впоследствии станет известным дипломатом, камергером и тайным советником. Будет занимать должности поверенного в делах в Карлсруэ (1854–1865), посланника в Вюртемберге (1865–1871) и в Нидерландах (1871–1884). Умрет в 1884 г.

*дома набиты приезжими, и зиму обещают ныне весьма многолюдную. Александра Алексеевна в одном положении. Ей необходимо нужно переменить место пребывания. Но куда? С Григорием Даниловичем мы в больших ладах, и, кажется, дело обойдется без большой мудрости. С Михениным началась дружба; со всеми прочими мир и благоволение. Пиры еще продолжаются, и не знаю, когда из них выйду. Признаюсь, я не ожидал ни столько внимания, ни столько умения жить. Здешнее общество нигде не испортить. Дела чрезмерно запутаны, но кажется, обойдется с моей стороны без крику, ибо криком ничего не поправить, и сверх того все так покорно, что и осердиться совестно...»*

23 ноября 1816 года Михайло Михайлович писал в Санкт-Петербург Аркадию Алексеевичу: «Батюшка и все ваши родные, в том числе и я, который в любви к вам никому из них не уступлю, поздравляем вас и Веру Николаевну с новорожденным. Да приосенит его Господь всеми своими милостями». Новорожденным, о котором шла речь в приведенных строках, был появившийся на свет 14 ноября сын друга Сперанского Алексей. Впоследствии Алексей Столыпин — «Монго» — будет учиться в одной юнкерской школе с Михаилом Лермонтовым и станет ему ближайшим приятелем, соратником по военной службе, секундантом обоих его дуэлей.

Тем временем Сперанский хлопотал о возвращении А. А. Столыпина на государственную службу. «Вам известна моя к нему и ко всему дому их привязанность, — обращался Михайло Михайлович к О. П. Козодавлеву. — Он желает службы, а я нахожу ее для него необходимою». В декабре 1816 года эти хлопоты принесли плоды: Столыпин был восстановлен на службе в Правительствующем Сенате.

В январе 1817 года Сперанский узнал о болезни племянницы Аркадия Алексеевича Марии Михайловны Лермонтовой, проживавшей в Тарханах — в имении своей матери Елизаветы Алексеевны, располагавшемся в 110 верстах от Пензы. «У нас нового почти нет, — сообщал Михайло Михайлович А. А. Столыпину из Пензы в Петербург. — Есть одна новость для вас печальная, племянница ваша Лермонтова весьма опасно больна сухоткою, или чахоткою. Афанасий и Наталья Алексеевна отправились к ней, т. е. к сестрице вашей, в деревню, чтобы ее перевезти сюда. Мало надежды, а муж в отсутствии».

Перевезти в Пензу больную Марию Лермонтову не удалось. Ее состояние стремительно ухудшалось. «Дочь Елизаветы Алексеев-

ны без надежды, но еще дышит», — писал Сперанский Столыпину в письме 20 февраля 1817 года. Через четыре дня Мария Лермонтова скончалась[1]. Михайло Михайлович, как только узнал об этой печальной вести, сел писать письмо другу.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину от 27 февраля 1817 года:***

*«Странно, любезный мой Аркадий Алексеевич, что я получаю письма ваши, как от больного, а отвечаю к вам, как к здоровому, столь крепка надежда моя на Бога, что он не допустит вас страдать долго. Последнее письмо, писанное рукою Веры Николаевны, меня, однако, поколебало. Сие уже слишком продолжительно. Вы отдали справедливость моим чувствам, не пропустив почты, и хоть в трех строчках дали мне знать, что вам, по крайней мере, не хуже. Надеюсь, что настоящее мое письмо получите вы в выздоровлении, и в сей надежде не колеблюсь сообщить вам вести о племяннице вашей Лермонтовой. Нить, на которой одной она столько времени висела, наконец, пресеклась. Наталья Алексеевна отправилась в деревню и, вероятно, привезут сюда Елизавету Алексеевну. Батюшка ваш все сие переносит с бодростию и удивительной кротостию. Ныне у него должно учиться истинной философии...»*

Как человек близкий к семье Столыпиных, Сперанский был хорошо осведомлен о ее внутренних проблемах. «Бог даровал сестрице вашей Наталье Алексеевне дочь Феоктисту, — писал он Аркадию Алексеевичу 5 июня 1817 года. — Ожидаем сего дня Афанасия, а за ним и Елизавету Алексеевну. Ее ожидает крест нового рода. Лермонтов требует к себе сына. Едва согласился оставить еще на два года. Странный и, говорят, худой человек. Таким, по крайней мере, должен быть всяк, кто Елизавете Алексеевне, воплощенной кротости и терпению, решится делать оскорбления...»

---

[1] Мария Михайловна Лермонтова умерла в Тарханах и там же была похоронена 27 февраля 1817 г. в семейном склепе рядом с прахом отца Михаила Васильевича. На ее могиле был установлен памятник из серого гранита, увенчанный бронзовым крестом со сломанным якорем, — знаком несбывшейся судьбы. На памятнике высечена была надпись: «Под камнем сим лежит тело Марии Михайловны Лермонтовой, урожденной Арсеньевой, скончавшейся 1817 года февраля 24 дня, в субботу, житие ее было 21 год и 11 месяцев и 7 дней».

12 июня 1817 года Михайло Михайлович сообщал Столыпину в Петербург: «Елизавета Алексеевна здесь и с внуком своим, любезным дитем. Она совершенная мученица-старушка. Мы решили ее здесь совсем основаться»[1]. Приехала в Пензу сестра Аркадия Алексеевича по очень важному для себя делу. 13 июня 1817 года в Пензенской гражданской палате Сперанский заверил своей подписью, в числе других свидетелей, завещание Елизаветы Алексеевны, определявшее судьбу ее внука Михаила Лермонтова — ужасную участь жить в разлуке со своим отцом. 44-летняя «мученица-старушка» сделала условием получения наследства внуком его пребывание по жизнь ее или до времени его совершеннолетия на ее воспитании и попечении без всякого на то препятствия со стороны его отца и ближайших родственников последнего. В качестве оправдания столь жестокого условия Елизавета Алексеевна указывала на свою «неограниченную любовь и привязанность» к внуку как к «единственному предмету услаждения» остатка ее дней и «совершенного успокоения» горестного ее положения.

* * *

Общение Сперанского со Столыпиными, особенно интенсивное в первый год пребывания его в Пензе, помогло ему быстро войти в жизнь местного общества, проникнуться его духом и стать своим в общественной среде, изначально ему чужой и чуждой. Весной 1817 года Михайло Михайлович писал дочери в Петербург: «Ты хочешь, чтобы я дал тебе понятие о Пензе. Поставь в некоторую цену, что я о ней перед тобою столь долго молчал или мало говорил. Я боялся тебе ее хвалить, точно так как та мать, которая боялась, чтоб ее ребенок не попросил себе луны. Скажу вообще: если Господь приведет нас с тобою здесь жить, то мы поживем здесь покойнее и приятнее, нежели где-либо и когда-либо доселе жили. Правда, что мы с тобою и не избалованы, но и то правда, что здесь люди, говоря вообще, предобрые, климат прекрасный, земля благословенная».

Елизавета Сперанская приехала в Пензу вместе с Марией Карловной Вейкардт 22 июля 1817 года и оставалась там до конца сентября 1818 года. Она отпраздновала с отцом в этом городе восемнадцатый и девятнадцатый дни своего рождения. Пензенский губернатор

[1] 7 августа 1817 г. Сперанский сообщил А. А. Столыпину: «Елизавета Алексеевна также здесь поселилась и на первый раз живет в доме Дубенского».

более года являлся одновременно и преподавателем, занимаясь со своей дочерью различными науками в присущей ему свободной манере. По возвращении в Санкт-Петербург Елизавета Сперанская рассказывала графу Кочубею и его супруге Марии Васильевне об отце и своей пензенской жизни, а также о том, что узнала за прошедший год. 18 октября 1818 года Виктор Павлович написал Михайле Михайловичу в Пензу о своих впечатлениях после общения с его дочерью: «Признаюсь вам, что образование ее немало меня удивило. Мне представлялось вещью невозможною в Перми и Пензе иметь средства к воспитанию. Г[осподин] Цейер просветил меня, изъясняя, что занимались оным вы исключительно».

Елизавета была в Пензе, когда в начале августа 1817 года в гости к ее отцу приехал М. Л. Магницкий. 14 июня он был назначен на должность гражданского губернатора в Симбирск, и после того, как в конце июля сдал дела новому Воронежскому губернатору, решил заехать к своему старшему другу и сослуживцу, с которым в один и тот же день был изгнан из столицы и с государственной службы, затем — так же в один день — возвращен из ссылки и на службу. 12 сентября 1817 года Михаил Леонтьевич писал из Симбирска Сперанскому: «Я так привык любить вас, что не могу быть покоен, как скоро хоть пылинка лежит на дружбе нашей. Благодаря Богу мы ее сняли. Пребывание мое в Пензе будет для меня незабвенно».

Сперанский не мог не казаться жителям Пензы человеком диковинной натуры. Обходительный в обращении со всеми, в том числе и с простыми людьми, не позволявший себе злоупотреблений, обыкновенных для российского губернатора и потому привычных для населения, он отличался от всех своих предшественников на посту Пензенского губернатора.

Князь Григорий Сергеевич Голицын, у которого Сперанский принимал дела по управлению Пензенской губернией, порезвился на губернаторской должности всласть. Если кто-то говорил, к примеру, что вся Пенза плясала под его дудку, то он был прав вдвойне, поскольку это происходило не только переносном смысле, но и в самом что ни на есть буквальном. Губернатор Голицын имел страсть к карнавалам и часто заставлял пензенцев наряжаться и плясать, причем не смущался выделывать это даже в тяжелейшие для России дни Отечественной войны.

Следует заметить, что поначалу к Сперанскому относились в Пензе с большой настороженностью: в провинциях все еще носился слух о его измене и разных противных интересам дворянства

делах. Но спустя некоторое время настороженность исчезла — новый губернатор очаровал всех.

В немалой степени способствовали этому званые обеды, на которых Михайло Михайлович стал регулярно бывать с первых дней своего пребывания на посту Пензенского губернатора. «Вот другая неделя, как я здесь, — сообщал он из Пензы дочери Елизавете 31 октября 1816 года, — и каждый день на званом обеде, где редко бывает менее 50-ти человек. Знакомлюсь, стараюсь нравиться и, кажется, успеваю...»[1]

По-настоящему прочное в человеке никакие удары судьбы из его натуры не вышибут. К пятому десятку лет подбирался Сперанский, а все старался, все любил нравиться...

* * *

Жажда плодотворной деятельности никогда не покидала Сперанского, он томился только от рутинной, чиновничьей работы, не ведающей результата. Потому глубоко расстраивался он всякий раз, когда убеждался в тщетности каких-либо попыток переменить положение дел, с которым сталкивался на государственной службе и которое виделось ему пагубным.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину от 5 июня 1817 года:***

*«Собираюсь и никак не могу вырваться в губернию. Откуда берутся дела? Откуда? От собственного нашего самолюбия. Сколько ни твердил себе, вступая в управление, чтоб не управлять, но низать дела, как нижут бусы, демон самолюбия не попущает следовать сему правилу: все хочется делать как можно лучше и следовательно делать самому; а работать должно на гнилом и скрипучем станке. Какой же может быть успех? Успех мгновенный, цель почти ничтожная. Не пустое ли это самолюбие?»*

Предчувствие не обмануло Сперанского: первая же поездка по Пензенской губернии и знакомство с существовавшими здесь порядками вызвали в нем удручающие чувства. «Сколько зла и сколь мало

[1] *Сперанский М. М.* Письмо к дочери Елизавете от 31 октября 1816 года // Русский архив. 1868. Вып. 7. Стлб. 1107.

способов к исправлению! Усталость и огорчение были одним последствием моего путешествия», — жаловался он своему приятелю А. А. Столыпину.

Невозможность быстро все переменить к лучшему в губернии навевала на него пессимизм. Он все больше разочаровывался в своей должности. «Скажу откровенно, — признавался Михайло Михайлович в одном из своих писем из Пензы, — иногда мне кажется, что я мог бы делать лучше и более, нежели подписывать ведомости и журналы губернского правления, ибо в сем почти существенно заключается вся наша инвалидная губернская служба. Так мнится мне в минуты, в часы, а иногда и в целые дни, когда бьет меня самолюбие; но, образумясь, я нахожу, что безрассудно было бы желать пуститься в бурное море на утлой ладье, без твердой надежды в успех, а сей надежды, по всем расчетам здравого смысла, иметь я не могу».

За время своей работы в государственном аппарате Сперанский сумел привыкнуть ко всякого рода непорядкам. Успел он также узнать многое и из того, что творилось в губерниях, в частности, о тех злоупотреблениях, которые чинили облеченные практически бесконтрольной властью губернаторы. Большинство сведений о злоупотреблениях не доходило, однако, до центральных ведомств, и потому истинное положение дел в губерниях оставалось неизвестным тем, кто служил в Санкт-Петербурге. Каждая губерния походила на озеро, в глубине которого вольготно резвилась крупная рыба, свободно пожиравшая мешавшую ей мелочь, но поверхность была тихой и гладкой, блистающей, как огромное зеркало. Всякие попытки столичной администрации проникнуть в глубину провинциальной жизни и разобраться в происходящем там, не вылезая при этом из Петербурга, оканчивались ничем.

М. Л. Магницкий, занявший осенью 1816 года должность вице-губернатора Воронежской губернии, писал спустя некоторое время графу Аракчееву: «Я надорвался внутренно, видя пять лет сряду и особливо теперь здесь, что у нас делается в губерниях. Ежели бы иностранец мог найтиться, не зная, что он в России, в одной из губерний наших, поверил ли бы он, что это Россия, в благословеннейшее из всех земных царствований? Поверил ли бы он, что эта та самая Россия, за спасение и славу которой столько раз сам боготворимый ею государь нес и великодушно подвергал бесценную жизнь свою величайшим опасностям? Сия Россия в тысяче верстах от столицы его угнетена и разоряется, как *турецкая провинция*. Горестная истина сия столь положительна и зло так глубоко укоренилось,

что никто из здравомыслящих местных начальников не может надеяться ее исправить и никто из искренно преданных государю и славе его царствования не может согласиться иметь ежедневно перед глазами плачевную сию картину, иначе как в виде самого тяжкого наказания».

11 апреля 1817 года Михаил Леонтьевич снова жаловался графу: «Ваше сиятельство изволите, может быть, припомнить, что в первом письме моем назвал я здешний край *турецкою провинциею*. Положительная истина. Начальник здешней губернии[1] вел себя точно как паша. Окружен будучи славою прежнего бескорыстия и уверен, что он пользуется за сие добрым именем государя, смело и открыто попирал он всякий порядок и всякие законы. Один дух неограниченного самовластия руководствовал им. Все самые важные просьбы и доносы на чиновников и дворян, часто в преступлениях их обличающие, собирал он не для преследования, но для совершенного господства над виновниками. При малейшем сопротивлении его власти или желанию, многим из них показывал он просьбы на них, у него хранящиеся, и тем покорял их навсегда. Таким образом, все его управление было не что иное, как продолжительная и непрерывная интрига. Все места ему подчиненные, загромождены делами, по личностям, пристрастиям, или мщению заведенными».

Подобно Магницкому, Сперанский, занявшись непосредственно губернскими делами, смог по-настоящему ознакомиться с действи-

---

[1] М. Л. Магницкий имел в виду в данном случае губернатора М. И. Бравина, который по приезде в Воронеж сенатской ревизионной комиссии был отстранен от своей должности на время ее работы, а после того, как комиссия обнаружила множество злоупотреблений с его стороны, был и вовсе отрешен от губернаторства. Императорский указ об отрешении Бравина от должности Воронежского губернатора был издан 18 мая 1817 г. С этого времени Магницкий стал именоваться «правящим должность губернатора». За три недели управления Воронежской губернией ему удалось исправить самые вопиющие злоупотребления, допущенные прежним губернским начальством. Принятые для искоренения злоупотреблений меры Михаил Леонтьевич описал в своем «Отчете о трехнедельном управлении Воронежскою губерниею», копию которого на 20 страницах он отослал 20 июля 1817 г. графу Аракчееву с сопроводительным письмом, в котором писал: «Я представил непременною обязанностью представить все действия мои по службе вашему, мой Государь, руководству. Посему и имею честь представить... список с отчета моего, по кратковременному управлению здешнею губерниею... Вы изволите увидеть из оного, сиятельнейший граф, состояние бывшего здесь управления и порядка». Полный текст данного «Отчета...» опубликован в издании: Из истории Воронежского края / Под редакцией А. Н. Акиньшина. Вып. 8. Воронеж: ВГУ, 2000. Магницкий «ведет себя как рыцарь, искоренитель всех злоупотреблений» — такими словами оценивал Сперанский решительную деятельность своего товарища по несчастью.

тельным состоянием губернского управления. И это знакомство принесло ему множество полезных открытий. Своими мыслями о реформе системы управления губерниями он поделился с В. П. Кочубеем в письме к нему от 21 сентября 1818 года: «Если бы теперь вопросили, какие же для внутреннего устройства России учреждения наиболее нужны, не теряясь в воздушных высотах, можно бы было с достоверностию ответить: всего нужнее учреждение или устав об управлении губерний. Настоящее учреждение ни времени, ни пространству дел, ни народонаселению, ни уму управляемых несоразмерно. Пересмотр его и соображение есть первая потребность губерний. Доколе будут они состоять при настоящем инвалидном положении, дотоле можно решительно сказать, дух народный и общее нравственное образование не только не пойдут вперед, но от одного года к другому будут отставать назад».

«Мысль о лучшем губернском уставе, — продолжал он свои размышления, — сама собою уже приведет к другим учреждениям, кои во всех случаях должны предшествовать преобразованиям политическим, если желают, чтоб сии последние когда-либо у нас возникли с прочною пользою и без потрясений. Словом, добрая администрация есть первый шаг, в администрации правила и учреждения занимают первое место; выбор и наряд исполнителей — второе; следовательно, начинать с них есть начинать дело с конца».

Последние строки особенно примечательны; Сперанский утверждал в них прямо противоположное тому, что высказывал ранее, в бытность свою в Петербурге. Самый лучший образ управления, не имея исполнителей, не произведет никакого полезного действия, но родит лишь неудобства — так считал он прежде и был во мнении этом вполне уверен. Что же вызвало в нем столь разительную перемену в воззрениях?

Осознал ли он, заступив на место губернатора, что при порочной системе управления и самые лучшие исполнители — самые добрые и просвещенные люди — ничего не смогут сделать полезного, но скорее сами испортятся, чем преодолеют порчу учреждений? Или ясным стало ему, что в такой стране, как Россия, добрые и умные люди всегда найдутся, но для того, чтобы могли они прийти к власти в достаточном множестве, необходимо произвести предварительно перестройку системы управления? А может, понял он, что людей развитых душою и умом, никогда не будет в человечестве доставать, но даже если и появятся такие люди в большом количестве, мало кого из них затянешь в административную суету и духоту учреждений,

что, как бы то ни было, среди исполнителей, назначенных двигать рычаги власти, всегда будет много лиц порочных, а раз так, то надеяться должно более на мертвые учреждения и правила, нежели на живых людей?

Здравый ум не обманывал Сперанского, не внушал ему бесплодных надежд, но давал ясное сознание того, что прежних успехов на поприще государственной службы он иметь уже никогда не будет. Тем не менее, высокие должности и власть были по-прежнему привлекательны для него. Почему?

Письма Сперанского из Пензы содержат вполне определенный ответ на этот вопрос. С несвойственной ему прямотою, в чем-то даже грубоватой, и редкой настойчивостью Михайло Михайлович заявлял в них, что в высоких государственных должностях он видит в первую очередь средство очистить себя от несправедливо возведенной на него хулы — способ восстановить общественный почет и уважение к себе.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину от 5 марта 1818 года:***

*«Мне нужно быть в Петербурге не более, как на один год, даже на шесть месяцев... Сделав меня сенатором и поручив мне комиссию законов, они совершенно достигнут своей цели, а я получу средство окончить службу образом благопристойным для себя и, смею сказать, достойным для правительства. В сем одном состоит все мое желание».*

В этом же письме Михайло Михайлович сообщал своему приятелю, что ему стали известны разговоры о том, что, будучи возвращен в столицу, он будто бы не может быть помещен иначе, как на место Аракчеева. В связи с чем он просил Столыпина всячески и повсюду опровергать подобные домыслы.

Спустя два месяца Сперанский снова будет внушать своему другу, что его жизненные планы весьма скромны.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину от 2 мая 1818 года:***

*«Я ненавижу ложной скромности, особливо с друзьями: она мне кажется гнусным притворством; но говоря с вами, как с собственною моею совестию, ни в сердце, ни в мыслях моих не нахожу я важных*

*побуждений принять деятельное в сем предмете участие. Я желаю появиться в Петербурге, но в виде самом простом и незначительном; желаю для того только, чтоб докончить мое очищение и с благопристойностью оставить навсегда службу».*

Летом 1818 года в Пензу заехал по пути в свои саратовские имения управляющий Министерством иностранных дел граф К. В. Нессельроде. Михайло Михайлович, бывший с Карлом Васильевичем в добрых отношениях еще в Санкт-Петербурге, попросил его поговорить при случае с императором Александром о том, не сделает ли он бывшего своего госсекретаря сенатором. Нессельроде посоветовал Сперанскому обратиться с письмом к государю, что тот немедленно исполнил. 1 августа 1818 года Михайло Михайлович направил Санкт-Петербургскому военному губернатору и управляющему Министерством полиции С. К. Вязмитинову послание для императора Александра, в котором просил себе звание сенатора, соглашаясь при этом остаться на должности Пензенского губернатора «на некоторое время, если угодно будет». Сергей Кузьмич вскоре ответил, что передал письмо государю, который «соизволил принять оное весьма милостиво и оставить у себя».

Свое желание стать сенатором Сперанский выразил тогда же и своему всегдашнему покровителю графу В. П. Кочубею. Виктор Павлович занимал в то время должность председателя департамента гражданских и духовных дел Государственного совета[1]. В письме к нему от 21 сентября 1818 года Михайло Михайлович сообщал, что просит и желает одной милости, а именно: чтобы сделали его сенатором и потом «дали бы в общем и обыкновенном порядке чистую отставку». «После я побывал бы на месяц или два в Петербурге, — признавался он, — единственно для того, чтобы заявить, что я более не ссыльный и что изгнание мое кончилось».

Время, прошедшее со дня изгнания Сперанского из Петербурга, растворило неприязнь к нему в столичном обществе, распыленную его недругами. Да и сами эти недруги умолкли после того, как возвратился он на государственную службу: боялись нового возвышения умного и деятельного сановника. А доброжелатели Сперанского, притаившиеся на время его опалы, как только почувствовали, что он опять в силе, да с ним в связке еще и Аракчеев — «Сила Андреевич»,

[1] В. П. Кочубей был определен на эту должность 10 января 1816 г. и занимал ее до 4 ноября 1819 г., когда был назначен управлять Министерством внутренних дел.

как тогда звали грозного графа, — воспрянули духом: снова наступили их времена. 6 мая 1818 года созданное два года назад Санкт-Петербургское Вольное общество любителей российской словесности избрало М. М. Сперанского своим почетным членом. О характере этого общества говорит уже сам его состав: ядро общества формировали поэт и публицист, автор знаменитых тогда «Писем русского офицера» Федор Глинка, Кондратий Рылеев, Вильгельм Кюхельбекер, братья Николай и Александр Бестужевы[1].

16 июля 1817 года Михайло Михайлович получил письмо от бывшего своего соратника по финансовой реформе министра финансов Д. А. Гурьева. Дмитрий Александрович вспоминал ту финансовую реформу, которую Сперанский, в бытность свою госсекретарем, сумел провести, и за которую их обоих в ту пору травили: «В 1810 году вас и меня поставляли виновниками быстрому тогда возвышению ажио... Все, чего кажется оставалось желать, ограничивалось тем, дабы сколько возможно сохранить достоинство ассигнаций до благоприятнейших обстоятельств: в чем довольно и успели; ибо 4-х рублевая цена ассигнациям на серебряный рубль постоянно удержана в течение 7-ми лет.

Вы сему главным были виновником, споспешествовав в 811 году к умножению налогов и усилив тем государственный доход гораздо выше моих предположений».

Переписка с Д. А. Гурьевым станет ниточкой, которая свяжет Сперанского с общегосударственными проблемами. В своих письмах к министру финансов он будет давать советы по оздоровлению финансов, которые высоко оценит император Александр. И возможно именно за эти советы его величество наградит Пензенского губернатора пожалованием ему 23 января 1818 года пяти тысяч десятин земли в Саратовской губернии. 17 июля 1819 года государь прибавит к этому пожалованию еще пять тысяч десятин в названной губернии, из которых 350 десятин составят пашню и 768 — дровяной лес.

Помимо Д. А. Гурьева Сперанский в бытность свою Пензенским губернатором вел активную переписку с тогдашним министром духовных дел и народного просвещения А. Н. Голицыным. Среди русских сановников Сперанский отличался повышенной религиозностью. На этой почве и наметилось его сближение с князем. Алек-

[1] Вследствие того, что в данное общество входили «декабристы», просуществует оно только до декабря 1825 г.

сандр же Николаевич, свою очередь, был в рассматриваемое время приближен к императору Александру, который после грандиозной победы над Наполеоном все более подпадал под власть религиозно-мистических настроений.

В письмах к А. Н. Голицыну из Пензы Сперанский восторгался Манифестом от 24 октября 1817 года, провозгласившим соединение Министерства просвещения с ведомством духовных дел, расхваливал деятельность Библейского общества, обещал оказывать личное свое содействие библейскому делу в Пензе. Осведомленный о симпатиях Александра I и А. Н. Голицына к различного рода пустынникам и затворникам, Михайло Михайлович как-то попросил у князя содействия в получении у государя краткого отпуска, необходимого ему, как он подчеркивал, специально для посещения Саровской пустыни, где он надеялся найти силу «внутреннего христианства». Отпуск был дан, и Сперанский съездил в это святое место и сразу сообщил о данной поездке Голицыну, а тот, в свою очередь, императору Александру.

Будучи в Пензе, Михайло Михайлович закончил свой перевод Фомы Кемпийского. Государь, узнав об этом, распорядился напечатать его за свой счет. И в 1819 году из типографии департамента народного просвещения действительно вышла книга Фомы Кемпийского «О подражании Христу» с добавлением избранных мест из других его творений в переводе с латинского Михаила Сперанского. После этого книга переиздавалась еще трижды: последний раз — в 1844 году. Виссарион Белинский в своей рецензии на данное издание следующим образом оценил переводческий труд Сперанского: «Слог перевода большею частию сообразен с духом оригинала, но уж слишком отзывается славянщиною»[1].

* * *

Пребывая в Пензе, Сперанский никогда не прекращал переписки с Аракчеевым. В сложившихся обстоятельствах граф был его главной опорой. Через посредство Алексея Андреевича, пользовавшегося неограниченным доверием у императора Александра, Михайло Михайлович мог доводить свои просьбы до его величества. Только Аракчеев мог помочь ему в решении самых важных для него про-

[1] Отечественные записки. 1845. Том 38. № 1. С. 2 (раздел IV. Библиографическая хроника).

блем. Потому-то спешил Сперанский использовать любой повод для напоминания о себе Аракчееву, для выражения его сиятельству своей благодарности и преданности. «Милостивый государь, граф Алексей Андреевич! — обращался Сперанский к Аракчееву 17 декабря 1818 года. — Приношу вашему сиятельству всеусерднейшее поздравление с Новым годом. Чувство благодарности и приверженности, столь же искренней, как и справедливой, налагает на меня приятную обязанность возобновить при сем случае свидетельство совершеннейшего почитания и преданности, с коими честь имею быть в Пензе»[1].

В начале 1818 года одновременно от нескольких столичных знакомых Сперанского поступили к нему письма с обнадеживавшими его новостями. «Все известия, из Москвы и Петербурга ко мне доходившие, и из самых верных источников проистекающие, — сообщал он 5 марта 1818 года А. А. Столыпину, — доказывают, что Его Величество имеет мысль употребить меня в деятельнейшую службу».

Но шли недели, месяцы, а сведения эти никак не подтверждались. Император молчал и молчал. Михайле Михайловичу начинало уже казаться, что полученные им известия о намерениях употребить его в «деятельнейшую службу» не более чем слухи — чья-то глупая шутка. Вконец истерзанный неопределенностью своей дальнейшей судьбы, он стал думать уже о том, чтобы раз и навсегда разрубить ее узел — оставить службу окончательно и бесповоротно.

Но принять такое решение ему не позволяло очень стесненное материальное положение: большие долги и отсутствие средств для их погашения. Единственным выходом из создавшейся ситуации он считал продажу своего дома в Санкт-Петербурге, из которого его в 1812 году отправили в ссылку, и новгородского имения Великополье. «Доколе не будет продан дом и деревня, дотоле мне службы оставить нельзя, — писал Сперанский Столыпину 12 сентября 1818 года, — но после сего не останусь ни минуты: ибо в независимом состоянии я знаю всю цену свободы и ни на что на свете собственною моею волею ее не променяю».

---

[1] Текст этого послания М. М. Сперанскому публикуется мною по оригиналу, который хранится в аракчеевском фонде (№ 154) Российского Военно-исторического архива (далее: РВИА).

О своем желании продать Великополье Михайло Михайлович сообщал Аракчееву еще осенью 1816 года. В Новгородской губернии началось тогда формирование военных поселений, и Сперанский надеялся, что казна купит его имение, чтобы включить его в состав данных поселений. С тех пор прошло более двух лет, но никаких распоряжений о такой покупке со стороны императора Александра не поступило. Тогда Сперанский для того, чтобы ускорить решение этой ставшей жизненно важной для него в условиях безденежья проблемы, обратился к графу Аракчееву.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Аракчееву от 11 марта 1819 года:***

*«Ни начать, ни продолжать моей просьбы об отпуске я никак не решился бы, если б не был принужден к тому самою крайнею необходимостью. Кто имеет на руках дочь без матери и 200 000 руб. долгу, при маловажном и запутанном имении, тот осужден все терпеть, всем жертвовать, чтоб исполнить первые свои обязанности. Сроки долгов моих сближаются, продажа имения не сходит с рук; устроивать дела сего рода, сколь я ни старался, но за 1 600 верст — когда на один вопрос и ответ потребно почти полтора месяца — нет никакой возможности. Один иск возбудит все другие, и таким образом, быв спасен одними милостями Государя от предстоявшей мне бедности, я найдусь снова в том же или еще горшем положении. Я уверен, что если нужды мои справедливым и благосклонным вниманием вашего сиятельства представлены будут Государю Императору в истинном их виде и отделены от всех побочных и невместных предположений: то Его Величество не презрит моей просьбы».*

Высказанная Сперанским в приведенном письме просьба о предоставлении ему отпуска была не первой. Он неоднократно просил об этом и прежде. Но в данном случае просьба была слишком убедительной, чтобы отказать в ней. Проситель ссылался в обоснование ее на «самую крайнюю необходимость». С другой стороны, было очевидно, что предоставление Сперанскому отпуска влекло за собой его приезд в Санкт-Петербург, поскольку именно в столице намеревался он вести дело о продаже своего новгородского имения. Два с половиной года назад Аракчеев сообщил Сперанскому в сопроводительном письме к императорскому Указу о назначении его Пензенским губернатором: «Государю Императору *приятно* будет, если вы,

милостивый государь, отправитесь из деревни прямо в назначенную вам губернию». Эти слова означали, что государю все еще не хотелось видеть Сперанского в своей столице и тем более у себя во дворце. Как поведет себя император Александр на этот раз? И что напишет теперь Аракчеев? Михайло Михайлович не мог не задавать себе подобных вопросов после того, как 11 марта 1819 года отправил графу цитированное выше письмо.

## *Глава девятая*

# «Путешествие в Сибирь»

*Что я ни делал, чтоб избежать Сибири, и никак не избежал. Мысль сия, как ужасное ночное привидение, преследовала меня всегда, начиная с 17-го марта 1812 года, и наконец, настигла. Странное предчувствие! В судьбе моей есть нечто суеверное.*

**Михаил Сперанский**
Из письма к А. А. Столыпину от 1 апреля 1819 года

*Как вы могли себе представить, что я пущусь управлять Сибирью, коею никто и никогда управить не мог?*

**Михаил Сперанский**
Из письма А. А. Столыпину от 13 мая 1819 года

По понедельникам в канцелярии Пензенского губернатора, в другие дни недели обыкновенно тихой, с утра до вечера кипела суета. Каждый вторник из Пензы отправлялась в Петербург почта, поэтому накануне шла подготовка различных бумаг для столичной администрации.

Таким именно днем и выдалось 31 марта 1819 года. Дежурным по канцелярии был в этот день молодой чиновник Козьма Репинский, два года назад взятый Сперанским на чиновную службу из выпускников местной семинарии, ценимый им за ум и способности к аккуратной работе. Он трудился в канцелярии с раннего утра, но все равно что-то не успевал сделать, поэтому, когда наступило время обедать, домой не пошел, остался в канцелярии. Сперанский уже отобедал и сидел у себя в кабинете у окна, читая в подлиннике любимую им книгу древнегреческого историка Геродота. Так сидели они, занимаясь каждый своим делом, когда послышался вдруг колокольчик. Выглянув из окна, Михайло Михайлович увидел подъезжающего ко входу в дом фельдъегеря и застыл в тревожном предчувствии. Репинский между тем, услыхав колокольчик, сразу выскочил на улицу, встретил фельдъегеря и повел его в дом. Поднимаясь по лестнице, он дважды спросил фельдъегеря, от кого тот прибыл,

но фельдъегерь молчал. И лишь оказавшись перед дверью кабинета Пензенского губернатора, выдохнул: «От государя».

Репинский вошел к Сперанскому, чтобы доложить. Михайло Михайлович сидел бледный и растерянный, тихо произнес: «Проси...»

Некоторое время фельдъегерь находился в его кабинете, затем вышел. Вслед за ним показался Сперанский — уже совсем не бледный и совершенно спокойный и даже приветливый. Обратившись к камердинеру, приказал ему позаботиться об обеде для фельдъегеря, бане и всем остальном, необходимом для отдыха. Фельдъегерь поблагодарил Сперанского, затем повернулся к камердинеру и стоявшему рядом с ним Репинскому и поздравил их с новым Сибирским генерал-губернатором.

Высочайший Указ Правительствующему Сенату о назначении Сперанского генерал-губернатором Сибири был краток: «Пензенскому гражданскому губернатору тайному советнику Сперанскому всемилостивейше повелеваем быть Сибирским генерал-губернатором». Фельдъегерь привез копию данного Указа, заверенную словами: «На подлинном подписано собственною Его Императорского Величества рукою: Александр. Верно: граф Аракчеев. Царское село. Марта 22-го 1819-го года». К этим словам Аракчеев приписал сообщение о том, что Сперанский может получить «с тем же фельдъегерем от Его Величества 10 000 рублей на подъем».

Фельдъегерь привез Сперанскому и два письма государя: пространное и короткое. «Михайло Михайлович! — писал Александр в первом из своих посланий. — Более трех лет протекло с того времени, как призвав вас к новому служению, вверил Я вам управление Пензенскою губерниею. Открыв таким образом дарованиям вашим новый путь соделаться полезным Отечеству, не преставал Я помышлять о способе, могущем изгладить из общих понятий прискорбные происшествия, последовавшие с вами в 1812-м году, и столь тягостные Моему сердцу, привыкшему в вас видеть одного из приближенных себе. Сей способ, по Моему мнению, был единственный, то есть, служением вашим дать вам возможность доказать явно, сколь враги ваши несправедливо оклеветали вас. Иначе призыв ваш в Петербург походил бы единственно на последствие дворских изменений и не загладил бы в умах оставшиеся неприятные впечатления. Управление ваше Пензенскою губерниею и общее доверие, кое вы в оной приобрели, будет полезным началом предлагаемого Мною способа. Но желание Мое стремится к тому, дабы открыть служению вашему обширнейшее поприще, и заслугами вашими дать мне явную причину

приблизить вас к Себе. Ныне предстоит для исполнения сего наилучшая удобность. С некоторого времени доходят до Меня самые неприятные известия насчет управления Сибирского края. Разные жалобы присланы ко Мне на губернские начальства и на потворное покровительство, оказываемое оным самим генерал-губернатором. Быв рассмотрены в Комитете министров, они показались столь важны, что предложена Мне оным посылка сенаторов для обревизования Сибирских губерний. Имев уже неоднократный опыт, сколь мало подобные ревизии достигают своей цели; кольми паче нельзя ожидать лучшего успеха в столь отдаленном и обширном крае. По сему нашел Я полезнейшим, облеча вас в звание генерал-губернатора, препоручить вам сделать осмотр Сибирских губерний и существовавшего до сего времени в оных управления в виде начальника и со всеми правами и властию, присвоенных званию генерал-губернатора. Исправя сею властию все то, что будет в возможности, облича лица, предающиеся злоупотреблениям, предав кого нужно законному суждению, важнейшее занятие ваше должно быть: сообразить на месте полезнейшее устройство и управление сего отдаленного края и, сделав оному начертание на бумаге по окончании занятий ваших, самим лично привезти оное ко Мне в Петербург, дабы имел Я способ узнать изустно от вас настоящее положение сего важного края и прочным образом установить на предбудущие времена его благосостояние. По Моему исчислению возлагаемое на вас препоручение может продлиться года полтора или по большой мере два. Сего времени Я полагаю достаточным вникнуть вам во все подробности сибирских дел и сообразить с точностию лучший порядок ко введению в сии отдаленные губернии. Таким образом, Я надеюсь, что устройство сего генерал-губернаторства, вами заведенное и которое в начертании вы Мне представите по приезде вашем в Петербург, поставит меня в возможность назначить вам преемника с уверенностию о продолжении благосостояния Сибири. Вам же предоставляю Я себе дать тогда другое занятие, более сходное тому приближению, в коем Я привык с вами находиться. Пребываю же всегда вам доброжелательным Александр».

Из смысла приведенного письма вытекало, таким образом, что управление Пензенской губернией не очищало Сперанского от старых наветов. С другой стороны, Александр проговаривался в нем, что бессилен перед недругами Сперанского и не желает признать несправедливости возведенных на него обвинений, засвидетельствовать полную его невиновность. Сперанский, по мысли импера-

тора, должен был сам вызволять себя из того бесчестья, в которое его бросили, а он, Александр, со своей стороны, в состоянии лишь доставить ему способ, могущий «изгладить из общих понятий» случившееся с ним в 1812 году. Изгнанному из столицы реформатору предлагалось завоевать право на возвращение в нее.

Во втором, более кратком, письме к Сперанскому государь давал ответ на его прошение об «отпуске в Петербург по домашним делам». Его величество заявлял о невозможности удовлетворить эту просьбу. «Присутствие начальника в Сибири делается день ото дня необходимее, не говоря уже о чрезмерном прибавлении к пути вашему поездкой в Петербург»[1], — объяснял он свой отказ и предписывал Сперанскому готовиться к сдаче дел новому Пензенскому губернатору[2]. Александр явно не желал приезда бывшего госсекретаря в Петербург, несмотря на то, что после неприятного для них обоих события прошло уже семь лет, но тем не менее постарался его обнадежить на будущее, завершив свое письмо следующей сентенцией:«Потщитесь исполнить возлагаемое Мною на вас ныне поручение с тем дарованием и исправностию, коим вас отличают, и тогда приедете вы в Петербург с явною новою заслугою, оказанною Отечеству, и которая поставит Меня в действительную возможность основать уже ваше пребывание навсегда при Мне в Петербурге»[3].

Вместе с государевыми письмами фельдъегерь передал Сперанскому послание и от Аракчеева. Под ним стояла дата 24 марта 1819 года. Это было весьма любопытное по своему содержанию послание.

«Милостивый государь Михайла Михайлович! — писал Аракчеев из Петербурга в Пензу. — Если вы, милостивый государь, на меня сердились за некоторое исполнение вашего препоручения в покупке Новгородского имения, то в оном согрешили, ибо мне приятнее всего угождать вам, потому что я любил вас душевно тогда, как вы были велики, и как вы ни смотрели на нашего брата, любил вас и тогда, когда по неисповедимым судьбам Всевышнего страдали, протестовал против оного, по крайнему моему разумению не только в душе

---

1 Сборник исторических материалов, извлеченных из архива Первого отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Вып. 1. СПб., 1876. С. 386.

2 Новым Пензенским губернатором вместо М. М. Сперанского был назначен хорошо его знавший по работе в Министерстве внутренних дел Ф. П. Лубяновский.

3 Там же.

моей, но всюду, где только голос мой мог быть слышан; радовался и концу сего неприятного для вас дела и буду не только радоваться, но и желать вашему возвышению на степень высшую прежней. Вот вам, милостивый государь, отчет в моих чувствах». Далее граф объяснял, почему стал он желать возвышения Сперанского. «Желание мое в оном, по слабости человеческой, основано на следующем: становясь стар и слаб здоровьем, я должен буду очень скоро основать свое всегдашнее пребывание в своем Грузинском монастыре, откуда буду утешаться, как истинно русской, новгородской, неученой дворянин, что дела государственные находятся у умного человека, опытного как по делам государственным, так более еще по делам сует мира сего, и в случае обыкновенного к несчастию существующего у нас в отечестве обыкновения беспокоить удалившихся от дел людей в необходимом только случае отнестись смею и к вам, милостивому государю. Окончу сие письмо тем, что как вы далеко от Волхова ни удаляетесь, не от вас зависеть будет быть близким к дряхлому волховскому жителю, которой пребудет всегда с истинным почтением, вашего превосходительства покорный слуга»[1].

* * *

Как должен был воспринять Сперанский свое назначение Сибирским генерал-губернатором? Казалось бы, поручение государя должно было только радовать его: какое обширное поле деятельности открывалось перед ним, сколь благодатный материал шел ему в руки! Во всяком случае, это назначение не могло не польстить его самолюбию, ведь с него окончательно снималась опала, снималась притом не только как с государственного деятеля, но и как с *реформатора*. Ему поручалось не просто управление Сибирью, но *преобразование* этого огромного края.

Однако поручение императора искоренить злоупотребления чиновников сибирской администрации и подготовить после этого проект реформы управления Сибирью не вызвало в Сперанском большого энтузиазма. Неуспех прежних его реформ, падение с вершины власти и изгнание из столицы положили на его душу неизгладимый рубец. Былая увлеченность реформаторскими замыслами сменилась в нем сдержанностью. Как государственный деятель, он был

[1] *Аракчеев А. А.* Письмо к М. М. Сперанскому от 24 марта 1819 года // Русская старина. 1904. Том 119. № 7. С. 86.

довольно уже умудрен и приземлен, чтобы умудрять и приземлять других. Советы, которые Михайло Михайлович давал А. А. Столыпину буквально на следующий день после того, как получил императорский Указ о назначении его генерал-губернатором Сибири, представляют особый интерес: в них отражено кредо русского реформатора, прошедшего через неудачу, изгнание и унижение, они — зеркало его духа той поры. «Поймите, наконец, из опытов, — увещевал Сперанский своего друга, — что служба *порывистая* есть лотерея, сущая азартная игра. Молодым людям можно ее простить, но нам с вами поистине непростительно. Должно служить искренно, усердно, но всегда держать себя в мере. Выигрыши любочестия тут не столь велики, но зато верны и в конце счета несравненно лучше и даже для самой службы полезнее, нежели порывы воображения. Вы имеете сердце львиное, а по сие время не обладаете еще вашим воображением. Первый залог всякого успеха есть желать только возможного и с обстоятельствами сообразного. Разве вы не знаете школы эгоизма? В сей школе первая и последняя буква «*я*». Каким же образом хотите вы себя вместить в сию азбуку? Тут нет других букв. Впрочем, желать возможного есть желать быть сенатором; а для сего вам не нужно ничего более, кроме постоянной работы и терпения. О, сколь много красноречивого и убедительного сказал бы я вам о сем прекрасном, блаженном звании: быть сенатором. Это верх моих желаний, вся прелесть моего воображения, цель и конец трудов сибирских. Как пристало бы сие к вашей подагре и к моей седой голове!»[1]

Глядя в этом душевном настроении на свое назначение Сибирским генерал-губернатором, Сперанский неизбежно должен был видеть в нем не открытие для себя нового поприща государственной деятельности, более обширного, чем прежнее, но исключительно *удаление* от Петербурга — удаление, предвещавшее ему только плохое: разлуку с дочерью, слухи в столице, как ему казалось, о новой его опале и другие неприятные для него домыслы в обществе. «Что сказать тебе, любезная моя Елизавета, — писал он дочери 1 апреля 1819 года, — о новом ударе бурного ветра, который вновь нас разлучает, по крайней мере, на год. Вчера я получил весть сию и, признаюсь, еще не образумился».

Не образумится Михайло Михайлович и на пятый день апреля. «Скажу искренно: не без горести отправляюсь я в Сибирь; но если

---

[1] *Сперанский М. М.* Письмо к А. А. Столыпину от 1 апреля 1819 года // Русский архив. 1871. Вып. 3. Стлб. 457–458.

бы не имел я дочери, все места, где мог бы я быть Вам угодным, были для меня равнодушны», — будет писать он в этот день императору Александру.

О своем горестном настроении, порожденном решением государя назначить его Сибирским генерал-губернатором, Михайло Михайлович поведает 5 апреля и графу Аракчееву: «Милостивый государь, граф Алексей Андреевич! И не благодарно и грешно бы мне было уверять ваше сиятельство, что я принял новое назначение мое без горести. Искренность, которая одна может составить всю мою пред вами заслугу, заставляет меня признаться, но признаться вам единственно, что весть сия тронула меня до глубины сердца. То, что есть в назначении сем для меня утешительного и лестного, все сие есть тайна чувства моего и искренней преданности Государю, но публика знает только два слова: отказ в отпуске и удаление! Я очень обманусь, естьли голос сей не будет общим. Как бы то ни было и не взирая ни на какие толки, я исполню новое мое назначение точно с тем же усердием, как бы я сам его желал или выбрал. При помощи Божией и милостях государевых мне нужны к сему две вещи: *первое*, чтоб вы дозволили мне из Сибири откровенно к себе писать о деле и безделье и, различая одно от другого, одному давали бы ход, другое же отлагали бы в сторону, не ставя мне в вину, если за 6 т[ысяч] верст всего я не угадаю; *второе*, чтоб донесения мои по службе, не рассыпаясь по частям, входили прямо к вам и от вас и чрез вас получали бы разрешение. Первый год я не буду вас много обременять: он весь почти должен пройти в дороге, в собрании сведений и местных обозрениях.

Что принадлежит до будущего — оно в руке Божией. Но после всего, что я испытал, могу ли, должен ли я чего-нибудь желать, как только покоя и забвения. Продолжите, милостивый государь, ваше драгоценное ко мне расположение. Я надеюсь, что поведением моим в службе и искреннею моею к вам преданностию оправдаю я все ваши ко мне милости»[1].

Другому постоянному адресату своих писем — министру финансов графу Гурьеву — Сперанский напишет 5 апреля 1819 года: «В течение нынешнего лета я надеялся иметь удовольствие принести Вашему высокопр[евосходительству] лично мою благодарность за все

---

[1] Текст данного письма опубликован в издании: *Сперанский М. М.* Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 592. В настоящей книге оно публикуется по оригиналу, который хранится в аракчеевском фонде РГВИА (фонд 154. Оп. 1. Д. 121. Л. 449–450).

знаки доверия и внимания, кои в продолжение трех лет непрерывно от вас видел. Судьбе угодно было расположить иначе; вместо Петербурга я нынешним же летом должен быть в Иркутске. По множеству причин отправление сие для меня горестно. После всего, что я испытал, мне простительно видеть вещи с самой мрачной их стороны, но да будет во всем воля Божия!»

Не скроет Михайло Михайлович своего огорчения назначением в Сибирь и в письме В. П. Кочубею, которое отправит тогда же в Петербург с Ф. И. Цейером. «Сколько ни привык я терпеть внезапности, признаюсь, однако же, сия более меня тронула, нежели предъидущие, — будет жаловаться он бывшему своему начальнику. — Я имел право думать, что довольно терпел, и сверх того притязания мои на радости и счастие сея жизни так умеренны, что мне казалось не трудным в них успеть». Кочубею Сперанский признается, что желание получить «приличную и благовидную отставку» не переменилось в нем вследствие назначения Сибирским генерал-губернатором: «Я искал достигнуть ее чрез сенаторство; теперь дойду к тому же путем, конечно, не столь кратким, но дойду же: ибо мудрено быть генерал-губернатором по неволе, а неволя моя, долги, слава Богу, приходят к окончанию. Впрочем, я сделаю полное путешествие по Сибири; исполню все, чего от меня требуют, и за все сие ничего не потребую, кроме одной отставки». В заключение своего письма Кочубею Сперанский просил у него советов и наставлений.

Дочери Елизавете второе свое письмо после получения известия о своем назначении на генерал-губернаторство в Сибирь Михайло Михайлович писал в более спокойном тоне.

***Из письма М. М. Сперанского к дочери Елизавете от 5 апреля 1819 года:***

*«Христос воскресе, мое любезное дитя, моя милая Елисавета. Да будет слово сие тебе утешением, единственным, которое я тебе дать могу... В положении моем есть нечто таинственное, нечто суеверное. За тайну тебе скажу, что я не более, как на год и много если на год с половиною должен отправиться в Сибирь, чтоб исполнить там действительно важные поручения и с ними возвратиться в Петербург. Род сих поручений таков, что без личного их представления в Петербург и исполнить их никак невозможно. Следовательно, есть надежда, что я к той же цели приду, хотя путем довольно длинным, и, вместо 1.500 верст, должен буду сделать около 12.000. Надежда сия, однако,*

*же есть тайна, которую тебе одной я вверяю; для всех прочих я просто генерал-губернатор, посланный в Сибирь на неопределенное время. Ты всех должна в сем уверять и даже по виду сама готовиться зимою отправиться ко мне в Тобольск, хотя напротив я всю зиму проведу в Иркутске и с наступлением первой весны прямо оттуда пущусь в Петербург. Прямо — и пущусь, как будто из Москвы или Новагорода; сие прямое путешествие и с подвязанными надеждою крыльями не может продолжиться менее трех или четырех месяцов и следовательно не прежде как в августе будущего года с тобою увижусь».*

Спустя десять дней Сперанский успокоится еще больше и найдет в своем назначении в Сибирь нечто для себя и вполне хорошее. 15 апреля он будет писать дочери: «Я привык все относить к тебе, все чувствовать в тебе. Русское твое сердце на сей раз весьма кстати пособило твоему рассудку. Одна разлука с тобою составляет всю мрачную сторону моего нового назначения; все прочее довольно ясно и даже блистательно; а лучше всего то, что сия перемена венчает мою службу хотя странным, но весьма приличным и благовидным образом. Думаю, впрочем, что и без расчетов самолюбия путешествие мое для образования сего края будет не бесполезно. Может быть, Жуковские и Мерзляковы из рода тунгусов и остяков воспоют некогда мое имя, как греки воспевали своего Кадма или скандинавцы Одина. Само собою разумеется, что в сих песнях и ты не будешь забыта, и имя Елизаветы — моей дуры — займет несколько полустиший в их гексаметрах».

Пройдет еще неделя — и Михайло Михайлович еще более оптимистично взглянет на предстоящее ему поприще. «Может быть, и в самом деле я могу еще быть полезен для устройства и благонравия Сибири, — напишет он дочери 22 апреля 1819 года. — Сия мысль делает все жертвы сносными, умягчает самую разлуку с тобою... Правду сказать, половина почти здешних чиновников лучших готовы со мною двинуться; но я отклоняю сие, чтобы не оставить Лубяновского одного между волками».

Федор Петрович Лубяновский был сослуживцем и приятелем Сперанского в его молодости. Когда-то они служили вместе в Министерстве внутренних дел, и вот спустя пятнадцать лет пути их опять пересеклись: Лубяновский был назначен на пост Пензенского губернатора вместо Сперанского.

Тем временем граф Аракчеев показал полученное от расстроенного назначением в Сибирь Сперанского письмо императору Алек-

сандру. Его величество попросил А. Н. Голицына как-то ободрить нового Сибирского генерал-губернатора. И 22 апреля 1819 года князь отправил ему свое ободряющее письмецо: «Государь император, видя из ответа вашего к графу Аракчееву предположение ваше о мнении публики на счет вашего назначения, поручил мне вас удостоверить, что оное произвело вообще хорошее действие. Иные приписывали отличной доверенности к вам поручение края, столь требующего всего попечения государя по многим отношениям; другие находили, что сие назначение будет иметь для сибирских губерний самые благодетельные последствия».

В тот же день написал Сперанскому в ответ на его письмо, доставленное курьером из Пензы, и граф В. П. Кочубей. «Не имели вы нужды описывать чувство, с коими приняли вы новое ваше назначение. Я с первого об оном извещения ощутил его в полной мере и принял в перемене сей то прискорбное участие, какое свойственно было душевной моей к вам привязанности», — утешал Виктор Павлович упавшего духом Михайлу Михайловича.

Откликаясь на просьбу бывшего своего подчиненного дать ему советы и наставления, Кочубей набросал целый трактат о том, как вести себя Сперанскому после назначения на должность генерал-губернатора Сибири, и заодно изложил свои мнения о состоянии Сибирской администрации, порядках в государственном управлении Российской империи, характере императора Александра. Всегда предельно осторожный в выражениях своих истинных дум и чувств Кочубей мог на этот раз быть откровенным — его письмо к Сперанскому шло не по почте, а через руки Ф. И. Цейера, назначенного на службу в канцелярию нового Сибирского генерал-губернатора и отправлявшегося на встречу с ним в Казань. Михайло Михайлович прибыл в этот город 10 мая 1819 года — его друг и помощник Цейер был уже там и с письмом от Кочубея[1].

«В советах моих, — писал Виктор Павлович Сперанскому, — не имеете вы нужды: проницательность ваша достаточно путеводительствовать вас может; но мысли мои, те самые, кои изъяснял я неоднократно приятелю вашему Столыпину, сообщить вам есть долг для меня самый приятный. Я считаю точно так, как и сами вы су-

[1] О получении этого письма В. П. Кочубея М. М. Сперанский сделал запись в своем дневнике под датой 11 мая. См.: Дневник графа Михаила Михайловича Сперанского: Путешествие в Сибирь с 31 марта 1819 по 8 февраля 1821 года // В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 10.

дите, что определение вас в Сибирь не может быть для вас полезным, между тем как оно расстроивает все ваши предъидущие предположения об отставке и удаляет вас от главной цели вашей: устройства жребия дочери вашей. Трудно, конечно, было вам отказаться от генерал-губернаторства, не выезжая из Пензы; но мне кажется, что следовало непременно заявить в ответ, что вы, исполняя с должным повиновением Высочайшую волю, жертвуете всем тем, что для вас на свете дороже, *пользами дочери вашей*, и что вы не можете такой жертвы долго переносить и предполагаете всеподданнейше просить по окончании ревизии губерний сибирских об увольнении вас, дабы могли вы исключительно заняться благосостоянием Елисаветы Михайловны»[1].

Отметив после этих слов, каким трудным делом является управление Сибирью, которым «никто с системою» до сих пор не занимался, Кочубей перешел к изложению своих мыслей об отношении императора Александра к Сперанскому. «Я часто давал себе отчет о причинах, заставляющих держать вас в удалении отсель, и всегда терялся в заключениях моих, — признавался он. — Сомнения никакого нет, чтоб расположения Его Величества не были к вам самые благоприятные. Он, как слышу я, всегда отзывается об вас с большою похвалою и отдает вам полную справедливость. При таковых чувствах и при недостатке способных людей, как бы казалось не отыскивать их везде; но тут-то и большая загадка, тут-то все и теряются. Иные заключают, что государь именно не хочет иметь людей с дарованиями, дабы не относимо было им что-либо по управлению или иным мерам. Государь знает людей совершенно и понимает их точно так, как понимал всегда; например, Гурьева разумеет он по-прежнему и знает, кто именно у него занимает место министра финансов, но способности подчиненных ему не неприятны; одним словом, тут есть что-то непостижимое и чего истолковать не можно, а посему я крайне сомневаюсь, чтоб и без неприятелей ваших решились вас здесь употребить. Любопытна тактика всех настоящих дельцов; все в глаза говорят: наставьте нас, мы ничего не знаем, вы лучше нас понимаете, вы лучше нас все соображаете и пр. пр. Сомнения нет, что государь одарен глубокою проницательностию, но как можно требовать, чтоб он обнять мог от маленького происшествия городского до самой сложной меры правительства? Надобно, напротив, все со-

[1] Письмо В. П. Кочубея М. М. Сперанскому от 22 апреля 1819 года // В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 155–156.

образить прежде и потом представить ему для разрешения, как то всегда везде делалось; но ныне, напротив, облегчают себя тем, чтоб все относить на государя.

Внутреннее правление идет столь слабо, как напротив, военная часть усовершается более и более до удивительной степени. Не видно, чтоб к исправлению первого предстояли какие-либо близкие меры, кроме одного разделения государства на округи, которое, быв всегда в виду, может и выйти скоро и быть отложено. Я думаю, что дело останавливается за тем, что государь так много обременен делами военными и дипломатическими, что нет ему времени приступить к подробному рассмотрению плана сего, а производители с трудом концы с концами сведут. Государственные установления наши все в той же запутанности. Все понемногу однородными делами занимаются и как на выдержку действуют. Одно, что чрезмерно не нравится мне, это равнодушие, более или менее преодолевшее. Мало кто думает: хорошо ли или дурно какая-нибудь часть идет; что нужды говорят, *лишь бы как-нибудь шла*. Даже производство дел, в коем так старались ввести систему и слог, переменилось; мало кто заботится, чтоб хорошо были написаны бумаги. Прежде о сем старались, опасаясь тонкого вкусу государя; ныне говорят: что нужды — государь бумаги читать не будет, он увидит только меморию»[1].

Поделился Кочубей со Сперанским и оценкой своего собственного положения при царском дворе. «Не могу ни нахвалиться, ни быть довольно благодарным Его Величеству за милостивое и постоянно ласковое ко мне расположение, — сообщал он. — Я должен надеяться, что оного и не лишусь, ибо ни во что не мешаюсь, ничего не желаю и не ищу и ни к какой партии не принадлежу. Сие дает мне некоторый вид независимости; я говорю *дает вид*, ибо кто у нас независимость имеет?»[2]

Кочубей являлся председателем учрежденного в 1813 году Комитета по делам Сибирского края и поэтому был вполне осведомлен о состоянии управления этой обширной территорией. «Не могу я полагать, чтоб не было больших в Сибири злоупотреблений», — высказывал он свое мнение Сперанскому и при этом советовал ему не покрывать их. «Сие величайший вред вам сделает и будет поводом новых против вас предприятий многих неприятелей ваших»[3], —

---

[1] Письмо В. П. Кочубея М. М. Сперанскому от 22 апреля 1819 года. С. 158–160.

[2] Там же. С. 161–162.

[3] Там же. С. 164.

предостерегал опытный сановник нового Сибирского генерал-губернатора.

Искреннее желание Кочубея помочь Сперанскому успешно пройти назначенное ему поприще проявлялось и в тех строках его письма, в которых говорилось о главных персонах в государевом окружении. «В провинциях обыкновенно толкуют много о людях случайных или приближенных у Двора, — писал он. — Здесь также весьма много о сем толков. Я думаю, что людей, постоянно доверенностию пользующихся, вряд ли открыть можно». Далее Виктор Павлович рассказывал о взаимной вражде графа Аракчеева и министра финансов Гурьева, о том, что «особой милостью» пользуется у государя князь Голицын, который при этом, однако, «не вмешивается в дела, до него не принадлежащие. Он занимается много духовными материями, вообще любим и много делает добра». «Министр юстиции (князь Д. И. Лобанов-Ростовский. — *В. Т.*), с коим по сенату вы будете иметь немало дела, — сообщал Кочубей Сперанскому, — почитается государем честным и твердым человеком. В честности его нельзя сомневаться, но способности мало до крайности, а самолюбия и желчи паче меры. Он рубит дела в сенате и старается только, чтоб как можно более их оканчивалось, мало заботясь о том, как они оканчиваются»[1].

Кочубей не боялся, что его письмо попадет в посторонние руки, и потому оказался в нем на редкость откровенным. И ему, кажется, была очень приятна такая раскованность. «Я слишком увлечен был удовольствием беседовать с вами, и написал к вам письмо по масштабу Сибири», — заметил Виктор Павлович Сперанскому в конце своего послания. Но заснувшая в нем на время сановная осторожность проснулась в тот момент, когда заканчивал он это письмо, и дописала последние его строки: «*Письмо сие прошу по прочтении истребить. О сем настою непременно; точно так поступать буду я и с вашими письмами*»[2]. Михайло Михайлович по каким-то причи-

---

[1] Письмо В. П. Кочубея М. М. Сперанскому от 22 апреля 1819 года. С. 165–166.

[2] После этих слов была поставлена дата «Апреля 22 1819». А ниже сделана приписка: «P.S. Я видел несколько раз Магницкого, но теперь у меня он не бывает. Сказывают, что жалуется на меня, будто я был причиною и советовал вам отделить жребий ваш от его; посему, как слышал я, рассказывает он разные странности и пр. и пр. Я надеюсь, что он, обратясь, как уверяют меня, совершенно к религии, переменит во многом образ мыслей своих». Данное предсказание Кочубея вполне сбылось. Это показывает, что Виктор Павлович был очень наблюдательным человеком, и придает особую ценность тем его письмам, в которых он мог высказываться предельно откровенно.

нам не выполнил просьбы своего старшего друга и не уничтожил его письма.

29 апреля дворянство и купечество Пензенской губернии дало бал в честь оставлявшего губернаторский пост Сперанского. Торжество происходило в зале дворянского собрания. Дом был украшен с наружной стороны иллюминацией. Над входом высился транспарант «М. М. Сперанскому». В самом зале висели два транспаранта. На одном из них были написаны стихотворные строки, которые выражали отношение собравшихся к тому, кто два с половиной года был у них губернатором:

*«Почувствовать добра приятство,*
*Такое есть души богатство,*
*Какого и Крез не собирал».*

На другом транспаранте была нарисована пирамида и солнце с лучами, на основании ее — цифры, обозначающие время пребывания Сперанского в Пензе: 21 октября 1816-го и 29 апреля 1819 года.

5 мая 1819 года в Пензу прибыл новый губернатор — Ф. П. Лубяновский. Сперанский назначил свой отъезд на следующий день. Утром 6 мая Михайло Михайлович присутствовал на молебне в Троицком женском монастыре, располагавшемся на территории города, затем был на завтраке, данном на берегу руки Суры дворянством и купечеством. В четыре часа пополудни он взошел на паром. К этому моменту на берегу собралась, кажется, вся Пенза. Попрощавшись с жителями, Сперанский поплыл на пароме на другой берег. Так началось его «путешествие в Сибирь».

Вместе со Сперанским туда отправились Кузьма Репинский и Жорж Вейкардт (сын Марии Карловны Вейкардт).

* * *

Термин «генерал-губернатор» появился еще при Петре I. Но в то время он использовался в качестве почетного титула или для названия руководителя местности, находившейся на военном положении. Создание института *государева наместника* или *генерал-губернатора* как постоянного органа местного управления для всей территории России было впервые предусмотрено принятыми императрицей Екатериной II в 1775 году «Учреждениями для управления губерний Всероссийской империи». По смыслу этого законодательного акта генерал-губернаторы должны были ведать лишь одной губернией.

Однако на практике они стали назначаться для управления местностями, состоявшими из нескольких губерний.

Статьи 81 и 82 «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» определяли основные направления этих должностных лиц: «Должность государева наместника, или генерал-губернатора, есть следующая: строгое и точное взыскание чинить со всех ему подчиненных мест и людей о исполнении законов и определенного их звания и должностей, но без суда да не накажет никого; преступников законов и должностей да отошлет, куда по узаконениям следует для суда, ибо государев наместник не есть судья, но оберегатель ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА изданного узаконения, ходатай за пользу общую и государеву, заступник утесненных и побудитель безгласных дел. Словом сказать, нося имя государева наместника, должен он показать в поступках своих доброхотство, любовь и соболезнование к народу». Из содержания приведенных статей вытекало, что главной функцией генерал-губернатора является общий надзор за управлением губернией и забота о соблюдении законов. Однако на практике генерал-губернаторы стали заниматься всеми текущими делами местного управления: они обеспечивали сбор налогов, поддержание общественного порядка и т. д.

Действительность показала, что на отдаленных от столицы территориях власть генерал-губернаторов становилась почти неограниченной. Не видя эффективных способов ее обуздания, Павел I вскоре после своего вступления на престол принял решение упразднить институт генерал-губернаторства, оставив его только для приграничных местностей.

Ко времени вступления на престол Александра I территория Сибири делилась на две губернии: Иркутскую и Тобольскую. Уже в первые месяцы Александрова царствования стал решаться вопрос о разработке для Сибирского края нового административного устройства, в полной мере учитывающего особенности этой обширной местности[1]. Дать Сибири «особенное образование» обещала в свое время еще императрица Екатерина II[2].

---

[1] Сомнения в применимости екатерининских «Учреждений для управления губерний» к Сибири высказывал, в частности, в записке, поданной государю, граф А. Р. Воронцов. Возможно, эти сомнения были навеяны Александру Романовичу А. Н. Радищевым, который еще в 1791 г. писал ему, тогдашнему своему начальнику: «Уральские горы, отделяя Сибирь от России, делают ее особенною во всех отношениях» (*Радищев А. Н.* Полн. собр. соч. М.; Л., 1952. Том 3. С. 379).

[2] В высочайшем указе об образовании Колыванской области, изданном в 1779 г.

27 мая 1801 года «Непременный совет», рассмотрев вопрос об управлении Сибирью, признал, что «страна сия, по великому ее пространству, по разности естественного ее положения, по состоянию народов, ее населяющих, нравами, обыкновениям, промыслами и образом жизни толико один от другого разнствующих, требует как в разделении ее, так и в самом образе управления особенного постановления». Одновременно было принято решение направить в сибирские губернии для изучения местных условий «особенного чиновника» с заданием представить после этой поездки проект нового административного устройства Сибири, «приличнейший многочисленному разнообразию народов в ней обитающих».

На роль такого чиновника император Александр своим указом от 9 июня 1801 года определил Ивана Осиповича Селифонтова. В первой половине 90-х годов XVIII века он занимал должность Тобольского вице-губернатора. В 1796 году был назначен Иркутским генерал-губернатором, но не успел вступить в эту должность, так как генерал-губернаторство было упразднено императором Павлом. Общие результаты поездки И. О. Селифантова в Сибирь нашли свое отражение в отчете министра внутренних дел В. П. Кочубея за 1803 год, в котором говорилось следующее: «Расстояние Сибири от места Главного Управления, великое ее пространство, рассеянность населения и многие другие местные уважения, отличающие сей край от всех других губерний, давно уже заставляли помышлять, чтоб состав полицейского и судебного ее управления более приспособить к сим существенным различиям ее положения. Послание сенатора Селифонтова имело целью, чтоб точнее наблюсти сии различия и представить о положении Сибири сколь можно подробные и достоверные сведения. При рассмотрении здесь сведений, от него доставленных, открылись два рода неудобств, с настоящим состоянием ее сопряженных: одни происходили от самого состава управления ее; другие от разных злоупотреблений, временем и бездействием власти вкравшиеся»[1].

13 июня 1801 года «Непременный совет» принял решение о целесообразности восстановления должности генерал-губернатора по всей территории Российской империи. 23 мая 1803 года был учрежден единый для Сибири институт генерал-губернатора с центром в Иркутске. На должность эту император Александр назначил И. О. Селифонтова. По словам Ф. Ф. Вигеля, он сначала «отговари-

[1] Журналы Комитета министров. СПб., 1888. Том 1. С. 76.

вался и насилу принял должность, многотрудную для добросовестного человека»[1].

При своем назначении на должность Сибирского генерал-губернатора И. О. Селифонтов получил особую инструкцию, разработанную М. М. Сперанским и В. П. Кочубеем. Данная инструкция предоставляла ему расширенный круг полномочий. Генерал-губернатор назывался в ней «хозяином» вверенных ему губерний. Для содействия себе он мог создавать совет из высших чиновников Сибирской администрации, который имел только совещательные функции и не обязывал своими решениями генерал-губернатора.

И. О. Селифонтов был наделен правомочием назначать на должности в Сибирском управлении и смещать с них всех чиновников, кроме губернаторов, вице-губернаторов и начальников губернских палат, имевших свои «особенные начальства» в столице. На генерал-губернатора Сибири возлагался надзор за снабжением продовольствием населения и войск. Однако командование как военно-сухопутными, так и военно-морскими силами оставлялось при этом в подчинении военных.

Из-за малочисленности сибирского дворянства в Сибири не были сформированы предусмотренные «Учреждениями для управления губерний Всероссийской империи» органы дворянского самоуправления. Это обстоятельство в сочетании с большой удаленностью Сибирских губерний от столицы давало генерал-губернатору Сибири возможность действовать совершенно произвольно. В таких условиях российскому императору «не осталось иного делать, как избрать особу, заслуживающую доверие, и снабдить довольною властью разрешаться сами собою во всем том, что не терпит отлагательства».

Основываясь на результатах своей поездки в Сибирь в качестве «особенного чиновника», Селифонтов выступил с предложением об организации здесь в дополнение к Иркутской и Тобольской губерниям Томской губернии. Решение об этом было принято государем 6 июня 1803 года. 26 февраля 1804 года император Александр издал Указ «Об учреждении Томской губернии», гласивший: «Повелеваем: 1. Все пространство, составляющее ныне Тобольскую губернию, разделить... на две части, из коих первая, из девяти уездов, составлять будет губернию Тобольскую, а вторая, из восьми уездов, составит губернию Томскую».

---

[1] Записки Филиппа Филипповича Вигеля. Часть 2. М., 1892. С. 166.

Создание министерств в 1802 году привело к возникновению в местном управлении административных органов, подотчетных соответствующим министерствам и не подчинявшихся генерал-губернатору. Это создало условия для конфликтов между двумя ветвями власти. Особенно остро подобные конфликты должны были протекать в Сибири, где генерал-губернатор считался «хозяином» и обладал самой широкой властью.

И первый крупный конфликт такого рода разразился в 1804 году, когда генерал-губернатор Селифонтов захотел удалить из своего края строптивого иркутского прокурора С. А. Горновского. На защиту последнего встал министр юстиции П. В. Лопухин, заявивший: «Я с моей стороны никак не позволю себе располагать участью чиновников, мне вверенных, при всем уважении к донесениям управляющих губерний, по одному их взгляду, по одному поверхностному обозрению». Министр внутренних дел В. П. Кочубей, которому непосредственно подчинялся Селифонтов, в ответ выразил мнение, что генерал-губернатор «есть первый и главный прокурор вверенных ему губерний». Одновременно он пояснил П. В. Лопухину: «Составляя в министерстве одно целое, мы не можем действовать раздельно, и как нет в губерниях ни ваших, ни моих чиновников, а все они служат равно Государю и Отечеству».

Стремление генерал-губернатора Селифонтова усилить свою власть и распространить ее на все сферы сибирского общества превратило его правление в борьбу всех против всех. Раздорами были охвачены даже его отношения с губернаторами. Особенно сильно конфликтовал он с руководителями Иркутской губернии, поскольку именно в Иркутске находилась резиденция генерал-губернатора. С 1802 по 1806 год на должности Иркутского губернатора побывало шесть человек.

Император Александр всерьез обеспокоился состоянием дел в Сибирской администрации в начале 1805 года. 20 мая указанного года его величество направил отправлявшемуся в Китай главе российского посольства графу Ю. А. Головкину секретное письмо, в котором сообщил, что до него дошли вести о беспорядках и злоупотреблениях в Иркутске. Государь поручил Головкину понаблюдать за действиями Сибирского генерал-губернатора. В своих инструкциях ревизору Александр заявлял: «Отдаленность сего края и особенные местные его положения делают весьма уважительными все способы, кои могут представиться к точнейшему познанию его нужд и к лучшему его устройству».

Ознакомившись на месте с деятельностью Сибирской администрации, Ю. А. Головкин пришел к выводу о том, что Сибирью невозможно управлять на основании «Учреждений для управления губерний Всероссийской империи» и что поэтому этот край должен стать «отдельною и особливою частию в общем государственном управлении». По его мнению, Сибирью необходимо управлять не как губернией, а в качестве казенного поместья.

Данный вывод был сделан на основе весьма поверхностного обозрения Сибирского края и под влиянием бытовавших тогда в столичном обществе убеждений, согласно которым этот край населен отсталыми в своем развитии народами.

Недостатки сибирского управления связывались в донесении Головкина с личностью генерал-губернатора. Поверив данному донесению, император Александр не мог найти ничего лучшего для исправления недостатков, как отстранение И. О. Селифонтова от должности за допущенные им злоупотребления своей властью.

Между тем злоупотребления властью со стороны Сибирского генерал-губернатора были при тех условиях неизбежны. Назначенный управлять огромным краем, он не имел четких инструкций, определявших его полномочия, не обладал правом издавать имевшие юридическую силу на вверенной ему в управление территории постановления или инструкции, изменять численность штатов административных органов, распоряжаться финансовыми средствами. Поэтому даже в «чистых» делах ему приходилось нарушать законы. А без их нарушения управлять было невозможно.

Поставленный в такие условия, генерал-губернатор опирался, в сущности, только на доверие государя. Именно поэтому недруги генерал-губернатора старались в борьбе с ним разрушить доверие, которым он пользовался у императора. В связи с этим и главным средством данной борьбы были жалобы, доносы на генерал-губернатора его императорскому величеству.

В этих условиях генерал-губернатор вынужден был предпринимать специальные меры для того, чтобы прекратить поток порочивших его доносов в столицу: насаждать вокруг себя атмосферу страха и рабской покорности, разделять чиновников на враждующие группировки и т. д. Управление Сибирью превращалось для него в настоящую борьбу за власть, бескомпромиссную и жестокую.

3 марта 1806 года на должность Сибирского генерал-губернатора был назначен вместо И. О. Селифонтова И. Б. Пестель. Перемена личности на этом посту ничего не изменила в характере управления

Сибирью. Заняв должность Сибирского генерал-губернатора, Иван Борисович развернул во вверенном ему в управление крае борьбу против всех, кто не позволял или был в состоянии не позволить ему властвовать так, как ему хотелось. Краткое описание его деятельности на этом посту, данное в мемуарах И. И. Дмитриева, напоминает сводку боевых действий: «Сенатор и Сибирский генерал-губернатор Иван Борисович Пестель, человек умный и вероятно бескорыстный, наклонный к раздражительности и самовластию, в короткое время пребывания своего в Сибири сделался грозою целого края, преследуя и предавая суду именитых граждан, откупщиков и гражданских чиновников. Он уничтожал самопроизвольно контракты частных людей с казною, ссылал без суда за Байкальское озеро; служащих в одной губернии отправлял за три тысячи верст в другую и отдавал под суд тамошней Уголовной Палаты, наконец, восстал и против своих губернаторов, из коих два, по его представлению, были отрешены от должности и судимы Сенатом»[1].

За первые два года своего генерал-губернаторства И. Б. Пестель сумел заменить всех трех губернаторов. Нового Иркутского губернатора Н. И. Трескина он привез с собой. Иван Борисович знал этого человека по службе своей с 1789 до 1798 года на посту главы московского почтового ведомства: Николай Иванович был тогда его помощником.

В момент назначения И. Б. Пестеля в Сибирь Н. И. Трескин являлся Смоленским вице-губернатором. По слухам, ходившим в Петербурге, Иван Борисович не соглашался принять должность Сибирского генерал-губернатора, если не поставят на место Иркутского губернатора именно Трескина. «Я его, так сказать, образовал к службе, — говорил о нем Пестель, — и знал его правила, его строгую честность и искреннее благочестие. Нельзя было найти человека надежнейшего, который бы был мне более предан и даже, из благодарности, более привязан».

Должность губернатора в Иркутске занимал с 1805 года А. М. Корнилов[2] — его переместили на губернаторство в Тобольск.

---

[1] *Дмитриев И. И.* Взгляд на мою жизнь. М., 1866. С. 188–189. См. также о борьбе генерал-губернатора И. Б. Пестеля за власть во вверенном ему в управление крае: *Штейнгейль В. И.* К иркутскому летописцу пояснение. Записка о Сибири // Штейнгейль В. И. Сочинения и письма. Том 2: Записки и статьи. Иркутск, 1992. С. 193–197.

[2] Отца знаменитого русского адмирала — героя Севастопольской осады В. А. Корнилова.

В 1808 году новому генерал-губернатору Сибири удалось добиться отрешения В. С. Хвостова от должности Томского губернатора «за медленное исполнение приказов» и поставить на нее своего зятя Ф. А. Брина. В 1809 году И. Б. Пестель выжил с поста Тобольского губернатора А. М. Корнилова — его зять перешел на этот пост, оставив губернаторство в Томске. Томским же губернатором стал в 1812 году Д. В. Илличевский[1].

18 августа 1807 года И. Б. Пестель выехал из Иркутска в Санкт-Петербург и больше в Сибирь не возвращался. Дистанционное управление вверенным ему краем Сибирский генерал-губернатор осуществлял более одиннадцати лет без перерыва. По этому поводу в столичном обществе ходило множество шуток и анекдотов. Сказывали, например, что в 1822 году император Александр, обедая в доме графа Нарышкина, где был также и Пестель, заметил в беседе: «Граф, временем я чувствую необходимость в очках, но не решаюсь». Нарышкин тут же отреагировал: «Я знаю удивительные очки!» — «У кого?» — вопросил Александр. Нарышкин тогда встал и, указывая рукой через стол, воскликнул: «В-о-н у Пестеля! Он тринадцать лет живет здесь и видит все в Сибири!»[2]

Между тем пребывание И. Б. Пестеля в столице имело вполне рациональное объяснение. Как ни странно, при той системе управления, которая существовала тогда в России, было удобнее управлять Сибирью из расположенного на многие тысячи верст от нее Санкт-Петербурга. Главные сибирские проблемы оказывалось невозможным решать без императора, а для этого требовалось время от времени бывать у его величества на приемах. И. Б. Пестель, благодаря тому, что находился в столице, часто приглашался в царский дворец на обеды, стал членом Сената и Государственного совета, мог присутствовать при рассмотрении сибирских дел в Комитете министров. В 1814 году он был назначен членом особого комитета по откупным делам, предмет деятельности которого затрагивал интересы и Сибирской администрации.

Кроме того, Иван Борисович обосновался в Санкт-Петербурге еще и потому, что хотел получить для себя новую инструкцию, кото-

---

[1] Отец однокашника поэта Пушкина по Царскосельскому лицею — Алексея Дамиановича Илличевского.

[2] Этот анекдот пересказал в своих мемуарах Эразм Стогов. См.: *Стогов Э. И.* Записки жандармского штаб-офицера эпохи Николая I. М., 2003. С. 75.

рая позволила бы ему на вполне законных основаниях властно вмешиваться в деятельность всех отраслей местного управления.

Проект такой инструкции был разработан к 1812 году, но по разным причинам не получил высочайшего утверждения, несмотря на то, что Иван Борисович прилагал постоянные усилия для того, чтобы добиться этого.

Помимо заботы о новой инструкции для сибирского генерал-губернатора, И. Б. Пестель имел — по крайней мере, в течение последних восьми лет своего генерал-губернаторства, — еще одно увлекавшее его занятие. Он вел судебное преследование бывших сибирских губернаторов А. М. Корнилова и В. С. Хвостова, смещенных им за стремление к самостоятельности. Только после того, как Иван Борисович оставит пост генерал-губернатора, эти дела будут прекращены за невиновностью обвинявшихся. По представлению Сперанского Корнилов и Хвостов будут восстановлены в должностях, станут тайными советниками и сенаторами, им выплатят жалованье за все годы отставки.

Для обеспечения прочности своего положения на посту генерал-губернатора И. Б. Пестель старался поддерживать самые добрые отношения с петербургской любовницей Аракчеева госпожой В. П. Пукаловой, которая, к его генерал-губернаторскому счастью, проживала в соседнем доме. Всемогущий граф вплоть до 1817 года покровительствовал Сибирскому генерал-губернатору И. Б. Пестелю и, когда переменил к нему отношение, Ивану Борисовичу пришлось уйти в отставку.

Любопытно, что при всем своем деспотизме И. Б. Пестель считал себя чрезвычайно честным и справедливым по натуре человеком. Бывало так, что, просмотрев в театре пьесу, где показывались гонения и притеснения людей, бессовестность и продажность судей, он приходил в такое сильное негодование на несправедливость, что не спал целыми ночами.

Судьба наказала Ивана Борисовича за такое двуличие на редкость необычно: сыну его Павлу угодно было стать, по ее велению, руководителем тайного революционного общества, поставившего одной из своих целей ликвидацию в России деспотического произвола властей.

Жизнь в Петербурге дорого обошлась Ивану Борисовичу. Генерал-губернаторское жалованье его составляло 12 000 руб. в год. В дополнение к нему он получал ежегодно 6000 руб. на объезд губерний, 3000 руб. сенаторского жалованья, 3000 руб. пенсии, 3000 руб.

столовых. Столичная жизнь многочисленного Пестелева семейства поглощала всю эту довольно значительную по тем временам сумму и еще сверх нее. 200 000 руб. долгу нажил со своим семейством Пестель, когда грянула для него отставка со службы, которая лишала его разом всех жалований и доплат. Вынужденный довольствоваться отныне лишь 3000 руб. пенсии, он покинул Санкт-Петербург и поселился в небольшом (149 душ крепостных) имении своей жены в Смоленской губернии. Павел Пестель, узнав об отставке своего отца, тотчас написал родителям письмо, в котором слезно просил их переписать на его имя все их долговые расписки, а вотчину завещать в безраздельное владение сестре Соничке. «Тот день, когда я подпишу все ваши заемные письма без исключения, будет без сомнения, прекраснейший день моей жизни, — уговаривал он родителей. — Мне еще нет 30 лет, я могу еще иметь успех в жизни; для вас же нужен покой после беспрестанных бурь, которые до сих пор потрясают вашу жизнь. Пусть все ваши долги без исключения будут переведены на меня».

Смерть любимого сына на эшафоте у Петропавловской крепости стала для Ивана Борисовича двойным ударом. Долги его семейства легли на него одного и поглотили всю его оставшуюся жизнь. «Я молю Бога о том, чтобы мне прожить только до тех пор, когда я уплачу все мои долги», — часто говаривал он окружающим. 18 мая 1836 года умерла его жена, так и не оправившаяся от удара, которым стала для нее потеря сына Павла. В конце апреля 1843 года Иван Борисович уплатил последний долг, а 18 мая, в день семилетия смерти жены, скончался.

В отсутствие генерал-губернатора в Сибири неограниченно правили местные губернаторы: Иркутский, Томский, Тобольский. Главную роль в проведении своей политики в Сибири пребывавший в столице генерал-губернатор отводил Иркутскому губернатору Н. И. Трескину. Николай Иванович был, кажется, полным единомышленником своего начальника в том, что касалось методов управления губернией. В. И. Штейнгейль писал о них: «Пестель и Трескин строго держались истины: „кто не за нас, тот против нас; а кто против, того надобно душить“... и душили, как говорится, в гроб. Все, что с этой стороны можно сказать в их извинение, так разве одно то, что в них было некоторого рода предубеждение, на благонамеренности основанное: они боялись, что без сильных мер и без введения во все места людей преданных и, как говорится, надежных не успеют ничего путного сделать для Сибири. По крайней мере, я

неоднократно слышал подобное суждение из уст Трескина. Ни Пестеля, ни Трескина нельзя назвать злыми людьми. Они, кажется, по совести думали, что душат негодяев, злодеев, ябедников „для блага целого края“»[1].

По свидетельству М. М. Геденштрома, служившего чиновником в администрации Н. И. Трескина, «все делалось по личному усмотрению, народ принимался за малолетних, наказания были строгие, пьянства и преступлений не было»[2].

Один из чиновников губернского правления в Тобольске, лично знавший Сибирского генерал-губернатора И. Б. Пестеля, вспоминал впоследствии о нем: «Отдавая должную справедливость достоинствам Пестеля, нельзя скрыть, что он был властолюбив, восприимчив и желчен; отсюда проистекали все порывы самовластия его. По ложному расчету он хотел управлять более страхом. Будучи сам деятелен и честен, он не любил в службе ленивых и взяточников: первых называл трутнями и удалял от дела, а последних пиявицами и преследовал их до могилы... Но при сем том я убежден, что он не был злонамеренным начальником. Другие дела и другие люди — он управлял бы справедливее и умереннее, потому что был умен, деятелен и бескорыстен, в чем отдают ему справедливость самые враги его; даже бывший министр юстиции И. И. Дмитриев».

Одним из результатов политики, проводившейся И. Б. Пестелем и его сторонниками в Сибирском управлении, стало резкое ограничение господства купечества. Самые влиятельные из купцов, посмевшие выступить против генерал-губернатора и его ставленников на постах губернаторов в Иркутске, Тобольске и Томске, были отданы под суд. Судебное преследование сибирских купцов облегчалось тем, что в стремлении к наживе они преступали не только закон, но и элементарные нормы морали. Они беззастенчиво грабили местное население, повышая цены на свои товары и навязывая ему некачественные продукты.

Господство купечества в Сибири сменилось в период правления генерал-губернатора Пестеля господством чиновничества. Эта перемена выразилась в снижении на какое-то время цен на хлеб и другие

---

1 *Штейнгейль В. И.* К иркутскому летописцу пояснение. Записка о Сибири. С. 197–198.

2 Цит. по: *Вагин В. И.* Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири. СПб., 1872. Том 2. С. 317.

продукты питания, а также в заметном повышении материального благосостояния работников Сибирской администрации.

Конфликты сибирских властителей с различными группами местного населения и с чиновниками, находившимися в подчинении министерств, а не генерал-губернатора, порождали потоки жалоб на имя государя императора. 10 октября 1813 года его величество повелел учредить при Комитете министров специальный комитет под председательством В. П. Кочубея «для рассмотрения поступивших от Сибирского генерал-губернатора представлений по делам тамошнего края». В состав Комитета по делам Сибирского края вошли: государственный контролер Б. Б. Кампенгаузен, главноуправляющий делами иностранных исповеданий князь А. Н. Голицын. Иван Борисович относил их к числу своих «величайших врагов». Включенные позднее в состав данного комитета А. С. Шишков и А. Д. Балашов также считались недоброжелателями И. Б. Пестеля.

Собирался Комитет по делам Сибирского края от случая к случаю и действовал до 4 февраля 1819 года. Он рассматривал на своих заседаниях представления Сибирского генерал-губернатора, а также те или иные жалобы на действия губернаторов сибирских губерний.

И. Б. Пестель был ярым сторонником реформы системы Сибирского управления. О том, как мыслил он эту реформу, можно судить по его записке графу Аракчееву, составленной после 1810 года. В ней говорилось: «Трудно удержать благоустройство в той государственной части, которая управляется несколькими лицами. Точно так, как в частном быту, если в одном доме находится несколько хозяев, один от другого не зависящих, никогда почти не бывает доброго устройства. Управляемый мною Сибирский край, к несчастию, обретается точно в сем состоянии. Край сей не только по качеству населения своего и по отдаленности от верховного правительства, но даже по самому натуральному положению долженствует иметь *единого главного правителя или хозяина*, не подверженного опасению, чтобы частные тамошние правители или его помощники могли противопоставлять ему действия свои, а тем паче вовсе отделяться от целого».

Намерение отрешить И. Б. Пестеля от должности генерал-губернатора Сибири император Александр проявил первый раз еще в апреле 1817 года. Вместе с ним его величество хотел отправить в отставку и Томского губернатора Д. В. Илличевского. На пост нового Сибирского генерал-губернатора планировался тогда командующий войсками, расположенными в Сибири, генерал-лейтенант

Г. И. Глазенап. Но граф Аракчеев отговорил государя от этих намерений.

Поступившие императору весной 1818 года новые доносы на Н. И. Трескина, и в особенности доклад С. А. Горновского, в котором содержалась просьба к государю назначить для расследования деяний Иркутского губернатора специальную комиссию с участием в ней иркутского совестного судьи и директора гимназии П. А. Словцова, заставили Александра принять решение по проблеме Сибирского управления.

Один из вариантов разрешения данной проблемы разработал председатель Комитета министров П. В. Лопухин. Он предложил две меры: 1) направить в Сибирь с задачей ревизии деятельности местной администрации двух сенаторов и 2) учредить специально для Сибири уголовный и гражданский департаменты Сената. По его мнению, осуществления данных мер было вполне достаточно, чтобы прекратить беспрерывный поток жалоб из Сибири в столицу.

Министр внутренних дел О. П. Козодавлев являлся сторонником другого варианта решения проблем Сибирского управления. В его записке, переданной 24 октября 1818 года графу Аракчееву и показанной затем императору Александру, говорилось о том, что направление в Сибирь сенаторов для ревизии местного управления совершенно бесполезно. Вместо этого необходимо создать в самой Сибири Верховный совет, состоящий частью из чиновников, назначаемых правительством, частью из членов, избираемых из сибирских жителей разных сословий. При этом предполагалось, что именно Совет будет уполномочен принимать решения по важнейшим вопросам управления Сибирью, а генерал-губернатор займет пост председателя этого совета с полномочием приостанавливать исполнение его решений. Кроме того, О. П. Козодавлев предлагал создать в Сибири настоящее городское самоуправление, с широкими полномочиями, позволяющими управлять торговлей, промышленностью и системой образования. Ни один из этих проектов не был принят даже к рассмотрению Комитетом министров.

Между тем вопрос о недостатках Сибирского управления рассматривался на заседаниях этого органа 14 и 16 ноября 1818 года, и после долгих дискуссий Комитет министров пришел к мнению о необходимости отставки И. Б. Пестеля и назначения нового генерал-губернатора Сибири. Особенно рьяно настаивал на этом министр внутренних дел Козодавлев.

Доклад Комитета министров о сибирских делах, в котором предлагалось сменить И. Б. Пестеля на посту генерал-губернатора Сибири, был одобрен государем еще в конце ноября 1818 года. Тогда же, по всей видимости, граф Аракчеев и предложил императору Александру назначить на этот пост Сперанского. Прежде чем принять решение, государь три месяца пребывал в сомнениях. Какова была в данном случае их подоплека, можно только гадать.

* * *

Назначение Сперанского Сибирским генерал-губернатором было сочтено Петербургским обществом знаком восстановления императорского доверия к нему. И едва забрезжил свет монаршей милости над головой изгнанника, воображение сановников-чиновников получило подобающее развитие. Сперанский стал видеться им возвращающимся в прежнее свое могущество. Не только скрытые недоброжелатели, но также явные некогда противники его поспешили в письмах к нему поздравить его с новым назначением и выразить свое восхищение его способностями. «Не вас, но Сибирь поздравляю я с новым генерал-губернатором, — писал Сперанскому министр внутренних дел О. П. Козодавлев. — Вас ведет в мире сем явно перст Божий: определение вас генерал-губернатором Сибирским есть дело Промысла... Мысленно вас обнимая, желаю вам от всего сердца мудрости змеиной и целости или чистоты голубиной: да будет с вами руководствующий вас Спаситель и да возвратит Он поскорее вас сюда во славе и удовольствии!»

Поток поздравительных посланий в адрес Сперанского не прекращался и в дальнейшем, когда он уже был в глубине Сибири. В Петербурге следили за его сибирской эпопеей с исключительным вниманием, и следили не только льстецы и угодники, стремившиеся опередить события, но и русские люди, действительно озабоченные состоянием огромного края. В своих письмах к Сперанскому они старались подбодрить его, поддержать его действия. «Бороться со всем окружающим, даже с самим собою есть девиз человека на поприще жизни гражданской и даже моральной, — писал 1 декабря 1819 года новому генерал-губернатору Сибири С. С. Уваров. — Конечно, борьба не всегда удачная, но для совести своей всегда необходимая — даже и отдыхать слаще после бурной службы гражданской — отдыхать с друзьями всех столетий, живыми и мертвыми, с вами, с Цицероном и с Монтанем... Говоря недавно о Сибири, случилось мне ска-

зать, что история Сибири делится на две эпохи: 1-я от Ермака до Пестеля, — 2-я от Сперанского до XX... Это моя мысль и мое убеждение. Я смею ласкаться надеждою, что я, некоторым образом, содействую вам в великом предприятии вашем!» Многие тогда восклицали, пусть в мыслях своих, вслед за Уваровым, обращаясь к Сперанскому: «Как радостно для русского, любящего свое отечество, чувство общей признательности к вашим трудам и к вашему усердию!»

Подобные призывы и возгласы вдохновляли, да и лесть при всей слащавости своей не оставалась без последствий — недавний изгнанник не мог не находить в ней нечто приятное, возвышающее. Как бы то ни было, в Сибирь Сперанский поехал с намерением действовать, и не без надежды на лучшее. Эту свою новую эпопею он назвал в своем дневнике «путешествием в Сибирь».

* * *

17 мая 1819 года Сперанский прибыл в Пермь. Здесь его встретили с величайшим почтением — а ведь это был город, в котором еще несколько лет назад его унижали и оскорбляли, как только было можно. Б. А. Гермес — к счастью своему — не был уже губернатором: как пережил бы он встречу со Сперанским, прибывшим в город своей ссылки генерал-губернатором? В тот же день Михайло Михайлович писал дочери: «Я в Перми и ты можешь себе представить, любезная Елизавета, всю странность, всю противоречивость моих впечатлений. Это есть место моих страданий, училище терпения, покорности и душевного величия».

21 мая новый генерал-губернатор был в Екатеринбурге. А уже на следующий день его встречали перед Тюменью казаки для почетного сопровождения в город.

24 мая 1819 года Сперанский прибыл в Тобольск. Здесь он официально объявил о своем вступлении в должность Сибирского генерал-губернатора. В Тобольске он задержался на месяц для решения первых неотложных дел. Отсюда послал свои первые письма из Сибири дочери.

*30 мая 1819 года*: «И здесь, любезная моя Елизавета, то же небо, тот же благотворный свет солнечный, те же люди, смешение добра и зла»[1].

---

[1] Письмо М. М. Сперанского к дочери. 30 мая 1819 года. Тобольск // В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 172.

*7 июня 1819 года*: «Я окружен здесь хлопотами; а знаешь, как ненавижу я всякую хлопотливость. Не дела, но безделки, чрез кои надобно пройти к делам, неприятны; но я вижу берег, здоровье мое служит, и душа моя исполнена надежды».

*14 июня*: «Не слушай рассказов о сибирской природе. Сибирь есть просто Сибирь... Доселе, по крайней мере, я ничего не видал ни в природе величественного, ни в людях отличного... Глаз мой пристрастен ко всякой красоте природы, ко всякому явлению изящному и величавому. О людях тоже сказать можно. Доселе я еще не мог составить никакого понятия, которое представляло бы мне *Сибиряка*. Те же пороки; те же глупости; то же терпение в бедных и своекорыстие в богатых... Мы живем здесь весьма уединенно. Общества совсем нет и я весьма рад сему образу жизни. Тем скорее и лучше могу я окончить дела мне порученные».

В этих первых своих сибирских письмах Сперанский не обошелся без сетований на неудобства, но это, как правило, пока еще неудобства исключительно частной жизни, обыкновенные для человека, оказавшегося в непривычной для себя обстановке. По мере вглядывания в окружающее и после первых опытов практической деятельности его настроение мрачнело.

***Из письма М. М. Сперанского к А. А. Столыпину от 24 июня 1819 года:***

*«Чем далее спускаюсь я на дно Сибири, тем более нахожу зла, и зла почти нетерпимого. Измучен жалобами, доносами, ябедою, едва нахожу я столько терпения, чтобы окончить дело, мне порученное. Слухи ничего не увеличивали, и дела хуже еще слухов. Есть способы к исправлению, но они предполагают другой образ управления, совсем другой и полный набор чиновников».*

*25 июня 1819 года* Михайло Михайлович писал дочери Елизавете: «Воображение наше ищет в Сибири чего-то чудного, отличительного и ничего не находит. Как жаль, что скучная, единообразная действительность везде уничтожает парения романтические».

В Тобольске генерал-губернатор Сперанский не обнаружил (или не захотел обнаружить) больших злоупотреблений со стороны губернских властей. «Здесь нашел я жалобы и злоупотребления почти обыкновенные и всем губерниям общие, — сообщал он А. А. Столыпину. — Губернатор человек старый, слабый, но добродушный и благовоспитанный, враг Пестелю, хотя и зять ему, и хотя им сюда

определен, но враг непримиримый по домашним сплетням и образу мыслей. Обозрев, заметив, исправив, что было можно, и сделав несколько примеров строгости над земскими начальниками, особливо же доправив с них взятки и возвратив каждому свое, я учредил здесь из оппозиции надзор и отправился в Томск».

5 июля Сперанский был в Томске. Здесь должность губернатора занимал его сокурсник по Александро-Невской семинарии Дамиан Васильевич Илличевский. Губернатором он стал по протекции государственного секретаря Сперанского в начале 1812 года. Но к тому времени, когда Илличевского отправили в Сибирь, Михайло Михайлович был уже в ссылке в Перми. Узнав, что через город будет проезжать новый Томский губернатор, опальный сановник вышел на дорогу, чтобы встретиться со своим сокурсником. Но Илличевский, увидев ссыльного Сперанского, приказал кучеру не останавливаться и проехал в карете мимо него.

Михайло Михайлович, наверное, простил бы эту подлость своего однокурсника, если бы, заняв должность, Илличевский не воровал, не брал взяток.

*10 июля* Сперанский писал дочери: «Физические труды ничто в сравнении с нравственными огорчениями и беспокойствами. Вид здешних неустройств и железного управления возмущает душу».

Две недели спустя оттуда же — А. А. Столыпину: «Что сказать вам о делах здешних? Чем далее спускаюсь я на дно Сибири, тем более нахожу зла, и зла почти нетерпимого. Измучен жалобами, доносами, ябедою, едва нахожу я столько терпения, чтоб окончить дело, мне порученное. Слухи ничего не увеличивали, и дела хуже еще слухов. Есть способы к исправлению, но они предполагают совсем другой образ управления, совсем другой и полный набор чиновников».

С приездом в Томск Сперанский впервые соприкоснулся с безобразиями сибирского управления в их подлинном масштабе. При ревизии томской губернской администрации он не нашел ни одного чиновника, не берущего взяток. Ему пришлось даже вывести дела по взяткам из разряда уголовных и отнести их к гражданским делам, распорядившись закрывать их в тех случаях, когда взяточники возвращали деньги, полученные в качестве взятки.

***Из письма М. М. Сперанского к дочери Елизавете от 1 августа 1819 года:***

*«Томск и вообще Томская губерния могла бы быть и по богатству произведений и по климату ее весьма умеренному и в полуденной части*

*прекрасному одною из лучших губерний в России; но худое управление сделало из нее сущий вертеп разбойников. Сие противоречие между возможностью и действительностью разрывает сердце. Надежда со временем согласить противоречие так еще слаба, что не можно на нее опереться. Частным человеком, может быть, я нашел бы и здесь способ составить себе довольно сносный образ бытия; но никогда начальником. Слишком много ответственности и пред Богом и пред людьми, и силы мои к сему совершенно недостаточны».*

Сравнивая деяния чиновников Томской губернии с деяниями должностных лиц Тобольской губернии, Сперанский писал 18 сентября своему другу Аркадию Столыпину: «Если бы в Тобольске я отдал всех под суд, что и можно было бы сделать, то здесь оставалось бы уже всех повесить. Злоупотребления вопиющие и, по глупости губернатора Илличевского, по жадности жены его, по строптивому корыстолюбию брата его, губернского почтмейстера, весьма худо прикрытые»[1].

Картина злоупотреблений, увиденная Сперанским в Тобольской и Томской губерниях, была, однако, как оказалось, всего лишь бледной копией по сравнению с той, что представилась ему в Иркутской губернии, куда он прибыл в начале августа того же года. Наглостью и бесцеремонностью действий местных чиновников, которых возглавлял губернатор Н. И. Трескин, Михайло Михайлович был просто потрясен. Губернатор, губернский секретарь и трое уездных исправников творили произвол, не признавая никаких вообще законов. С нижнеудинским исправником Лоскутовым Сперанский повстречался при самом въезде в пределы губернии. Как оказалось, Лоскутов уже знал о приезде нового генерал-губернатора и по-своему подготовился к этому неприятному для него событию. Он заранее отобрал у населения своего уезда чернила, бумагу и перья, сложив все подобные приспособления для писания жалоб в волостных управах. Ему, в страхе державшему весь уезд жестокими наказаниями за малейший, с его точки зрения, непорядок, регулярно производившему разорительные поборы с населения, каждый уездный житель представлялся потенциальным жалобщиком.

Несмотря на предпринятые меры, жалобы были все-таки написаны и переданы генерал-губернатору на самой границе Иркутской

---

[1] Письмо М. М. Сперанского А. А. Столыпину. 18 сентября 1819 года. Иркутск // В память графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 246–247.

губернии двумя жителями Нижнеудинского уезда: седовласыми стариками, вероятно, избранными для осуществления столь ответственной миссии вследствие своей близости к смерти. Подача жалоб происходила в присутствии уездного исправника, потому-то старики испытывали при действе этом подлинный ужас. Они встали перед Сперанским на колени, положив жалобы на свои седые головы; когда же тот снял жалобы с их голов, старики повалились дружно на землю, обнимая ее осенне-холодную поверхность как бы в последнем с нею прощанье. Но не это потрясло Сперанского более всего. Поданные жалобы Михайло Михайлович приказал одному из своих помощников немедленно огласить. Узнав из них о жестоком обращении уездного исправника Лоскутова с населением, он распорядился сейчас же арестовать его и отрешить от должности. И тут старики, стоя на коленях, трясущимися руками схватили нового генерал-губернатора за полу одежды и, испуганно озираясь на стоявшего рядом исправника, зашептали: «Батюшка, ведь это Лоскутов, что ты это баешь, чтоб тебе за нас чего худого не было... верно, ты не знаешь Лоскутова». Старые люди были запуганы уездным исправником до того, что стали считать его едва ли не сильнее не то что генерал-губернатора, но и самого российского императора, сидевшего в далеком от Иркутска Санкт-Петербурге.

В Нижнеудинске Сперанский задержался на некоторое время с тем, чтобы организовать тщательное следствие по открывшимся злоупотреблениям. С большим трудом удалось ему и его помощникам разыскать для постоя подходящий для жилья дом. Все более или менее благоустроенные в этом уездном городишке дома принадлежали чиновникам, замешанным в злоупотреблениях и отданным под следствие. Исправник Лоскутов оказался настоящим богатеем — обладателем огромного хозяйства с целыми табунами скота. В его домах было обнаружено огромное количество мехов, серебра, более ста тысяч наличных денег. Все это Сперанский приказал погрузить на возы и отправить в Иркутск, чтобы сдать в казну.

Дочери Елизавете Михайло Михайлович написал из Нижнеудинска: «Здесь-то настоящая Сибирь и здесь-то наконец чувствую, что Провидение, всегда правосудное, не без причины меня сюда послало. Я был здесь Ему действительно нужен, чтоб уменьшить страдания, чтоб оживить надежды, почти уже исчезавшие, и ободрить терпение, слишком утомленное».

Покончив с делами в Нижнеудинске, Михайло Михайлович отбыл в Иркутск. Приезд нового Сибирского генерал-губернатора

в этот город, считавшийся его резиденцией, стал настоящим праздником. Вот как описывалось это событие в письме одного из местных жителей: «29-го дня минувшего Августа в 8 часов по полудни прибыл сюда, давно всеми ожиданный, г. Сибирский генерал-губернатор, Михаил Михайлович Сперанский, и встречен множеством народа всякого сословия на берегу при переправе чрез Ангару. Не столько пышное освещение обоих берегов быстрейшей сей реки, сколько слияние душ и сердец к благословению гостя, грядущего во имя Господне и славу Благословенного Монарха нашего, представляли и при темноте вечера зрелище привлекательнейшее. На другой день Его Высокопревосходительство в кафедральном Богоявленском Соборе слушал Божественную литургию. Стечение людей было необыкновенно великое. Все с неизъяснимым удовольствием тогда и после сопровождали взорами своими нового своего начальника. У всякого на лице начертана была непритворная, сердечная радость и некая животворная надежда, подобная той, каковая бывает в лице выздоравливающего больного при виде своего врача, опытного, усердного и безмездного»[1].

В Иркутске Сперанский сразу же образовал комиссию по расследованию злоупотреблений, допускаемых чиновниками местной администрации. Среди них особо прославился своими злоупотреблениями иркутский уездный исправник Волошин. Подобно нижнеудинскому исправнику, он был отстранен от должности и предан суду. Награбленное местными чиновниками имущество и деньги были, по распоряжению Сперанского у них изъяты и отданы в казну. По словам свидетеля описываемых событий Эразма Стогова, новый генерал-губернатор «немилосердно, жестоко наказал этих грабителей — он *сослал их в Россию*! Они, бедные страдальцы, переехали — кто в Москву, кто в Петербург»[2].

Еще 31 июля, наслышавшись о безобразиях, творимых Томским и Иркутским губернаторами, Сперанский отправил императору Александру письмо, в котором просил его издать рескрипт об отстранении их от должностей.

20 октября государев рескрипт был получен. «Михайло Михайлович! — обращался его величество к Сибирскому генерал-губернатору. — Гражданских губернаторов, Иркутского Трескина и

---

1 НИОР РГБ. Фонд 233. Полторацкого. К. 47/7.

2 Очерки, рассказы и воспоминания Э. Стогова // Русская старина. 1878. Том 23. № 11. С. 525.

Томского Илличевского, предоставляю вам, впредь до окончательного усмотрения, устранить на время от управления губерниями, если по производству дел и вверенному вам обозрению вы найдете сие нужным; исправление же должности их можете вы поручить на время вице-губернаторам. Пребываю [к] вам благосклонный. Александр. Вильна. Сентября 17-го 1819 г.»[1].

Сперанский на следующий же день по получении этого рескрипта отстранил Иркутского и Томского губернаторов от управления. Впоследствии Н. И. Трескин был призван в столицу держать ответ за свои злоупотребления перед Сенатом. Привычка к безнаказанности успела войти в плоть его и кровь: не свои беззаконные действия на посту губернатора в Иркутске считал он злоупотреблениями, но деятельность Сперанского по пресечению произвола сибирского чиновничества. Потому отправлялся Николай Иванович в Петербург не слишком расстроенным в чувствах. На прощанье он заверил своего «обидчика», что скоро прибудет обратно... сменять его в должности генерал-губернатора. Из всех акций Сперанского в Сибири отрешение от губернаторства Трескина произвело на местных жителей наибольшее впечатление. Спустя полвека в Иркутске говорили, что «Сперанский только и сделал особенного, что сменил Трескина».

Сравнивая состояние дел в сибирских губерниях, Михайло Михайлович признавал, что больше всего злоупотреблений со стороны чиновников он обнаружил в Иркутской губернии. При этом губернатор Н. И. Трескин совсем не казался ему полным злодеем.

**Из письма М. М. Сперанского к В. П. Кочубею от 18 декабря 1819 года. Из Иркутска:**

*Все, что утверждали в Петербурге о сибирских злоупотреблениях, все предчувствия, кои видел я в письме вашем, я нашел здесь на самом деле. Начну с Тобольска. Здесь старому фон-Брину можно упрекнуть почти одну слабость. Положительно однако же можно утверждать, что нет ничего вопиющего. Вопль начинается в Томске. Тут поборы тягостнее, чиновники отважнее, преступления очевиднее. Но самое дно злоупотреблений есть Иркутск. Всякий другой край, менее обильный, менее торговый, был бы ими подавлен совершенно. Трескин есть человек необыкновенных способностей: смел, решителен и чрез-*

[1] В память графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 255.

*мерно сметлив. Надобно было, чтоб к нему присоединился еще другой рыцарь, еще его решительнее, и при том лучшее, самое деловое перо, какое только встречал я в жизни. Это есть некто Белявский. Нося разные должности и быв, наконец, председателем гражданской палаты, он всегда был его секретарем, правою рукою. Все, что вы изволили видеть в Сибирском комитете, в Совете, все записки, все представления Ивана Борисовича (Пестеля. — В. Т.), самые его письма к государю, все здесь было сочиняемо; я нашел здесь все в проектах. Я был уже в Тобольске, как сей Белявский начал сходить с ума, сошел и вскоре потом умер, оставя по себе впечатление страха и значительное богатство. С сими двумя лицами два или три исправника, также лица весьма глупые и отважные (в том числе и тот пресловутый Лоскутов, что высек протопопа), составляли всю силу здешнего управления. Естественно, к ним примыкалась толпа людей разного рода: чиновники, купцы, казаки, бурятские тайши, сельские головы, и все сие составляло систему многосложную, но довольно стройную. Уверенность в сей связи и поведение мое в Тобольске осветило и обнадежило их до того, что они пренебрегли лучшие меры осторожности. Можно было уменьшить жалобы, сделав некоторое возмездие обиженным; но они ни с чем не умели расстаться. Сей ложный расчет произвел то, что на самой границе Иркутской губернии, быв встречен жалобами, до Нижнеудинска я был ими провождаем. Тут принужден был остановиться и учредить следственную комиссию. Одних денежных поборов в первые два или три дни предъявлено и доказано на Лоскутова до 300.000 рублей. При описи имения у него найдено одними наличными деньгами и серебром более 100.000 рублей. По приезде в Иркутск все замолкло; здесь действовал еще страх 13-ти летнего управления. Скоро однако же и здесь открылись те же явления; учреждена и здесь особенная следственная комиссия. Сверх множества беспорядков обнаружено ею доселе одних незаконных поборов более двух миллионов рублей. Не буду при сем описывать всю огорчительность, всю несовместность сих упражнений с моими мыслями и привычками. Ваше сиятельство всегда были ко мне столь благосклонны, что можете предположить сие и без моих изъяснений.*

Свою сибирскую эпопею Сперанский оценивал весьма высоко. «Сибирь для меня есть театр довольно выгодный, — писал он дочери 1 февраля 1820 года. — Если не много я здесь сделал, по крайней мере, много осушил слез, утишил негодований, пресек вопиющих насилий и, что, может быть, еще и того важнее, открыл Сибирь

в истинных ее политических отношениях. Один Ермак может спорить со мною в сей части».

Но вот оценка постороннего человека — Эразма Стогова. Во время генерал-губернаторства Сперанского он работал в Иркутске чиновником адмиралтейства, неоднократно общался с ним и мог наблюдать его деятельность. Спустя 12 лет Стогов вновь приехал в Иркутск. «Плоды труда Сперанского были осязаемы, — писал он о своих впечатлениях от увиденного, — власти были ограничены, правление Трескина было слабым преданием и умерло в истории, сохранившись в анекдотах. Но как все дела человеческие несовершенны, так и последствия благонамеренного труда умного человека оказались односторонними. Злоупотребления властей действительно уменьшились, не слыхать было жалоб от богатого купечества и вообще классы имущие были довольны, но зато обессиленная власть не имела силы сдерживать народ, впадала в апатию. В нравственном быте народа я нашел огромную перемену, менее одного поколения — и народа узнать было нельзя! Жизнь в городе мало была обеспечена, частые убийства, грабежи, воровство, недалеко от Иркутска в горах — две шайки разбойников... Казалось бы, с уничтожением деспотической власти полиции, избавлением от незаконных поборов исправников жизнь крестьян должна была улучшиться, но результат вышел противный. Не один раз слышал от стариков, жалевших об управлении Трескина, вспоминали какое было спокойствие, а теперь что...»[1].

Один из крестьян спрашиваем был о новых порядках, введенных в Сибири Сперанским: лучше ли стало при них. «Да вот как лучше, — отвечал он, — прежде нужно было приготовить на чиновников одну овцу, а теперь семь».

Николай Петрович Булатов, состоявший во время сибирского генерал-губернаторства Сперанского на службе в администрации Иркутской губернии, вспоминал о нем через полвека: «Личность его производила самое благодатное впечатление: светло-голубые глаза, симпатичное ангельское выражение лица; обращение доброе, кроткое — совсем не то, что было до него. Он был из поповичей — но в нем этого вовсе не было заметно: до такой степени изящны, утонченны были его манеры. Управлял он уже в новом духе. По моему мнению, приезд Сперанского произвел в Сибири переворот во всех отношениях... Законы Сперанского имели влияние на Сибирь в том

[1] Очерки, рассказы и воспоминания Э. Стогова. С. 525–526.

отношении, что ограничивали деспотизм. В старину царствовал совершенный произвол; со времен Сперанского этого уже не было. Он внес новый дух в управление... Что всего замечательнее, переворот Сперанского совершился тихо, почти незаметно. И никаких крутых мер не было. Были, разумеется, случаи, где надобно действовать судом, но большую часть дел Сперанский решал сам, административным порядком. Несколько человек удалены и только. — Все остальное шло очень скромно»[1].

Высоко оценив действия Сперанского в Сибири, Н. П. Булатов похвалил и бывшего своего губернатора. «Трескина я глубоко уважаю. Это был гениальнейший администратор, — признал он. — Конечно, он действовал деспотически; но таково было время, таков был дух. Кроме того, надо перенестись в его время, влезть в его кожу, посмотреть, что тогда было. Дичь была ужаснейшая»[2].

Для самого Сперанского «путешествие в Сибирь» имело несомненно благие последствия. Поварившись в котле самых разнузданных чиновничьих страстей и окунувшись в заболоченное озеро провинциальной жизни, он окончательно прозрел и многое как в общественной жизни, так и в собственной судьбе стал видеть по-другому.

***Из письма М. М. Сперанского к дочери Елизавете от 6 сентября 1819 года:***

*«Как велика земля Русская! И здесь те же люди, та же чернь, те же нравы и обычаи; те же почти пороки и добродетели. Сие единство почти не понятно. Во всех других государствах несравненно есть более разнообразия. Сие происходит думаю, от того, что здешнее население есть смесь или произведение всех стран России. Но не думай и не дозволяй думать, чтоб Сибирь населена была ссыльными и преступниками. Число их как капля в море; их почти не видно, кроме некоторых публичных работ. Невероятно, как число их маловажно. По самым достоверным сведениям они едва составляют до 2 т[ысяч] в год и в том числе никогда и десятой части нет женщин. Тебе покажется странным предмет письма сего: но надобно, чтоб ты имела об Отечестве твоем верные понятия во всех отношениях. Со временем я издам таблицы, которые удивят просвещенную Европу. Они докажут, что у*

---

1 Цит. по: *Вагин В.* Исторические сведения о деятельности графа М. М. Сперанского в Сибири с 1819 по 1822 год. СПб., 1872. Том 1. С. 569, 571–572.

2 Там же. С. 572.

*нас в 20-ти тысячах едва можно найти одного преступника, да и то воришка маловажного; важных же нет ни на сто тысяч одного. Я сам не поверил бы сему прежде и считаю это великим в моральном мире открытием».*

***Ей же. От 22 июня 1820 года:***

*«Сибирь есть настоящая отчизна Дон Кихотов. В Иркутске есть сотни людей бывших в Камчатке, на Алеутских островах, в Америке с женами их и детьми и они все сие рассказывают, как дела обыкновенные. Человек ко всему привыкает, а привычка к странствию, к тому, чтоб искать похождений, кажется, еще скорее других приходит».*

Именно здесь, в Сибири, понял Сперанский с предельной отчетливостью то, о чем прежде мог из-за отсутствия опыта практической деятельности лишь догадываться — понял тщетность всяких попыток сколько-нибудь быстрого преобразования существующих общественных порядков. Грустная мысль о неспособности человека изменить мир или хотя бы просто обуздать, упорядочить стихию общественного бытия стала определять характер его мировоззрения. Эта мысль сделалась как будто даже любимой его идеей. Он неоднократно высказывал ее в своих письмах из Сибири. «Мы желали бы мир и свои дела устроить по-своему, а этот мир был бы, без сомнения, и весьма глуп, и для нас самих несносен. Впрочем, желания и мелкие наши покушения открывают нам причину первобытного нашего падения. Хотели перестроить мир, думали сделать лучше, вышли из покорности и тем себя и мир погубили» — так писал он в письме к своей дочери 7 января 1820 года.

В конце своего пребывания в Сибири Сперанский составил ряд проектов по преобразованию управления этим обширным краем. В их содержании повторялись основные устремления прежних его реформаторских проектов, но Сперанский был уже не тем полным благих намерений и надежд реформатором, каковым являлся в своей молодости.

*Первая* мысль главного его проекта — «Учреждения для управления сибирских губерний» — заключалась в преобразовании власти губернатора из сугубо личной в публичную посредством установления законного порядка ее осуществления и гласности; *во-вторых*, Сперанский предлагал усилить надзор путем сосредоточения всех отдельных, раздробленных и потому беспомощных надзорных орга-

нов в единое целое, способное заменить крайне неудовлетворительный вследствие своей отдаленности надзор из столицы; *в-третьих*, им делался вывод о необходимости более четкого разделения различных частей губернского управления, более правильного распределения между ними разных функций; наконец, *в-четвертых*, меры по приведению институтов губернского управления в согласованное состояние должны были дополняться приспособлением их деятельности к своеобразному положению Сибирских губерний, к специфическим чертам быта их жителей.

22 июля 1822 года проект Сперанского «Учреждение для управления сибирских губерний»[1] будет утвержден императором Александром. В письме к своему преемнику на посту генерал-губернатора Сибири П. М. Капцевичу от 1 августа 1822 года Михайло Михайлович следующим образом характеризовал новые учреждения Сибирского управления: «Общая черта всех сих учреждений есть та, чтоб вводить новый порядок постепенно и по мере местных способов, не разрушая старого. Все они представляют более план к постепенному образованию сибирского управления, нежели внезапную перемену».

Вторым по значению среди сибирских проектов Сперанского следует назвать «Устав об управлении сибирских инородцев». Примечательной особенностью данного документа было то, что здесь впервые предусматривалось деление коренного населения Сибири на различные категории по образу жизни — на оседлых, кочевых и бродячих. Соответственно этому делению устанавливались их права и порядок управления ими. Прежде местные жители Сибири подводились царским правительством под одну гребенку и назывались иноверцами или ясашными. Сперанский назвал их словом «инородцы»[2].

Среди других проектов, составленных лично Сперанским или под его руководством, были: «Устав об управлении сибирских киргизов», «Уставы о ссыльных и об этапах», «Устав о сухопутных сообщениях в Сибири», «Устав о сибирских городовых казаках», «Положение о хлебных запасах в Сибири», «Положение о долговых обязательствах между крестьянами и инородцами», «Положение о земских повин-

---

[1] См.: Учреждение для управления сибирских губерний. 22 июля 1822 года // Законодательство императора Александра I. 1812–1825 годы / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. 160–232.

[2] См.: Высочайше утвержденный Устав «Об управлении инородцев». 22 июля 1822 года // Законодательство императора Александра I. 1812–1825 годы / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. 232–265.

ностях в Сибири». Кроме перечисленных уставов и положений, Сперанский разработал целую серию мелких актов-постановлений по отдельным вопросам, как-то: «Правила для соляного управления в трех сибирских губерниях», «Правила для переселения казенных крестьян по их желанию в Сибирь» и др. Подавляющее большинство созданных Сперанским актов, уставов, положений были первыми документами такого рода в истории Сибири — до Сперанского какое-либо правовое регулирование вопросов, составивших их предмет, полностью отсутствовало.

Помимо ревизии и подготовки проектов уставов и постановлений, Сперанский занимался в Сибири также сбором различного рода сведений об этом обширном крае: географических, топографических, статистических, этнических, исторических и т. д. Характеризуя деятельность Сперанского на посту Сибирского генерал-губернатора, его биограф М. А. Корф писал: «Если вспомнить, что Сперанский провел в Сибири менее двух лет; что ему в это время надлежало и управлять, и производить ревизию, и собирать материалы к преобразованиям, и писать новые учреждения; что тогдашняя Сибирь была — по его выражению и общему отзыву — настоящим *дном* злоупотреблений; и что по одной Иркутской губернии следственные дела разрослись до множества томов; если, наконец, принять в соображение, сколько времени сенаторы, назначавшиеся туда после него, употребляли на одну ревизию, при готовых уже данных, то, нельзя, конечно, не изумляться массе всего, что он успел там совершить»[1].

Что же двигало Сперанским в его сибирской эпопее? Что заставляло его неустанно трудиться над преобразованием необъятного края?

Очевидно, что главным двигателем его сибирской деятельности было сидевшее в нем желание сделать для Сибири что-либо полезное и тем самым прославить свое имя. Данное желание он признавал в себе сам в то время, когда отправлялся в Сибирь.

Но было в нем еще одно желание, заставлявшее его действовать на сибирском поприще быстро и интенсивно. Это желание поскорее попасть в Санкт-Петербург. По воле императора Александра получилось так, что путь в столицу империи пролег для Сперанского через Сибирь. Причем пребывание его в Сибири не оговаривалось каким-либо сроком — продолжительность данного пребывания целиком зависела от того, насколько быстро он выполнит поставлен-

[1] *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Том 2. СПб., 1861. С. 226.

ные перед ним государем задачи. Потому и работал Сперанский на посту Сибирского генерал-губернатора подобно не знающей износа машине.

В конце января 1820 года Михайло Михайлович направил императору Александру краткий отчет о своей деятельности, где заявил, что сможет окончить все дела к маю месяцу, после чего пребывание его в Сибири «не будет иметь цели», а по соображениям общественного интереса представит даже вред, поскольку он, новый генерал-губернатор, успел пробудить у местного населения надежды к лучшему, но не смог здесь, в Сибири, приискать людей, способных эти надежды исполнить.

Сперанский явно подталкивал государя к тому, чтобы тот дозволил ему возвратиться в Санкт-Петербург в ближайшем будущем. 17 марта 1820 года исполнилось ровно восемь лет с того дня, когда он был выслан из столицы — это заставило его еще раз задуматься о своей судьбе.

***Из письма М. М. Сперанского к дочери Елизавете от 17 марта 1820 года:***

*«Написав сие число, я вспомнил, любезная моя Елисавета, роковой мой день. Почему же роковой? — Потому только, что человек привык ставить себя обладателем своей судьбы, что он с удовольствием переносит все трудности, странствует по белу свету, но не тогда, как его пошлют, а когда он сам того захочет. Человек не умеет еще покоряться Провидению, не может понять, что он не что иное, как кусок глины, коей дают разные формы, что в гибкости и мягкости состоит все его достоинство, что план и экономия вселенной так обширны, так многосложны, что странно и смешно вздумать управлять ими и между тем в сем-то именно и состоит наше притязание: ибо нельзя управлять частию, не касаясь целого. Покорность и гибкость — вот все, что нам осталось. Всякий ропот есть бунт против Провидения. Так рассуждал бы я о другом в обстоятельствах моим подобных. Но о себе самом я должен рассуждать еще строже. Сколько возмездий, сколько милостей небесных получил я в сии восемь по-видимому несчастных лет! Сколько истинных прозрений в природу человеческую и даже высшую... Слово трус, по мнению моему, выражает одно все пороки и в самом деле большая их часть происходит от трусости. Как же быть мужественным, не посмотрев прямо в глаза опасности и несчастию? Несчастие! Его должно бы было называть другим именем,*

*именем благороднейшим, какое только есть в происшествиях человеческих. В духовном смысле оно есть помещение в число чад Божиих, сыноположение. В моральном — сопричтение в дружину великодушных. Несчастие! Его должно бы было вводить в систему воспитания и не считать его ни оконченным, ни совершенным без сего испытания».*

8 марта 1820 года В. П. Кочубей, ставший за четыре месяца перед этим снова министром внутренних дел, а значит, вновь начальником Сперанского, выслал ему официальное уведомление о высочайшей воле: прибыть в Петербург с делами сибирскими к исходу октября того же года. Получение данного уведомления привело Сперанского в радостное настроение и уже было освободило его сердце от разных горьких предчувствований, как вдруг две недели спустя из Петербурга поступило новое распоряжение. Император Александр предписывал генерал-губернатору Сибири расположить путь оттуда таким образом, чтобы прибыть в столицу к последним числам марта будущего года. Прежнее распоряжение тем самым отменялось, прибытие Сперанского в Санкт-Петербург откладывалось на полгода.

Отсрочка возвращения в столицу повергла Михайло Михайловича в состояние, близкое к отчаянию. Чувство бессмысленности собственной деятельности, бесполезности затраченных усилий, сознание того, что в Петербурге по-прежнему есть влиятельные недруги ему, годами вынашивавшаяся обида, страх остаться в Сибири навсегда и даже боязнь подвергнуться необоснованным, сфабрикованным обвинениям со стороны местных чиновников, уличенных им в злоупотреблениях, — все это и многое-многое другое разом восстало в нем и выплеснулось вдруг наружу — в письмах, разговорах, поступках.

Государю в ответном послании он прямо заявил, что остаться на более продолжительный, чем было установлено ранее, срок означает для него принести большую жертву. Его величеству Сперанский все же не выдал многих своих настроений и мыслей, проявил сдержанность в чувствах, которая, впрочем, вполне приличествовала в общении сановника со своим императором, однако в письмах к другим лицам — Кочубею, Голицыну и, особенно, дочери Елизавете — не сдержался, излился до самого дна.

Никогда еще не писал он таких длинных писем, как в этот раз. Никогда не позволял себе столько жаловаться доверенным, но все же посторонним лицам на свою участь. Душа его выказала в этих

письмах многое такое, чего прежде не обнаруживала. Рассудок как будто совсем его покинул, уступив место вольной фантазии чувства. По-женски мнительный, весь в плену собственных домыслов и подозрений, раздражительный, наконец, — таким предстал Сперанский в сложившихся обстоятельствах. Чего стоит одна лишь его жалоба из письма к В. П. Кочубею: «Но отсрочка до марта и сама по себе для меня горестна, и еще горестнее по тому смыслу, который она иметь может. В самом деле, мудрено ли в течение десяти месяцев (Сперанский писал эти слова 20 мая 1820 года. — *В. Т.*) найти причину и изобресть благовидный предлог еще отсрочить и, наконец, решиться вовсе заточить меня в Сибири». Голос души его временами срывался просто в вопль — «*девять лет, без суда и малейшего обвинения, влача меня по всей России, наконец, заточили в Сибирь*»!

Называя свое изгнание из Петербурга несчастьем, Сперанский все же никому и никогда не жаловался на главного виновника своих злоключений — императора Александра. Отсрочка возвращения в Санкт-Петербург ниспровергла его терпение. Ознакомляя помощников своих с содержанием печального для себя императорского рескрипта, Михайло Михайлович впервые не сдержался и открыто выразил свое негодование поведением Александра, публично обвинил его в постоянной неискренности, жестокой неблагодарности, нарушении собственных обещаний, данных к тому же — о, верх предательства! — в письменной форме.

Крах последней надежды при всей своей горестности имеет всегда одно благое следствие. Нанося душе рану, он освобождает ее из плена старых и потому по-особенному прилипчивых иллюзий и соблазнов, которые, хотя и сделались душе тягостными, она отбросить сама не в силах. Так бывает, когда путник, бредущий в темноте на мерцающий вдали огонь, вдруг видит, как огонь этот гаснет. Первое душевное движение в нем — глубокое огорчение, но сейчас же, едва успев испытать горечь, чувствует он блаженную своей души раскрепощенность. Шел он к огню долго-долго, а огонь никак не близился, и все хотелось ему остановиться иль повернуть в другую сторону, да мерцал огонь и теплил в нем своим мерцанием какую-то надежду и тем звал его к себе. И лишь тогда, когда погас огонь, стал путник наш по-настоящему свободен в своих желаниях и выборе пути. Эта свобода и занесла в его душу блаженство.

Недолго Сперанский пребывал в отчаянии. Стремление императора Александра подержать его в Сибири, вдали от Санкт-Петербурга, каковое так отчетливо выказалось в содержании по-

следнего высочайшего рескрипта, окончательно погасило и без того еле тлевшую в нем надежду на возвращение в высокое сановное положение. И когда последний уголек этой надежды потух, ощущение духовной свободы, полной раскрепощенности появилось в нем. Столько времени рвался он в холодный Санкт-Петербург, так жаждал вновь приблизиться к государю, вновь вознестись над сановниками — своими недругами, и все напрасно! Так ради чего тратил он столько сил, изводил себя в волнениях ожиданий? Для чего сдерживал свои душевные порывы, терпел обиды? Довольно! Время прошло, когда могли его теснить по произволу, отныне служба ничего для него не значит.

«Устав надеяться и обольщаться, — писал Сперанский А. А. Столыпину 20 мая 1820 года, — я решил отринуть самую надежду и жить одними надеждами высшего рода, кои никогда обмануть не могут. Еще один шаг, и все кончу. Самое здоровье мое, действительно расстроенное, приводит меня к сему заключению. И стоит ли труда столь много хлопотать и заботиться в мои лета! Еще пять, шесть лет, и предчувствие мое исполнится. Мы увидимся с вами в другом отечестве, в другой столице».

Тогда же намерением просить совершенной отставки со службы Сперанский поделился и с Кочубеем. «Я расчел, кажется, правильно все последствия, — грустно пояснил он своему покровителю, а ныне другу. — Если отставка последует, то, вероятно, с запрещением въезда в столицы, и я отправлюсь умирать в Пензу. Остаток жизни, по всем предчувствиям моим недолголетний, проведу не без утешения, и, по крайней мере, в безопасности».

Отставки Сперанский просить не будет. Оставшееся до возвращения в Санкт-Петербург время он скоротает текущими административными делами, но более изучением быта сибирских народов, чтением книг, переводами с иностранных языков и разными размышлениями в одиночестве. Своей дочери он будет писать[1]:

*9 июня 1820 года*: «Уединение ума все, однако же, лучше, нежели пустое и безвкусное его развлечение. Я привык здесь к сему уединению».

*14 июля 1820 года*: «Добрая книга, умный разговор, вкус к музыке, словом, науки суть ангелы хранители добрых нравов».

---

[1] Письма М. М. Сперанского, писанные из Сибири дочери, напечатаны отдельной книгой. См.: Письма Сперанского из Сибири к его дочери Елизавете Михайловне (в замужестве Фроловой-Багреевой). М., 1869.

*21 июля 1820 года*: «Рассудок, привыкший к высоким созерцаниям изящного, редко может приспособить себя к грубым вещественным формам мира физического или политического. Следовательно, ошибки тут происходят не от недостатка рассудка, но от свойств его. Есть свой рассудок для поэтов и свой для политиков».

*1 августа 1820 года*: «Одиннадцать месяцев письма мои к тебе, любезная моя Елисавета, имели сию траурную надпись: *Иркутск*. Сие письмо будет отсюда последнее. Пишу в самый день отъезда в обыкновенных хлопотах и окружен народом. Надеюсь писать тебе с будущею почтою из Томска».

*1 января 1821 года* (из Тобольска): «Начинаю новый год беседою с тобою, любезная моя Елисавета, и не могу начать его лучше. Желаю тебе, мой друг, не нового счастия, но нового благословения, приумножения благодати свыше. Желаю, чтоб проходя путь жизни, ты легкою ногою касалася земли, помнила бы всегда, что ты идешь, возвращаешься в отечество; что всё встречающееся с тобою на пути, собственно для тебя, есть чуждое и постороннее, предмет любопытства и наблюдения, изучение языка, коим говорить ты будешь в вечности... Мне кончилось сегодня пятьдесят лет. По общему счету жизнь довольно долговременная — а готов ли я? Все упование мое на одно милосердие Божие. Одно достоверно, что собственно для себя я не привязан к миру; но слишком много привязан к твоему счастию и по странному противоречию чего не желаю себе, того желаю тебе». Это письмо представляет тот случай, когда в исчислении своих лет Сперанский ошибался — 1 января 1821 года ему исполнилось в действительности 49 лет. Но по любому счету его жизнь не могла не представляться ему «довольно долговременной».

Позади было столько событий и столько переживаний! Что еще могло произойти, влиться в его и без того переполненную ими судьбу! Что могло случиться в его жизни, в которой все уже как будто бы случилось? Он, не достигший еще возраста 50 лет, временами сам себе казался актером, сыгравшим всю свою роль, но почему-то задержавшимся на сцене. Чувство утомленности от окружающего, — ощущение, что земная жизнь его совершилась и вскоре должна перейти в смерть, стали все чаще и чаще посещать Сперанского в эти тягостные для него дни ожидания отъезда из Сибири. «Посылаю вам, любезный Петр Андреевич, время и вечность: часы и Библию, — писал он другу своему Петру Словцову 24 июля 1820 года. — Пусть первые напоминают вам смерть и разлуку, а вторая верное наше соединение в Спасителе нашем. И здесь живущие духом не разлучаются, а там и

разлучаться не могут. Время было бы несносно, если бы оное не приближало нас к вечности. Для странников, измученных жизнию, бой часов есть голос друга, зовущего к покою. Прощайте, вспоминайте меня в лучшее время жизни, в молитвах и добрых размышлениях, желайте, чтоб тихая рука смерти с верою, любовию и надеждою закрыла мне глаза, зрелищем ложного света давно уже утомленные».

Пришло, однако, Сперанскому время собираться в дальнюю дорогу, в далекую от Сибири столицу империи, и настроение его резко переменилось. «Молись! Молись! Мне нужна твоя молитва более еще в радости, нежели в печали, чтобы взглядом недоверия, или излишних надежд не изурочить счастия, не оскорбить Провидения, ко всему снисходительного, кроме гордости». Так писал Михайло Михайлович своей Елизавете из Тобольска 5 февраля 1821 года. Через три дня ему предстояло отправиться в путь из Сибири в Санкт-Петербург. В одном из более ранних писем к своей дочери он признавался: «Дорога есть лучшее для меня успокоение. Тут я один с моими мыслями и сей род бытия всегда имел для меня прелесть неизъяснимую».

## *Глава десятая*

# В петербургской «ссылке»

*Его все считают честолюбивым человеком, между тем в нем не было и тени честолюбия. Это мнение основано на его жизни по возвращении из ссылки. Но забывают, что эта ссылка продолжалась и в Петербурге, что ему нельзя уже было здесь действовать, — у него по-прежнему были скованы руки, а потребность действовать страшная, — и, разумеется, он принужден был делать уступки. За убеждения свои он готов был идти и в ссылку, в каторжную работу, и на плаху. Он ничего не боялся...*

**Гавриил Степанович Батеньков**

Девять лет вряд ли большой срок для жизни общества, и тем не менее, возвратившись в Санкт-Петербург, Сперанский вступил как будто в новый, неведомый для себя мир. События Отечественной войны создали в русском обществе небывалую обстановку. Они ускорили духовное возмужание молодых людей. Молодое поколение впервые в истории России стало силой, влияющей на духовную атмосферу целого общества. В России опять вошел в моду либерализм, привычными стали не только разговоры, но и публичные речи о политической свободе, представительных учреждениях, конституции. В этом было, пожалуй, нечто знакомое Сперанскому, нечто из того далекого, но так сладостно и тоскливо памятного ему прошлого — молодости его и царствования Александра I. Те же, казалось бы, настроения, те же разговоры... Те — да не те!

Либерализм первых лет Александрова правления нанизан был, словно на некий стержень, на веру в благие намерения государя — веру в серьезность и осуществимость его либеральных замыслов. Русский либерализм 1820-х годов такого стержня не имел. Александру уже не верили.

Весьма показательной в этом смысле была реакция передовых россиян на речь императора в Варшаве весной 1818 года на заседании Польского сейма. Александр I заявил в ней о своем намерении

ввести в России «законносвободные постановления». Он сказал полякам в присутствии русских: «Таким образом, вы мне подали средство явить моему отечеству то, что я уже с давних лет ему приуготовляю и чем оно воспользуется, когда начала столь важного дела достигнут надлежащей зрелости». Напечатанная вскорости в довольно значительных выдержках в официальном издании — правительственной газете «Северная почта» (№ 26 за 1818) — речь эта стала широко известной в русском обществе и, конечно же, не могла не возбудить определенных надежд на преобразования. Но вместе с надеждами немедленно возникли и сомнения. П. А. Вяземский, присутствовавший на заседании сейма во время произнесения Александром I его знаменитой речи, написал о ней А. И. Тургеневу: «Пустословия тут искать нельзя: он говорил от души или с умыслом дурачил свет. На всякий случай я был тут, арзамасский уполномоченный слушатель и толмач его у вас. Можно будет и припомнить ему, если он забудет». Сергей Иванович Тургенев сказал тогда же своим братьям, имея в виду варшавскую речь российского императора: «*Не прельщайтесь блестящим, но обманчивым красноречием*».

Правда, сейчас же после речи Александра I в Варшаве была создана специальная комиссия по подготовке проекта конституции для России во главе с Н. Н. Новосильцовым, активным участником реформаторских опытов начала XIX века. И деятельность этой комиссии была не бесплодной — в результате ее появился документ под названием «Государственная уставная грамота Российской империи». Однако и в данном случае дальше создания конституционного проекта дело не пошло. Впрочем, это никого уже не удивило. С. И. Тургенев, возвращаясь из Франции в Россию в конце 1819 года, остановился в Варшаве и встретился там с Новосильцовым. Руководитель комиссии, работавшей над проектом реформы государственного строя России, произвел на него впечатление усталого, разочарованного во всем человека: «Энтузиазма нисколько, умом не блестит, познания есть благородные, но в них он отстал. Президентом Академии Наук был бы он еще и теперь хорошим, но тем, чем ему здесь быть назначено, законодателем, преобразователем, — нет, нет; в этом он ничего большего не сделает; амбиции в нем, кажется, нет, но тщеславие осталось, хотя ослабленное любовию к покою».

Нечто сходное присутствовало тогда в душевном состоянии и самого российского императора. Эйфория, вызванная в нем победой над Наполеоном, к тому времени уже испарилась. На место ее вновь заступило чувство недовольства Россией.

Отечественная война до предела обострила патриотические чувства в русском обществе. Его величеству следовало бы с этим считаться. Но нет — вынужденный во время войны уступать патриотическим настроениям русских, Александр I по ее окончании как будто взял себе за правило всячески пренебрегать этими настроениями. Он стал усиленно окружать себя иностранцами, выдвигать их на видные должности, осыпать наградами. Александровский генералитет запестрел фамилиями Бистромов, Гельфрейхов, Кноррингов, Корфов, Нейгардтов, Ольдекопов, Пейкеров, Паленов, Шварцев, Эссенов. Славившийся независимым характером и острыми выражениями генерал Алексей Петрович Ермолов писал 8 июня 1823 года А. А. Закревскому, что в России отныне «прочным образом основалось царство немцев», выражая при этом мнение, что «конечно, попользуются они случаем».

Вспоминая в своих записках о второй половине царствования Александра I, декабрист И. Д. Якушкин отмечал, что до в русском обществе с недоумением узнавали о все новых и новых изречениях его величества, в которых «выражалось явное презрение к русским. Так, напр[имер], при смотре при Вертю, во Франции, на похвалы Веллингтона устройству русских войск император Александр во всеуслышание отвечал, что в этом случае он обязан иностранцам, которые у него служат. Генерал-адъютант гр. Ожеровский, родственник Сергея и Матвея Муравьевых, возвратившись однажды из дворца, рассказал им, что император, говоря о русских вообще сказал, что каждый из них или плут или дурак»[1].

Русские люди защитили свою страну, отразили нашествие орды европейских завоевателей на Россию и тем самым спасли царский трон. Император Александр I официально признал это, издав 3 ноября 1812 года Манифест «О изъяснении российскому народу благодарности за спасение Отечества». Его величество отмечал в нем, что «народ, мещанство и крестьянство показали такие опыты верности и любви к Отечеству, какие одному только Русскому народу свойственны», что «вступая охотно и добровольно в ополчения», они «явили в себе мужество и крепость приученных к браням воинов», что «твердая грудь их и смелая рука с такой же неустрашимостью расторгала полки неприятелей, с какой, за несколько перед тем недель, раздирала плугом поля», что из донесений главнокомандующего и других генералов его величество с сердечным удовольствием

[1] Записки И. Д. Якушкина. М., 1908. С. 9.

видел, как во многих губерниях «поселяне сами собой ополчались, избирали из себя предводителей, и не только никакими прельщениями врагов не были уловлены, но с мученической твердостью претерпевали все наносимые ими удары», что «многие селения скрывали в леса семейства свои и малолетних детей, а сами, вооружась и поклявшись перед Святым Евангелием не выдавать друг друга, с невероятным мужеством оборонялись и нападали на появляющегося неприятеля, так, что многие тысячи оного истреблены и взяты в плен крестьянами, и даже руками женщин, будучи жизнью своей обязаны человеколюбию тех, которых они приходили жечь и грабить»[1].

Победа в Отечественной войне не принесла, однако, русскому народу облегчения его участи. Император Александр понимал, что в свете этой победы сохранение крепостного права в прежнем состоянии будет выглядеть как проявление черной неблагодарности по отношению к народу. Поэтому в 1818–1820 годах, наряду с разработкой проекта российской конституции — «Государственной уставной грамоты», по поручению его величества составлялись и проекты постепенной ликвидации в России крепостничества. Однако никаких практических шагов в этом направлении Александр I не предпринимал.

В конце второго десятилетия его правления стали очевидными пороки даже тех немногих государственных реформ, которые были осуществлены до начала Отечественной войны и казались поначалу удачными.

Целых два десятилетия Александр I питал русское общество надеждами на лучшее будущее, теперь обнаружилось, что они были пустыми. Недовольство императором стало охватывать русское общество. В образованных слоях оно пошло далее обыкновенного разочарования в его *персоне*, превращаясь в разочарование в *самодержавной власти* вообще, в неверие в ее способность преобразить Россию, установить конституционное правление с соответствующими политическими свободами.

В 1816 году в России возникли первые тайные дворянские общества («Орден русских рыцарей» и «Союз спасения»), ставившие своей целью замену самодержавия конституционной монархией.

---

[1] Манифест от 3 ноября 1812 года «О изъяснении российскому народу благодарности за спасение Отечества» // Законодательство императора Александра I. 1812–1825 годы / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2011. С. 12–13.

Спустя два года эти общества распались. Возникший вместо них «Союз благоденствия» был также проникнут стремлением к замене самодержавия представительной формой правления, которая мыслилась, правда, не в качестве первичного революционного действия, но как завершающий акт, должный последовать после серии разного рода реформ.

В январе 1821 года «Союз благоденствия» по разным причинам и, в частности, вследствие пересмотра его участниками своих идейных позиций, а также по конспиративным соображениям самораспустился. Вместо него возникло два новых тайных общества — Южное и Северное, в которых стало преобладать стремление установить новый политический строй посредством революции. Первое из революционных обществ оформилось в марте 1821 года, то есть именно тогда, когда вновь появился в Петербурге человек, имя которого было в России символом официальной, правительственной политики реформ.

* * *

Выехав из Тобольска 8 февраля 1821 года Сперанский уже через три дня был в Екатеринбурге, еще через четыре — в Перми, 17 февраля он прибыл в Казань, 19-го — въехал в Симбирск, 25-го февраля — приехал в Пензу. Отдохнув здесь до 6 марта, Михайло Михайлович поехал в Тарханы — навестить сестру своего друга А. А. Столыпина. Для этого ему пришлось сделать немалый крюк. 7 марта он гостил в имении Елизаветы Алексеевны Арсеньевой. Шестилетний Миша Лермонтов, неоднократно слышавший в разговорах взрослых имя Сперанского, не отрываясь смотрел на него[1].

11 марта Сперанский прибыл в Рязань. Здесь ему встретился А. Д. Балашов, который занимал в то время должность генерал-губернатора округа, состоявшего из Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской губерний. В разговоре со Сперанским Александр Дмитриевич вспомнил о событиях, приведших к высылке того из столицы в 1812 году. Свое участие в интриге против государственного секретаря Балашов, естественно, скрыл: из его

[1] М. М. Сперанский записал в своем дневнике об этом посещении Тархан под датой 7 марта 1821 г.: «Тарханы. Посещение Елизаветы Алексеевны. Действие кавказских вод. Совершенное исцеление. Чембар». В данном случае он имел в виду исцеление Миши Лермонтова от золотухи на Кавказских минеральных водах летом 1820 г.

слов выходило, что главным интриганом был Армфельд, который направлял свой удар не только против Сперанского, но и против министра финансов Гурьева, и против... самого Балашова, в то время министра полиции. Происки Армфельда Александр Дмитриевич приписывал отправление его государем в действующую армию.

В 2 часа пополудни генерал-губернатор Балашов дал в честь прибывшего к нему Сибирского генерал-губернатора торжественный обед, после которого Сперанский отправился в дальнейший путь.

12 марта Михайло Михайлович был в Коломне. 13-го — в Бронницах. Утром 14 марта достиг Москвы[1]. Остановился в доме своего пензенского приятеля Григория Даниловича Столыпина.

На пути в Санкт-Петербург Сперанский намеревался посетить также А. А. Аракчеева в его имении в селе Грузино. «Собираясь на сих днях оставить Сибирь, — сообщал он графу из Тобольска за два дня до отъезда оттуда, — я надеюсь к концу марта еще раз в жизни видеть Грузинскую пу́стыню и поклониться ее настоятелю всегда и везде равно много уважаемому». В ответном письме к Сперанскому от 2 марта 1821 года Аракчеев благодарил его за обещание посетить Грузинскую пу́стынь. «Здержите свое обещание, — писал ему граф, — и уведомте меня, когда вы предполагаете проезжать Новгород — я к тому времени приноровлю свой приезд в Грузино. Там мы приятно проведем несколько времени в искренней беседе. Вы тогда будете еще свободны от здешнего политического воздуха, а я спокойнее и свободнее приму уважаемого мною человека в любимом мною месте уединения». Свое письмо Аракчеев отправил в Москву гражданскому губернатору Г. Г. Спиридонову для вручения его Сперанскому, когда тот прибудет в город. Передавая Сибирскому генерал-губернатору аракчеевское письмо, Григорий Григорьевич сообщил ему, что граф Аракчеев болен. Это означало отмену встречи с ним в Грузино. Поэтому после двухдневного пребывания в Москве Сперанский направился прямо в Санкт-Петербург.

Многие из его знакомых, проживавших в Москве, ожидали, что Сибирский генерал-губернатор нанесет им свой визит, но

---

[1] Эти даты обозначил в своем дневнике сам Сперанский. См.: Дневник графа Михаила Михайловича Сперанского: Возврат. С 8 февраля по 22 марта 1821 года // В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 99. М. А. Корф написал на стр. 258 второго тома своей биографии Сперанского, что в Москву он прибыл 16 марта. Но из приводимого им на той же самой странице письма Д. П. Трощинского Л. И. Голенищеву-Кутузову следует, что 17 марта шел третий день после приезда Сибирского генерал-губернатора в Москву.

так и не дождались. К их числу относился и Д. П. Трощинский. Дмитрий Прокофьевич всерьез обиделся, узнав, что служивший когда-то под его началом сановник пренебрег им. 17 марта он писал Л. И. Голенищеву-Кутузову: «Позабыл, было, сказать вам, что Сибирский генерал-губернатор третьего дня сюда приехал, а сегодня, говорят, по утру уже отправился в Петербург. В такое краткое свое пребывание, видно, не успел или же не рассудил навестить меня, считая, может быть, несовместным с высоким званием его вспомнить о прежнем начальнике. Бог с ним! Я желаю ему всякого счастия и отнюдь не в претензии на его забвение. Сказывают, он так состарился, что его почти узнать нельзя».

Утром 18 марта Сперанский был в Твери. Ранним утром 20-го приехал в Новгород.

К полудни 21 марта 1821 года Михайло Михайлович добрался до Царского Села. Здесь он встретился после долгой разлуки с дочерью Елизаветой. «Какая встреча! Сколько горестей!» — записал он впоследствии в своем дневнике.

Прибыв в столицу вечером 21 марта, Михайло Михайлович остановился в одном из трактиров и ранним утром следующего дня отправил к Аракчееву записку с сообщением о своем приезде и с просьбой назвать час, в который граф сможет принять его. Алексей Андреевич назначил время сразу пополудни, и в первом часу Сперанский прибыл к нему для разговора.

Император Александр находился в те дни на международном конгрессе в Лайбахе[1]. 25 марта Аракчеев отправил туда с фельдъегерем письмо, в котором изложил содержание своего разговора со Сперанским.

«Г-н Сперанский приезжал в Петербург 21 числа после обеда к вечеру, — сообщал граф императору. — По утру 22-го числа рано прислал ко мне д.с.с. (действительного статского советника. — *В. Т.*) Цейера с объявлением о своем приезде и с просьбою назначить ему того же утра час, в который бы он мог приехать к первому ко мне. В первом часу, по назначению моему, он приезжал ко мне и между прочими разговорами делал мне следующие три вопроса, на кои просил утвердительнейше моего мнения:

*1-й вопрос*: Представляться ли мне во Дворец к императрицам?

*Мой ответ*: Вы приехали сюда Сибирским генерал-губернатором, а все генерал- и военные губернаторы обыкновенно в первое воскре-

[1] В настоящее время этот город носит название «Любляна» (Словения).

сенье представляются, следовательно, я не нахожу причины, дабы и Вы не должны были следовать сему всеобщему порядку.

*2-й вопрос Сперанского*: писать ли мне о приезде своем к Государю?

*Мой ответ*: Государь о приезде вашем будет извещен чрез обыкновенный рапорт Военного губернатора о всех приезжающих в столицу; но естьли вы рассудите и сами особым письмом донести Государю Императору о своем приезде, то сие еще никак не противно общему порядку вещей.

*3-ий вопрос г-на Сперанского*: как ему вести себя: принимать ли к себе всех, кто будет приезжать или по собственной моей склонности вести жизнь уединенную?

*Мой ответ*: сей вопрос очень трудный, и его решить можете одни сами сходно вашему желанию, а может быть по опытам, сделанное».

Возможно, разговор двух сановников действительно состоял из подобных вопросов и ответов, но верится в это с трудом. Скорее всего, граф Аракчеев скрыл от императора Александра истинное содержание своего разговора со Сперанским.

Свой небольшой дом у Таврического сада, из которого в ночь на 18 марта 1812 года его увезли в ссылку, Михайло Михайлович продал вскоре после того, как был назначен Сибирским генерал-губернатором. Немногим ранее, как уже говорилось, им было продано за 140 000 руб. имение Великополье. 25 сентября 1820 года он сообщал Х. И. Лазареву: «В течение одного года я продал на 215 т. р. имения и из денег сих не видал у себя ни одного рубля. Все пошли на уплату долгов. Это лучший ответ тем, кои искали или предполагали у меня богатство». Петербургский дом был продан, таким образом, за 75 000 руб.

После своего возвращения в столицу Сперанский вынужден был снова, как это было в молодости, нанимать себе жилища в чужих домах. Сначала Михайло Михайлович проживал некоторое время в доме А. А. Жерве на Малой Морской улице, затем поселился в доме Неплюева на Фонтанке около Летнего сада[1]. В сентябре 1823 года он перебрался в дом у Армянской церкви, расположенный на Невском проспекте[2].

---

[1] Этот дом в середине 30-х годов был перестроен под Училище правоведения.

[2] Раньше это был дом № 42 по Невскому проспекту. В настоящее время этот дом имеет номер 44. На стене его с 1999 г. висит мемориальная плита с надписью: «В этот доме, с 1823 по 1832 год, жил выдающийся государственный деятель Михаил Михайлович Сперанский».

24 марта Сперанский послал императору Александру сообщение о своем прибытии в Санкт-Петербург и о том, чем намерен в ближайшее время заняться: «По Высочайшему соизволению, прибыв в С.-Петербург, имею донести, что в губерниях, Высочайше мне вверенных, дела, от местного управления зависящие, имеют установленное движение. До того времени, как обстоятельства дозволят представить Высочайшему Вашего Императорского Величества усмотрению собранные мною сведения, я займусь здесь предпочтительно двумя предметами: 1) устройством питейного сбора, 2) устройством соляного управления».

Ожидая возвращения государя из-за границы, Сперанский посвящал свое время разбору бумаг по сибирским делам, писал трактаты, письма, ходил в театр и в гости к старым и новым знакомым. «Все ко мне здесь весьма добры, но положение мое тем труднее: ибо на всех угодить невозможно. О возвращении Его Величества нет ничего верного. Все слухи не имеют твердых оснований, и мы все живем в надеждах от одного курьера до другого», — писал он Х. И. Лазареву 15 апреля 1821 года.

Император Александр возвратился в Санкт-Петербург лишь 26 мая. Назначил прием Сперанскому сначала на 30-е мая[1], но, почувствовав недомогание, перенес его на более поздний срок. 29 мая начальник Главного штаба Его Императорского Величества князь П. М. Волконский сообщил письмом графу Аракчееву из Царского Села: «Государю императору угодно, чтоб ваше сиятельство приказали дать знать г-ну Сибирскому генерал-губернатору Сперанскому, что Его Величество не может принять его завтрашний день по причине болезни своей, а изволит назначить ему день в первый раз, когда ваше сиятельство изволит быть к государю с докладом»[2]. Этот день пришелся на 2 июня. Тогда же и состоялась первая после возвращения Сперанского в столицу встреча его с императором Александром.

Когда Михайло Михайлович вошел в государев кабинет, Александр воскликнул: «Уф, как здесь жарко», — и увлек его с собой на

---

[1] Об этом свидетельствует записка М. М. Сперанского А. А. Аракчееву, датированная 29-м мая 1821 г.: «Милостивый Государь Граф Алексей Андреевич! Вследствие изъявленного мне вашим сиятельством высочайшего повеления я буду иметь честь завтра 30-го мая явиться в Царское Село, чтоб повергнуть себя к стопам Его Императорского Величества» (РГВИА. Фонд 154. Оп. 1. Д. 128. Л. 424).

[2] РГВИА. Фонд 154. Оп. 1. Д. 128. Л. 425.

балкон, в сад. Всякий прохожий в состоянии был не только видеть их, но и вполне расслышать ведущийся меж ними разговор, но этого Александр, очевидно, и хотел, чтобы иметь повод не идти на откровенность, на которую его — надо было полагать — мог склонить несправедливо обвиненный и изгнанный им 9 лет назад из Петербурга реформатор.

«Ну, Михайло Михайлович, — начал разговор Александр, пожимая Сперанскому руку в знак приветствия вместо практиковавшихся при прежних встречах объятий, — очень рад тебя видеть. Здоров ли? Каков был твой переезд? Я думаю — ужасный, потому что ты попал в самую распутицу. Извини, что так долго не мог тебя принять, но все это время, после возвращения, был ужасно занят. О! Да какая с тобою кипа бумаг! Но виноват, сегодня никак не могу ими заняться. Оставь у меня до другого разу». В таком духе разговор продолжался и далее: Александр говорил и говорил, непрерывно, неостановимо, произнося ничего не значащие слова, а собеседник его не имел никакой возможности вставить в поток этот свое слово и успевал только кланяться и кивать головой. Наконец государь замолк, в разговоре наступила пауза, но Михайло Михайлович не поверил ей и не решился заговорить. Тогда, повернувшись к нему лицом, Александр спросил сам: «Скажи же мне, с кем ты нынче видишься в Петербурге?» Несколько смутившись, Сперанский отвечал: «В ожидании счастья явиться перед вами, государь, я не был еще ни у кого, кроме графа Аракчеева, и жил только с дочерью и с друзьями». «Но вперед с кем располагаешь видеться?» — не отставал Александр. «Исполню то, что ваше величество мне прикажете», — было ответом на его вопрос. «Если так, то советую тебе сблизиться как можно более с графом Алексеем Андреевичем. Однако мне пора за дело. Прощай, до скорого свидания». После этих слов со стороны императора последовало короткое пожатие руки Сперанского. Тем и окончилась их первая после 1812 года встреча.

Записи в камер-фурьерском журнале показывают, что начиная с 16 июня 1821 года Сперанский регулярно приглашался на обеды к императору Александру и императрице Елизавете Алексеевне. За три с небольшим месяца (по 23 октября 1821 года) было тридцать одно такое приглашение. 3 и 9 ноября, а также 17 декабря Сперанский обедал у государя вместе с Аракчеевым и тремя-четырьмя другими генералами. Для того, чтобы иметь Сперанского под рукой, Александр предоставил ему служебную квартиру в Царском Селе, неподалеку от своего дворца.

11 июля 1821 года председатель Государственного совета и Комитета министров и одновременно главноуправляющий Комиссией составления законов князь П. В. Лопухин сообщил Сперанскому: «Государь Император Высочайше повелеть соизволил: Комиссии составления законов во время отсутствия моего из Петербурга находиться под управлением Вашего превосходительства».

16 июля Сперанский был определен государем состоять присутствующим в Азиатском комитете при Министерстве иностранных дел.

Спустя шесть дней — 17 июля — император Александр назначил Сперанского членом Государственного совета по департаменту законов, поручив ему возобновить работы по составлению гражданского и уголовного уложений.

28 июля 1821 года император Александр учредил для рассмотрения отчета генерал-губернатора Сибири М. М. Сперанского Сибирский комитет под председательством министра внутренних дел В. П. Кочубея. В состав комитета вошел по своей должности и Сперанский. В канцелярию Сибирского комитета были приняты приехавшие с ним из Сибири Ф. И. Цейер, К. Репинский и Г. С. Батеньков.

5 августа 1821 года император Александр подписал Указ Правительствующему Сенату о пожаловании тайному советнику Сперанскому «в вечное и потомственное владение» поступившего в казенное ведомство участка земли в Чембарском уезде Пензенской губернии, в котором «кроме неудобных мест» заключалось 3486 десятин и 697 саженей «удобной» земли. Это пожалование было явным знаком доброго расположения государя к возвратившемуся в столицу некогда опальному сановнику.

Еще одним признаком благоволения Александра к Сперанскому были регулярные беседы с ним его величества по различным государственным делам. Так, 8 сентября 1821 года Михайло Михайлович записал в свой дневник: «Четверток. Обед во дворце. После обеда разговор с гр. Нессельродом. На мой вопрос он дал мне разуметь, что сносится со мною по Высоч. повелению». Карл Васильевич Нессельроде стал по просьбе государя давать Сперанскому на прочтение депеши министра иностранных дел Австрии графа Меттерниха. 24 сентября Михайло Михайлович беседовал с императором Александром и его любовницей Марией Антоновной Нарышкиной. Утром 27 сентября он встречался и разговаривал с государем на прогулке в царскосельском саду. 30 сентября 1821 года Сперанский чи-

тал государю в Каменноостровском дворце записку «Обозрение дел по Комиссии законов», в которой резко отзывался о деятельности в ней Г. А. Розенкампфа. 9 октября снова была встреча Сперанского с его величеством в Царскосельском саду. Говорили об университетских делах. 20 октября Михайло Михайлович опять разговаривал с государем в саду, на этот раз — о гербовом налоге.

22 октября 1821 года, придя с очередной встречи с императором, Сперанский записал в свой дневник: «Началось тем, что государь считает меня *своим человеком*. Я полагал одно условие: уведомлять меня о всех замечаниях, кои могут подать повод к какому-либо сомнению в моих началах; ибо, быв поставлен в сношении с разными людьми, я должен принимать разные виды и не всегда молчать или говорить со всеми одинаким языком. Сие могло бы прекратить всякую откровенность. Обещано и при том примечено, что при единомыслии все козни рассыплются, но что само собою разумеется, что все ловить меня будут, чтоб увлечь в свои мысли».

Как видно из приведенной записи, урок, некогда преподанный русской аристократией Сперанскому, не пропал для него даром. Михайло Михайлович хорошо усвоил себе, что аристократический круг есть сила, а государь не столь самостоятелен в своих поступках, как это можно предполагать и как считал прежде он, попович, вознесенный на вершину власти; государь, в сущности, невольный, а в чем-то и вольный *пленник* данного круга, за пределы которого он, даже если и пожелает, не в состоянии будет вырваться.

Словно стремясь наверстать упущенное, исправить прежнюю свою оплошность, Сперанский стал регулярно выезжать в свет, сделался частым гостем в домах высшего общества, превратился в завсегдатая аристократических салонов. Везде принимали его хорошо. Подчеркнуто радушны были даже те, кто десять лет назад не скрывали своей неприязни к «поповскому» реформатору. Впрочем, высший свет потому и зовется, наверное, «*высшим*», что переменчив в своих отношениях к тем или иным людям в *высшей* степени. Стоит кому-то из сановников, стоящему на лестнице власти, слегка пошатнуться, как высший свет готов уже облить его горьким презрением. Но если появится хотя бы малейшее свидетельство того, что он снова начнет взбираться со ступени на ступень вверх по этой лестнице, высший свет будет также готов окутать его приторно сладкой лестью.

Отношение столичного общества к Сперанскому переменилось еще в то время, когда он был в Сибири. 3 апреля 1820 года В. П. Ко-

чубей писал Сперанскому, что после того, как государь вознамерился возвратить его в столицу и дать высокое место в центральном управлении, высшее общество легко заменило враждебность по отношению к нему на доброжелательность. «Я вижу тех, — сообщал граф, — кои самому мне утверждали, что вы не веруете в Христа и что все ваши распоряжения клонились к пагубе отечества и пр., утверждающих ныне, что правила ваши христианские переменились и что и понятия ваши даже о делах управления не суть прежние. Несчастие заставило вас размышлять и пр. и пр. Вот что я при множестве других подобных суждений каждый день слышу. Многие забегают ко мне спрашивать, будет ли М. М. сюда? Как вы думаете: надобно бы обратить старание к тому, чтобы его вызвали и пр. и пр. На все сие ответ мой: не знаю, хорошо бы было и тому подобное. Знаете ли вы: история ваша открыла мне новый свет в этом мире, но свет самый убийственный для чувств, сколько-нибудь нас возвышающих. Я до ссылки вашей жил как монастырка. Мне более или менее казалось, что люди говорят то, что чувствуют и думают; но тут увидел я, что они говорят сегодня одно, а завтра другое, и говорят, не краснея и смотря тебе в глаза, как бы ничего не бывало. Признаюсь, омерзение мое превышает меру и при слабом здоровье моем имеет, конечно, некоторое над оным влияние».

После того, как Сперанский оказался в Санкт-Петербурге и начал регулярно встречаться с Аракчеевым и государем, он стал желанным гостем в самых знатных столичных домах. Общение с ним снова сделалось высокой честью среди придворных. Император Александр, узнав об этом, встревожился. Арсений Андреевич Закревский вспоминал позднее, как летом 1821 года он — в то время генерал-майор, дежурный генерал Главного штаба[1] — прогуливался вечерами со Сперанским по Царскосельскому парку. К ним часто присоединялись генерал А. П. Ермолов и статс-секретарь Министерства иностранных дел Иоаннис Каподистрия. Эти прогулки закончились после того, как государь в разговоре с одной из фрейлин выразил свое неудовольствие ими и попросил ее передать Закревскому, что не желает, «чтобы он и друзья его гуляли со Сперанским и очень сходились». Когда данная история стала известна сановникам, они снова начали по возможности избегать общения со Сперанским.

---

[1] 30 августа 1821 г. А. А. Закревский получит чин генерал-лейтенанта. Ровно два года спустя он будет назначен Финляндским генерал-губернатором и командиром Финляндского отдельного корпуса.

Но Михайло Михайлович не мог уже остановиться в поисках благорасположения к своей персоне со стороны высшего света. Некогда гордый отшельник, он искал близкого знакомства и заискивал даже у тех, которые ни в чем не могли быть ему полезны. Так, приехав однажды в Павловск, он поспешил нанести визит госпоже Нелидовой, несмотря на то, что она была всего лишь одной из приятельниц императрицы Марии Федоровны и никакого влияния при царском дворе не имела, да и не стремилась иметь. Узнав, что в ее дом заявился Сперанский, она изумилась и даже спросила его, не по ошибке ли он к ней попал. Михайло Михайлович ответил, что не по ошибке, и с этих пор сделался постоянным посетителем ее дома.

Знавшие Сперанского до его ссылки не могли сдержать удивления. Недругам же своим он дал таким поведением хорошую почву для злословья. Многие годы спустя близким к нему людям придется защищать его от обвинений в карьеризме. «Его все считают честолюбивым человеком, — будет говорить о Сперанском Гавриил Степанович Батеньков, — между тем в нем не было и тени честолюбия. Это мнение основано на его жизни по возвращении из ссылки. Но забывают, что эта ссылка продолжалась и в Петербурге, что ему нельзя уже было здесь действовать, — у него по-прежнему были скованы руки, а потребность действовать страшная, — и, разумеется, он принужден был делать уступки. За убеждения свои он готов был идти и в ссылку, в каторжную работу, и на плаху. Он ничего не боялся, и ежели вы видите в нем потом совсем другого человека, то это не потому, что он действовал из страха, а потому, что видел, что не может действовать, не сделав уступок. Врагов у него было много. Я помню, раз у меня с ним зашел разговор о возможности ссылки. «Ну что же, наденут колодки и поведут, — сказал он. — Что за важная вещь, колодки, да они всего стоят два с полтиной, — чего же их бояться?»

* * *

Частые выезды Сперанского в свет, удивлявшие тех, кто знал, каким отшельником был он прежде, имели разгадку в его дочери. Чувство к ней с самого начала должно было принять в нем совершенно особый характер. Нерастраченную любовь к жене, горечь утраты ее, постоянное о ней воспоминанье — все это вмещала в себя любовь его к дочери. Прошли годы — Елизавета Сперанская, воспринявшая не только имя, но и привлекательный облик своей, навечно оставшейся юной, матери, развилась духовно так, что оказалась способной взять на себя

роль поверенного в самых заветных думах своего отца. В годину выпавших на его долю жестоких испытаний Елизавета смогла стать ему настоящим другом, в каковом он нуждался тогда безмерно. Письма Сперанского к дочери, написанные в данную пору, выделяются из всей его переписки своей содержательностью, глубиной мысли и проникновенностью души. Подобные письма пишут обыкновенно лишь в том случае, когда рассчитывают на понимание и сочувствие.

***Из письма М. М. Сперанского к дочери Елизавете от 5 ноября 1819 года:***

*«Мне кажется, любезная Елисавета, для того и послан я в Иркутск, чтоб перепискою с тобою возобновить курс словесности и нравственных произведений. В такой дали все оттенки общежития, кои обыкновенно составляют предмет писем, теряются и исчезают. Остается рассуждать, когда невозможно чувствовать вслух. Последнее письмо твое принесло мне твои мысли о любви к отечеству. Право прекрасные! Особливо начало, почти важное и классическое».*

***Ей же, от 17 декабря 1819 года:***

*«Ты права, любезная моя Елисавета: любовь ко всему изящному возрастает по мере жертв, кои ей приносят. Любовь к отечеству точно в сем же положении. Нельзя любить, кому мы совсем не нужны, кому ничем угодить не можем. Потому-то в самых высших степенях любви, в религии, требуются жертвы. Жертвою вливается часть бытия моего в бытие другое; мы составляем нечто единое: ибо в нем есть мое. Даже по расчету должно требовать и должно делать друзьям жертвы; сие служит залогом их единства. Даже в физическом мире тот же закон действует. Два существа, ничего одно другому не сообщающие, не только не имеют взаимного влечения, но часто друг друга отражают. Какое положение двух существ моральных, из коих каждое было бы совершенно довольно самим собою и не требовало бы ничего от другого? Они были бы непримиримые враги. Если мысли сии справедливы, то ты имеешь полное право любить отечество. Много говорят о благодарности, но я не знаю, сильнее ли сие чувство, нежели чувство жертвы».*

Лучшие страницы в письмах Сперанского к Елизавете посвящены его чувствам к ней. Будучи соединены в единое целое, эти письма составили бы прекрасную книгу — удивительную поэму отцовской

любви к дочери, чудесней которой нет, возможно, и во всей истории человечества. Вот лишь некоторые ее строки:

*21 ноября 1816 года*: «*...Я с тобою только* составляю одно целое; без тебя же я не могу иметь всей полноты моего бытия».

*15 мая 1820 года*: «Не бери в счет моего бытия; думай только о своем счастии и будь уверена, что я буду совершенно счастлив, когда за 6 т. верст буду только знать, что ты счастлива. Любовь моя к тебе совершенно бескорыстна: ибо мое личное счастие и по летам моим и по милости Божией так удостоверено, что оно ни от кого не зависит. Следовательно, думай только о себе, если хочешь видеть меня счастливым».

*19 мая 1820 года*: «Равнодушие, холодность моя ко всем происшествиям с летами и опытом возрастают. Все это потерянное время. Совсем к другим сценам, к сценам высшего рода я должен себя готовить. На земле же для меня есть одна только точка интересная: ты. Но и ты перестанешь меня привязывать к земле, как скоро я увижу или услышу, что земное твое положение устроено и что можешь ты итти и без меня. Тогда я скажу: ныне отпущаеши раба твоего с миром. Не вводи меня в состав земной твоей участи, всяк, кто привязывался ко мне — страдал — более или менее».

*7 августа 1820 года*: «Все, что мог и должен был я сделать, было предоставить тебе полную свободу, разрешить тебя на все случаи, уверить, что одно знание, один слух о твоем счастии есть уже для меня действительное счастие. Я должен был сие сделать потому, что в любви к тебе не имею я никакого самолюбия, и что жертвуя всем, я желаю одного — чтоб ты была неприкосновенною, чтоб на одного меня излили все, что есть горестного в судьбе моей. Я не могу чувствовать радостей жизни без тебя. Но могу жить и без радостей; одного желаю и прошу у Бога, чтоб ты была счастлива. Вот содержание письма моего. Никогда не перестанешь ты меня *привязывать к земле*, доколе желание сие не совершится... Тут не личной своей свободы я ищу — куда мне ее девать? Ищу одного, чтоб ты не была жертвою моих обстоятельств, чтоб не мешать тебе в путях жизни Провидением тебе предназначенных — словом, чтоб ты была неприкосновенною; но не отдельною; ибо мысль отделить мое бытие от твоего счастия есть выше моего терпения».

*9 октября 1820 года*: «Если сердце моей Елисаветы спокойно: то нет для меня горестей на свете. Сие одно существенно; все прочее исчезнет, как мечта, как призрак при первом нашем взгляде друг на друга».

Где любовь — там и боль. Не бывает настоящей любви без боли. Любовь Сперанского к дочери насквозь пронизана была болью, и не только той далекой болью утраты, омрачившей радость ее рождения.

***Из письма М. М. Сперанского к В. П. Кочубею от 20 мая 1820 года:***

*«В заключение желал бы изъяснить все чувства благодарности моей за внимание ваше к моей дочери. Без нее собственные мои огорчения были бы для меня сносны. По счастию, я вхожу в такие лета, когда можно видеть их конец; да и чувственно личное с летами и с опытом слабеет. Но мысль, что она должна быть жертвою моих обстоятельств, есть поистине для меня убийственна».*

Когда Сперанский возвратился в Санкт-Петербург, его дочери шел уже двадцать второй год. Многие сверстницы ее были давно уже замужем. Умная, образованная, приятная лицом и манерами Елизавета могла кому угодно составить хорошую партию. Открытым оставался лишь вопрос, кому. Потому-то и стал Михайло Михайлович, оказавшись в столице, значительно чаще, чем это было прежде, ездить по обедам и балам. 14 октября Елизавета Михайловна Сперанская была пожалована во фрейлины к их императорским величествам государыням императрицам Марии Федоровне и Елизавете Алексеевне. У нее появилось больше возможностей бывать в высшем свете.

Суженый для Елизаветы нашелся довольно быстро, и притом в довольно знатном доме. Мало того, в доме не кого иного, как давнего начальника и покровителя Сперанского графа В. П. Кочубея. На одном из обедов здесь Елизавета сумела понравиться его племяннику Александру Алексеевичу Фролову-Багрееву, который занимал в то время пост Черниговского губернатора. Возможно, не обошлось без деятельного участия Натальи Кирилловны Загряжской. Сам Сперанский писал своей дочери 9 января 1823 года — уже после того, как брак ее совершился: «Наталья Кирилловна считает себя первым орудием твоего счастия, что до некоторой степени и справедливо».

6 февраля 1822 года судьба Елизаветы решилась. Михайло Михайлович записал в этот день в свой дневник: «Понедельник. Объяснение А. А. [Фролова-Багреева] с Лизою у меня в кабинете. Сей на-

реченный и святый день, моя суббота. Сердце мое привыкает к радости. Отсюда, с 6 февраля, начинается новая епоха моего бытия».

Сговорившись о бракосочетании с Елизаветой и ее отцом, А. А. Фролов-Багреев уехал в Чернигов, чтобы взять согласие на этот брак у своей матушки. Сперанский, получив от жениха Елизаветы сообщение, что это согласие получено, написал ему 28 апреля: «Хотя не получили еще мы соизволения вашего батюшки, но решились предварительно донести государю. Вчерашний день, окончив обыкновенную работу, я сие исполнил. Его Величество соизволил при сем случае отозваться о вас с удовольствием и похвалою. Вы можете себе представить, как мне было сие приятно. Сделав сей шаг, мы приступим на будущей неделе к формальным объявлениям и визитам... Прошу не величать меня отныне в письмах ни милостивым государем, ни превосходительством. По счастью это уже поздно».

В этом же письме Михайло Михайлович сообщал своему будущему зятю также о том, что помолвка его с Елизаветой Сперанской назначена на 5 мая 1822 года и об этом событии сделано публичное объявление. «Поздравляю вас, любезный Александр Алексеевич, настоящим женихом, а Елизавету настоящею невестою. В минувшее воскресенье она получила соизволение Государыни Императрицы во всех формах, и в тот же день весь город узнал тайну, столь долго и столь худо хранимую».

14 мая Сперанский сообщал в письме графу Аракчееву из Петербурга в Грузино: «Погода у нас стоит прекрасная, но я не могу ею пользоваться: весь в свадебных хлопотах и приготовлениях. Утешаюсь только тем что, устроивая счастие моей дочери в Малороссии, устроиваю, вместе с тем, и себе, на старость лет приют и спокойствие».

28 июня 1822 года Сперанский написал письмо к матери Прасковье Федоровне: «Милостивая государыня матушка. По назначению вашему посылаю при сем в расположение ваше сукно с принадлежащею к нему шелковою материею для рукав и под полы. Сверх сего прошу вас от внучки вашей Елисаветы принять берлинского гродетуру на платье; она просит непременно сшить и носить в ее воспоминание... При сем считаю долгом вас уведомить, что с благословением Божиим и моим внучка ваша Елисавета помолвлена за действительного статского советника Александра Алексеевича Багреева, человека отменно доброго и почтенного. Он служит губернатором черниговским. Брак назначен здесь в следующем июле месяце, а в августе или сентябре они отправятся в Чернигов, где его

отчизна и поместье. Прошу вас их заочно благословить и помнить в ваших молитвах»[1].

Бракосочетание Елизаветы Сперанской с Фроловым-Багреевым состоялось 16 августа 1822 года. Побыв около полутора месяцев в Петербурге, молодожены отправились в Чернигов. Чувство радости, которым последние полгода был охвачен Сперанский, куда-то ушло — вместо него в душе возобладала горесть разлуки. «Письмо ваше из Томска, — писал он генерал-губернатору Капцевичу, — дошло до меня в то самое время, как я занят был горестною, хотя и предвиденною разлукою с моею дочерью. Не дорожу жертвами для ее счастия, но нужно время, чтоб снова привыкнуть к одиночеству».

Впоследствии в Петербурге ходили слухи, что Елизавета пошла за Кочубеева племянника не по любви, что будто бы это отец принудил ее идти за него. Сама же она влюблена была якобы в другого и наотрез отказывалась выходить замуж за Александра Фролова-Багреева. Михайло Михайлович, по слухам, для того, чтобы добиться от дочери согласия на этот брак, сажал ее в чулан на хлеб и воду. Слухам этим верили, причем вполне серьезные люди, что не удивительно. О Сперанском ходило столько разных небылиц и сплетен, сам он представлял настолько сложную, многогранную натуру, что современники его просто не могли не утратить в конце концов способности отличать в нем реальные черты от придуманных клеветниками. К тому же мало кто тогда умел так искусно прятать от посторонних подлинные свои чувства, как он. О том же, сколь трепетно относился Сперанский к своей дочери, знали немногие.

Несмотря на то, что судьба дочери устроилась, Михайло Михайлович продолжал появляться в светском обществе — только теперь один.

***Из письма М. М. Сперанского к дочери Е. М. Фроловой-Багреевой от 14 ноября 1822 года:***

*«Пошел слух, что меня более не увидят в обществе; что, не имея в нем более нужды, я брошу все приязни и знакомства. Не отгадали, ибо га-*

---

[1] К этому письму Михайло Михайлович сделал приписку о брате: «Брат Козьма живет в Пензе. Ноги его весьма слабы, хотя в прочем он довольно здоров. Он ведет жизнь покойную, хотя и не без скуки. Нынешним летом он собирался ко мне; но не знаю еще будет ли, или нет. Лекари не советуют ему пускаться в путь столь дальний» (В память графа Михаила Михайловича Сперанского. 1772–1872. СПб., 1872. С. 436).

*дали в дурную сторону; хотя и не без тягости, но я являюсь везде, где бывал с тобою. Отстану, но не вдруг, а постепенно».*

В первое время после того, как его дочь вышла замуж, Сперанский испытывал двойственное чувство: да, конечно, счастье любимого существа устроилось, чего еще желать, и он, безусловно, был доволен, но все же — у дочери теперь муж и своя обособленная жизнь. Нотки ревности невольно звучали в его довольстве и... письмах.

***Из письма М. М. Сперанского к дочери Е. М. Фроловой-Багреевой от 19 января 1823 года:***

*«Стихи твои действительно прекрасны. Самое чувство пером твоим водило. Последняя строфа особенно прекрасна нравственным ее отливом. Я знаю ее наизусть; но скажи мне: много ли есть на свете дур, которые влюблены в своих мужей и пишут им стихи? Не знаю, много ли, но желал бы, чтоб они все тебе были подобны; тогда дуры были бы любезнейшие и счастливейшие на свете создания».*

16 августа 1823 года Сперанский писал дочери: «Неужели прошел год с того времени, как любезная моя Елисавета замужем: время есть большой чародей — то выше леса, то ниже травы; иногда очень длинно, иногда чрезвычайно коротко».

11 февраля 1824 года Елизавета Фролова-Багреева родила, «после 2-х дневного страдания», сына, которого назвала — в честь отца — Михаилом[1]. Сперанский помчался в Чернигов к внуку.

Возвратившись в столицу, Михайло Михайлович обратился к императору Александру с просьбой о переводе зятя на службу в Санкт-Петербург. «Одиночество мое здесь, — будет жаловаться он государю, — болезненные припадки, с летами возрастающие и впереди мрачным уединением мне грозящие, — наконец прещение совести частыми отлучками прерывает ход службы и бремянит внимание Вашего Величества частыми отпусками для свиданий с дочерью, в коей одной заключается все мое семейственное благо, все сии причины, строгому долгу службы посторонние, но чувству милосердия,

[1] Внук М. М. Сперанского выберет для себя армейскую стезю. Летом 1844 г. ротмистр Астраханского кирасирского полка Михаил Александрович Фролов-Багреев отправится в действующую армию на Кавказ и в первый же день своего пребывания там будет убит своим пьяным сослуживцем. Его отец — Александр Алексеевич не переживет этой утраты.

чувству сердца Вашего внятные, дерзаю представить в ходатайство и оправдание».

9 мая 1824 года А. А. Фролов-Багреев был назначен на место члена совета Министерства финансов и управляющего Государственным заемным банком. Поселился Александр Андреевич вместе со своей семьей в одном доме с Михайлой Михайловичем — на Невском проспекте. Вместе с ними проживал еще Г. С. Батеньков. Жалованья петербургского чиновника Фролова-Багреева, составлявшего 11 000 руб. в год, было недостаточно для содержания его семьи. Сперанскому приходилось добавлять к нему по 25 000 руб. При этом Михайло Михайлович и семья его дочери вели одно хозяйство, имели общих слуг, общие кареты с кучерами.

7 мая 1825 года Сперанский лишился самого близкого себе друга — в этот день умер тайный советник и сенатор Аркадий Алексеевич Столыпин. Похороны его состоялись на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры. В газете «Северная пчела» появилось в качестве отклика на эту смерть стихотворение, обращенное к вдове Столыпина и дочери адмирала Н. С. Мордвинова Вере Николаевне[1]:

*«Не отравляй души тоскою,*
*Не убивай себя: ты мать;*
*Священный долг перед тобою —*
*Прекрасных чад образовать.*

*Пусть их сограждане увидят*
*Готовых пасть за край родной,*
*Пускай они возненавидят*
*Неправду пламенной душой,*

*Пусть в сонме юных исполинов*
*На ужас гордых их узрим*
*И смело скажем: знайте, им*
*Отец Столыпин, дед Мордвинов».*

Автором стихотворения был Кондратий Рылеев. В декабре 1825 года раскроется тайная подоплека этого его произведения, в котором имя Аркадия Алексеевича Столыпина ставилось в один ряд с именем Николая Семеновича Мордвинова. Рылеев проявит

[1] Вера Николаевна Столыпина проживет после смерти мужа менее девяти лет: она умрет 4 января 1834 г.

себя как руководитель мятежа молодых дворян, поставивших своею целью смену в России правления и правительства. После подавления восстания декабристов на допросах его участников обнаружится, что в состав нового правительства мятежники предполагали включить и Н. С. Мордвинова, и А. А. Столыпина[1]. Николай Бестужев заявит на следствии: «Покойный сенатор А. А. Столыпин одобрял тайное общество и потому верно бы действовал в нынешних обстоятельствах вместе с нами».

* * *

С конца ноября 1821 года встречи и беседы Сперанского с императором Александром стали более редкими. Михайло Михайлович увидел в этом плохой знак для себя. 10 декабря он записал в свой дневник: «Вечер в Смольном монастыре. Праздник. Г[осударь] И[мператор] избегал всякого со мной разговора. Работы с 25 ноября не было. Первый знак охлаждения».

Сперанский хорошо понимал, насколько непрочно его положение при царском дворе. Поэтому был в высшей степени встревожен размолвкой с пользовавшимся особым доверием у государя князем А. Н. Голицыным.

**Из письма М. М. Сперанского к императору Александру от 18 января 1822 года:**

*«Святоши запишут меня в безбожники; противники их будут о мне сожалеть и причислять к своей стаде, а я, равно гнушаясь теми и другими, принадлежу и желаю принадлежать единственно и исключительно Вам. В Вас, Всемилостивейший Государь, в Вашем образе мыслей, равно от той и другой крайности удаленном, могу я искать и надеюсь всегда найти твердую защиту против всех хитросплетенных тонкостей врагов моих, врагов, ни десятилетним молчанием, ни кротостию всего моего поведения, ни уступчивостью моею, можно сказать, безмерною, ничем не умолимых».*

20 января 1822 года Сперанский работал вечером в государевом кабинете, когда пришел Аракчеев и сообщил, что его величество подписал указы по Сибири.

---

[1] В составе Временного правительства декабристы хотели видеть также брата Аркадия Алексеевича Дмитрия Алексеевича Столыпина, сослуживца Павла Пестеля.

Император Александр принял почти все предложения Сперанского по реорганизации управления Сибирью, на что Михайло Михайлович не особо поначалу надеялся. 26 января 1822 года вышел высочайший Указ о разделении Сибири на Восточную и Западную; 22 марта были назначены в каждую из этих частей генерал-губернаторами выбранные Сперанским лица. Все это как будто свидетельствовало, что Михайло Михайлович опять становился влиятельным сановником.

29 июня 1822 года император Александр постановил, что Сперанский будет управлять сибирскими губерниями до прибытия назначенных генерал-губернаторов на места. При этом за ним сохранялись жалованье и столовые деньги, какие он получал по званию Сибирского генерал-губернатора.

Встречи и беседы государя со Сперанским по различным делам государственного управления — главным образом, по реформе управления Сибирью и по вопросам деятельности Комиссии законов — продолжались и во второй половине 1822 года. Правда, они стали более редкими. В 1823 году император Александр всего лишь трижды принимал Сперанского с личными докладами. А потом и вовсе перестал звать к себе.

Михайло Михайлович такое охлаждение к нему государя воспринимал совершенно спокойно, более того — как должное. В начале 1823 года он писал дочери из Петербурга в Чернигов: «Здесь все по-прежнему: те же балы, те же обеды, те же собрания — с тою для меня разницею, что в минувшем году я был у них в службе, а теперь в ожидании чистой отставки; я пользуюсь всеми правами свободного, ни к чему не привязанного, равнодушного наблюдателя, и положение сие весьма для меня выгодно».

При таких обстоятельствах поддержанию высокого статуса Сперанского при царском дворе в значительной мере способствовал граф А. А. Аракчеев — главная опора Александра I в управлении Российской империей. После того как Алексей Андреевич помог опальному сановнику возвратиться на государственную службу, их переписка не прекращалась. Михайло Михайлович нашел в графе не только покровителя себе, но и человека, с которым он мог быть более откровенным в выражении своих мыслей и настроений, чем с кем-либо из других сановников. Кроме того, он понимал, что через посредничество Аракчеева можно быстрее и успешнее решать дела, связанные с его губернаторством. Именно по этой причине, отправляясь в Сибирь, Сперанский просил у графа дозволения откровенно

писать к нему «о деле и безделье» и слать непосредственно в его адрес служебные донесения из Сибири, дабы они через него «получали бы разрешение». И Аракчеев действительно поддержал предложения Сперанского по преобразованию управления Сибирью и внушил императору Александру мнение об их благотворности.

После возвращения из Сибири Сперанский действовал на государственном поприще в тесном союзе с графом Аракчеевым. Алексей Андреевич и Михайло Михайлович выступали заодно при обсуждении реформы управления Сибирью в специальном комитете, они хорошо дополняли друг друга в деле устройства военных поселений. Существовавший внутри системы военных поселений порядок регулировался множеством нормативных актов, которые были не согласованы друг с другом, поскольку издавались от случая к случаю, а часто даже противоречили один другому. Эти акты необходимо было соединить в некий единый свод. Решение данной задачи и призван был обеспечить Сперанский, известный своими способностями к систематизации различных материалов. 24 января 1823 года Александр I распорядился создать «Комиссию составления проекта учреждения о военных поселениях». Для предварительного рассмотрения его отдельных частей император учредил Особый комитет из трех лиц: А. А. Аракчеева, который занимал должность главного начальника отдельного корпуса военных поселений, М. М. Сперанского и начальника штаба Отдельного корпуса военных поселений генерал-майора П. А. Клейнмихеля. Данные решения государь принял по предложению Аракчеева и Сперанского. Есть основания считать, что уже с осени 1822 года дела военных поселений стали для Сперанского столь же важной сферой государственной деятельности, какой были для него в то время реформы управления Сибирью.

По просьбе Аракчеева Сперанский стал знакомиться с документами, отражавшими состояние военных поселений. 22 марта 1823 года Михайло Михайлович сообщал графу, что читал отчет военных поселений «с таким же удовольствием, с каким читаешь путешествия в страны неизвестные». «Тот не имеет еще понятия о военных поселениях, кто удивляется их успехам, не зная, каких трудов стоили сии успехи»[1], — услаждал он душу Аракчеева.

---

[1] Полный оригинальный текст данного письма М. М. Сперанского графу А. А. Аракчееву хранится в аракчеевском фонде Российского государственного военно-исторического архива (ф. 154. Оп. 1. Д. 131. Л. 315–316).

3 апреля 1824 года Сперанский писал Аракчееву: «Честь имею представить вашему сиятельству первое начертание введения к учреждению военных поселений». В этом «введении» Михайло Михайлович раскрывал понятие и причины учреждения военных поселений, принципы их устройства, выгоды, приобретаемые поселянами, и наконец, «общие государственные пользы военных поселений». В январе 1825 года записка Сперанского, названная им «введением к учреждению военных поселений», была выпущена в свет в виде отдельной брошюры без указания имени ее автора и с названием «О военных поселениях». Отпечатана она была в типографии штаба Отдельного корпуса военных поселений и предназначалась, как можно догадаться по ее содержанию, для чисто пропагандистских целей.

***Из письма К. Я. Булгакова к А. Я. Булгакову от 17 июля 1825 года:***

*«Я вчера тебе послал весьма любопытную брошюру о военных поселениях. Ее, говорят, писал Сперанский. Она в полной мере удовлетворяет любопытству и оправдывает государственную меру, о которой доселе не имели точного понятия».*

Любопытно, что в 1821 году Сперанский давал военным поселениям отрицательную оценку. При возвращении в столицу из Сибири, он по пути из Москвы в Санкт-Петербург посмотрел, как живут военные поселяне. Свое впечатление от увиденного выразил словами, которые записал в дневнике: «Fumus ex fulgore»[1] («дым после молнии»), то есть — из великого ничтожное. Что же в таком случае означала его похвала военным поселениям в брошюре, изданной менее четырех лет спустя? С первого взгляда может показаться, что Сперанский изменил свое мнение об этом явлении или же впал в угодничество, потрафляя настроениям императора Александра I. На самом деле, между оценками военных поселений в дневнике Сперанского, с одной стороны, и в брошюре, с другой, нет противоречий. Сперанский отрицательно оценивал *практику* осуществления идеи военных поселений. Но всегда положительно относился к *тео-*

[1] См.: Дневник графа Михаила Михайловича Сперанского: Возврат. С 8 февраля по 22 марта 1821 года // В память графа Михаила Михайловича Сперанского. С. 101.

*рии* военных поселений[1]. Во «Введении к учреждению военных поселений», опубликованном в виде брошюры «О военных поселениях», Сперанский описывал *идеальное* военное поселение. Первая глава этого сочинения была посвящена понятию военных поселений и причинам их установления[2]. Во второй кратко описывались «правила, принятые в учреждении военных поселений». В третьей главе излагались «выгоды, приобретаемые поселянами взамен возлагаемой на них обязанности военной службы». Четвертая глава перечисляла «общие государственные пользы военных поселений».

Представленное в брошюре «О военных поселениях» краткое описание их устройства создавало весьма привлекательную картину быта военных поселян. При возложении на них обязанности военной службы их земельные участки не только сохранялись в их пользовании, но и при недостаточных размерах расширялись за счет казны. Военные поселяне освобождались от податей и повинностей, которые несли обыкновенные крестьяне. В тех случаях, когда их дома и надворные строения приходили в ветхость, они исправлялись или отстраивались заново опять-таки за казенный счет. При неурожаях или каких-либо стихийных бедствиях (пожарах или наводнениях) военные поселяне получали помощь из общественных запасов. Малолетние дети военных поселян получали образование за казенный счет. «Вообще в военных поселениях, — писал Сперанский, подводя итог описанию выгод поселян, — имущества частных лиц могут быть неравные; трудолюбие и промышленность будут всегда и везде иметь свои права на выгоды и преимущества, но соединением всех средств, выше сего означенных, в военных поселениях не может и не должно быть: ни сирот бесприютных, ни старости беспомощной, ни дряхлости оставленной, ни нищеты праздной, ни разврата нра-

---

[1] М. А. Корф считал, что на высказанное Сперанским в брошюре «О военных поселениях» «похвальное слово учреждению, самому у нас непопулярному... должно смотреть единственное как на жертву, принесенную Сперанским своему положению» (*Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. СПб., 1861. Том 2. С. 282). Думается, это слишком упрощенное объяснение рассматриваемого поступка Сперанского. Приверженный к порядку во всем, сам стремившийся все упорядочивать, Сперанский не мог не восхититься самой идеей военных поселений. Положительные стороны военных поселений, отмеченные Сперанским в посвященной им брошюре, — это не фантазия сановника, стремившегося угодить всесильному временщику, но очевидная реальность.

[2] «Военные поселения, — писал Сперанский в рассматриваемой брошюре, — суть часть общего народонаселения, особенно определенная к составлению воинских сухопутных сил, к их пополнению и содержанию».

вов, терпимого без средств исправления». Устройство военных поселений на практике не вполне соответствовало их идеальному образу, нарисованному Сперанским. Но отмеченные им «выгоды» поселян не были обманом — их действительно стремился обеспечить при организации военных поселений главный начальник над ними — граф Аракчеев[1].

Взаимоотношения Сперанского с Аракчеевым были в рассматриваемое время скорее взаимоотношениями двух друзей, нежели подчиненного со своим начальником. Михайло Михайлович не упускал случая сделать Алексею Андреевичу что-нибудь приятное и поступал так явно не для того, чтобы лишний раз угодить ему как самому влиятельному в тогдашней России сановнику. Он хорошо понимал, что никогда не займет при императоре Александре положения более высокого, чем то, которое в то время занимал. Да и большого желания снова вознестить на вершину власти Сперанский в ту пору уже явно не испытывал. Жизнь его дочери была устроена так, как он и хотел. А собственная его жизнь была в достаточно мере длинной и тяжелой на события, чтобы легко приземлять любые порывы наверх. «*Жаль, что я старею, что слишком много в свете видел и наблюдал*», — писал он своей дочери в апреле 1820 года — еще в то время, когда ему не исполнилось и пятидесяти. В 1824 году Сперанскому шел пятьдесят третий год, и за прошедшие четыре года он увидел в свете еще больше такого, что могло вызывать единственное желание: никогда больше этого света не видеть. Поэтому в отношении Сперанского к Аракчееву было тогда много искреннего. Во всяком случае, совершенно искренней являлась его забота о здоровье графа, о его душевном самочувствии. «Позвольте представить вашему сиятельству на дорогу ящичек лучшего зеленого чаю, на сих только днях из Кяхты полученного, и вместе с тем пожелать вам от всей души счастливого пути и скорого к нам возвращения»[2], — писал Михайло Михайлович графу Аракчееву 28 февраля 1824 года. «Весьма благодарен вашему сиятельству, — обращался он к Алексею Андреевичу 14 апреля 1825 года, — что прежде отбытия вашего буду иметь удовольствие еще раз видеть вас и сопроводить теплыми моими желаниями и молитвами Грузинского настоятеля. Примите милостивый госу-

---

[1] См. об этом: *Томсинов В. А.* Аракчеев (Серия «ЖЗЛ»). М.: Молодая гвардия, 2003. С. 322–337.

[2] РГВИА. Фонд 154. Оп. 1. Д. 531. Л. 54.

дарь свидетельство совершеннейшего почитания и преданности»[1]. «Отъезд Батенкова[2] дает мне возможность привести себя на память вашему сиятельству и извинить беспокойство мое о вашем здоровье. Из письма вашего к князю Петру Васильевичу видно, что оно медленно поправляется, но я надеюсь, что весна и теплые дни будут содействовать теплым нашим желаниям» — так писал Сперанский Аракчееву в письме от 5 мая 1825 года.

С весны последнего года правления императора Александра переписка этих самых знаменитых его сановников стала как никогда частой. Михайло Михайлович писал письма или просто записки Аракчееву по каким-либо поводам едва ли не каждую неделю, а то и через два-три дня.

Когда 10 сентября 1825 года в Грузине была зарезана Настасья Минкина, и Алексей Андреевич, потрясенный ужасной смертью любимой женщины, заточил себя в своем имении, бросив все государственные дела, именно Сперанский стал главным его утешителем в этом несчастии. Он более двух месяцев находился рядом с едва не сошедшим с ума от горя Аракчеевым[3].

Поведение Алексея Андреевича было тогда очень странным — граф отказывался возвратиться в столицу к государственным делам, почему-то заговорил о своей скорой смерти и попрощался с государем в письме к нему[4]. Он как будто знал, что никогда больше не встретится в своей земной жизни с императором Александром.

---

1 РГВИА. Фонд 154. Оп. 1. Д. 133. Л. 339.

2 Сперанский писал фамилию своего помощника без мягкого знака — как *Батенков*. Сам же Гавриил Степанович писал свою фамилию с мягким знаком — как *Батеньков*. Этот знак он ставил и в своей подписи.

3 Об этом свидетельствуют записки, которые столичные сановники слали во второй половине сентября 1825 г. к Сперанскому в Грузино. Они хранятся в аракчеевском фонде Российского военно-исторического архива. См., например, письма к М. М. Сперанскому Алексея Борисовича Куракина, написанные в Грузино 15 сентября и 23 ноября 1825 г. (РГВИА. Фонд 154. Оп. 1. Д. 134. Л. 498, 516).

4 «Прощай, мой Отец, верь, что я, естьли буду жив, то буду тебе одному принадлежать, а умру, так душа моя будет помнить вашего величества обо мне внимание», — с надрывом писал граф Аракчеев императору Александру 27 октября 1825 г. См. подробнее об этой истории главу «Прощание» в книге: *Томсинов В. А.* Аракчеев. М.: Молодая гвардия, 2003.

## *Глава одиннадцатая*

# «Нет повести печальнее...»

*Я думаю, что с летами приходит к нам какое-то малодушие.*

**Михаил Сперанский**

В августе 1825 года император Александр готовился к поездке на юг. Вечером 28-го числа он более трех часов беседовал с Н. М. Карамзиным. Прощаясь с его величеством, историк сказал: «Государь! Ваши годы сочтены. Вам нечего более откладывать, а вам остается еще столько сделать, чтобы конец вашего царствования был достоин его прекрасного начала». Кивнув головой в знак одобрения, Александр ответил, что думал уже об этом и что непременно все сделает: даст коренные законы России.

2 сентября, когда солнце еще только собиралось выходить из-за горизонта, государь покинул Санкт-Петербург. Сразу за заставой он приказал кучеру остановиться. Поднявшись на ноги, он с четверть часа стоял и молча смотрел на столицу. С места, на котором остановился экипаж, видна была в то время темная комета, простиравшаяся от горизонта вверх на огромное пространство. «Видел ли ты комету?» — спросил Александр у кучера. «Видел, государь»,— ответил тот. «Знаешь, что она предвещает? — продолжал Александр и, не дождавшись ответа, произнес: — Бедствие и горесть». После этого помолчал немного и добавил: «Так Богу угодно!» Это было последнее прощанье Александра с Петербургом. Впереди его ждал Таганрог...

* * *

27 ноября в 4 часа утра в столицу примчался из Таганрога курьер. Он привез весть о том, что император опасно болен и вот-вот умрет. Как и полагалось в таких случаях, назначено было молебствие о здравии. Сперанский вспоминал впоследствии об этом дне: «Одни отправились в 11 часов в придворную церковь, другие — в Невский монастырь. Я был в числе сих последних. Тут же были князь Куракин, Воинов и несколько генерал-адъютантов. Во дворце в это самое

время, как священник готовился выходить к молебну, великий князь Николай Павлович вышел из алтаря и сказал: остановитесь, все кончено, повергся перед образом и потом повел духовника с крестом к императрице матери. В Невском, во время причастия, явился Нейгардт и объявил сию весть сперва Воинову: в одно мгновение ока она разлилась по всей церкви и обнаружилась рыданием. Все отправились во дворец»[1].

В тот же день, когда в столице получено было известие о смерти Александра I, состоялась присяга новому императору. Присягнули великому князю Константину. Император Александр не имел детей, а Константин был старшим из его братьев. Оттого общество именно его считало наследником самодержавной власти. В то время лишь члены царской семьи да несколько сановников знали о том, что Константин еще в 1822 году отрекся от прав на императорский престол, вступив в морганатический брак с польской дворянкой Иоанной Грудзинской, и что Александр I принял данное отречение и юридически оформил его манифестом от 16 августа 1823 года. Наследником престола стал в результате этого великий князь Николай Павлович. По ряду обстоятельств, известных более самому Александру, манифест не был объявлен для всеобщего известия. Николай Павлович оказался поэтому 27 ноября 1825 года в весьма сложном положении.

Трудности для него усугублялись нелюбовью к нему гвардии, которая не терпела его грубого и высокомерного с нею обращения. Об этом великому князю Николаю прямо заявил на заседании Государственного совета, когда рассматривался вопрос о присяге, Санкт-Петербургский генерал-губернатор Милорадович. В результате Николай решил не вступать пока на престол и согласился на присягу Константину. Но великий князь Константин Павлович не принял переданной ему братом Николаем императорской короны. Вместе с тем, он отказался ехать в столицу для того, чтобы лично заявить об отказе от короны. Письмо же свое о данном отказе Константин составил в таких выражениях, что зачитать его публично было нельзя. Так Россия оказалась фактически без царя.

События этого периода, длившегося 17 дней — с 27 ноября по 14 декабря 1825 года, — достаточно подробно описаны в литературе, что позволяет ограничиться кратким о них рассказом.

---

[1] *Сперанский М. М.* Краткая собственноручная записка о событиях 27 ноября 1825 г. // НИОР РГБ. Фонд 751, В. И. Саитов. К. 2. Ед. хр. 69.

Пока братья усопшего самодержца перебрасывали, словно мячик, от одного к другому корону Российской империи, в Петербурге окончательно созрел дворянский революционный заговор. Неразбериха в правительственных кругах, волнение и ропот в дворянстве и народе возбудили в членах Северного общества заговорщиков мысль о том, что «наступил час решительный, дающий право изменить образ действия, постоянно сохраняемый в продолжение десяти лет, и прибегнуть к силе оружия... Дух Тайного союза мгновенно заменился духом восстания».

Момент восстания назначен был на день присяги императору Николаю Павловичу. Несмотря на то, что выступление декабристов организовано было из рук вон плохо: отсутствовал четкий план действий, строгое распределение функций среди участников восстания и т. п. — несмотря на то, что восставшие не имели способных и волевых руководителей, совершили множество ошибок, действовали в ряде ситуаций просто нелепо, они вполне могли победить 14 декабря 1825 года. Это признавали впоследствии многие из тех, кто присутствовал в тот день на площади перед зданием Сената. Принц Евгений Виртембергский в своих воспоминаниях перечислил причины, по которым заговор декабристов не имел успеха, но вместе с тем счел необходимым добавить: «И все-таки мы должны сознаться, что возможность полного ниспровержения существующего порядка при данных, совершенно исключительных обстоятельствах, зависела от счастливой случайности»[1].

Возможность успеха заговорщиков допускал и сам император Николай. 12 декабря, будучи еще великим князем, он писал П. М. Волконскому: «Воля Бога и воля брата моего обязывают меня: 14 декабря я буду либо государем, либо мертвым. То, что происходит со мной, невозможно описать. Вы было смилостивились надо мной. Да, мы все несчастны, но нет более несчастного человека, чем я. Да будет воля Божия!» Нечто подобное Николай написал в этот день и начальнику Главного штаба И. И. Дибичу: «Послезавтра поутру я — или государь, или без дыхания». Вечером 14 декабря император Николай писал графу Сакену: «Любезный граф! Что могу сказать вам? Я ваш законный Государь, и Богу было угодно, чтобы я стал самым несчастливым из государей, потому что я вступил на престол це-

[1] См. подробнее о возможности победы декабристов: Из воспоминаний принца Евгения Виртембергского. Поездка в Петербург в 1826 году // Русский архив. 1878. Кн. 1. С. 330–358.

ною крови моих подданных! Великий Боже, какое положение!» «Дорогой, дорогой Константин! — спешил Николай сообщить брату о только что происшедшем событии. — Ваша воля исполнена, я император, но какой ценой, великий Боже, ценой крови моих подданных!» Многие в русском обществе оказались тогда в странном положении. Но всего странней стала участь Сперанского.

Существует достаточно оснований считать, что расправу над революционно настроенными дворянами — членами тайных обществ — готовил еще Александр I. По меньшей мере лет за пять до своей смерти он учредил надзор за ними и начал активный сбор сведений об их деятельности. Выявленные участники тайных обществ уже тогда подвергались наказаниям — отстранялись от службы, отправлялись в ссылку. Осенью 1825 года, когда Александру стали известны многие активные участники революционных организаций и некоторые их замыслы, он принял решение произвести аресты. Однако можно уверенно предположить, что на открытый процесс над членами тайных обществ Александр, если б остался жив, не пошел. С. Г. Волконский был убежден в этом. Александр Павлович, писал он, если б не скончался в Таганроге, «не дал бы такой гласности, такого развития следствию о тайном обществе. Несколько человек сгнили бы заживо в Шлиссельбурге, но он почел бы позором для себя выказать, что была попытка против его власти».

Николай I оказался в положении, когда без гласности в деле декабристов обойтись было уже невозможно. События 14 декабря 1825 года стали широко известны не только в России, но и в Европе. В результате их произведены были массовые аресты. Потому новому императору ничего не оставалось делать, как пойти на организацию следствия и суда в формах, хотя бы внешне соответствовавших действующему законодательству. Подавление открытого выступления дворян-революционеров в Петербурге, а позднее и восстания на юге не означало еще полного их поражения. Победить окончательно и бесповоротно движение, имевшее свою идеологию, возможно было лишь посредством развенчания его в общественном мнении. А для этого необходимы были следствие и суд над декабристами.

Допросы арестованных начались уже вечером 14 декабря. Спустя три дня указом от 17 декабря 1825 года император Николай учредил «Тайный комитет для изыскания соучастников злоумышленного общества, открывшегося 14 декабря 1825 года». (14 января Николай распорядился следственный комитет «тайным не называть»). В со-

став названного комитета были назначены одни генералы. Единственное исключение составлял А. Н. Голицын. Вошел в следственный комитет и младший брат Николая великий князь Михаил, тоже генерал. Не удивительно, что председателем комитета стал военный министр А. И. Татищев. Для всех этих людей не составляло большого труда ведение следствия, но они не могли порученное им дело подобающим образом оформить. А ведь надо было еще организовать суд, подобрать соответствующие юридические нормы, разбить обвиняемых на разряды, квалифицировать их действия и т. д. Затеяв процесс по делу декабристов, Николай I столкнулся с острой проблемой: ему оказались необходимы не просто исполнители его воли, но образованные, сведущие в законодательстве люди. Для следственного комитета такое лицо нашлось — задачу оформления следственных дел взял на себя способный чиновник Александр Дмитриевич Боровков. Оставалось найти человека, который бы мог оформить судебный приговор по делу декабристов, — задача несравненно сложнее первой.

Есть основания полагать, что на эту роль император Николай с самого начала планировал Сперанского. Он поручил ему написать Манифест о событиях 14 декабря 1825 года. Спустя месяц, в январе 1826 года, его величество направил на редакцию к Сперанскому проект Манифеста об учреждении суда над декабристами. Возвращая государю отредактированный проект, Сперанский приложил к нему записку, в которой убеждал его «отложить сей проект до того времени, как дело созреет до суда».

Сперанский охотно пошел на сотрудничество с Николаем I в деле расправы над декабристами: он не просто исполнил возложенное на него императором поручение, но проявил при этом инициативу. Думается, это не случайно. С новым государем Михайло Михайлович связывал надежды на новое возвышение. Служивший при нем Г. С. Батеньков вспоминал впоследствии о том, как утром 13 декабря 1825 года вошел в кабинет Сперанского вслед за его дочерью.

— Лиза, тебе надобно снять свой траур, — услышал он голос Сперанского.

— Разве государь приехал? — удивилась дочь.

— Государь здесь, — сказал Сперанский.

— Николай Павлович, не правда ли?

—Точно так, надобно вас поздравить.

— Я не знаю, как господа мужчины, — прореагировала Елизавета Михайловна, — а мы, женщины, сему чрезмерно рады.

— И мы рады, — подхватил Сперанский, — это человек необыкновенный. По первому приему он обещает нового Петра.

В то время Михайло Михайлович совсем не предполагал, что его отношения с императором Николаем окажутся ненамного проще тех, что были у него с императором Александром.

К допросам декабристов следственный комитет приступил 23 декабря. И именно с этого дня в показаниях подследственных замелькало имя Сперанского. Подпоручик А. Н. Андреев сказал на допросе генерал-адъютанту Левашову: «Надежда общества была основана на пособии Совета и Сената, и мне называли членов первого — господ *Мордвинова* и *Сперанского*, готовых воспользоваться случаем, буде мы оный изыщем. Господин же *Рылеев* уверял меня, что сии государственные члены извещены о нашем обществе и намерении и оное одабривают»[1]. Впоследствии на очной ставке с Рылеевым Андреев откажется от этих слов, но подозрение в связях с мятежниками уже легло на Сперанского.

24 декабря имя Сперанского фигурировало в показаниях Кондратия Рылеева. На следующий день о нем говорил Каховский, затем — Трубецкой. 30 декабря состоялось 14-е заседание «Тайного комитета». Журнал этого заседания среди разного рода сведений отразил следующее: «Допрашиваем был лейб-гвардии Гренадерского полка поручик Сутгоф, который, между прочим, показал, будто Каховский сказал ему, что Батеньков связывает общество с Сперанским и что генерал Ермолов знает об обществе». 2 января Батенькова спросили, что он может сказать по поводу данных показаний Сутгофа. Гавриил Степанович ответил: «Чтобы я связывал общество с господином Сперанским и чтоб оно было с ним чрез меня в сношении — сие есть такая клевета, к которой ни малейшего повода и придумать я не могу... С г. Сперанским, как с начальником моим и благодетелем, я никогда не осмеливался рассуждать ни о чем, выходящем из круга служебных или семейных дел».

В течение трех дней — 2, 3, 4 января — «Тайный комитет» стремился выяснить подробности пребывания у Сперанского в ночь с 13 на 14 декабря Батенькова, Краснокутского и Корниловича. Батеньков заявил, что не был тогда у Сперанского, и это подтвердили его товарищи. И Краснокутский, и Корнилович согласились, что были у Сперанского, но не в ночь с 13 на 14, а с 6 до 7 часов вечера 13 декабря. По их словам, приходили они «просто с визитом», провели

[1] Восстание декабристов. Документы. Том 15. М., 1979. С. 228.

все время в гостиной, где находились зять Сперанского, его дочь, какой-то офицер артиллерии и еще кое-кто. Сам Сперанский «вышел из своего кабинета на четверть часа» и вскоре ушел.

Во время допросов арестованных следственному комитету удалось установить, что М. М. Сперанский планировался декабристами, наряду с адмиралом Н. С. Мордвиновым, в состав Временного правительства. 4 января Рылеев прямо заявил следователям: «Признаюсь, я думал, что Сперанский не откажется занять место во временном правительстве. Это основывал я на его любви к отечеству и на словах Батенькова, который мне однажды сказал: «Во временное правительство надо назначить людей известных». И когда я ему на это сказал, что мы думаем назначить Мордвинова и Сперанского, то он сказал: «Хорошо». Декабрист М. Ф. Митьков также показал на допросе, что «неоднократно слышал, что общество считало на подпору г-на Мордвинова и Сперанского»[1].

Более всего оснований для предположения о причастности Сперанского к делу декабристов давали его тесные взаимоотношения с Г. С. Батеньковым. Гавриил Степанович повстречался Михайле Михайловичу в Сибири, где был управляющим десятым округом путей сообщения, и с первого же знакомства произвел на него чрезвычайно благоприятное впечатление как умом своим, так и познаниями. Михайло Михайлович не преминул воспользоваться его помощью в разработке различных проектов по переустройству управления Сибирью и в последующем взял его с собой в Петербург для работы в Сибирском комитете. Батеньков даже поселился в доме Сперанского. Еще в сентябре 1819 года он писал своим друзьям, что Сперанский с первого свидания полюбил его и привык ежедневно с ним работать. «Я в таких теперь к нему отношениях, — сообщал будущий декабрист, — что могу говорить все как бы другу и не помнить о великом различии наших достоинств». Вряд ли можно сомневаться в том, что и свое вступление в тайное революционное общество Батеньков не скрыл от своего старшего, умудренного опытом друга.

Все эти факты вызывали у императора Николая серьезную тревогу. Он был заинтересован поэтому в том, чтобы расследование их продолжалось. Но с другой стороны, новый государь не желал предавать такие факты гласности, поскольку не только участие в заговоре, но уже одно присутствие известных своим умом сановников — членов Государственного совета в планах восставших дворян под-

[1] Восстание декабристов. Документы. Том 3. М.-Л., 1927. С. 191.

рывало навязывавшуюся им русскому обществу и заграница версию о том, что мятежники были всего лишь кучкой отщепенцев — людей безнравственных по своим устремлениям, одиноких и не пользовавшихся никакой поддержкой в обществе. Выход из данного противоречия император легко нашел: он распорядился придать дальнейшему следствию по делу Сперанского и Мордвинова секретный характер. Дело это было выведено за рамки следственного комитета и сосредоточено в руках доверенного лица императора Николая I генерал-лейтенанта Александра Христофоровича Бенкендорфа. Делопроизводителем же секретного следствия оставлен был А. Д. Боровков. Позднее в своих автобиографических записках он особо отмечал, что изыскание по делам членов Государственного совета Мордвинова, Сперанского, а также генерала Киселева и сенатора Баранова «было произведено с такою тайною, что даже чиновники Комитета не знали; я сам собственноручно писал производство и хранил у себя отдельно, не вводя в общее дело».

Материалы секретного следствия по связям перечисленных сановников с декабристами не сохранились. Скорее всего, Николай I распорядился уничтожить их. Поэтому вопрос о причастности Сперанского к декабристскому заговору остается открытым. С полной определенностью можно утверждать лишь две вещи: *первое*, что Сперанский знал о существовании тайного общества и готовящемся заговоре, и *второе*, что заговорщики предполагали включить его в состав Временного революционного правительства. Попытки же пойти далее указанных выводов дают весьма противоречивую картину.

С одной стороны, существует целый ряд свидетельств, говорящих в пользу того, что Сперанский не просто знал о замыслах декабристов, но и сам участвовал в них. Во всяком случае, оказывал заговорщикам содействие. В «Петербургских очерках» знатока секретной политической истории России первой половины XIX столетия князя П. В. Долгорукова имеется следующая примечательная запись о рассматриваемых событиях: «На Сперанского возникли улики столь значительные, что однажды Комиссия отправила одного из своих членов, Левашева, к государю просить у него разрешения арестовать Сперанского. Николай Павлович, выслушав Левашева, походил по комнате и потом сказал: «Нет! Член Государственного совета! Это выйдет скандал! Да и против него нет достаточных улик».

В названной книге князь П. В. Долгоруков привел и другое интересное признание Николая I, сделанное им весной 1826 года в разговоре с историком Карамзиным: «Около меня, царя русского, нет

ни одного человека, который бы умел писать по-русски, то есть был бы в состоянии написать, например, манифест. А Сперанского не сегодня, так завтра, может быть, придется отправить в Петропавловскую крепость».

Однако, с другой стороны, наряду с приведенными свидетельствами существуют показания прямо противоположного характера, из которых вытекает, что хотя Сперанский и знал о существовании тайных обществ и готовящемся выступлении (кто об этом тогда не знал! «О заговоре кричали на всех перекрестках», — вспоминал А. С. Пушкин), но причастен к движению декабристов и их заговору не был.

Прежде всего отметим, что никакого согласия на вхождение в состав Временного правительства Сперанский не давал и дать не мог. Рылеев прямо указал на отсутствие данного согласия и признался, что он всего лишь «думал, что Сперанский не откажется занять место во Временном правительстве». Основывал Рылеев это свое убеждение «на любви его к Отечеству». Упоминание имени Сперанского в показаниях многих арестованных декабристов, с точки зрения здравой логики, говорит скорее против того, что он реально участвовал в их планах. Если бы его участие действительно имело место, вряд ли о нем знало бы столько людей. Между тем складывается впечатление, что слух о тесной причастности Сперанского к заговору декабристов кем-то сознательно распространялся. И можно с уверенностью сказать кем. Подследственные ссылались здесь, как правило, на Кондратия Рылеева. «Господин же *Рылеев* уверял меня, что сии государственные члены извещены о нашем обществе и намерении и оное одабривают», — показывал, к примеру, А. Н. Андреев. Можно также уверенно сказать, для чего Рылееву понадобилось распространять слух об участии Сперанского в заговоре.— Для того, чтобы привлечь в тайное общество как можно больше новых членов и придать уверенности старым. И надо признать, цели своей Рылеев достиг. Андреев рассказывал на следствии: «За несколько дней до 14 декабря сообщил мне товарищ мой лейб-гвардии Измайловского полка поручик *Кожевников* о тайном обществе, которого цель, говорил он, стремиться к пользе отечества. Но так как в таком предприятии главнейшая сила есть войско, то мы — части оного и как верные сыны Отечества должны помогать сему обществу, тем более что оно подкрепляется членами Госсовета, Сената и многими военными генералами. Из членов сих названы им были только трое: *Мордвинов, Сперанский* и граф *Воронцов*, на которых более надеялись, о прочих

он не упомянул. Завлеченный его словами и названием сих членов, я думал, что люди сии, известные всем своим патриотизмом, опытностью, отличные чувствами, нравственностью и дарованиями, не могут стремиться ни к чему гибельному, и дал слово ему участвовать в сем предприятии. Вот причина, побудившая меня вступить в сие общество»[1].

Большое значение для решения вопроса о степени причастности Сперанского к заговору декабристов имеет оценка его личности, и в частности, определение того, как относился он к политическим планам декабристов. На первый взгляд может представиться, что отношение Сперанского к последним могло быть только сочувственным. В самом деле, при сравнении проектов политических преобразований Сперанского с планами декабристов в них наряду с отличиями можно было обнаружить немало сходного. И первые, и вторые предполагали разделение властей, представительное правление, отмену крепостного права и т. д. Однако в вопросе средств и способов осуществления политических идей на практике Сперанский довольно значительно расходился с дворянскими революционерами. Николай Бестужев рассказывал на следствии о своем разговоре с Батеньковым, состоявшемся вскоре после кончины Александра I. По его словам, он спросил Батенькова о мыслях Сперанского по поводу тогдашних происшествий и о том, «возможно ли что-нибудь предпринять в пользу законов». Батеньков ответил Бестужеву: «Михайло Михайлович почитает всякую мысль об этом бесполезною и всякое покушение невозможным; впрочем, он человек осторожный и умный, от него ничего не узнаешь». Здесь уместно вспомнить и то, что Сперанский сказал 13 декабря о Николае, которому остались всего сутки до воцарения, — «по первому приему он обещает нового Петра».

В Манифесте от 13 июля 1826 года, который увенчает расправу над декабристами, будет специально подчеркнуто: «Не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления, дополняются недостатки, исправляются злоупотребления. В сем порядке постепенного усовершенствования всякое скромное желание к лучшему, всякая мысль к утверждению силы законов, к расширению истинного просвещения и промышленности, достигая к нам путем законным, для всех отверзстым, всегда будут приняты нами с благоволением: ибо мы не имеем, не можем иметь других желаний, как видеть Отечество

[1] Восстание декабристов. Том 15. С. 230–231.

наше на самой высшей степени счастия и славы, Провидением ему предопределенной»[1]. Процитированные слова заставляют прежде всего усомниться в правильности взгляда, всецело преобладающего среди историков, согласно которому столкновение самодержавия и декабристов было противоборством сил реакции и прогресса. Не слишком ли упрощает это мнение действительное положение? Как же трактовать тогда слова Пушкина, высказанные им в черновике письма к П. Я. Чаадаеву от 19 октября 1836 года (не отправленного адресату): «Надо было прибавить (не в качестве уступки цензуре, но как правду), что правительство все еще единственный Европеец в России (и это несмотря на все то, что в нем есть тяжкого, грубого, циничного). И сколь бы грубо (и цинично) оно ни было, только от него зависело бы стать во сто крат хуже. Никто не обратил бы на это ни малейшего внимания». Думается, в противоборстве самодержавия и декабристов необходимо видеть столкновение не реакции и прогресса, а скорее двух различных путей общественного развития — эволюционного, под эгидой законной государственной власти, и революционного, предполагающего решительную ломку политических структур. Остается добавить, что текст Манифеста от 13 июля 1826 года писал Михайло Михайлович Сперанский. И мысль о том, что «не от дерзостных мечтаний, всегда разрушительных, но свыше усовершаются постепенно отечественные установления», вполне отражала собственные его взгляды.

В свете сказанного особо примечателен факт, приведенный в «Записках о восстании» декабриста В. И. Штейнгейля. Владимир Иванович рассказал о том, что во время событий рядом со зданием Сената, которые впоследствии получат во многих мемуарах и исторических произведениях название «восстания», Сперанский находился в Зимнем дворце у окна и, наблюдая за тем, что происходило вокруг, произнес однажды фразу: «И эта штука не удалась!» Некоторые историки трактуют это восклицание в том смысле, что оно выразило отношение Сперанского к восстанию декабристов в целом. «Поражение восстания сокрушило Сперанского. Наблюдая за событиями из окна дворца, он с горечью заметил стоявшему рядом с ним Краснокутскому: „И эта штука не удалась!“ — с уверенностью констатируется в одной из книг, посвященной декабристам[2].

---

[1] Восстание декабристов. Документы. Том 17. М., 1980. С. 253.

[2] *Семенова А. В.* Временное революционное правительство в планах декабристов. М., 1982. С. 49.

На самом деле, если судить по тексту записок В. И. Штейнгейля, указанная реплика Сперанского выражала реакцию его не на поражение восстания, а на неудачу попытки митрополита Серафима умиротворить восставших, предпринятой после такой же попытки великого князя Михаила. Подойдя к каре восставших, митрополит начал увещевание. К нему вышел лейтенант гвардейского экипажа М. К. Кюхельбекер. «Моряк и лютеранин, — пишет Штейнгейль, — он не знал высоких титулов нашего православного смирения и потому сказал просто, но с убеждением: „Отойдите, батюшка, не ваше дело вмешиваться в эти дела“. Митрополит обратил свое шествие к Адмиралтейству. Сперанский, смотревший на это из дворца, сказал с ним стоявшему обер-прокурору Краснокутскому: „И эта штука не удалась!“» По словам Штейнгейля, «обстоятельство это, сколь ни малозначащее, раскрывает, однако ж, тогдашнее расположение духа Сперанского»[1]. Но какое? Неужели Сперанский в данном случае горевал от того, что восстание потерпело поражение? Очевидно, что нет! Реплика Сперанского в контексте тех обстоятельств выражала скорее его досаду от неудачи очередной попытки умиротворить восставших, именно досада в большей мере соответствовала тому умонастроению, каковое Михайло Михайлович имел в рассматриваемое время.

Новый император выказывал явное благорасположение к Сперанскому. В дни, предшествовавшие восшествию Николая на престол, Михайло Михайлович имел с ним регулярные приватные беседы, которые вселяли надежду на более тесное сближение в будущем, когда он станет императором. Сперанский не был человеком, способным синице в руках предпочесть журавля в небе. К тому же благоволение со стороны нового императора было синицей недурной. В отличие от брата своего Александра Николай был прям характером и постоянен в симпатиях. Нелегко было приобрести у него доверие и благорасположение, но потерять их оказывалось еще трудней.

Зная, сколь негативно относился Сперанский ко всяким насильственным способам ниспровержения существующего политического строя, понимая душевное его состояние в 1825 году, вполне воз-

---

[1] *Штейнгейль В. И.* Записки о восстании // Сочинения и письма. Том 1: Записки и письма. Иркутск, 1985. С. 158. Декабрист С. П. Трубецкой сделал следующее замечание к этому эпизоду со Сперанским, описанному Штейнгейлем: «Из дворца нельзя было видеть» (там же).

можно угадать истинное его отношение к заговору декабристов. При названных предпосылках отношение это не могло быть однозначно положительным. Скорее наоборот. Заговор, даже в случае успеха, неизбежно вносил в политическую жизнь общества сумятицу, хаос. Положение любого лица, вознесенного в результате заговора на вершину власти, не могло быть устойчивым. Известно, какие колебания испытывали многие декабристы, вступая на путь революционной деятельности. И сомнения эти объяснимы: легко быть решительным в простом заговоре, но много труднее сохранять твердость в заговоре революционном. Потому как существует большая разница между ними: простой заговор направлен всегда против *лица*. Революционный же — это заговор против целой *общественной системы*. В заговоре против лица нетрудно предугадать последствия: механизм властвования останется прежним и привычным — новым будет лишь лицо, запускающее его маховик. Заговор против общественной системы в последствиях своих непредсказуем. Тот, кто идет в революцию, идет, по существу, в неизвестность.

С другой стороны, официальная правительственная власть, сколь порочной она ни является, всегда стремится выставлять себя выразительницей высоких общественных идеалов и отождествлять собственные интересы с общественными. В этих условиях любому необходимо иметь немалое мужество, душевную стойкость, *чтобы отделить Родину от правительства, чтобы соединить в неразрывное целое слова «восстание» и «патриотизм»*. Но еще бóльшее мужество требуется тому, кто всю предшествующую жизнь рос под крылом этой хищной птицы, называемой правительственной властью, кто привык связывать свое существование с нею, кто был плоть от плоти ее. Всего трудней восставать против правительства тому, кто находится у него на службе. «Любовь моя к царю и Отечеству слиты в одно чувство в моем сердце», — неоднократно говаривал адмирал Мордвинов. Для таких людей отделить Отечество от правительства значило разорвать свое сердце. Необходимо долгие годы своей жизни пребывать во враждебности к правительству, чтобы окончательно отделить его от себя как чужеродное тело и зловредную силу, чтобы в момент открытого восстания против него не спасовать, не дрогнуть, не захлебнуться в колебаниях, сомнениях, чтобы выстоять против него в случае поражения, сохранить свое достоинство и честь.

Сперанский лично знал многих декабристов. В их числе, кроме упоминавшегося Г. С. Батенькова, были К. Ф. Рылеев, Н. М. Му-

равьев, С. П. Трубецкой, Н. В. Басаргин, С. Г. Волконский, Ф. Н. Глинка, братья Бестужевы, Д. И. Завалишин, А. О. Корнилович, С. Г. Краснокутский, З. Г. Чернышев и др. Личности названных людей отбрасывали благородный отсвет на их дело. Но вместе с тем заставляли думать, что открытое их выступление против самодержавия потерпит неудачу. Они были образованными, умными и добрыми людьми, но в деле организации заговоров — беспросветными дилетантами и глупцами. В событиях 14 декабря 1825 года эти свои качества они проявили в ярчайшей степени. Они имели столько шансов победить и ни один — надо же так: буквально ни один! — не использовали! Храбрые, инициативные на полях сражений, они оказались трусливыми и нерешительными на политической арене. Вступив на нее, они начисто лишились рассудка и расчетливости. А Сперанский был в высшей степени расчетлив после того, как вернулся в Петербург.

Утром 14 декабря к нему пришел Александр Корнилович с предложением поддержать выступление революционеров и войти в состав Временного правительства. «С ума сошли, — всплеснул руками Сперанский, — разве делают такие предложения преждевременно? Одержите сначала верх, тогда все будут на вашей стороне!» Этим ответом опытный царедворец приоткрыл (наверняка непроизвольно) настоящее свое отношение к попытке дворян совершить политическую революцию.

* * *

Подготовительную работу по организации судебного процесса над декабристами император Николай I начал уже в январе 1826 года, когда в разгаре было еще следствие по их делу. Тогда же им был привлечен к данной работе и Сперанский. К этому времени в распоряжении государя были уже показания декабристов о причастности Сперанского к их заговору, но он все-таки взял его в ближайшие свои сотрудники.

В исторической литературе высказаны различные предположения насчет данного поступка императора Николая. По мнению П. Е. Щеголева, специально исследовавшего участие М. М. Сперанского в Верховном суде над декабристами, Николай I привлек его «к активнейшему участию в процессе не только потому, что он был самый дельный и самый умный из всех сановников. В этом привлечении, — считал ученый, — чудятся иные психологические мотивы,

аналогичные тем, которые побудили императора Павла Петровича приказать Орлову нести прах убитого им Петра Федоровича»[1].

Безусловно, Сперанский был необходим императору Николаю (и не только для работы в Верховном уголовном суде), ибо в распоряжении нового императора не было людей более, чем он, подготовленных для выполнения работы по организации судебного процесса над декабристами. Но думается, главным было все же не это. Сколь бы искусным юристом Сперанский ни являлся, привлечение его Николаем I к разработке процедуры такого ответственного для всего императорского дома мероприятия, как суд над дворянами-революционерами, стало возможным прежде всего потому, что следственной комиссии, а затем и Бенкендорфу не удалось обнаружить по-настоящему серьезных фактов его участия в декабристском заговоре. То, что показали на следствии декабристы, могло порождать лишь неясные догадки, подозрение о причастности Сперанского к их выступлению 14 декабря, но сколько-нибудь твердого вывода на сей счет собранные следствием материалы сделать не позволяли.

В 1839 году император Николай говорил М. А. Корфу: «Сперанского не все понимали и не все довольно умели ценить; сперва и я сам, может быть, больше всех, был виноват против него в этом отношении. Мне столько было наговорено о его либеральных идеях; клевета коснулась его даже и по случаю истории 14-го декабря! Но потом все эти обвинения рассыпались как пыль. Я нашел в нем самого верного, преданного и ревностного слугу, с огромными сведениями, с огромною опытностию». Верх преданности императору Николаю и делового рвения Сперанский проявил в разработке процедуры суда над декабристами.

Когда следствие по делу дворянских революционеров стало подходить к концу, подготовка судебного процесса над ними активизировалась. К началу мая 1826 года Сперанским был написан новый проект Манифеста о Верховном уголовном суде. Тогда же Михайло Михайлович составил и проект указа Сенату о составе суда, «Дополнительные статьи обряда в заседаниях Верховного уголовного суда», приложения к последним и ряд других документов. Разрабатывая порядок деятельности Верховного уголовного суда, он тщательно изучил материалы политических процессов времен Екатерины II: по делу Мировича (1764 года), делу Пугачева (1775 года), делу о Мо-

[1] *Щеголев П. Е.* Декабристы. М.-Л., 1926. С. 285.

сковском бунте (1771 года). Вместе с тем целый ряд норм Сперанский разработал сам, независимо от предшествующего опыта, ориентируясь исключительно на главную цель затеянного императором судилища — строгое наказание выступивших против самодержавия дворян с тем, чтобы преподать жестокий урок тем, кто готов пойти против правительства.

В середине мая государь ознакомился с созданными Сперанским документами и одобрил их. 30 мая следствие по делу декабристов завершилось. Составленное по его материалам «Донесение» было зачитано на специальном заседании Следственного комитета императору Николаю и приглашенным для прослушивания некоторым высшим сановникам. Среди последних был и Сперанский. Утром 1 июня в доме князя Алексея Борисовича Куракина состоялось совещание главных действующих лиц судилища над декабристами. В нем участвовали будущий председатель Верховного уголовного суда князь П. В. Лопухин, его заместитель князь А. Б. Куракин, министр юстиции Д. И. Лобанов-Ростовский и М. М. Сперанский. Михайло Михайлович ознакомил собравшихся с бумагами по Верховному суду. Сразу после совещания им написан был отчет.

***Из записки М. М. Сперанского к И. И. Дибичу от 1 июня 1826 года:***

*«Считаю нужным дать краткий отчет в совещании, бывшем с председателями и с министром юстиции по бумагам о Верховном суде... Кн. Алексей Борисович в особенности предлагал, не будет ли признано за благо умножить число духовных членов архиереями, прибывшими сюда на погребение (императрицы Елисаветы Алексеевны. — В. Т.). Мысль сия имеет свои удобства и неудобства: удобство то, что в каждом из трех отделений ревизионной комиссии могла бы находиться одна духовная особа, чего при настоящем числе синодских членов, коих только три, сделать невозможно. Неудобство же, что 1) прежде сего не бывало, всегда Синод один был приглашаем; 2) что сим умножится число членов, кои в окончательном приговоре, по сану их, от смертной казни отрекутся».*

Грустное впечатление производит приведенная записка Сперанского, особенно последние ее строки. Верховный уголовный суд еще не приступил к работе, а один из его членов, причем тот, кто хорошо знал обвиняемых, ценил их ум и образованность, кто раз-

делял многие их идеи, уже предрешал вынесение смертного приговора.

В тот же день, то есть 1 июня 1826 года, император Николай подписал Манифест об учреждении Верховного уголовного суда над декабристами, указ Сенату о составе суда и утвердил ряд других документов, регламентировавших судебный процесс. В состав суда вошло 72 человека: 18 — члены Госсовета, 36 — члены Сената, 3 — члены Синода, 15 — высшие военные и гражданские чины. В числе членов Государственного совета, вошедших в состав суда, были Мордвинов и Сперанский.

По решению императора Николая уголовному суду предавался 121 декабрист. На судебные заседания обвиняемые не допускались. Судьи ограничились чтением записок о «силе вины» подсудимых. Для удостоверения подлинности материалов, представленных следственным комитетом, была создана Ревизионная комиссия. В течение двух дней, 8–9 июня, она опросила всех декабристов на предмет того, подтверждают ли они свои показания, данные на следствии. В знак согласия каждый из спрашиваемых ставил свою подпись. 10 июня Верховный суд избрал комиссию «для установления разрядов степеней виновности государственных злоумышленников». В число членов Разрядной комиссии избран был и Сперанский. Председателем ее император Николай назначил графа П. А. Толстого, однако главным рычагом данного органа стал фактически Сперанский. Именно он проделал основную работу по классификации преступлений, распределению обвиняемых по разрядам, определению им наказаний и т. п.

Дочь Сперанского вспоминала впоследствии об июне 1826 года, как самой тяжелой в душевной жизни ее отца поре. По ее словам, Михайло Михайлович испытывал во все время процесса над декабристами невообразимые муки сердца, глаза его источали беспросветную печаль, и часто можно было видеть, как в них стояли слезы. Он порывался несколько раз совсем оставить службу, но какая-то сила все останавливала его. Что же, можно назвать эту силу: в нем окончательно победил *чиновник*. Именно *чиновник* стал определять его поведение.

Если бы в судилище над декабристами Сперанский был просто творцом юридических документов судебного процесса, его поведение не вызывало бы слишком больших нареканий. Сановники, вошедшие в состав Разрядной комиссии, не отличались умом и были на редкость жестокосердны. При таких условиях, не будь Сперан-

ского, судебный приговор оказался бы наверняка бестолковым и жестоким. Сперанский придал приговору над декабристами более утонченный вид. А *для взошедшего на эшафот и положившего голову на плаху тот, кто заточил острее топор, безусловно, великий благодетель!* Но Сперанский являлся в процессе над декабристами не просто «точильщиком топора» — творцом юридических форм. Он был в этом чрезвычайно важном для императора Николая деле проводником воли его величества, причем необыкновенно умелым. Вряд ли кто другой из сановников мог бы выполнить данную роль искуснее Сперанского. Его образованность и ум позволили императору Николаю руководить действиями суда, почти целиком оставаясь в тени. Общие указания государя Сперанский умело переводил на язык конкретных инструкций. Так, он расписывал председателю суда князю Лопухину вопросы, которые тот должен был предлагать в судебных заседаниях, составлял тексты тех распоряжений, которые председатель обязан был сделать. Вся деятельность суда проходила в строгом соответствии с программой, составленной опять-таки Сперанским. В ней предусмотрено было все, вплоть до самых мелких деталей судебных заседаний. Конкретно указывалось, *что*, в *какой день* и даже *какой час* должен был делать суд. Когда в ходе процесса возникали ситуации, не предусмотренные предварительными инструкциями, Сперанский немедленно брался составлять для председателя суда указания по их разрешению.

С 28 июня в работе Верховного уголовного суда начинался новый этап, на котором предстояло определить обвиняемым конкретные наказания и составить приговоры. И на этом этапе, когда уж все, казалось, было ясно, когда в распоряжении членов суда имелось донесение Разрядной комиссии и другие документы, председатель суда не остался без дополнительных инструкций. 27 июня князь П. В. Лопухин получил от Сперанского следующую записку: «Завтра начнутся заседания суда. Дозвольте мне завтра утром в 8 часов быть у вас, чтобы представить вам словесно все нужные по сему предмету объяснения».

Как известно, по приговорам Верховного суда 36 декабристам была назначена смертная казнь, 19 — пожизненная каторга, 40 — каторжные работы от 4 до 20 лет с последующим пожизненным поселением в Сибири, 18 — пожизненная ссылка в Сибирь и 9 — разжалованье в солдаты. Император Николай смягчил приговоры, оставив смертную казнь лишь для пяти подсудимых, не вошедших в разряды

(П. Пестеля, К. Рылеева, С. Муравьева-Апостола, М. Бестужева-Рюмина и П. Каховского).

Надлежало определить род казни. 10 июля 1826 года к председателю Верховного суда князю Лопухину поступила записка от начальника Главного штаба И. И. Дибича: «Милостивый государь, князь Петр Васильевич. В Высочайшем указе о государственных преступниках на доклад Верховного уголовного суда, в сей день состоявшемся, между прочим, в статье 13-й, сказано, что преступники, кои по особенной тяжести их злодеяний не включены в разряды и стоят вне сравнения, предаются решению Верховного уголовного суда и тому окончательному постановлению, какое о них в сем суде состоится. На случай сомнения о виде их казни, какая сим судом преступникам определена быть может, государь император повелеть мне соизволил предварить вашу светлость, что Его Величество никак не соизволяет не токмо на четвертование, яко казнь мучительную, но и на расстреляние, как казнь, одним воинским преступлениям свойственную, ни даже на простое отсечение головы и, словом, ни на какую смертную казнь, с пролитием крови сопряженную». Как видим, записка прямо намекает на тот род казни, который хотел для декабристов император Николай, — это было повешение. В архиве сохранился черновик приведенной записки за подписью Дибича — он писан рукою... *Сперанского*!

29 июня 1826 года Верховный суд решил вопрос о мерах наказания для подсудимых. 63 члена суда проголосовали за смертную казнь четвертованием для внеразрядной группы. В числе этих 63 был и Сперанский. Другие судьи также высказались за смертную казнь, но иного рода. И лишь один судья выступил против смертной казни вообще, призвав пятерых декабристов, поставленных вне разрядов, «лишить чинов и дворянского достоинства и, положив голову на плаху, сослать в каторжную работу». Этим единственным был Н. С. Мордвинов.

При определении наказания для обвиняемых, включенных в 1-й разряд, Сперанский также голосовал за смертную казнь. Адмирал Мордвинов был против. Мнение большинства членов суда совпало с мнением Сперанского. Подобное совпадение имело место при назначении наказаний и для подсудимых 4, 5, 6, 7, 8, 11-го разрядов. Лишь в четырех случаях мнение Сперанского отличалось от того, за которое голосовало наибольшее число членов суда. Михайло Михайлович голосовал за более мягкое наказание по сравнению с тем, которое принималось в отношении подсудимых 2, 3, 9 и 10-го раз-

рядов. Мордвинов же во всех случаях голосовал за наказание более мягкое, чем то, что было принято, и то, за которое высказывался Сперанский[1].

12 июля 1826 года члены Верховного уголовного суда собрались для того, чтобы объявить декабристам вынесенные приговоры. Узнав, для чего их вызывают, подсудимые удивились: «А что, нас разве уже осудили?» В комнате, в которую ввели декабристов, наряду с другими членами суда находился и Сперанский. Во время чтения приговора Михайло Михайлович грустно взглянул на осужденных, опустил голову и как будто бы уронил из глаз своих слезу. Можно представить себе, что чувствовал он в тот момент, как переживал и в то же время старался ничем не выдать своего волнения или какого-либо благоволения к осужденным. И даже выступившие непроизвольно слезы не утирал платком, дабы не выказать сим жестом своего страдания.

Из всех декабристов молодому другу Сперанского Г. С. Батенькову назначено было самое странное наказание — по прихоти императора он целых 20 лет провел в одиночном заключении в Петропавловской крепости. Только в 1845 году благодаря ходатайству графа А. Ф. Орлова, ставшего за год до этого шефом жандармов, Батеньков был освобожден из крепости и отправлен в Сибирь. Гавриил Степанович говорил впоследствии М. А. Корфу, что, по имеющимся у него сведениям, своим ходатайством за него перед государем Орлов выполнил предсмертную просьбу Сперанского.

М. М. Гедельштром, работавший с Г. С. Батеньковым в Сибирском управлении, узнав о его аресте, проник к нему в крепость. Переодевшись в форму преображенского солдата, он целый час стоял в карауле возле его камеры и разговаривал с ним. Среди прочего Гавриил Степанович рассказал ему, что однажды в минуту слабости написал он письмо к государю, полное раскаяния. Просил помилования. Вскоре, однако, выпало ему заболеть нервной горячкой. Приехал штабс-доктор, сказал о скорой смерти. Да и сам он уже чувствовал, что умирает. И в таком обреченном, как ему казалось, состоянии гадко ему стало от того, что малодушно лгал, просил прощения и раскаивался. Потребовал он к себе священника и продиктовал, что не желает умереть и унести с собою подлую ложь. Раскаяние и просьба о прощении — ложь! Пусть не верит государь: никто из чле-

[1] О том, как голосовал Сперанский, см.: Восстание декабристов. Документы. Том 17. С. 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 151.

нов тайного общества не попросит прощения, а если будет прощен, то не отстанет от начатого дела. Но не умер, выздоровел Батеньков и остался навечно живым в каменном гробу.

Впоследствии, находясь уже в Сибири, он попытается объяснить свое 20-летнее одиночное заключение. «Особых причин я никаких не знаю, — скажет он Е. И. Якушкину, — а, вероятно, они не хотели выпустить меня за мои ответы, ну, а потом и за письма».

* * *

Разные бывают в России награды — некоторые существуют в облике наказания. В самом деле, не казнь ли, не каторга ли декабристов зажгла костер их славы, не погасающий до сих пор? Не император ли российский своей реакцией на их восстание возжег огонь? Сами-то восставшие дворяне смогли, пожалуй, только дров натащить для костра своей славы! А совладал бы с собою и со своим ближайшим окружением император, нашел бы в себе силы не казнить дворян, не посылать их в каторгу, но лишь слегка пожурить, что сталось бы тогда? Не выплыло ли бы на поверхность из всей истории декабристов одно их мальчишество в совсем не мальчишеском деле? И ведь близок был к такому шагу Николай Павлович, писал же он своей матери: «Я удивлю милосердием весь мир». Но не удивил. И декабристы счастливо избежали того, что стало бы истинным для них наказанием.

* * *

13 июля 1826 года император Николай I подписал Манифест о совершении суда над декабристами. Выше уже приводились некоторые строки из этого примечательного документа. Заключительные слова в нем были удивительными:

«*Наконец, среди сих общих надежд и желаний склоняем мы особенное внимание на положение семейств, от коих преступлением отпали родственные их члены. Во все продолжение сего дела, сострадая искренно прискорбным их чувствам, мы вменяем себе долгом удостоверить их, что в глазах наших союз родства предает потомству славу деяний, предками стяжанную, но не омрачает бесчестием за личные пороки или преступления. Да не дерзнет никто вменять их по родству кому-либо в укоризну; сие запрещает закон гражданский и более еще претит закон христианский*».

Что бы ни говорили историки об императорском Манифесте от 13 июля 1826 года, по содержанию своему и стилю он замечателен. И особенно хорош вот этот — только что процитированный отрывок из него. Он написан не одним умом, но и сердцем. В словах его не чувствуется фальши. Писал их не кто иной, как Сперанский. Во всей печальной повести его участия в суде над декабристами слова эти — единственная светлая страница!

## *Глава двенадцатая*

# Русский Трибониан

*Quae omnia confecta sunt per virum excelsum*
*nec non prudentissimum magistrum*
*ex quaestore et ex consule Tribonianum,*
*qui similiter eloquentiae et legitimae scientiae*
*artibus decoratus et in ipsis rerum experimentis emicuit.*

**Imperator Caesar Flavius Iustinianus**
Constitutio Tanta
De Confirmatione Digestorum

*(Вся эта работа совершена выдающимся мужем,*
*а также мудрейшим из магистров,*
*экс-квестором и экс-консулом Трибонианом,*
*который прославлен равным образом*
*искусством красноречия и знанием законов*
*и блистателен в практических делах)*

**Император Цезарь Флавий Юстиниан**
Конституция Танта
Об утверждении Дигест
16 декабря 533 года

По мнению В. О. Ключевского, на характер николаевского царствования особо сильное воздействие оказало то, что Николай «не готовился и не желал царствовать». Подобным же образом думали и многие современники этого императора, что было вполне естественным. Следующим по старшинству за Александром шел другой сын императора Павла I — великий князь Константин Павлович. Именно к нему должен был, согласно закону о престолонаследии, перейти в случае смерти Александра I императорский трон. Современники той эпохи, а вслед за ними историк Ключевский, не знали, что еще тогда, когда Николаю не исполнилось и 13-ти лет, была отчеканена специальная медаль с его изображением и надписью: «Цесаревич Николай 10-го января 1809 года». Официальный документ о назначении наследником престола великого князя Николая Павловича был подписан императором Александром 16 августа 1823 года.

Но еще в 1812 году, когда 16-летний Николай вознамерился ехать на войну, его мать императрица Мария Федоровна заявила, что ему этого никто не позволит, так как его «берегут для других случайностей». Великий князь пошел тогда к своему венценосному братцу, и тот сказал еще ясней: «Вам предстоит выполнить другие обязанности; довершите ваше воспитание; сделайтесь, насколько возможно, достойным того положения, которое займете со временем: это будет такою службою нашему дорогому Отечеству, какую должен нести наследник престола». В 1819 году императрица Елизавета Алексеевна сообщала своей матери о настроении вдовствующей императрицы Марии Федоровны: «Она с таким упоением видит Николая и его ветвь уже на престоле, что это пугало бы меня за каждого, кроме нее». А год спустя и также в письме к матери супруга Александра I писала уже о Николае Павловиче: «Престол представляет для него соблазнительную будущность и уже с давних пор». Любопытно, что с 1819 года великий князь Николай стал присутствовать в кабинете своего брата — императора Александра на всех докладах как по военным, так и гражданским делам.

Взойдя на императорский престол, Николай Павлович постарался внушить окружающим мысль о том, что он сделался государем не по своей воле, а вынужденно, в силу обстоятельств, что самодержавная власть для него тяжелая обуза — чрезвычайное служебное поручение. В строгом обращении его с самим собой и со своими подчиненными, поразительном трудолюбии, энергии и дотошности при исполнении государственных дел мало кто мог усмотреть тогда наслаждение безграничной властью. А между тем именно властолюбие составляло в нем главный источник строгости, трудолюбия, дотошности в делах. Его поведение выражало непомерное желание казаться могущественным, чрезвычайное беспокойство о величии собственной персоны. Ему нравилось внушать людям трепетный страх перед своей особой. В домашнем кругу, среди своих близких император Николай был добродушным, даже мягким, умным, любившим и понимавшим шутку, веселым человеком. Но перед чиновниками, перед подданными своими являлся суровым, властным, решительным. Говорил строгим начальственным тоном, глядел грозно. Самодержавная власть была для Николая лакомством, доставлявшим ему самое большое, быть может, наслаждение из всех, которые он способен был испытывать. Это лакомство пытались вырвать из его рук декабристы, и он до конца своих дней не мог ни забыть, ни простить им этой попытки. В па-

мять произошедшего 14 декабря 1825 года ежегодно на протяжении всего царствования Николая I совершался благодарственный молебен, на котором обязательно присутствовал он сам, а также приглашенные им участники подавления декабристского восстания.

Выдвинутое императором Николаем I требование дисциплины и порядка само по себе было вполне оправданным: существовавшей в России системе управления действительно не хватало дисциплины и порядка. Однако средства, которыми этот властолюбец желал достичь их, — то есть настойчивое культивирование среди чиновников бездумного послушания и страха, были негодными средствами. К бездумному послушанию наиболее способными оказывались, как и положено, те, которые не имели никаких административных способностей, и кто, занимая должности в управлении, мог только разрушать порядок, но уж никак не поддерживать его или создавать. Не случайно, русское чиновничество в правление Николая I поглупело прямо на глазах. Это успел заметить еще поэт Пушкин, проживший при нем одиннадцать с немногим лет. Услышав как-то лестный отзыв об императоре Николае, поэт вздохнул: «*Хорош, хорош, а на тридцать лет дураков наготовил!*»

Что же касается страха, то к нему в царствование Николая I быстро привыкли и приняли за вполне нормальное состояние духа. Во всяком случае, не то, чтобы искоренить, но даже просто уменьшить практику злоупотребления должностью императору Николаю не удалось. Казнокрадство продолжало буйно расцветать и в атмосфере всеобщего страха (а может, и благодаря ему). Именно в николаевское царствование в ходу среди чиновников сделалась поговорка: «Дайте мне на прокормление одного казенного воробья, и я проживу безбедно с семейством».

Несмотря на свое горячее желание царствовать и фактическое свое положение наследника императора Александра, Николай Павлович не приобрел до своего вступления на престол Российской империи достаточных сведений об общем состоянии дел в стране. Впервые эти сведения ему довелось получить в наиболее полном объеме, пожалуй, лишь от декабристов. Во время следствия они не скупились на краски в описании гнусностей российской действительности. Какое впечатление мог вынести император Николай от подобных излияний? Очевидно, что в нем не могло не возникнуть мнения о необходимости проведения реформ в государственном управлении, в статусе сословий, в сфере законодательства и суда.

Информация о настроениях умов в Петербурге, собранная в течение августа–сентября 1826 года агентами учрежденной незадолго перед тем политической полиции — так называемого III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, — не оставляла Николаю I возможности сомневаться в том, что петербургское общество ожидало реформ. «Все ждут если и не полного преобразования, то хоть исправления в порядке управления», — сообщал 11 августа из Петербурга в Москву пребывавшему там на коронации императора Николая начальнику III отделения А. Х. Бенкендорфу директор его канцелярии М. М. Фок. 28 августа того же года Фок писал: «Теперь или никогда самое время приступить к реформам в судебном и административном ведомствах, не действуя, впрочем, слишком решительно. Этого ожидают с величайшим нетерпением, и все в один голос кричат об этом».

Уверенно можно сказать — не без влияния показаний декабристов и приведенных сообщений агентов тайного надзора за общественным мнением Николай I предпринял шаг в сторону реформ.

***Из Высочайшего рескрипта на имя графа В. П. Кочубея от 6 декабря 1826 года:***

*«Граф Виктор Павлович!.. Находя полезным обозреть настоящее положение всех частей управления, дабы из сих соображений вывести правила к лучшему их устройству и исправлению, Я положил все сие под собственным Моим ведением и руководством поручить особому комитету, членами коего под председательствам Вашим назначаю членов Государственного совета: генералов графа Толстого и Васильчикова, действительного тайного советника князя Голицына, генерала барона Дибича и тайного советника Сперанского, а производителем дел статс-секретаря Блудова».*

По дате учреждения упомянутый комитет назван был Комитетом 6 декабря. Неделей раньше — 30 ноября — в записке графу Кочубею, текст которой составлен был Сперанским, император Николай указал, в чем конкретно должны заключаться занятия комитета: «1) В пересмотре и разборе бумаг, найденных в кабинете покойного Государя Императора. 2) В пересмотре нынешнего государственного управления. 3) В изложении мнения: 1. что предполагалось, 2. что есть, 3. что кончить оставалось бы. 4) В изложении мысли, что ныне хорошо, чего оставить нельзя и чем заменить. 5) Как материалы к

сему употребить: 1. то, что найдено в кабинете, 2. то, что г. Балашову поручено было, 3. то, что сами гг. члены предложат». Перечислив предметы занятий комитета, Его Величество счел нужным добавить: «Простейший способ к достижению желаемой цели будет в моих глазах лучший и самый удовлетворительный... Еженедельно уведомлять меня при наших свиданиях об успехах дела, которое я почитаю *из важнейших моих занятий и обязанностей*. Успех, который опытом докажется, будет лучшая награда трудящимся, а мне душевное утешение»[1].

Приступив к выполнению поставленной императором Николаем задачи, Комитет 6 декабря сразу же обнаружил, что ни в кабинете покойного государя, ни в бумагах бывшего министра полиции нет ничего такого, чем можно было б воспользоваться при подготовке преобразований. Оставалось уповать лишь на то, что сами «господа члены» предложат. Вот здесь-то вновь выходил на первый план Сперанский.

Михайло Михайлович не был уже прежним реформатором: мысль его направлялась теперь не на выработку новых политических реформ, но преимущественно на поиск способов продления жизни состарившегося политического организма. Его кредо выражалось теперь в следующих сентенциях: «Не уновлениями, но непрерывностию видов, постоянством правил, постепенным исполнением одного и того же плана устрояются государства и совершаются все части управления. Следовательно, продолжать начатое, довершать неоконченное, раскрывать преднамеренное, исправлять то, что временем, обстоятельствами, попущением исполнителей, или их злоупотреблениями, совратилось с своего пути — в сем состоит все дело, вся мудрость самодержавного законодателя, когда он ищет прочной славы себе и твердого благосостояния государству. Но продолжать начатое, довершать неоконченное нельзя без точного удостоверения в том, что именно начато и не окончено, где и почему остановилось, какие встретились препятствия, чем отвратить их можно». Данное кредо Сперанского вполне совмещалось с той целью, которую ставил перед Комитетом 6 декабря император Николай и которая заключалась «не в полном изменении существующего порядка управ-

[1] Собственноручная записка Императора Николая Павловича о занятиях Комитета // Сборник Императорского Русского исторического общества. Том 74. СПб., 1891. С. XVI.

ления, но в его усовершении посредством некоторых частных перемен и дополнений».

В течение пяти лет — с 1826 по 1831 год — «Комитет 6 декабря» разработал при участии Сперанского целый ряд проектов переустройства различных частей государственного управления. Все они носили достаточно умеренный характер, но, несмотря на это, в большинстве своем так и не были проведены в жизнь.

Период правления Николая I называют как угодно, но только не периодом реформ. Между тем, русское общество весь девятнадцатый век билось в судорогах реформаторства, и время николаевского царствования не составило в данном смысле исключения. Однако, ни в какой другой период истории XIX века реформы в России не готовились в столь большой секретности, отчужденности от общества, как в период правления Николая I. Общество было лишено всякого доверия к себе со стороны императора и его ближайшего сановного окружения, вся реформаторская деятельность планировалась исходя из того, что высшие сановники лучше общества знают то, что ему необходимо. Как и в предшествующий период, среди разнообразных проектов общественных преобразований вынашивались также планы освобождения крестьянства от крепостной зависимости, но разработку этих планов вели сановники, жившие за счет эксплуатации крестьян, — образно говоря, стоявшие на их спинах. Подавив движение дворянских заговорщиков, император Николай сам сделался настоящим заговорщиком в деле преобразования России. В этом деле он таился даже от своего Государственного совета. Основная работа по подготовке проектов реформ была загнана им в тесные рамки так называемых «секретных комитетов», составленных из самых доверенных лиц в его сановном окружении. В целях маскировки реформаторских замыслов данным комитетам присваивалось нередко заведомо ложное наименование, не соответствовавшее истинному характеру их деятельности. В Государственный совет вносились на обсуждение часто заведомо ложные документы, специально подтасованные фактические данные. Работа над проектами реформ превращалась, таким образом, в своего роду игру.

* * *

В обстановке бюрократических игр в реформы протекал последний период жизни Сперанского. Он был одним из главных участников этих игр, долго и терпеливо нес на себе их бремя. Работа Сперан-

ского над проектами реформ в первое десятилетие века была наполнена верой и надеждой. Она приносила удовлетворение его уму и душе, будила в нем все новые и новые силы. Он работал по восемнадцать часов в сутки, как проклятый, но это и было его настоящей жизнью. Он ложился спать глубокой ночью, часто прямо в кабинете, усталый, изнуренный, но с мечтою о новом дне и продолжении трудов. Сейчас, спустя четверть века, все было по-другому.

Перо по-прежнему слушалось его, голова по-прежнему мыслила ясно, душа чувствовала. Сперанский внимательно наблюдал окружающее и хорошо понимал главные пороки проводившейся императором Николаем I политики всевозможных запретов по отношению к общественной жизни, обуздания любых движений общественного духа. «Мудрость правительства состоит не в том, чтоб погасить ум и воображение, — писал он в одной из своих заметок, — не в том, чтоб охранить одну цепенеющую, хладную жизнь настоящего. Это значило бы погасить веру и надежду, всякое чувство усовершенствования; это есть род богоотступничества и эпикуреизма; это есть подвергнуть общество всем опасностям непредвидимых внезапностей».

Работал Сперанский, как и прежде, интенсивно и много. Вставая ранним утром, по обыкновению в 6 часов, садился за стол и читал или писал до 10–11 часов. Затем на полчаса-час укладывался спать. Вставал и снова работал, теперь уже до обеда. Перед обедом совершал легкую прогулку, после обеда общался некоторое время с дочерью или с гостями, если они были в его доме, и вновь принимался за работу, которая продолжалась без перерыва до ночи. Иногда прерывал ее и выезжал в Государственный совет, в комитет или просто к своим друзьям. Однако прежнего вдохновения у него уже не было. Работа над проектами реформ как будто даже тяготила его. Составленные им в этот последний период жизни законопроекты несли в себе немало сырого, недоработанного.

Ф. П. Лубяновский, близко сошедшийся в эту пору со Сперанским, свидетельствовал позднее о тогдашних его настроениях: «В доброжелательстве, любви и приязни ко мне был он тот же, во многом — другой человек. Так, в нередких наших по-прежнему беседах никогда я не слышал от него любимой за 25 лет перед тем в министерстве в[нутренних] д[ел] поговорки: il faut couper dans le vif tailler en plain drap[1]. Почтенный Михайло Михайлович уже говаривал, что и необходимые по времени и обстоятельствам перемены надобно

[1] Надо резать по живому, кроить из цельного сукна.

вводить постепенно, с большою осторожностию, а не ломать и переделывать наскоро»[1].

В отношении к Сперанскому со стороны аристократических кругов многое изменилось для него к лучшему, хотя некоторая настороженность все еще сохранялась. Петербург, кажется, вполне помирился с прежним возмутителем спокойствия. Главных же врагов его успокоила смерть. В конце жизни старый и давний враг часто становится любезнее друга.

Рутинная бумажная работа, обрушившаяся на Сперанского с восшествием на престол Николая I, не прекратила его занятий философией. Напротив, с конца 20-х годов занятия эти стали даже интенсивнее, нежели прежде. Проблема человека, его предназначения, духовной его природы, нравственности и свободы, понятия «добра» и «зла», «истины» и «правды», «счастья» и «долга» — такова тематика многочисленных философских сочинений, а чаще просто заметок, выходивших из-под пера Сперанского в 30-е годы XIX века. «Человек покорен двум законам природы: закону бытия и закону усовершения: он хочет не токмо быть, но и быть счастливым». «Человек редко имеет одну систему поведения; всегда почти две: настоящую и будущую. Одна есть система действий, другая — желаний. По большей части мы готовы жертвовать будущее настоящему: ибо будущее только грозит или обещает, а настоящее нудит или услаждает». «Чем человек более отходит от себя и погружается во всеобщее, тем он честнее, т. е. свободнее». Подобных высказываний можно привести еще множество.

Почти все философские работы, вышедшие из-под пера Сперанского, носили незаконченный, обрывочный характер. Это были даже не работы, а скорее наброски, писавшиеся явно не для опубликования. И, пожалуй, можно сказать уверенно, для чего именно. В философских размышлениях Сперанский искал себе отдохновения от мира чиновной суеты, успокоения от соприкосновений с высшим светом, будораживших его душу, приводивших в хаос его чувства.

С началом правления нового императора Михайло Михайлович и его дочь с зятем почти перестали выезжать в свет и принимать гостей у себя в доме. Одной из причин такой уединенности был недостаток денежных средств, который не отпускал Сперанского всю его жизнь. Жизнь в Петербурге становилась все дороже. В сентябре

---

[1] Воспоминания Федора Петровича Лубяновского // Русский архив. 1872. Вып. 3 и 4. Стлб. 486.

1826 года Елизавета Фролова-Багреева родила дочь Марию, а спустя два года сына Александра. Расходы семьи, естественно, возросли.

Михайло Михайлович попытался поправить свои финансовые дела покупкой имения, способного приносить доход. В 1828 году он приобрел довольно обширное имение под названием Буромка в Золотоношском уезде Полтавской губернии, принадлежавшее ранее графам Разумовским. Взял в долг для этой цели у купца А. И. Яковлева 300 000 рублей ассигнациями на десять лет с выплатой 6% в год. Думал, что доходы с этого имения позволят выплачивать долг с процентами, да еще дадут дополнительные средства на жизнь. Однако расчеты оказались ошибочными. Доход Буромка приносила, но хватало его лишь на выплату процентов на долг. Один из лучших в России знатоков государственных финансов оказался на редкость несведущим в элементарных расчетах, касавшихся финансов личных.

На окружающих Сперанский производил впечатление процветающего бюрократа. Император Николай I ценил его государственный ум, поэтому часто с ним советовался. Министр государственных имуществ П. Д. Киселев вспоминал, как однажды — было это 17 февраля 1836 года — он пришел к государю за советом по вопросам устройства быта казенных крестьян, и тот сказал ему: «Повидайся с Сперанским. Я ему говорил о моих намерениях и прошу тебя сообразить все это с ним, дабы представить мне общее ваше предложение об устройстве этого дела».

Это новое возвышение Сперанского в 30-е годы XIX века имело под собой прочное объективное основание. Император Николай принужден был решать значительно более сложные проблемы, нежели те, которые вставали перед его предшественниками. Заложенные Петром I политические и экономические структуры в николаевское время окончательно изживали себя и требовали замены. С другой стороны, в условиях небывало возросшей в своей численности бюрократии самодержцу было намного труднее, нежели прежде, осуществлять ту или иную политическую линию и тем более менять направление своей внутренней политики.

Дабы по-настоящему управлять страной, российский государь должен был прежде всего отладить механизм управления собственной бюрократией. А для этого требовалось организовать эффективный контроль за действиями должностных лиц, создать процедуры, которые бы гарантировали функционирование политических институтов в направлении, желательном для самодержца. Иначе говоря, для того, чтобы превратить бюрократию в послушный себе инстру-

мент, российскому императору надо было ее обезличить, свести каждого чиновника на роль колесика огромной машины, привязанного к рычагу, на котором лежит рука верховного правителя. Функцию данного рычага должна была исполнять инструкция, издаваемая императором. Чем сильнее разрасталась бюрократия, тем острее ощущалась необходимость замены управления через должностных лиц управлением посредством инструкций — замещения в администрации личностей, действующих на свой страх и риск безликой массой чиновников, не работающих в строгом смысле этого слова, но лишь исполняющих инструкции верховной власти.

Притчей во языцех стали в воспоминаниях и сочинениях о российской бюрократии николаевской эпохи фразы о бездарности чиновников, их бездушии и глупости. Большая доля ответственности за такое состояние чиновничьего корпуса лежала на самом императоре. Но действовал здесь также объективный фактор. Бездарные, бездушные чиновники заполняли поры российской администрации потому, что на них давала спрос сама бюрократическая система управления, направляемая преимущественно посредством инструкций.

Архитектором данной системы был Сперанский. Именно на него император Николай возложил функцию составителя проектов законов и инструкций. Именно к нему обращался государь в том случае, если для принятия решения требовались специальные знания. Так, по поручению его величества Сперанский начертал: «Заметки по организации судебной системы в России» (1827), «Записку о причине убыточности Нерчинских заводов и мерах по улучшению их положения» (1827), записку и проект «Положения о порядке производства в чины» (1830), «Проект учреждения уездного управления» (1830), «Записку об устройстве городов» (1830), «Проект учреждения для управления губерний» (1831), «Замечания на проект Ф. А. Герстнера о строительстве железных дорог» (1830), «Проект рескрипта министру народного просвещения о проекте устава гимназий и уездных училищ» (1837).

Именно Сперанскому император Николай поручил такое важное дело, как составление «Свода законов Российской империи». Впоследствии биографы Сперанского назовут это его дело главным подвигом его жизни. И действительно, созданием «Свода» он завершил труд почти полутора веков русской истории, увенчал многочисленные попытки систематизировать российское законодательство, регулярно предпринимавшиеся начиная со времени Петра I.

* * *

Первая такая попытка была предпринята в последний год XVII столетия. Изданным 18 февраля 1700 года Именным Указом Петра I[1] было предписано служилым людям заняться составлением нового уложения, а именно: «с Уложенной книги 157 году[2], и с именных указов и с новоуказных статей, которые о Их государских и о всяких земских делах состоялись после Уложенья, сделать вновь, снесши Уложенье и новые статьи, которые состоялись сверх Уложенья, и которые дела вершены, а в Уложенье и в новоуказных статьях об них не положено»[3]. За основу нового уложения предполагалось, таким образом, взять Соборное уложение 1649 года и, добавив к нему нормы указов, принятых в последующие времена, согласовать их с его статьями. Царь Петр привлек для этой работы 71 человека из бояр, окольничьих, думных и московских чинов, а также дьяков. М. М. Сперанский в своем кратком описании попыток систематизации законодательства в России на протяжении XVIII – начала XIX века назвал их первой законодательной комиссией, отметив, что «она именовалась Палатою об Уложении»[4].

Заседания данной Палаты начались с 27 февраля 1700 года. В июле 1701 года она завершила рассмотрение всех глав Уложения и новоуказных статей, дополнявших их текст. По всей видимости, к августу того же года Новоуложенная книга была готова и представлена вместе с проектом царского манифеста о ее введении в действие на рассмотрение Петру I. Однако царь по какой-то причине не одобрил сделанной работы. В августе 1701 года «Палата об Уложении» возобновила свои заседания и к ноябрю 1703 года составила еще один вариант Новоуложенной книги, но и он не получил одобрения со стороны государя.

Именным Указом от 20 мая 1714 года Петр I повелел изготовить новую редакцию Соборного уложения 1649 года, дополнив и обновив его текст правовыми установлениями, появившимися после его

---

1 Именной указ от 18 февраля 1700 года «О заседании в Государевых Палатах боярам для учинения свода Уложенья и всех указов, после того состоявшихся // 1-ПСЗРИ. Том 4. № 1765. С. 14.

2 То есть 7157 года от сотворения мира, что соответствует 1649 году от рождения Христа.

3 1-ПСЗРИ. Том 4. № 1765. С. 14.

4 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. СПб., 1833. С. 12.

издания[1]. Но эта работа, по всей видимости, сделана не была: во всяком случае, документов, свидетельствующих о каком-либо ее результате не сохранилось[2].

28 апреля 1718 года царь Петр I издал Именной Указ, которым приказал всем коллегиям сочинить регламент на основе шведского устава «во всех делах и порядках по пунктам; а которые пункты в шведском регламенте неудобны или с ситуациею сего государства несходны, и оные ставить по своему рассуждению, и поставя об оных, докладывать, так ли им быть»[3].

В течение лета и осени Юстиц-коллегии удалось с помощью Поместного приказа и Канцелярии земских дел свести со статьями шведского Земского уложения семь наиболее сложных и объемных глав Соборного уложения (10, 16, 17, 16, 20, 21, 22), что позволило приступить к рассмотрению текста сводного Уложения в Сенате.

Сенаторы начали слушания составленных частей сводного Уложения с января 1720 года и сразу же обнаружили массу недоработок, поэтому приняли решение возвратить проект в Юстиц-коллегию. К августу они снова получили для слушания главы этого сборника — на этот раз доработанные и дополненные новыми материалами, но при первом же их рассмотрении пришли к выводу, что без иностранцев — знатоков законодательства и судоустройства Швеции в деле составления уложения по шведскому образцу не обойтись. Сенатским указом от 8 августа 1720 года была создана новая комиссия, в которую помимо русских чиновников вошли трое иностранцев, обладавших такими знаниями.

Плоды деятельности этой законодательной комиссии оказались весьма скудными. В течение первых трех лет ее главные усилия были сосредоточены на разработке структуры сводного уложения. В декабре 1722 года члены комиссии согласились с тем, чтобы данный сборник состоял из трех книг: 1) «О земском суде», 2) О криминальных делах», 3) «О делах гражданских». Однако в августе 1723 года они изменили свое мнение о составе сводного уложения, решив, что

---

[1] См. подробнее об этом повелении Петра I в издании: *Томсинов В. А.* Юридическое образование и юриспруденция в России в XVIII столетии. Издание 2-е, дополненное. М.: Зерцало-М, 2012. С. 49–52.

[2] Эти документы пытались обнаружить в архивах русские правоведы, занимавшиеся историей систематизации российского законодательства, но безуспешно. См.: *Латкин В. Н.* Законодательные комиссии в России в XVIII ст. Историко-юридическое исследование. СПб., 1887. Том 1. С. 20.

[3] 1-ПСЗРИ. Том 5. № 3197. С. 565.

в нем должно быть две части и шесть книг: первая часть из двух книг, посвященных институтам процессуального права; вторая — из четырех книг, излагающих институты материального права: «криминальные дела», «гражданские дела», государственные злодейства» и «публичные преступления».

Петр I так и не дождался сводного уложения, составленного из норм русского и шведского законодательства. Но его смерть не прервала работу комиссии. В феврале 1725 года сенаторы обновили ее состав, и летом 1726 года обновленная комиссия завершила работу над проектом нового Уложения. В нем теперь было четыре книги: 1) «О процессе, то есть о суде, месте и о лицах, к суду надлежащих», 2) «О процессе в криминальных или розыскных, пыточных делах», 3) «О злодействах, какие штрафы и наказания последуют» и 4) «О цивильных или гражданских делах и о состоянии всякой экономии или добрых и противных порядках в домоправительстве». Более половины текста данного проекта было составлено на основе Соборного уложения 1649 года, новоуказных статей и актов первой четверти XVIII века, а также из норм, сформулированных комиссией. Третья часть его содержания представляла собой нормы, заимствованные из шведского законодательства, около 7% его текста составляли статьи из датского уложения 1683 года и и эстляндских актов XVII века. В сентябре 1726 года проект сводного уложения был передан для обсуждения в Правительствующий Сенат. Однако сенаторы не стали его обсуждать. За время, пока проект дорабатывался, он перестал уже удовлетворять потребностям Русского государства.

14 мая 1728 года был издан Сенатский указ, объявлявший, что «Его Императорское Величество, ревнуя Закону Божию и имея попечение о всех Своих верных подданных, дабы во всем Государстве был суд равный и справедливый без всякой волокиты, Всемилостивейше указал прежнее Уложенье пополнить... и для того все указы и новоуказные статьи разобрать, и которые из них явятся в пополнение к законному Уложенью, а не в противность или что еще потребно сверх того пополнить, то выписывать и приносить в Сенат, к слушанью, а в Сенате слушать немедленно; и когда на мере поставлено будет, тогда для апробации подавать в Верховный Тайный Совет, и когда апробовано будет, тогда напечатав, приобщить к приличным Уложенья главам»[1]. М. М. Сперанский писал об этой по-

[1] Сенатский указ, вследствие Именного, состоявшегося в Верховном Тайном совете, от 14 июня 1728 года «О пополнении прежнего Уложения и о высылке для

пытке систематизации российского законодательства следующее: «Здесь снова всё обратилось к первоначальному предположению: к составлению Сводного Уложения; и хотя при том мысль о дополнении и усовершении его не была совсем устранена, но сего достигнуть надеялись собственною опытностию, не прибегая к иностранным источникам»[1].

Согласно упомянутому Указу на этот раз законодательную комиссию должны были составить способные люди от дворян каждой губернии. Но предписание о присылке таких представителей не выполнялось. Когда же в ответ на обращения Сената в губернские канцелярии депутаты с мест были присланы, оказалось, что мало кто из них мог работать с законодательными актами. В. Н. Латкин, изучавший переписку, которую Сенат вел в 1728 году с губернскими канцеляриями по поводу избрания и присылки депутатов с мест для участия в комиссии по сочинению нового уложения, отмечал: «Из этой переписки мы можем видеть, до чего халатно относилось общество к избранию своих представителей и как мало интересовалось возможностью принять участие в составлении законов, непосредственно касавшихся его интересов. Местным начальствам приходилось прибегать ко всевозможным репрессивным мерам вроде, напр., ареста жен депутатов, захвата их крепостных, конфискации их имущества и т. п., чтобы заставить дворян участвовать в выборах, а депутатов ехать в Москву, и все-таки в результате получилось избрание совершенно неспособных к делу лиц»[2].

1 июня 1730 года императрица Анна Иоанновна издала Именной Указ, данный Сенату, «О немедленном окончании начатого Уложения и об определении к сочинению оного добрых и знающих людей из шляхетства, духовенства и купечества и о поднесении каждой кончанной главы к Высочайшему утверждению»[3]. По словам М. М. Сперанского, эта уложенная комиссия учреждена была «на том же основании, как и предыдущая, с тою разностию, во-первых, что число членов умножено, депутатов также сперва положено было вызвать,

того в Москву из офицеров и из дворян способных людей, из каждой губернии по 5 человек, кроме Лифляндии, Эстляндии и Сибири» // 1-ПСЗРИ. Том 8. № 5287. С. 54.

1 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 15.

2 *Латкин В. Н.* Учебник истории русского права периода империи (XVIII и XIX вв.) / Под редакцией и с предисловием В. А. Томсинова. М.: Зерцало, 2004. С. 43.

3 1-ПСЗРИ. Том 8. № 5567. С. 284–285.

но впоследствии предложение сие отменено; во-вторых, что мысль о дополнении законов из иностранных источников, в предыдущей Комиссии устраненная, здесь снова появляется; в-третьих, что в Комиссиях Первой, Второй и Четвертой, главное дело состояло в Сводном Уложении, исправление же и дополнение его предназначаемо было токмо как последствие; здесь, напротив, главным делом постановлено было сочинение нового Уложения, а Свод существующих законов должен был служить к тому только пособием»[1].

И в этот раз Сенату не удалось собрать комиссию из депутатов с мест. К декабрю 1730 года в Москву прибыло лишь пятеро таких лиц. Познакомившись с ними, сенаторы пришли к выводу, что никакой пользы в деле составления нового уложения от них не будет и потому приняли решение отпустить выборных по домам, а вместо них сформировать уложенную комиссию из числа лиц, служивших в коллегиях. Ее деятельность продолжалась почти десять лет, но ни к каким серьезным результатам не привела.

12 декабря 1741 года императрица Елизавета Петровна издала Именной Указ Сенату о создании комиссии из нескольких сенаторов для пересмотра указов и составления реестра тем из них, которые должны быть «отставлены» (т. е. отменены. — *В. Т.*), как «с состоянием сего настоящего времени несходные и пользе государственной противные»[2]. Данная комиссия занималась порученным делом более двенадцати лет и так же, как и предыдущие законодательные комиссии, не выполнила своей задачи.

24 августа 1754 года Правительствующий Сенат, во исполнение повеления ее императорского величества «о сочинении ясных и понятных законов по обстоятельству нынешних времен, в применении обычаев и нравов, по которым необходимо и перемена законов быть должна» приказал: «Для лучшего и скорейшего рассмотрения Уложения и указов, по которым бы все сомнительства пресечены, недостатки дополнены, а излишки исключены были, учредить при Сенате Комиссию...»[3] Разработанный данной комиссией и утверж-

---

1 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 16–17.

2 1-ПСЗРИ. Том 11. № 8480. С. 545.

3 Сенатский указ от 24 августа 1754 года «О сочинении по судебным местам проектов Уложения, по плану прилагаемому и о представлении таковых же проектов из Коллегий с их мнениями и планами на рассмотрение Сената» // Законодательство императрицы Елизаветы Петровны / Составитель и автор вступительной статьи В. А. Томсинов. М.: Зерцало, 2009. С. 147–148.

денный Сенатом план нового уложения предполагал в его структуре четыре части: *первая часть* содержала в себе нормы, касающиеся суда и до судебных мест. *Вторая* — излагала права, персонально принадлежавшие подданным разных состояний. *Третья часть* включала в себя «все то, что до движимого и недвижимого имения и до разделения оного принадлежит, и по каким крепостям и случаям оные кому и каким образом крепкие быть должны». *Четвертая часть* показывала, «каким порядком и в каких случаях розыск и пытки производить, и какие за разные преступления казни; наказания и штрафы положены»[1].

До начала апреля 1755 года «общая комиссия» составила проекты первых двух частей нового уложения. С 11 апреля и до 24 июля 1755 года они обсуждались на заседаниях Сената, 25 июля их представили на одобрение Елизавете Петровне, но государыня решила, что работа над этими частями должна быть продолжена.

В последующие годы члены комиссии вели работу над проектами третьей и четвертой частей нового уложения, но делали это настолько медленно, что императрица решила преобразовать комиссию. 29 сентября 1760 года она определила в состав комиссии сенаторов графа Р. Л. Воронцова и князя М. И. Шаховского, отдав им управление всей деятельностью комиссии и поручив завершить составление третьей и четвертой частей уложения. При этом государыня повелела возвратиться после окончания данной работы к первой и второй частям с тем, чтобы, поправив их, подать для конфирмации ее величеством вместе с остальными двумя частями.

1 марта 1761 года данная комиссия обратилась в Сенат с доношением, в котором попросила созвать для участия в составлении нового уложения представителей от дворян, офицеров, духовенства, горожан и купечества. 29 сентября 1761 года был издан Сенатский указ, предписавший к слушанию нового уложения «из городов из всякой провинции (кроме новозавоеванных, а также Сибирской, Астраханской и Киевской губерний) выслать штаб и обер-офицеров, происшедших из дворян и знатного дворянства, не выключая из того и вечно отставных от всех дел, токмо к тому делу достойных, по два человека из каждой провинции, за выбором всего тех городов шляхетства». Купцам также дозволялось выбрать депутатов, но только по одному от каждой провинции. Кроме того, предпола-

[1] План к сочинению нового Уложения // Законодательство императрицы Елизаветы Петровны. С. 152.

галось избрание депутатов и от духовенства. И хотя депутаты прибыли не от всех губерний, с 4 января 1762 года начались заседания комиссии. На престоле в то время был уже Петр III. Данная комиссия продолжала свою деятельность и после государственного переворота 28 июня 1762 года, возведшего на трон Екатерину II, однако в порядке ее работы произошли перемены.

Текст проекта нового уложения должны были составлять постоянные члены комиссии из чиновников. Депутаты же от губерний и провинций призваны были для обсуждения уже готовых его частей. Между тем подготовка проекта нового уложения в целом растянулась на более длительное время, чем это ожидалось. В связи с этим императрица Екатерина II сочла необходимым распустить депутатов на срок до окончания работ по сочинению нового уложения.

Роспуск депутатов по домам не означал роспуска комиссии сочинения нового уложения. Деятельность этой комиссии в лице ее постоянных членов продолжалась вплоть до 1767 года. Но работа над проектом нового уложения так и не была ею завершена.

Именным Указом Екатерины II, данным Сенату, от 14 декабря 1766 года была учреждена новая уложенная комиссия. «Сия Комиссия, — отмечал М. М. Сперанский, — по важности своей отличалась от всех предыдущих не только обширностию ее состава, но и тем еще наиболее, что в основание ее положен *Наказ императрицы Екатерины II о сочинении Уложения*»[1].

Согласно Положению «Откуда депутатов прислать в силу Манифеста к сочинению проэкта нового Уложения», в Комиссию должны были войти представители: 1) от государственных учреждений: Сената, Синода, коллегий, канцелярий; 2) от дворянства; 3) от горожан; 4) «от пахотных солдат и равных служеб служилых людей и прочих»; 5) «от государственных черносошных и ясачных крестьян»; 6) «от некочующих разных в области нашей живущих народов»; 7) «от казацких войск».

Торжественное открытие Комиссии сочинения проекта нового уложения состоялось 30 июля 1767 года в Москве. Первые семь заседаний депутаты решали организационные вопросы: избирали предводителя Комиссии или маршала, а также членов вспомогательных «частных комиссий». Несколько последующих заседаний было посвящено чтению депутатских наказов. Затем депутаты приступили к обсуждению законодательных актов. Сначала остановились на за-

[1] *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 27–28.

конах о правах дворянства, потом стали рассматривать законы о купечестве и торговле. С февраля 1768 года (Комиссия перебралась к этому времени в Санкт-Петербург) начали обсуждать законы о судопроизводстве, после них — законы о крестьянах. Осенью 1768 года в Комиссии обсуждались вотчинные законы.

Начавшаяся война России с Турцией заставила Екатерину II отозвать из комиссии и направить в армию лиц, имевших военные звания. Остальные депутаты были распущены по домам на неопределенное время.

Вся деятельность Комиссии сочинения проекта нового уложения сосредоточилась после этого лишь в «частных комиссиях» и продолжалась в таком виде еще пять лет. В рамках этих небольших комиссий разрабатывались планы различных проектов, тексты проектов по гражданскому праву и о правах семейственных. Указом Екатерины II от 4 декабря 1774 года «частные комиссии» были закрыты: от большого государственного учреждения под названием «Комиссия сочинения проекта нового Уложения» осталась только канцелярия для выдачи справок.

Оценивая деятельность законодательной Комиссии 1767 года, М. М. Сперанский отмечал, что ею составлено было шесть проектов. «Из них один только, о родах государственных, то есть о праве состояния лиц в государстве, доведен до некоторого совершенства и впоследствии, по-видимому, был принят в соображение при составлении Дворянской грамоты и Городового положения. Все прочие представляют одни слабые, первоначальные начертания, оставленные даже и тогда без уважения»[1].

16 декабря 1796 года Павел I, весьма озабоченный состоянием законности во вверенной ему империи, издал Указ, которым повелел: собрать в материалах действовавшей до этого Уложенной Комиссии и в государственных архивах «изданные доныне узаконения и извлечь из оных три законов Российской империи книги: 1-ю Уголовных, 2-ю Гражданских и 3-ю Казенных дел, показав в оных прямую черту закона, на которой судия утвердительно основаться должен»[2].

Учрежденная императором Павлом Комиссия составления законов продолжила свою деятельность и после его гибели, в первые три года правления его сына Александра. 5 июня 1801 года молодой император Именным Указом, данным Сенату, передал ее в ведение

---

[1] *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 50–51.

[2] 1-ПСЗРИ. Том 24. № 17652. С. 242.

сенатору П. В. Завадовскому. В приложенном к Указу высочайшем рескрипте его величество подвел итоги деятельности законодательных комиссий, создававшихся на протяжении XVIII столетия, отметив при этом то, что созданная более четырех лет назад комиссия сумела лишь сделать «несколько выписок из законов», которые, хотя и оказались полнее и основательнее сводов, изданных к тому времени частными лицами, не смогли «составить сами по себе лучшего законоположения». После таких слов императору следовало, конечно, дать четкие указания относительно дальнейших действий комиссии. Но Александр сам не знал, что она должна делать. Поэтому рекомендовал Завадовскому определить с достоверностью, что́ она сумела сделать к настоящему моменту, узнать черту, на которой ее деятельность была прервана и с которой теперь должно двинуться дальше, и самому составить план деятельности вверенной ему комиссии и подать его на высочайшее утверждение.

21 октября 1803 года Именным, данным Сенату, Указом император Александр I присоединил Комиссию составления законов к Министерству юстиции, передав ее в управление министра юстиции, которым являлся в то время князь П. В. Лопухин[1]. В течение трех месяцев Министерство юстиции изучало документы, отражавшие деятельность различных законодательных комиссий, создававшихся на протяжении XVIII века. В результате был составлен доклад «о неудобностях настоящего положения Комиссии составления законов, препятствовавших доныне совершению предлежащего ей подвига, и о мерах, споспешествующих достижению великого сего предмета»[2].

Утвердив этот доклад своим Указом от 28 февраля 1804 года, Александр I дал правила, структуру и штат для новой Комиссии составления законов. Прежняя же комиссия упразднялась.

Главной задачей новой Комиссии становилось открытие начал или оснований права, под которыми понимались «первые, простые, чистейшие истины, утвержденные на здравых заключениях человеческого разума, на долговременных опытах и наблюдениях, строго исследованных, — основанные на существенных и возможных пользах Государства — ясные, неоспоримые и очевидностию влияния своего на благо общее и частное приобретающие силу и непоколебимость»[3]. *Деятельность Комиссии составления законов*

[1] 1-ПСЗРИ. Том 27. № 20995. С. 937.

[2] 1-ПСЗРИ. Том 28. № 21187. С. 160.

[3] Там же.

*выводилась, таким образом, из сферы практической юриспруденции — законоискусства — в область юриспруденции теоретической*. Метод систематизации законодательства, опирающийся на теорию права, признавался в докладе Министерства юстиции более совершенным по сравнению с прежним сугубо практическим методом. В доказательство данного тезиса приводился следующий пример: «Обыкновенные законоискусники у всех народов полагали науку составления законов в том, чтобы собрать все случаи, какие в общежитии предполагать можно, и на каждый из них постановить особенный закон; но если бы и могли они исчислить все те случаи, какие только разум в состоянии почерпнуть из понятий о возможных действиях воли человеческой: то из сего произошло бы несчетное множество законов, несообразных с обстоятельствами и не ясно определенных, а чрез то смешение и запутанность в самом законоположении; с другой стороны, не менее справедливо и то, что невозможно предопределить все случаи, какие впредь могут встретиться. Но, изложив в систематическом порядке и в надлежащей полноте основания права, без всякого затруднения к оным применять можно все случаи, в общежитии встречающиеся: ибо каждое из сих начал по существу своему должно показывать пределы своего очертания или сферы; а посему и нетрудно будет решить, какие случаи могут входить в сферу одного или другого начала»[1].

Конечной целью деятельности новой Комиссии составления законов высочайше утвержденный 28 февраля 1804 года доклад Министерства юстиции объявлял создание общей книги законов. Ее структура вытекала из выраженных в докладе представлений о достоинствах законодательства. В соответствии с этими представлениями структуру книги намечалось разделить на шесть частей.

*Первая* часть должна была вобрать в себя «законы органические, или коренные, до правления государственного относящиеся, как-то изложение священных прав Императорского Величества и Высочайшей Фамилии, отношения подданных к государю; также постановления правительственных мест, верховной властью утвержденных»[2].

Во *второй* части предполагалось поместить общие основания, или начала права, то есть «определение качеств, свойственных законам».

---

[1] 1-ПСЗРИ. Том 28. № 21187. С. 160.

[2] Там же. С. 170.

*Третья* часть должна была состоять — по плану, начертанному в докладе, — из общих законов относительно лиц, вещей, действий, обязательств, собственности, владения.

*Четвертая* часть мыслилась авторами доклада состоящей, с одной стороны, из уголовных законов и, с другой стороны, из Устава Благочиния и всего того, что относится к полиции.

В *пятой* части планировалось изложить способы приведения законов в исполнение и их применения, нормы судоустройства и судопроизводства, как уголовного, так и гражданского.

Наконец, *шестая* часть должна была содержать частные законы, отражающие особенности местностей, а также нормы, регулирующие финансы, коммерцию, деятельность портов и промышленных предприятий и т. д.

Данный план был в значительной мере произведением теоретической юриспруденции. И в нем намечались уже контуры одного из самых грандиозных произведений русской и мировой правовой культуры — «Свода законов Российской империи».

Согласно высочайше утвержденному 28 февраля 1804 года докладу Министерства юстиции внутренняя организация новой Комиссии составления законов предполагала деление на три «экспедиции». Первая из них должна была заниматься разработкой и начертанием разделов книги законов, посвященных основаниям права, общим законам и судебным обрядам. В задачи второй экспедиции вменялось: 1) упорядочение «всех частных законов провинций», 2) приведение их в соответствие с основаниями права, 3) составление частных уставов. Третья экспедиция была предназначена «поверять все переводы, соблюдать единообразие, чистоту и ясность слога, исправлять погрешности»[1]. Непосредственное управление каждой из экспедиций вверялось референдарию.

«Комиссия о составлении законов обращала тогда на себя общее внимание, потому что от нее ожидали полного издания законов со всеми переменами, — писал в своих мемуарах Фаддей Булгарин. — В Комиссии присутствовали: князь Лопухин и Н. Н. Новосильцов. Секретарем присутствия и референдарием 1-й экспедиции был известный учеными изысканиями по части русской истории и древнего законодательства Густав Андреевич Розенкампф. Старшими помощниками его были: надворные советники Федор Павлович Вронченко и Александр Иванович Тургенев... Редакторскими помощниками

[1] 1-ПСЗРИ. Том 28. № 21187. С. 171.

были: 8-го класса Григорий Иванович Карташевский и Иван Андреевич Старынкевич (оба впоследствии сенаторы). Второй экспедицией управлял и был редактором законов 7-го класса Михаил Андреевич Балугьянский, бывший в то же время профессором в Педагогическом институте»[1].

Подробный отчет о работе Комиссии составления законов, представленный министром юстиции Лопухиным государю 1 января 1808 года, показал, что в главном своем деле она за четыре года не достигла заметных успехов — в создании сводного уложения или книги законов были осуществлены только начальные, подготовительные меры, а именно: разработаны вопросы для руководства при поиске существующих законов и составления проекта уложения.

Желая придать деятельности Комиссии более плодотворный характер, Александр I назначил в нее 8 августа 1808 года М. М. Сперанского. Судя по журналам Комиссии, Михайло Михайлович в первый раз участвовал в ее заседании 19 ноября 1808 года[2]. 16 декабря 1808 года он был назначен товарищем министра юстиции вместо Н. Н. Новосильцова, который оставил данный пост 6 июля. В рескрипте, изданном 20 декабря на имя министра юстиции князя Лопухина, Александр I заявлял: «Желая сколь можно скорее ускорить совершением трудов, возложенных на комиссию составления законов, Я назначаю особенно и исключительно от всех прочих дел, к производству Правительствующего Сената и департамента принадлежащих, употреблять по сей части действительного статского советника Сперанского. По делам сей комиссии, усмотрению Моему подлежащих, он имеет Мне докладывать»[3]. Эти слова высочайшего рескрипта означали, что Комиссия составления законов, находившаяся прежде в ведении министра юстиции, переходила под руководство его нового заместителя, на которого соответственно и возлагалась обязанность периодически информировать государя о текущих ее делах.

---

1 *Булгарин Фаддей*. Воспоминания. М., 2001. С. 631–632.

2 См.: *Майков П. М.* Комиссии составления законов при императорах Павле I и Александре I. С. 246. Майков не указал причины, по которой Сперанский не мог сразу после назначения в члены Комиссии составления законов приступить к работе в ней, — этой причиной была поездка в свите императора Александра I в Эрфурт в сентябре 1808 г.

3 Цит. по: *Корф М. А.* Жизнь графа Сперанского. Т. 1. С. 149.

7 марта 1809 года император Александр утвердил Именным Указом, данным министру юстиции[1], «Положение о составе и управлении Комиссии составления законов». Главными задачами Комиссии «Положение» объявляло создание: 1) «Уложения гражданского», 2) «Уложения уголовного», 3) «Уложения коммерческого». При этом Гражданское уложение должно было вобрать в себя нормы не только материального, но и процессуального права, а именно: правила, определяющие «устройство судебных гражданских мест», — судоустройство и «Устав судебных обрядов» — правила судопроизводства. Подобным же образом и Уголовное уложение мыслилось в качестве свода и материальных, и процессуальных норм — правил, устанавливающих «устройство уголовных судов», и «Устава полиции судной».

После выполнения указанных главных задач Комиссии надлежало, согласно новому плану, приступить к систематизации норм, относящихся к «Государственной экономии» и вообще к публичному праву, потом создать «Свод законов провинциальных для губерний Ост-Зейских» и Свод таких же законов «для губерний Малороссийских и Польских присоединенных».

Правление комиссии должно было состоять, согласно «Положению», из членов, назначенных императором. Александр I назначил состоять в Правлении трех человек: министра юстиции князя П. В. Лопухина, товарища министра юстиции М. М. Сперанского и Н. Н. Новосильцова. При этом он особо указал, что «действительный статский советник Сперанский имеет быть употреблен для управления письмоводством»[2].

Разработанные М. М. Сперанским и высочайше одобренные 7 марта 1809 года нововведения во внутреннюю организацию и в ход работ Комиссии составления законов благотворно сказались на результатах ее деятельности. К октябрю 1809 года была подготовлена для внесения на рассмотрение Государственного Совета, открывавшегося 1 января 1810 года, первая часть проекта Гражданского уложения. Спустя некоторое время в Комиссии была завершена работа над второй его частью, затем — над третьей[3].

---

1 1-ПСЗРИ. Том 30. № 23525. С. 857–858.

2 Там же. С. 857.

3 См. о разработке проекта Гражданского уложения в издании: *Томсинов В. А.* Юридическое образование и юриспруденция в России в первой трети XIX века. М.: Зерцало-М, 2011. С. 215–232.

Помимо первой части проекта Гражданского уложения — «О лицах» — Государственный совет успел в 1810 году рассмотреть также его вторую часть — «Об имуществах». Его третья часть была внесена на рассмотрение Государственного совета в июле 1812 года. После высылки М. М. Сперанского из Петербурга обсуждение всех частей составленного им проекта Гражданского уложения началось фактически заново и продолжалось несколько лет. Его наиболее значимым результатом стало коренное изменение политики систематизации российского законодательства.

9 апреля 1812 года Александр I поручил председательствовать в Комиссии составления законов князю П. В. Лопухину.

В течение 1813 года пребывавшая под его началом Комиссия подготовила новые редакции первой и второй частей проекта Гражданского уложения. К октябрю 1813 года в рамках Комиссии была завершена работа и над первой частью проекта Уголовного уложения.

Перед внесением в Государственный совет все три части нового варианта проекта Гражданского уложения были напечатаны. В печатном виде их текст составил книжку небольшого формата (в одну восьмую листа) и объемом всего в 248 страниц. Умудренные долговременным опытом государственной деятельности члены Государственного совета были чрезвычайно удивлены. Они привыкли к тому, что собрания гражданских законов, даже весьма неполные, составляют огромные стопки рукописей или десятки печатных томов большого формата — в лист или в одну четверть его — и не могли понять, каким образом можно было втиснуть все действующее гражданское законодательство в объем одной книжки. Им было трудно уразуметь, что существо российских законов выражалось, как правило, в небольшом количестве строк, что в указах имелось всегда много такого, чего можно было не приводить в своде действующих гражданских законов, а именно: преамбул, предисловий, объяснений, заключений, что в законах было много повторений, которые вполне можно было удалить. С другой стороны, при обсуждении в Государственном совете нового проекта Гражданского уложения снова зазвучали мнения о том, что его текст составлен по иностранным образцам.

Убедительно и окончательно развенчать подобные мнения о проекте Гражданского уложения можно было лишь ссылкой на конкретные законодательные акты. В связи с этим возникла потребность в составлении полного собрания российских гражданских законов. Члены Государственного совета осознали эту потребность уже при

обсуждении первой главы первой части проекта Гражданского уложения. И как только это произошло, они прекратили дальнейшее рассмотрение данного проекта и предложили Комиссии составления законов подготовить своды гражданских законов и представить их в печатном виде в Государственный совет. Поставленная перед Комиссией новая задача потребовала нового ее преобразования.

К решению этого вопроса государь смог обратиться только в 1816 году. 29 февраля указанного года его величество утвердил доклад главноуправляющего Комиссией составления законов князя П. В. Лопухина об итогах ее деятельности и мерах по ее реорганизации. В нем отмечалось, что в течение последних шести лет Комиссия «привела к окончанию: 1. Уложение Гражданское. 2. Уложение Уголовное. 3. Две части Уложения Торгового. 4. Первую часть Устава Гражданского судопроизводства и 5. Составила по поручению Государственного Совета первый том Свода существующих законов».

Далее Лопухин перечислял то, что Комиссии составления законов предстояло совершить. Это, по его словам: «1. Последние части Уложения Торгового и Морского. 2. Последние части Устава Гражданского Судопроизводства. 3. Устав Уголовного Судопроизводства. 4. Устав Устроения Судебных мест. 5. Законы Полицейские, также Государственной Экономии и вообще к разным частям публичного права принадлежащие. 6. Последние части Свода существующих законов. 7. Таковые же Своды для губерний Остзейских и Малороссийских»[1].

К 1821 году Комиссия составления законов подготовила и напечатала 15 частей или тетрадей свода «существующих законов», относящихся к первым двум частям проекта Гражданского уложения. Хотя свод этот именовался «систематическим», системного в нем было мало — по оценке Сперанского, «это суть отчасти выписки, а отчасти перепечатанные указы, между коими вся связь состоит только в одном общем заглавии»[2].

Следуя примеру византийского императора Юстиниана, повелевшего при систематизации римского права предварить выпуск свода изречений римских юристов — Дигест или Пандектов — изданием оснований римского права или Институций, Комиссия составления законов подготовила к 1819 году книгу под названием «Основания

---

1 1-е ПСЗРИ. Том 33. № 26170. С. 532.

2 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов // Сперанский М. М. Руководство к познанию законов. СПб., 2002. С. 135.

российского права, извлеченные из существующих законов Российской империи»[1].

Этими трудами Комиссия подготовила почву для нового обсуждения составленного ею в 1809–1813 годах проекта Гражданского уложения в Государственном совете. Оно проходило в течение 1821–1822 годов. Были рассмотрены 1443 статьи проекта — из них 821 статья была возвращена в Комиссию для исправления и переработки.

К концу 1821 года стало очевидно, что составленные Комиссией тома «Систематического свода существующих законов» не могут служить основой для разработки уложений. Проверка напечатанных книг свода с источниками, из которых он составлялся, а также с реестрами указов, предоставленными Петром Хавским, выявила множество узаконений, в него не вошедших. Работу по составлению полного собрания законов Российской империи надо было начинать фактически заново. Труды Комиссии составления законов могли служить лишь подспорьем в этой работе.

Одним из наиболее значимых результатов работы Комиссии составления законов в последнее пятилетие царствования Александра I стало создание «Полного хронологического реестра законодательных актов, со времени правительства Алексея Михайловича до 1825 года» с краткой аннотацией на каждый акт. В названном реестре было обозначено 23 433 акта, он был сверен с реестрами различных архивов, на его основе были составлены реестры по каждой отрасли права. Созданием полного хронологического реестра и отраслевых реестров российским узаконениям, по существу, предопределялось направление дальнейших работ по систематизации российского законодательства. Очевидно, что подобный труд мог иметь смысл лишь при наличии у руководителей этих работ плана составления полного хронологического собрания законов Российской империи и систематического их свода. И такой план действительно разрабатывался М. М. Сперанским в последние годы правления императора Александра I.

* * *

Вступление на императорский престол Николая I оказало решающее влияние на ход работ по систематизации российского законо-

[1] Данная книга была напечатана в двух томах в 1821–1822 гг.

дательства. Новый император считал первейшей своей задачей наведение порядка в государственном управлении. Для решения этой проблемы он полагал необходимым предпринять немедленные и решительные меры к упорядочению действующего законодательства. Спустя несколько дней после своего воцарения, Николай I затребовал у главноуправляющего Комиссией составления законов князя П. В. Лопухина отчет о ее деятельности. Одновременно новый император попросил члена Государственного совета по департаменту законов М. М. Сперанского представить свои мнения о ходе работ по систематизации российского законодательства в предшествовавшие годы и о том, что надлежит сделать для их завершения в ближайшем будущем.

В начале января 1826 года Сперанский подал государю две записки: «Краткое историческое обозрение Комиссии составления законов» и «Предположения к окончательному составлению законов»[1]. В первой из них Михаил Михайлович подвел итоги работ по систематизации законодательства, проводившихся в России с 1700 по 1825 год. Он показал главные причины неудач, которые терпели создававшиеся одна за другой на протяжении 125 лет комиссии составления законов. Неудачными были признаны им и те проекты уложений, которые разрабатывались под его руководством или с его участием. Так, он писал о Комиссии составления законов, действовавшей в эпоху правления императора Александра I и продолжавшей формально существовать в начале января 1826 года: «Первое, что состав Комиссии слаб и весьма недостаточен. Второе, что все ее произведения, не исключая и тех, кои составлены были с 1808 по 1812 год, представляют одни токмо начатки уложений, а не самые уложения: начатки весьма несовершенные, далеко еще отстоящие от практической их пользы». Однако именно в неудачах Сперанский усматривал главную пользу тех попыток систематизации российского законодательства, которые предпринимались. По его словам, рассмотрение проектов уложений гражданского, торгового и уголовного, «хотя весьма несовершенных, с 1821 г. в Государственном Совете возобновленное, имело *две пользы:* 1) обнаружить их недостатки и показать, сколь неосновательными были представления тех, кои считали все оконченным; 2) оно подало повод к разреше-

[1] Тексты этих записок опубликованы с небольшими отклонениями от оригиналов, хранящихся в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки, в журнале «Русская старина» (1876. Том 15. № 2. С. 433–444).

нию как в гражданских, так и в уголовных законах весьма важных вопросов».

В записке «Предположения к окончательному составлению законов» Сперанским был изложен план завершения систематизации российского законодательства. Михайло Михайлович предлагал избрать троякий «образ составления законов», а именно: «1) свод, 2) уложение, 3) учебные книги». При этом под «сводом» им понималось «соединение законов, существующих по какой-либо части, расположенное в известном порядке». «Порядок сей — пояснял он, — бывает или *хронологический*, когда законы слагаются по порядку их издания, невзирая на разность их содержания; или *азбучный*, когда они располагаются по порядку слов; или, наконец, *систематический*, когда они расположены по предметам и по тому же плану, какой принят в Уложении».

«Уложением» Сперанский называл в рассматриваемой записке «систематическое изложение законов по их предметам. Под «учебной книгой» он имел в виду «то же самое Уложение, но более методическое и приспособленное к учебному преподаванию в училищах». Помимо «свода», «уложения» и «учебной книги» им выделялся еще и четвертый способ систематизации законов — «изъяснения (*commentaires*)», в которых, по его словам, «излагается разум или основание законов, дается отчет о причинах и необходимости дополнений или перемен, в Уложение введенных, и устанавливается связь их с законами существующими»[1].

На завершение работ по систематизации законодательства Сперанский отводил три года. В качестве первого шага в этом направлении он предлагал доработать прежний проект Гражданского уложения и относившиеся к нему части «Систематического свода существующих законов Российской империи» с соответствующими изъяснениями и представить все это 1 мая 1826 года на обсуждение в Государственный совет. До конца указанного года должны были, по его замыслу, завершиться труды по составлению судебного гражданского устава и учебной книги гражданских законов.

На начало 1827 года Сперанский планировал рассмотрение проекта Гражданского уложения с соответствовавшими ему сводом, уставом и учебной книгой в Государственном совете. Одновременно он предполагал «окончить Уголовное уложение с судебным его уста-

---

[1] *Сперанский М. М.* Предположения к окончательному составлению законов // ОР РНБ. Фонд 731. Ед. хр. 996. Л. 3–4.

вом и устройством судебных мест» и подготовить «учебную книгу уголовных законов». В течение 1827 года необходимо было, по его плану, составить «полное собрание всех законов».

Ввести в действие Гражданское уложение Сперанский предлагал в 1828 году. На указанный год он относил также обсуждение в Государственном совете проекта Уголовного уложения, вступление последнего в силу предполагалось, по его плану, в начале следующего года. Кроме того, на 1828 год им назначалось завершение составления полного собрания законов и начало его печатания, составление свода законов «полицейских и хозяйственных».

31 января 1826 года император Николай I издал на имя председателя Государственного совета князя П. В. Лопухина, в ведении которого находилась Комиссия составления законов, рескрипт, в котором говорилось: «При первоначальном обозрении разных частей государственного управления, обратив особенное внимание на уложение отечественных наших законов, усмотрел Я, что труды, с давних лет по сей части предпринятые, были многократно прерываемы и потому доселе не достигли своей цели. Желая сколь можно более удостоверить успешное их совершение, Я признал нужным принять их в непосредственное Мое ведение. Для сего приказал Я учредить в Собственной Моей Канцелярии особое для них Отделение. Чиновники Комиссии законов частию войдут в состав сего Отделения, частию получат другое назначение, службе их и способностям соразмерное. Помещение сего Отделения будет в том самом доме, который доселе занимаем был Комиссиею»[1]. Главными задачами Второго Отделения на ближайшие годы император определил не сочинение новых законов и создание Уложений, но составление сначала полного собрания законов, принятых с 1649 по 1825 год, а затем свода действующих законов Российской империи. Его величество не отказался от составления уложений: он лишь отложил их разработку на более поздний срок.

Учреждение Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии заставило Сперанского внести в план систематизации законодательства серьезные изменения. На основе нового варианта такого плана он составил «Наставление о порядке трудов Отделения». Одновременно в течение февраля–марта 1826 года им была написана целая серия маленьких заметок по раз-

[1] Второе Полное собрание законов Российской империи (далее: 2-ПСЗРИ). Том 1. № 114. С. 175.

личным вопросам юриспруденции для сотрудников Второго отделения, не обладавших достаточными для проведения работ по систематизации законодательства знаниями в области правоведения[1]. Подобные заметки Михаил Михайлович писал и позднее — во все то время, пока шла работа над составлением «Полного собрания» и «Свода законов»[2].

4 апреля 1826 года были проведены назначения сотрудников Второго отделения. На должность начальника этого органа, призванного стать главным инструментом дальнейшей систематизации российского законодательства, Николай I назначил старшего члена бывшей Комиссии составления законов действительного статского советника М. А. Балугьянского. Михаил Андреевич был хорошо известен государю, поскольку в 1813–1817 годах обучал его — в то время еще великого князя, а также его брата великого князя Михаила Павловича «правам естественному, публичному и народному».

Фактическое же управление Вторым отделением Николай I вверил М. М. Сперанскому, не дав ему при этом никакой официальной должности в данном подразделении своей канцелярии. Правда, Михайло Михайлович являлся членом Государственного совета по департаменту законов, но это звание носил не он один.

Почему же император Николай не стал создавать для Сперанского должности, соответствовавшей его фактическому положению во Втором отделении? В исторической литературе часто приводятся слова императора Николая о Сперанском, высказанные М. А. Балугьянскому при назначении его начальником Второго отделения: «Смотри же, чтобы он не наделал таких же проказ, как в 1810-м году: ты у меня будешь за него в ответе»[3]. В этих словах усматривается выражение недоверия государя к реформатору. Николай I действительно в начале следствия над декабристами подозрительно от-

---

[1] См.: *Сперанский М. М.* Трактаты по юриспруденции (теория права и гражданское право), написанные для чиновников II отделения С. Е. И. В. канцелярии в связи с составлением Полного собрания законов и Свода законов Российской империи 11–27 марта 1826 г. Черновой автограф и копия, сделанная [Н. М.] Старцовым, с исправлениями М. М. Сперанского и М. А. Корфа // ОР РНБ. Фонд 731. Ед. хр. 953.

[2] Некоторые из таких заметок были опубликованы в 1858 г. в первой книге «Архива исторических и практических сведений, относящихся до России» (с. 3–20).

[3] М. А. Корф привел эти слова Николая I в своей книге «Жизнь графа Сперанского» (СПб., 1861. Т. 2. С. 306), как он отметил в примечании к указанной странице, «буквально со слов самого Балугьянского», который, по его словам, «был правдивейшим и вместе беспритязательнейшим из людей».

носился к Сперанскому, и для этого были основания: Сперанского, как уже отмечалось, многие декабристы прочили в члены Временного правительства. Но к весне 1826 года император пришел к убеждению, что Сперанский не давал своего согласия на участие в революционном правительстве. Деятельность же сановника в Верховном уголовном суде над декабристами показала, что государь вполне мог доверять ему.

Очевидно, что нежелание Николая I придавать реформатору официальный статус главного управляющего Вторым отделением[1] имело своим основанием не какие-то подозрения его величества по отношению к Сперанскому, но нечто совсем другое. Думается, новый император учел неудачный опыт реформ своего венценосного брата Александра. И главную опасность, главную угрозу проводимым им реформам увидел в... *общественном мнении*. Николай понял, что для успеха реформ реформатор должен пребывать в тени — это спасет его от наветов, от клеветы, от всего того, что именуют «общественным мнением», и создаст условия для спокойной работы в тишине кабинета, в которой только и могут быть разработаны разумные преобразовательные проекты.

О том, что реформатор должен находиться вне поля зрения общества, чтобы успешно действовать на поприще общественных преобразований, думал и сам Сперанский. Одной из главных причин своей неудачи при осуществлении реформ в 1810 году Михайло Михайлович считал то, что, выступая тогда в роли реформатора, он был слишком заметной фигурой в обществе. В «Отчете в делах 1810 года», представленном в феврале 1811 года Александру I, он просил императора отстранить его от должности государственного секретаря и управления финляндскими делами и сохранить за ним лишь один пост директора комиссии законов. Реформатор прямо высказывал государю, что только эта мера позволит успокоить общественное мнение и создаст «то счастливое положение», в котором можно будет все время отдавать работе над проектами преобразований.

Не получив во Втором отделении никакой официальной должности, Сперанский тем не менее стал главным двигателем всей деятельности этого государственного учреждения. В состав своих со-

---

[1] Именно так будет официально назван преемник Михайлы Михайловича на этом посту Д. В. Дашков, которому 14 февраля 1839 года будет вверено «главное управление» делами отделения «на том же основании, на котором управлял оным... Сперанский».

трудников он постарался включить наиболее опытных, образованных людей: профессоров Царскосельского лицея А. П. Куницына, В. Е. Клокова, К. И. Арсеньева, М. Г. Плисова, выпускников лицея Д. Н. Замятина, М. А. Корфа, А. Д. Илличевского и др.

Среди работников отделения с самого начала его деятельности существовала редкая для государственных учреждений атмосфера доброжелательности. Любой, кто встречал в своей работе какие-либо затруднения, мог рассчитывать на немедленную и бескорыстную помощь своих сослуживцев. Всяческая полезная инициатива, даже если проявлялась она рядовым чиновником, выполнявшим черновую работу, только поощрялась. Подобная атмосфера установилась во Втором отделении во многом благодаря его управляющему. «Как сейчас перед собой вижу, — вспоминал позднее Г. Н. Александров, — прямую, не очень высокую, правильную фигуру Сперанского, его почти совсем обнаженную от волос голову, какой-то вообще задумчивый вид. Как теперь слышу его приветливые слова, всегда кроткие, положительные, показывающие невольно внимание и уважение к тому, с кем он говорил; обхождение самое деликатное, мягкое, вежливое со всеми, не исключая переписчиков; всегда на вы, никогда на ты. Никогда однакож не случалось видеть его смеющимся. Казалось, веселость ему не была к лицу».

Первое заседание Второго отделения С. Е. И. В. канцелярии состоялось 24 апреля 1826 года. Сперанский объявил его сотрудникам о повелении государя немедленно приступить к работам по составлению полного собрания законов, принятых с 1649 года, и к созданию свода действующих законов Российской империи.

Необходимость составления полного собрания законов сам Сперанский объяснял несколькими причинами. *Во-первых*, отмечал он, без предварительного изложения всех законов, принятых в России с 1649 по 1825 год, в хронологическом порядке невозможно было бы выделить действующие законы. *Во-вторых*, Сперанский видел в полном собрании законов необходимое пособие для разъяснения смысла действующих законодательных актов. *В-третьих*, полное собрание законов Российской империи, составленное в хронологическом порядке, должно было иметь, по мысли Сперанского, огромное значение для русской исторической науки. Раскрывая его научное значение, он писал: «Известно, что законы изображают, так сказать, внутреннюю жизнь государства. В них видно, как нравственные и политические его силы слагались, образовались, возрастали и изменялись. Следовательно, история государства без познания зако-

нов не может иметь ни ясности, ни достоверности, так как, с другой стороны, законы без истории часто бывают невразумительны. Посему, чем благовременнее законы приводятся в известность: тем источники истории для современников становятся удобнее, для потомства достовернее»[1].

Цели, которым призвано было служить «Полное собрание законов Российской империи», — не только практические, но и научные — во многом предопределили правила его составления. Было сочтено необходимым включить в «Полное собрание» все постановления, изданные непосредственно верховной властью или от ее имени учрежденными ею государственными органами. При этом решено было не делать различия между постановлениями действующими и отмененными. Проведение такого различия должно было стать главной задачей при создании «Свода законов».

Кроме того, при составлении «Полного собрания законов» признали целесообразным не включать в него судебные решения, касающиеся лишь конкретных случаев, по которым они состоялись. Исключение было сделано для судебных решений: 1) распространенных в самом их изложении на все подобные случаи; 2) ставших впоследствии примером для других судебных решений и получивших в результате этого общее значение; 3) изъяснивших смысл того или иного общего закона; 4) вынесенных по делам о государственных преступлениях.

Приняв за правило не помещать в «Полное собрание» распоряжения частного характера, Сперанский допустил из него изъятие для тех из них, которые были по существу частными, случайными, но «по историческому их достоинству важные». Такие распоряжения были сохранены в «Полном собрании законов», отмечал Сперанский в предисловии к первому его тому, «как памятник того века, как указание общественных его нравов, как изображение гражданской его жизни».

Все узаконения, которые предполагалось включить в «Полное собрание», были разбиты Сперанским на две части: первую составили Соборное Уложение 1649 года и узаконения, принятые по 12 декабря 1825 года — дня издания первого манифеста императора Ни-

---

[1] 1-ПСЗРИ. Том 1. С. XVII. Данное рассуждение о значении полного собрания законов для исторической науки Сперанский впоследствии воспроизвел с небольшими редакционными изменениями в записке «Обозрение исторических сведений о своде законов».

колая I; вторую — узаконения, принятые после этой даты. Соответственно такому разделению создавалось два «Полных собрания законов Российской империи», получивших наименования «*Первого собрания*» и «*Второго собрания*».

Работа над «Полным собранием законов» продолжалась до 1 марта 1830 года. При этом составлялись одновременно и «Первое» и «Второе» собрания. Тексты узаконений, изданных с 1649 по 1711 год, сверялись с их подлинниками из архивных фондов Разрядного, Поместного и др. приказов, находившихся в Вотчинном архиве при Сенате и в Архиве Коллегии Иностранных дел в Москве. Оригиналы узаконений последующих лет брались в Санкт-Петербургском архиве Правительствующего Сената, в Государственном архиве старых дел, в Архиве Кабинета Его Императорского Величества и Департамента уделов, в Архиве Главного Штаба Его Императорского Величества, в Архиве Морского Департамента, в Архивах других министерств и их департаментов. Подлинник Соборного Уложения 1649 года был взят из Оружейной Палаты.

Печатание «Первого собрания» началось 21 мая 1828 года и окончилось к 1 апреля 1830 года. После этого началось печатание подготовленных к изданию томов «Второго собрания». Изданное первое «Полное собрание законов Российской империи» состояло из 45 томов, из которых 40 томов занимали тексты узаконений, последние 5 томов содержали в себе указатель (состоявший из двух реестров — хронологического и алфавитного), книги штатов, тарифов, чертежей и рисунков.

5 апреля 1830 года император Николай I издал рескрипт на имя министра юстиции князя Дашкова, которым повелел снабдить книгами «Полного собрания законов Российской империи» все департаменты Правительствующего Сената и все присутственные губернские места.

Характеризуя в предисловии к первому тому «Полного собрания законов» предшествовавшие ему собрания российских узаконений, Сперанский отмечал в качестве главных их недостатков неполноту в содержании, а также «неверность в тексте и в показании времени, когда состоялись указы». «Полное собрание законов Российской империи» задумывалось Сперанским, в противовес этому, как «собрание полное и достоверное».

В действительности же первое «Полное собрание законов» *полным не стало*. Собрать все узаконения с 1649 по 1825 год не удалось. Более того, сделать это было и невозможно, поскольку многие уза-

конения, особенно второй половины XVII – начала XVIII века, оказались недоступными для составителей «Полного собрания» или просто-напросто неизвестными. Но самым странным являлось то, что целый ряд актов, имевшихся в их распоряжении и бесспорно обладавших статусом закона, в «Полное собрание» включены не были. И это при том, что в нем вполне нашлось место для множества таких документов, которые к законам явно не относились.

Причины, по которым те или иные узаконения не включались в состав «Полного собрания законов», были различными: *одни* памятники законодательства не вошли в первое «Полное собрание законов» потому, что «считались секретными», *другие* от того, что предназначались «к истреблению или отобранию», *третьи* потому, что не были обнаружены или своевременно доставлены во Второе отделение, наконец, *четвертые*, весьма многочисленные, не вошли в «Полное собрание законов» потому, что исключались из него, по разным причинам, самими составителями данного собрания (главным образом, Сперанским).

Сперанский вполне сознавал условность названия «Полное собрание законов Российской империи», причем с самого начала работы над ним. Тем не менее, он настаивал на этом наименовании. Почему? Об этом можно только догадываться.

* * *

Работы над «Сводом законов Российской империи» начались одновременно с трудами по составлению «Полного собрания законов». По плану этих работ, представленному Сперанским на первом заседании Второго отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии, надлежало сначала создать «исторические» своды по каждой части свода действующих законов, разбитой на книги, разделы, главы и отделения, а затем «догматические», которые впоследствии стали именоваться «систематическими».

На практике «исторические» своды составлялись путем подбора для каждого предмета правового регулирования соответствующих узаконений — без различия, действующие они или нет. Существо их содержания фиксировалось специальными выписками, которые затем сравнивались между собой. По словам Сперанского, «в сем сравнении три главных обстоятельства были замечаемы: отмена, пояснение и дополнение. Статьи отмененные были из Свода исключаемы; напротив, пояснения и дополнения были прилагаемы к первона-

чальному узаконению. Таким образом составлялась история изменений закона по каждому отделению»[1].

В течение 1826 и 1827 годов сотрудниками Второго отделения были составлены исторические своды по законам гражданским и по некоторым частям уголовных законов. После этого работа над историческими сводами была приостановлена с тем, чтобы ускорить создание свода действующих законов. Возобновили ее во Втором отделении только по завершении данного труда, то есть в начале 1833 года. В 1834 году работа по составлению исторических сводов, по всей видимости, продолжалась, но затем, кажется, опять была по какой-то причине приостановлена. В 1838 году император Николай I назначил во Второе отделение своей канцелярии нескольких молодых чиновников, окончивших высшие учебные заведения, — им было поручено составить исторические своды к первым трем томам свода действующих законов Российской империи. Но после смерти М. М. Сперанского, последовавшей 7 февраля 1839 года, эта работа остановилась, на этот раз — окончательно.

«Догматические» или «систематические» своды начали составляться еще в процессе создания сводов исторических. В описании Сперанского эта работа осуществлялась следующим образом: «По мере того как разные части Свода посредством исторических изысканий и выписок достигали полноты и точности, они постепенно вступали в другой период их образования, принимали определенную форму законных правил. Здесь труд разделялся также на две степени. В первой из них собранные и уже очищенные от посторонней смеси тексты закона распределялись по своим местам в виде статей, и таким образом составлялись отдельные своды. Во второй степени сии самые своды сравниваемы были между собою в их совокупности. При сем часто открывались в них повторения, а иногда и разногласие; надлежало их снова сводить и соглашать, дабы дать сим отдельным частям надлежащее единство. Отсюда хотя главный план всего состава оставался неподвижным, но частные и подробные планы многократно изменялись, ибо перемена в устройстве одного свода часто влекла за собою перемену и в других, с ним смежных»[2].

Несмотря на то, что историческое изложение российского законодательства не было осуществлено в большинстве его частей к тому

---

1 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. СПб., 1833. С. 160.

2 Там же. С. 163–164.

моменту, когда сотрудники Второго отделения приступили к составлению так называемых «догматических» или «систематических» сводов, созданный в результате этих трудов «Свод законов Российской империи» имел под собой прочное историческое основание. Им стали, во-первых, история русского права, воплощенная в «Полном собрании законов Российской империи», во-вторых, исторический опыт систематизации римского права при императоре Юстиниане I, осмысленный Фрэнсисом Бэконом (1561–1626).

Данный опыт был выражен английским философом и государственным деятелем в виде афоризмов сочинения под названием «Образец трактата о всеобщей справедливости, или об истоках права»[1], объединенных под рубрикой «О новых дигестах законов *(De novis Digestis Legum)*». Обозревая в 1833 году историю создания свода законов Российской империи, Сперанский признал, что именно правила Ф. Бэкона стали для него руководством в трудах по систематизации российского законодательства. Среди этих правил русский правовед особо выделял следующие: 1) «Исключить из свода все законы, вышедшие из употребления»[2]; 2) «Исключить все повторения, и вместо многих постановлений, одно и то же гласящих, принять в своде одно из них полнейшее»[3]; 3) «Сохранить слова закона, извлекая статьи свода из самого их текста, хотя бы то было самыми мелкими и дробными частями *(per centones)*; потом сии мелкие части связать и соединить по порядку, ибо в законе не столько изящество слога, сколько сила и важность его, а для важности древность

---

[1] «Exemplum Tractatus de Justitia Universali, sive de Fontibus Juris» (см.: The Works of Francis Bacon, baron of Verulam, Viscount St. Alban, and Lord High Chancellor of England / Collected and edited by J. Spedding, R. S. Ellis and D. D. Heath. Vol. 1. London, 1875. P. 803). Перевод указанного трактата на русский язык, опубликованный в первом томе сочинений Ф. Бэкона, вышедших в серии «Философское наследие» (М.: Мысль, 1977. Том 1. С. 484–512), весьма неточен.

[2] *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 104–105. У Фрэнсиса Бэкона приведенное Сперанским правило выражено следующими словами: «Primo, omittantur obsolete, quae Justinianus antiques fabulas vocat (Во-первых, отбросить устаревшее, которое Юстиниан называл старинными сказками)» (The Works of Francis Bacon. P. 817).

[3] *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 105. У Ф. Бэкона: «Tertio, Homoio-Nomiae, sive leges quae idem sonant atque nil aliud sunt quam iterations ejusdem rei, expungantur; atque una quæpiam ex iis, quæ maxime est perfecta, retineatur vice omnium (В-третьих, удалить гомойономии, или законы, гласящие одно и то же и содержащие повторения одних и тех же предметов, сохранив из всех [законов] лишь те, которые наиболее совершенны)» (The Works of Francis Bacon. P. 817).

драгоценны. Без сего свод был бы книгою учебною или ученою, а не составом законов положительных»[1]; 4) «Законы слишком многословные и обширные, должны быть сокращаемы»[2]; 5) «Из законов противоречащих избирать тот, который лучше других»[3]; 6) «По составлении таким образом свода сей Состав законов *(Corpus legume)* должен быть утвержден надлежащею властию, дабы под видом законов старых не вкрались законы новые»[4].

Сперанский вполне сознавал, что само по себе издание Свода законов может создать лишь временный порядок в действующем законодательстве. Новые законы, появляясь во все большем количестве, вызовут спустя некоторое время новый хаос в сфере законодательства. Ф. Бэкон в качестве способа решения данной проблемы пред-

---

1 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 106. У Ф. Бэкона: «Verum in hujusmodi Legum Regeneratione atque structura nova, veterum legum atque librorum legis verba prorsus et textum retineto; licet per centones et portiones exiguas eas excerpere necesse fuerit: Ea deinde ordina contexito. Etsi enim fortasse commodius atque etiam, si ad rectam rationem respicias, melius hoc transigi posset per textum novum quam per hujusmodi consarcinationem; tamen in legibus non tam stilus et discriptio quam Authoritas, et hujus patronus Antiquitas, spectanda est. Alias videri possit hujusmodi opus scholasticum potius quiddam et methodus, quam Corpus Legum Imperantium (Однако в таком возрождении законов и создании новых необходимо всецело сохранить слова и стиль старинных законов и законных книг, пусть это пришлось бы делать посредством извлечения из них цитат и небольших фрагментов, которые затем надобно соединять воедино. Хотя в действительности было бы удобнее, пожалуй, и даже, если смотреть в существо дела, было бы возможно лучше сделать это с помощью нового текста, чем посредством такого соединения; однако в законах должны приниматься во внимание не столько стиль и содержание, сколько авторитет, и их покровительница — древность. Иначе такое произведение может показаться скорее учебным и методическим, чем Сводом положительных законов)» (The Works of Francis Bacon. P. 818).

2 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 107–108. У Ф. Бэкона: «Postremo, quæ verbosæ inveniuntur et nimis prolixæ, contrahantur magis in arctura (Наконец, законы, оказавшиеся многословными и слишком пространными, должны быть сокращены и сжаты)» (The Works of Francis Bacon. P. 817).

3 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 109. У Ф. Бэкона: «Deinde, ex Anti-Nomiis recipiantur probatissimæ, aboleantur contrariæ (Далее, из антиномий (противоречащих один другому законов) принять наилучшие, противоречащие же им отменить)» (The Works of Francis Bacon. P. 817).

4 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 110. У Ф. Бэкона: «Novum autem hujusmodi Corpus Legum ab iis qui in politiis singulis habent potestatem legislatoriam prorsus confimandum est; ne forte, prætextu veteres leges digerendi, leges novæ imponantur occulto (Однако этот новый Свод законов должен быть утвержден тем, кто в каждом государстве обладает полной законодательной властью; чтобы под видом приведенных в порядок старых законов не были скрытно введены новые законы)» (The Works of Francis Bacon. P. 818).

лагал обратиться к опыту императора Юстиниана, который при систематизации римского права предписал устойчивую, не подверженную переменам, часть правового материала изложить в одном своде (Дигестах), а изменяемую его часть, выраженную в отдельных законах, принимаемых время от времени, — в другом (Кодексе). Английский правовед высказывал в связи с этим мнение о том, что при создании свода законов следует «расположить и составить по отдельности *(seorsum digerere et componere)*», с одной стороны, «законы, принятые в качестве общего права, происходящего с незапамятных времен *(leges, pro Jure Communi receptas, quæ tanquam immemoriales sunt in origine sua)*»[1], и с другой стороны, «статуты, время от времени к ним добавляемые *(statute de tempore in tempus superaddita)*»[2]. Сперанский не принял этой рекомендации английского мыслителя. «У нас нет сего различия, — писал он, объясняя свое решение, — но есть законы, действующие вообще во всем пространстве Империи, и есть законы местные, особенные, коих действие допускается токмо в некоторых областях ее. По сему положено в общем Своде соединить все законы первого рода, а законы второго рода, разобрав, соединить в двух Сводах особенных: один для губерний западных, другой для остзейских»[3]. Признав, что «Своды обнимают только прошедшее и не определяют ничего в будущем», а новые законы неизбежно прибавляются и тем самым создается опасность возникновения хаоса в законодательстве, русский правовед признал необходимым установить на все последующее время порядок, по которому новые законы по мере их появления включались бы в соответствующие разделы Свода законов при новых его изданиях.

Вопрос о разделении законов в общем их своде Сперанский считал принадлежащим к философии права — по его словам, «к такой части законоведения, в коей разум восходит к первоначальным понятиям нравственности деяний, понятиям долга, правды и справедливости *(aequi et justi)* и проч.»[4]. «Подробное исследование сих начал, — отмечал он, — может найти приличное место в общей истории законодательства»[5]. Именно из этих начал выводилась им система Свода законов.

---

1 The Works of Francis Bacon. P. 817.

2 Ibid.

3 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 112.

4 Там же. С. 118–119 (сноска).

5 Там же.

Представляя основания общего разделения законов в составе Свода, Сперанский писал: «Два союза, два порядка отношений необходимы в государстве: союз государственный и союз гражданский. Союз государственный есть внутренний и внешний; здесь вопрос только о первом. Союз гражданский есть или семейственный, или союз по имуществам. Из союзов возникают права и обязанности. Те и другие определяются и охраняются законами. Отсюда два порядка законов: законы **государственные** и законы **гражданские**»[1] (выделено мною. — *В. Т.*).

В законах государственных Сперанский выделял два разряда — «по различию их предметов и начал, на коих они утверждаются». К законам *первого* разряда он относил те, которые «определяют существо союза государственного и прав от него происходящих». В этом разряде, отмечал он, «прежде всего представляется *порядок*, коим власть верховная образуется и действует в законодательстве и управлении; *органы* сего действия суть установления; *средства*, силы государственные, нарочито для сего действия предназначенные»[2]. Установления и силы государственные предполагают, в свою очередь, известную степень участия в них подданных, которая определяет их состояние.

Отсюда Сперанский выводил деление государственных законов первого разряда на четыре категории: 1) «*Законы Основные*», 2) «*Учреждения*», определяющие «состав установлений, образ и пределы их действия», 3) «*Законы Сил Государственных*»[3], 4) «*Законы о Состояниях*».

Ко *второму* разряду законов государственных Сперанский относил законы, «коими союз государственный и гражданский и права, от них возникающие, охраняются в их действии мерами общего государственного порядка»[4]. Это, по его мнению, во-первых, «*Законы*

---

1 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 118–119.

2 Там же. С. 120.

3 «Силы сии суть личные или вещественные, — пояснял Сперанский. — Личные силы суть: или воинские — они управляются особыми постановлениями; или силы, предназначаемые для исправления разных нужд государственных в виде повинностей, — они управляются законами общими под именем *Уставов о Повинностях*. Силы вещественные состоят в доходах; порядок их составления и употребления учреждается *Уставами Казенного Управления*» (*Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 121–122).

4 Там же. С. 122.

*Предохранительные*», как например, Устав благочиния, или полицейской, а во-вторых, «*Законы Уголовные*».

Гражданские законы Сперанский также делил на два разряда. К *первому* разряду им причислялись законы, определявшие гражданские права. Это, *во-первых*, законы, которыми устанавливается «порядок прав и обязанностей семейственных»; *во-вторых*, законы, которыми устанавливается «порядок приобретения и укрепления прав в имуществах»; *в-третьих*, «порядок действия сих последних прав в особенном отношении их к государственному и частному кредиту, к торговле, к промышленности и проч.»[1].

Отсюда Сперанский выводил три вида гражданских законов первого разряда: 1) «*Законы союзов семейственных*», 2) «*Общие законы об имуществах*», 3) «*Особенные законы об имуществах*», выступающие под названием «*Законов Государственного Благоустройства или Экономии*».

К гражданским законам *второго* разряда Сперанский относил законы, охранявшие действие прав мерами порядка гражданского. Таковыми являлись, по его мнению: 1) «*Законы о порядке взысканий по делам бесспорным*», 2) «*Законы судопроизводства* общего гражданского и особенных: межевого и торгового», 3) «*Законы о мерах гражданских взысканий*»[2]. При этом творец «Свода законов» признавал, что гражданские законы второго разряда тесно связаны с гражданскими законами первого разряда, а потому именно среди последних все они и должны распределяться.

Общее распределение законов в составе Свода соответствовало двум главным целям, которые желали достичь его созданием: сделать более удобным применение законов при производстве дел и дать средства к систематическому их изучению, так чтобы «те же законные книги, а не две системы разные, были основанием и в отправлении дел, и в учебном образовании»[3]. Как известно, система-

---

1 *Сперанский М. М.* Обозрение исторических сведений о своде законов. С. 123.

2 Там же. С. 125.

3 Там же. В 1837 году Сперанский вел так называемые «юридические беседы» с его императорским высочеством цесаревичем Александром Николаевичем (будущим императором Александром II). На основе этих бесед им была задумана книжка — краткое руководство к познанию отечественных законов. В 1838 году Михаил Михайлович приступил к ее написанию, однако окончить не успел. В 1845 году этот незавершенный труд Сперанского был издан под названием «Руководство к познанию законов». Содержание его показывает, что автор классифицировал законы в полном соответствии с тем их делением, которое дал прежде в «Своде».

тизация римского права, осуществленная при императоре Юстиниане комиссией под руководством Трибониана, также имела две цели: Институции, Дигесты и Кодекс призваны были служить в качестве не только практических руководств для судей, но и учебных пособий для студентов, изучавших юриспруденцию[1].

Все содержание «Свода законов Российской империи» было разбито на восемь книг. Книги с первой по четвертую, заключавшие в себе государственные законы первого разряда, заняли девять томов:

Книга *первая* (том 1, часть 1) была посвящена основным государственным законам.

Книга *вторая* включила в себя учреждения — центральные (том 1, часть 2) и местные (том 2), а также устав о службе государственной (том 3).

Книга *третья* охватила «законы государственных сил», а именно: уставы о повинностях (том 4), уставы о податях и о пошлинах (том 5), устав таможенный (том 6), уставы монетный, горный и о соли (том 7), уставы лесной, оброчных статей и счетные (том 8).

Книга *четвертая* была посвящена законам о состояниях (том 9).

Книга *пятая* — законам гражданским и межевым (том 10).

Книга *шестая* была составлена из уставов государственного благоустройства. Уставы духовных дел иностранных исповеданий, кредитный, о векселях, торговый, консульский, о промышленности, ремесленный и пробирный вошли в 11-й том Свода законов. Уставы путей сообщения, почтовый, телеграфный, строительный, положение о взаимном страховании от огня, устав о сельском хозяйстве, положения о найме на сельские работы и о трактирных заведениях, устав о благоустройстве в казенных селениях, о казачьих селениях и о колониях иностранцев в империи составили том 12. Сперанский предполагал включить в эту книгу также уставы учебных и ученых заведений после того, как будет завершена их разработка.

Книга *седьмая* включила в себя уставы благочиния, а именно: уставы о народном продовольствии, об общественном призрении

---

Так, он разделил государственные законы на: 1) «Законы Основные», 2) «Законы Органические», 3) «Законы Правительственных Сил», 4) «Законы Государственного Благоустройства», 5) «Законы о Состояниях», 6) «Законы Полиции», 7) «Законы Исправительные и Уголовные».

[1] См.: Конституция «Omnem» // Дигесты Юстиниана. Том 1. Кн. I–IV. М., 2002. С. 34–47.

и врачебный (том 13), уставы о паспортах и беглых, цензурный, о предупреждении и пресечении преступлений, о содержащихся под стражей, о ссыльных (том 14).

Книга *восьмая* была посвящена уголовным законам и состояла из одного — 15-го по счету — тома.

По мере составления томов «Свода законов Российской империи» они передавались для проверки в специальные ревизионные комитеты, учрежденные в министерствах и различных управлениях. Всего было создано семь таких комитетов. Так, для ревизии десятого тома Свода, посвященного гражданским законам, был учрежден Ревизионный Комитет при Министерстве юстиции под председательством министра. Его членами стали: два сенатора, назначенных государем, обер-прокурор, обер-секретарь, директор канцелярии и юрисконсульт. Высочайшим рескриптом от 23 апреля 1828 года данному Комитету было велено «произвесть общее сих Сводов обозрение, дабы тем положительно удостовериться в полноте их и точности». Подобные императорские повеления были даны и другим ревизионным комитетам.

По завершении ревизии тома «Свода законов» поступали в типографию. В начале 1832 года началось печатание первой его книги. К началу следующего года печатание всех восьми книг в пятнадцати томах было окончено.

8 января 1833 года М. М. Сперанский направил императору Николаю I донесение о завершении печатания Свода законов, приложив к нему записку об истории составления Свода и проект высочайшего манифеста о введении Свода в действие. Прочитав и одобрив эти документы, государь возвратил их для представления в Государственный Совет. 15 января экземпляры многотомного Свода законов были переданы для ознакомления председателю — князю В. П. Кочубею — и членам Государственного совета.

На общем собрании Государственного совета, которое состоялось 19 января 1833 года, тома Полного собрания и Свода законов Российской империи были официально представлены Николаю I. Его величество произнес большую, длившуюся более часа, речь, в которой рассказал о том, как возник у него замысел завершить работы по систематизации российского законодательства и каким образом этот замысел был осуществлен на практике. Затем была зачитана составленная Сперанским записка «Обозрение исторических сведений о своде законов» и принято решение о рассмотрении в следующем заседании Государственного совета проекта высочайшего манифеста,

возвещающего завершение работ по составлению Полного собрания и Свода законов Российской империи.

Все трудившиеся над составлением свода чиновники были щедро награждены. «Звезды, чины, аренды и деньги посыпались как град на этих людей, — вспоминал А. В. Никитенко. — Чиновники в страшном волнении: «да как, да за что, да почему? и проч. и проч.». Сперанский стал получать награды от государя сразу после того, как проявились первые успешные результаты осуществлявшихся под его руководством работ. 8 июля 1827 года Николай I пожаловал ему «украшенные алмазами знаки Ордена Святого Александра Невского». 2 октября 1827 года император возвел Сперанского в чин действительного тайного советника. 2 января подарил табакерку со своим портретом.

19 января 1833 года — в день представления государю всех томов «Полного собрания» и «Свода законов» Российской империи на специальном заседании Государственного совета — Сперанский получил орден Святого Андрея Первозванного, высший в иерархии российских орденов. Но лучшим выражением благодарности и благоволения Николая I к русскому «Трибониану» стал поступок, совершенный его величеством в конце всей церемонии: государь подозвал к себе Сперанского и в присутствии всех членов совета снял с себя Андреевскую звезду и надел ее на него, демонстративно горячо при этом обняв. По воле императора Александра II эта сцена была изображена барельефом на пьедестале установленного перед Исаакиевским собором памятника Николаю I работы скульптора П. К. Клодта.

* * *

Явным признаком того, что после создания «Полного собрания законов» и «Свода законов» Российской империи доверие Николая I к Сперанскому возросло, стало назначение его в 1835 году в когорту воспитателей цесаревича Александра Николаевича. В течение почти двух лет — с 12 октября 1835 года и по 10 апреля 1837 года — по 12 часов в неделю Михайло Михайлович наставлял наследника престола в политических и юридических науках. Он с предельной откровенностью говорил с будущим императором Александром II об истинном состоянии Российского государства, внушая ему тем самым мысль о необходимости решительных перемен в России. Этим своим наставлениям Сперанский дал название «бесед». Характери-

зуя ту манеру, в которой Михайло Михайлович их вел, М. А. Корф писал: «Это и были, в полном смысле, *беседы*, но беседы не схоластически преподающего профессора с студентом, следящим за его лекциями иногда только для выдержания экзамена, а государственного человека, глубоко и на практике изучившего жизнь России и ее потребности, с будущим ее монархом, жадно вслушивавшимся в науку царей и правителей. Сперанскому, при его даре слова и всегдашней отчетливости и ясности мыслей, нетрудно было овладеть вниманием любознательного царевича. Преподаватель вложил в это дело всю свою душу, все благороднейшие свои стремления. Здесь он уже не был стеснен ни спешностью требований по делам текущим, ни житейскими расчетами. Для его знаний, для его мыслей, для истинных, задушевных его движений был такой простор, какой никогда, может быть, не открывался ему на служебном поприще. Здесь он мог и должен был говорить откровенно, свободно, смело, мог быть *настоящим* Сперанским».

Данная откровенность сделалась каким-то образом известной царедворцам и вызвала с их стороны порицание. На помощь Сперанскому пришел главный воспитатель цесаревича поэт В. А. Жуковский. Он полностью одобрил ту манеру, в которой Михайло Михайлович воспитывал наследника верховной власти в России, увидев в ней глубоко патриотическое содержание. «Не верьте слухам, — писал Василий Андреевич Сперанскому. — Ваше мнение о ходе воспитания вел. князя мне дорого... Воспитание вел. князя идет хорошим порядком... Русский государь должен быть предпочтительно русским. Но это не значит, что он должен все русское почитать хорошим, потому единственно, что оно русское. Такое чувство, само по себе похвальное (ибо происходило бы от любви к тому, что он любить более всем обязан), было бы предрассудок, вредный для самого отечества. Быть русским есть уважать народ русский, помнить, что его благо в особенности вверено государю Провидением, что русские составляют прямую силу русского монарха, что их кровию или любовию утвержден и хранится трон их царя, что без них и он ничто, что они одни могут ему помогать действовать с любовию к отечеству. Иностранец может быть полезен России, и даже более русского, если он просвещенный: но он будет действовать для одной чести, для одной корысти, редко из любви к России. Русский, при честолюбии, будет иметь и любовь к России. И русский с талантом и просвещением всегда будет полезнее России, нежели иностранец с талантом и просвещением. Если русских просвещенных менее, не-

жели иностранцев, то не их вина: вина правительства. Оно само лишает их способов стать наряду с иностранцами, и потому не вправе обвинять их в том, что они уступают последним. Без уверенности народа, что государь его имеет к нему доверенность, уважение и предпочтение, не будет привязанности народа к государю. Замеченное предпочтение государя иностранцам оскорбляет народную гордость, а оскорбленная народная гордость не прощается: она производит ненависть, может произвести и мятежи. Кого тогда обвинять?

Государь Русский! Помни, что ты русский! Помни Куликовскую битву, помни Минина и Пожарского, помни 1812 год!»

## *Глава тринадцатая*

# Прости, Отечество!

*Мы все в дороге и возвращаемся*
*в наше Отечество,*
*кто с котомкою на плечах,*
*кто на резвой четверне,*
*но все войдем в одни ворота...*

**Михаил Сперанский**

Предводитель эстляндского дворянства с 1830 по 1836 год Родион Егорович Гринвальд принимал участие в работе комиссии по составлению Свода узаконений для Прибалтийских губерний. В 1836 году он встречался в Петербурге по делам данной комиссии с М. А. Балугьянским и М. М. Сперанским. Михайло Михайлович в это время проживал в одном доме с семьей его дочери. Обедали они, как правило, вместе. Гринвальд бывал в гостях у Сперанского и общался с ним на заседаниях комиссии. Позднее он писал в своих мемуарах: «Изобразить характеристику этого замечательного человека — задача весьма нелегкая: я никогда не встречал личности более осторожной и скрытной. Он редко когда прямо и решительно высказывался и избегал говорить не только о политике, но и вообще о серьезных вещах; трудно было из его физиономии узнать о его искреннем мнении. Когда случалось ему докладывать о чем-либо и от него требовался ответ, то он обыкновенно отделывался словами «fort bién». Эти слова однако ж не означали его одобрения, но, как я узнал опытом, служили знаком того, что он слышал, о чем была речь».

В последние годы своей жизни Михайло Михайлович мог, казалось, быть доволен: налицо был почет, были награды, слава — все то, чего жаждало его уязвленное когда-то клеветой и изгнанием самолюбие. И верно, некое утешение имелось для него во всем этом. Но не более. Он, гордый отшельник по натуре своей, вступил когда-то в поисках почестей на путь, усеянный колючками унижений, и вот теперь, пройдя весь этот путь и снискав почести, обнаружил вдруг, что душа его, если и не совсем безразлична к ним, то не слишком уж

и рада. Жизнь вразрез с собственными убеждениями, в противоречии со своей совестью и честью может представляться не особо губительной для души, когда в эту жизнь только вступаешь. Кажется поначалу, ну что случится, если, давимый обстоятельствами, однажды иль дважды поступишься своей совестью и честью? Что станет от того, что покоришься на какое-то время обстоятельствам, стерпишь унижение? Пригнись, притаись, выжди — придет время, и вновь заживешь в согласии с самим собой, со своей совестью. Ан нет! Душа, однажды насильно сжатая в комок, уже не расправляется. И ты навсегда разучаешься радоваться, навсегда лишаешься способности наслаждаться.

С летами неизбежно обесценивается все, что поначалу представляется ценным, — будь то богатство, слава иль власть. На что они человеку, близкому к окончательному разрушению? Что может он снискать в них радостного для себя, если не в силах ими воспользоваться? *Наслаждение прожитой жизнью* — одно по-настоящему доступное и действительное наслаждение для того, кто стоит у порога в царство вечного покоя. А оно настаивается на чистой совести.

Имел ли такую совесть Сперанский? Тема внутреннего закона человеческой души явно занимала его думы на склоне лет. «Совесть, — читаем мы в одной из его философских заметок той поры, — есть преклонность воли, влекущая нас к добру совершенному. Все, что способствует сей наклонности, приносит нам удовольствие, рождает в нас ощущение свободы и достоинства. Все, что ей противно, рождает, напротив, чувство неволи и унижения».

Примирение с высшим столичным обществом, которого он столько искал и в конце концов нашел, дорого обошлось ему. Все во внешней, чиновной его жизни как будто устоялось, все наладилось, но разладилось что-то в жизни внутренней — в жизни души и сердца. Мысль о том, что необходимо жить в согласии с самим собой, что надо добиваться гармонии прежде всего внутри себя, все чаще посещала Сперанского в пору новой его чиновной славы и успеха. Как никогда ранее, был он в эту пору религиозен. Многие его философские заметки напоминали скорее молитву и заклинание, нежели плод вольных размышлений: «Кто получил много способностей и сил, тот должен много благодарить Бога, вся жизнь того должна превратиться в один благодарный гимн, а чувства изливаться одной прекрасной песнью неумолкаемого благодарения. Постоянное благодарение прекрасно возвышает душу. Оно вносит в нее мир, стройность и тишину, а сердце не чувствительно раство-

ряет всепрощающей, всеобъемлющей любовью даже к самим врагам. Кто получил много способностей и сил, тому нужно много стараться к приведению всего, что ни есть в нем, в стройность... Но Боже! Как трудно бороться с собой, с непокорными, неудержимыми нашими стремлениями, как слаба не приобретшая крепости наша воля!»

Жизнь Сперанского подходила к концу — наступало время подведения итогов.

* * *

1838 год принес Сперанскому небывалую прежде усталость и равнодушие к себе и делам. Михайло Михайлович ощутил вдруг себя глубоким стариком. Окружающие не сразу заметили происшедшую в нем перемену. Внешний облик его не потерял с годами приятности. Высокий ростом и лишь слегка сутуловатый при ходьбе, с большим, обнаженным от волос лбом, с голубыми глазами, излучающими спокойствие и ум, всегда аккуратно, с некоторою даже щеголеватостью одетый, он являл собою воплощение сознающей себя величавости, но не холодной, каковой она часто имеет быть, а той редкой, что испускает мягкость и теплоту.

Альфред де-Кюстин, посетивший Россию в 1839 году, писал, что нигде не видел таких красивых стариков, и таких уродливых старух, как в России. Встреча со Сперанским, если б состоялась, еще более укрепила французского маркиза в данном мнении.

Со всеми, независимо от звания и должности, был Михайло Михайлович обходителен в обращении, почтителен и ласков. Кое-кому, правда, именно это в нем и не нравилось. Некоторые, расположенные к нему первоначально его ласковостью, впоследствии, когда обнаруживали, что она *обща всем, как чаша круговая*, охладевали к нему. Но многим в ту эпоху, когда принято было по-разному вести себя с людьми различных званий и чинов, как раз это, равное со всеми, обхождение Сперанского вызывало симпатию. Потому что было необычным. Он держал себя так, будто родился и вырос не в семье небогатого священника, а в доме знатного вельможи, где с детства учат тонким манерам.

Но всего привлекательней был Сперанский, когда говорил. В противовес принятому в светском обществе правилу изъясняться по-французски он всегда старался говорить на русском языке. И окружающие именно на русском предпочитали его слышать, поскольку

в устах его изрядно к тому времени подзабытый русскими аристократами родной язык звучал с какой-то необъяснимой прелестью и новизной.

Женщины как будто вовсе не замечали его старости. Как и прежде, находясь в его присутствии, они всячески старались ему понравиться и ловили малейшие приметы в его облике и поведении, говорящие в пользу его ответного к ним чувства. Светло-голубые глаза его постоянно слегка слезились. Истинной причиной этому были его усердные занятия — он по-прежнему много проводил времени за чтением и писанием, — но женщины, видя глаза его покрытыми влажностью, давали объяснение, более соответствовавшее их желанию, чем истине: они говорили, что у Михайлы Михайловича «влюбленные глазки».

Лучшие слова о его внешнем облике выпало сказать, однако, не женщине. Эразм Стогов записал в своих воспоминаниях: «Портретов Сперанского очень много, и все похожи, только я не видал ни одного портрета с глазами Сперанского: есть предметы, недоступные для живописи! Таких глаз, как у Сперанского, я у других не встречал, не возьмусь и приблизительно описать их. Могу сказать только: глаза Сперанского я ни разу не видал изменяющимися — всегда, постоянно тихи, спокойны, ласковы: они не прищурены, но и не открыты, не вызывающие и не уклоняющиеся — ум, душа и сердце поместилось в этих глазах! Живопись бессильна! Уверен, что со смертию этих глаз других таких глаз не осталось; не видавшие выражения глаз Сперанского не составят себе понятия о прелести оригинального выражения их!»

В феврале 1838 года члены Государственного совета дружно выступили против проекта учреждения Санкт-Петербургской полиции, подготовленного комитетом об устройстве столичной полиции, которым руководил Сперанский. Проект был настолько велик по объему, что его не стали читать весь на заседании, но, испросив высочайшего разрешения, напечатали и разослали членам Государственного совета для прочтения на дому и представления замечаний на него в письменном виде.

Таких замечаний оказалось очень много: причем критике были подвергнуты основные положения проекта. При рассмотрении данных замечаний на заседании Государственного совета разгорелись острые споры. Михайло Михайлович, частью по причине своей усталости от прений, частью из-за того, что критика проекта была обоснованной, согласился с тем, что проект недоработан.

Сразу после заседания Государственного совета он попытался в беседе с Модестом Корфом оправдаться — сказал, что уступил членам Совета не потому, что положения, им составленные, дурны, но из-за того, что в русской полицейской службе мало людей, способных уразуметь новые правила и исполнять их достойным образом: а потом признался: «Вообще не нам в наши лета писать законы: пишите вы, молодые люди, а наше дело будет только обсуживать. Я уже слишком стар, чтобы сочинять и отстаивать сочинение, а всего тяжелее то, что сочиняешь с уверенностью не дожить до плода своих трудов». Шел Сперанскому в ту пору *шестьдесят седьмой* год.

Тем не менее, что бы он ни говорил, у него было достаточно еще сил для больших государственных дел.

2 апреля 1838 года действительный тайный советник Сперанский был назначен Председателем Департамента законов Государственного совета. 17 апреля 1838 года император Николай изъявил Сперанскому за создание Свода военных постановлений «высочайшее благоволение». В рескрипте, написанном по этому случаю, государь обращался к Сперанскому: «Михаил Михайлович! Долговременная, отлично ревностная служба ваша, обширные познания и опытность, доказанные многими особенно полезными трудами в высшем кругу дел государственных, побудили Меня вверить главному руководству и попечительности вашей собрание отечественных законов и составление полного оных свода. Обширный труд сей, по части гражданской, приведен вами к окончанию еще в 1833 году с успехом, вполне соответствовавшим Моим ожиданиям. Для довершения сего необходимого Государственного дела оставалось еще собрать и составить полный свод законам, действующим в кругу управления военносухопутными силами Империи. Ныне и сей труд, под непосредственным вашим наблюдением, вашею неутомимою деятельностью и неусыпным рвением окончательно совершен. Приемля с живейшею признательностью сей новый опыт вашей примерно полезной службы, Я за особенное удовольствие поставляю изъявить вам Мое полное и совершенное благоволение. Пребываю навсегда вам благосклонный Николай».

Сперанский достиг вершины своей чиновной карьеры. И все же единственной отрадой оставалось для него прошлое, которое он вспоминал с особенной приятностью. Н. И. Греч рассказал в своих «Записках», как 25 марта 1838 года, присутствуя на открытии нового университетского здания в Санкт-Петербурге, встретил Сперанского, который сам подошел к нему для того, чтобы выразить свое

удовольствие тем, что он, Греч, в письмах из Франции при описании разговора с Талейраном специально отметил, что знаменитый французский дипломат с удовольствием вспоминал о Сперанском, которого видел в 1808 году в Эрфурте.

Летом 1838 года Михайло Михайлович поехал отдохнуть и подлечить свое расстроенное здоровье в Буромку. 22 июля он написал оттуда в Петербург своей дочери: «Удивительно, как здешний образ жизни, беззаботной, тихой и мирной, для меня и полезен и приятен, не взирая на совершенное бесчувствие всего нравственного и сердечного бытия; что же было бы в соединении? Рай. Но нам ли грешным здесь на земле помышлять о райских наслаждениях! Здесь надобно все покупать, даже луч солнечный не даром нам дается». Усталость от жизни явственно проступала в этих словах Сперанского. В другом письме дочери из Буромки он признался, что чувствует «все наслаждение душевной лености».

После возвращения в Петербург Михайло Михайлович переселился в дом на Сергиевской улице, который купил за 240 000 рублей с помощью государственного казначейства, одолжившего ему необходимую на покупку дома сумму[1]. Напротив этого дома, ставшего последним пристанищем Сперанского, стоял дом, в котором он жил в пору своего реформаторства и из которого он был поздним вечером 17 марта 1812 года увезен в ссылку.

* * *

21 октября, в пятницу, Михайло Михайлович почувствовал недомогание. Дней за пять до этого получил он простуду, но не обратил на нее особого внимания и продолжал работать, как ни в чем не бывало. Надлежало лечь в постель, но в субботу в Царском Селе назначен был состояться театральный спектакль и бал во дворце, и Спе-

[1] М. А. Корф записал в своем дневнике 24 сентября 1838 года следующие расчеты относительно сделки, совершенной М. М. Сперанским: «Вчера я виделся также с многими из членов Государственного Совета и, между прочим, с М. М. Сперанским, который купил себе славный дом на Сергиевской улице за 240 000 руб. Эти деньги или, лучше сказать, весь дом достались ему даром. Дом у прежнего владельца заложен был в банке в 140 000 руб., но где взять остальную сумму? М. М. выпросил у государя, чтобы вместо банка дом заложить на тридцатисемилетних правилах в государственном казначействе с выдачей под оный всей суммы по купчей крепости, т. е. 240 000 руб. Таким образом, он имеет теперь собственный дом и платит за него в казну в продолжение 37 лет по 15 000 руб. ежегодно, тогда как прежде платил за наем квартиры в чужом доме по 14 000 руб.».

ранский выбрал вместо постели Царское Село. Бал во дворце окончился около двух часов ночи, и ему пришлось остаться там ночевать. Поутру, в воскресенье, Михайло Михайлович ощутил в себе уже довольно сильный лихорадочный озноб, но все равно пошел в церковь на обедню, а затем еще и на обед в царский дворец. Лишь вечером возвратился он домой. В понедельник болезнь, будто раздраженная пренебрежительным к себе отношением, восстала в нем во всей своей губительности. Лихорадочные припадки и открывшееся вслед за тем воспаление в печени уложили его в постель.

В последующие дни физическое состояние Сперанского ухудшилось настолько, что видавшие его стали предполагать скорую его смерть. Император Николай по два раза на дню справлялся о его болезни. А в один из дней, получив очередное известие, государь призвал к себе князя Васильчикова и отдал ему распоряжение опечатать по смерти Сперанского его кабинет со всеми находящимися там бумагами.

Предельную опасность болезни почувствовал и сам Сперанский. В тоскливые осенние дни 1838 года он прощался со своей жизнью. Пригласил духовника исповедаться. О смерти своей заговорил со спокойствием, явно выдававшим чувство обреченности — сознание, что жизнь для него кончена. Думал ли он о собственной судьбе в тот момент, когда близилась она к завершению? Верно, думал. Не мог не думать: по странному закону природы каждому умирающему назначено видеть сон собственной жизни в канун прощания с нею.

Итог прожитых лет должен был, казалось, радовать его. Рожденный в семье простого деревенского священника и росший в окружении крестьян, он умирал в столице империи высоким сановником, всей России известным человеком. Не только разные «превосходительства» и «сиятельства», но и сам государь проявлял повышенный интерес к его, поповского сына, здоровью.

Рожденье его было событием разве что для бедных его родителей, но умирание его — событие для целой России! Но, видно, не дано человеческой душе быть довольной прожитой жизнью — Михайло Михайлович испытывал внутри себя нечто подобное скорее раздражению собой, ни в коей мере не довольство. Духовник его — протоиерей Сергиевского собора П. Я. Духовский, с которым любил он беседовать о высоких материях, навестил его, больного, и говорил с ним. Впоследствии сказывал, что Сперанский очень ругал себя тогда, находясь в предсмертии, очень сожалел, что до конца своих дней так и не смог усмирить врагов внутри себя — собственные стра-

сти, и среди них особливо духовную гордость. «Если после беспрестанных усилий и работы над самим собою, — говорил он, — иногда и удастся ее усмирить, то спустя несколько времени она опять поднимается с новою силою, и мне остается только горевать о слабости своей воли». Что выражал сожалением этим Сперанский? Имел ли он в виду свое самолюбие, излишнюю в себе любовь к почету и другие соблазны, заставлявшие его идти наперекор собственной совести? Иль не мог забыть он выпавших на его долю унижений, не мог преодолеть терзаний души своей при воспоминаниях о прошлых обидах? В любом случае жалоба умиравшего Сперанского на себя скрывала жалобу на свою судьбу.

Когда-то в молодости, полный радужных надежд на счастливое будущее, он писал: «Кто взял на себя крест и положил руку на рало, тот не должен озираться вспять — и что, впрочем, озираясь, он увидит? — Мечты и привидения, все похоть очес и гордость житейскую». Сейчас, когда впереди ему ничего уже нельзя было высмотреть, кроме смерти, одноликой, однообразной, как потолок над кроватью, он не мог не озираться вспять. И что же ему там виделось? — Он оказался пророком тогда, в своей счастливой счастьем в чиновной жизни и несчастьем в жизни личной молодости.

В пору, когда жизненная энергия бьет в тебе ключом, когда полон сил, и целая жизнь впереди, кажется, что главное — это найти себе дело, способное наполнить смыслом будущую жизнь. При этом, конечно, понимается, что всякое дело делается не в вакууме, а в какой-то среде, в определенном людском мирке, и что среда эта может быть исключительно вредной, чуждой душе всем содержанием своим. Но думается тогда, что значит любая среда, когда нашел дело и полон сил? Пусть она чужда — неужто нельзя в любой среде оставаться самим собой? Пусть она вредна — неужто помешает она делать дело? Лишь на склоне лет приходит сознание того, что на устройство взаимоотношений с окружающими много надобно душевных сил — столь много, что и на *дело* может не хватить.

Биографии духа обыкновенно свойственны великим писателям или философам. Государственному же деятелю, даже и великому, не дано, казалось бы, иметь подобной биографии — слишком тесно соприкасается он с практической жизнью, слишком поглощен бывает ею, слишком живет вне себя, чтобы жить собою, чтобы создать себе свой собственный духовный мир. Тем любопытнее для нас такие вот параллели:

**Лев Толстой**: «Жизнь человеческая состоит во все большем и большем приближении к совершенству».

***Михаил Сперанский***: «*Кто может сказать самому себе: каждый день я приближаюсь к совершенству, каждый день я вырываю из сердца какой-нибудь порок, какую-нибудь слабость*?»

**Лев Толстой**: «Важнее всего для меня в жизни исправление от лени, раздражительности и бесхарактерности».

***Михаил Сперанский***: «*С тремя врагами должен я бороться: с леностью, робостью и гордостью*».

**Лев Толстой**: «Ложь перед другими далеко не так важна и вредна, как ложь перед собой».

***Михаил Сперанский***: «*Правдивость с самим собою есть великое дело и без сомнения первая потребность, первый, краеугольный камень воспитания. Сколь мало я встречал людей, правдивых с собою. Можно даже утверждать, что люди более обманывают себя нежели склонны обманывать других*».

**Лев Толстой**: «Так теперь мне представляется мысль о том, что государство и его агенты — это самые большие и распространенные преступники, в сравнении с которыми те, которых называют преступниками, невинные агнцы...»

***Михаил Сперанский***: «*Я долго взирал на преступников, законом осужденных, публично наказанных и сосланных, с внутренним отвращением, ныне смотрю на них с некоторою страдою. Это агнцы добродушия в сравнении со всем тем, что называем мы часто: честный и порядочный человек*».

Такие параллели можно было бы продолжать еще и еще — признанный государственный деятель или, как говорили о нем, государственный деятель милостью Божьей, носил в себе душевные состояния, свойственные прирожденному писателю и философу.

Историк В. О. Ключевский писал, что император Александр I встретил в лице Сперанского «человека с огромной умственной и нравственной силой, который наводил на него страх и покорял его как сила умственная, но вместе внушал невольное уважение и доверие как сила нравственная». Многие факты свидетельствуют в пользу приведенных слов историка. Но несомненно также и то, что императору Николаю I Сперанский предстал другим — по-прежнему умным, но лишенным нравственной силы человеком. Он не стремился уже играть в государственных делах сколько-нибудь самостоятельной роли, к чему явно стремился прежде. Он не предпринимал уже попыток отстоять собственное достоинство в тех случаях, когда

оно ущемлялось, и с легкостью приносил повинную, если бывал в чем-либо обвинен. Перемена, которая произошла со Сперанским, была разительной: ее заметили все, знавшие его ранее. Некоторые близко его знавшие современники, а затем и биографы говорили впоследствии, что он угодничал, старался всячески ко всем приноровиться оттого, что не мог, действуя иначе, добиться своей цели, потому что, действуя прежде по-другому, потерпел неудачу. Данное объяснение заслуживает внимания. Как развитый душою, талантливый человек, Сперанский имел в себе высокие идеалы и ставил задачей своей государственной деятельности их осуществление. Главнейшим среди них являлся *идеал законности*. Он был привержен к нему всю свою жизнь — во все время своей государственной деятельности. И понятно почему. Потребность общества в установлении законности была одновременно и личной его потребностью. Маленький, незнатный человек, ставший большим сановником, он чувствовал себя в высшей степени неуверенно при той системе управления, при которой господствовал произвол лиц. Его общественное положение в этих условиях зависело исключительно от благоволения монарха, то есть не имело сколько-нибудь прочных гарантий. В любой момент, без всяких на то серьезных оснований, он мог быть снят с должности, выслан в глухомань, брошен в бесчестье и нищету. Не потому ли столь много и упорно работал Сперанский над вопросами права и законности? В различных архивах хранится более тысячи начертанных рукою Сперанского произведений и просто заметок, посвященных этим вопросам[1].

Результатом усилий Сперанского явились такие грандиозные свершения, как «Полное собрание законов Российской империи» и «Свод законов Российской империи». Осуществленная им систе-

[1] Так, в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки в архивном фонде Сперанского (ф. 731) хранятся следующие его сочинения в области юриспруденции: «О началах законоведения римского в приложении их к российскому», «Русская Правда есть Правда Варяжская», «Юриспруденция», «Право», «Основания российского права», «Сходство в образовании права с образованием языка», «Власть и право», «Обращение власти в право», «Право сильного — не есть право», «Охранения права», «Править собой, править другими», «Значение слова jus», «Три степени законоведения», «Записка о предметах законоведения», «Степени и образы познания законов», «Закон», «О праве естественном», «Общее понятие о законе», «Закон. Источник любви к отечеству», «Афоризмы о разделении законов», «Афоризмы юридические», «Афоризмы политические и юридические», «Афоризмы юридические и философские», «Законы гражданские и законы политические», «Изъяснение духа времени или либеральности» и многие другие.

матизация законодательства способствовала укреплению самодержавной власти в России, но она содержала в себе и предпосылку для развития свободы. Не будь «Свода законов», немыслима была бы судебная реформа 1864 года, немыслимо было бы дальнейшее развитие российской юриспруденции.

* * *

В историю России Сперанский вошел в качестве великого неудачника. И в самом деле, ни один из его реформаторских замыслов не был осуществлен в сколько-нибудь полной мере — большей части созданных им проектов государственных преобразований суждено было остаться лишь на бумаге, их даже не пытались реализовать на практике. Но можно ли сказать, что он жил бесплодно? Что напрасно бросил свою душу и талант в пучину политики? Да, конечно, реформаторская деятельность его не повлекла за собой коренного поворота в развитии русского общества, она мало внесла реальных перемен в общественно-политический строй России. Но разве только результатами деятельности своей входит каждый человек в историю своей Родины? Кто из живших на земле людей сумел сделать что-либо законченное, совершить то, чего и желал совершить? Разве осуществлял кто-нибудь когда-либо в политике все то, к чему стремился?

Каждый человек таит в себе врожденную потребность в доброй оценке своих деяний другими. И чем более он человек, тем сильнее чувствуется ему эта потребность. «Сие чувствование толь сильно, — подмечал Радищев, — что всегда побуждает людей к приобретению для себя тех способностей и преимуществ, посредством которых заслуживается любовь как от людей, так и от высочайшего существа, свидетельствуемая услаждением совести».

Легко носить эту самую человеческую потребность писателю, если он истинный да излился воистину в книги: он всегда знает, что непременно получит через свои творения то благодарение от людей, которого ждет его сердце. Легко умирать художнику, создавшему шедевр. В труде по созиданию шедевра уже заложена будущая его добрая оценка — услаждение совести художника. Но какую оценку может получить государственный деятель (если он не преступник власти, приговор которого в его жертвах?) Как оценить человека политики, чей труд не отливается в книги, картины, мелодии — чье творение невидимо и неслышимо, как брошенное в землю

зерно? Исчезло оно в земляных комочках — не скоро появится росток, да и появится ли? — да если и появится, то от того ли зерна, что было для него брошено? — может, от прошлогоднего или просто случайно оброненного? И даже если носит кто-то высокий титул «основателя государства», то разве может «основанное» им государство служить подлинной мерой настоящей величины его? Не шахматные фигуры ведь расставил — живых людей: ни за что не сыграешь с ними задуманной партии! Каждый ходит по-своему, и одолеть эту стихию позволительно ли? Здесь самая полная победа лишь предвестье пораженья. Усмиришь стихию, накуешь взамен ее цепей из предписаний-указаний — остановится движение! Таков закон игры, именуемой политикой: хочешь играть успешно — играй напару со стихией! Судьба лишь тем действиям предавшего себя политике дает возможность быть плодотворными, что свершаются в соавторстве с общественной стихией! И как же тут разберешь, где игра сознания, а где стихии? Конечно, деяния носителей государственной власти оставляют на скрижалях истории самые яркие письмена, но это, как правило, письмена в жанре *мифа* или *сказки*. Где же критерии для оценки человека политики, если реальности его деятельности столь неуловимы, если не отливаются они в оформленные творения, а растворяются в повседневно текущей жизни общества, разносятся во множестве его органов, по многочисленной массе его членов? Да создает ли он что-либо, в чем можно увидеть хотя бы приблизительный, без больших посторонних примесей, отпечаток его личности?

Такое произведение есть и у каждого бывает неизбежно творимым. В отношении него не возникает никогда сомнений в авторстве, и быть не может вопроса о том, получилось оно или нет. Оно всегда получается, пусть авторы и склонны проникаться настроением, что у них-то оно как раз и не получилось. Оно всегда получается, чему совсем не мешает то, что зовется неудачей в политической деятельности. Напротив, именно неудача чаще всего составляет самые волнительные здесь строки, а успех становится сюжетом, хотя и не лишенным занимательности для ума, но пустым для сердца. Любому неудачнику в политической игре, безрезультатно растратившему в ней лучшие свои порывы, и тому, кто не может дождаться результатов своей деятельности, любому несчастливцу, увидевшему вдруг у своего политического поведения последствия, противоположные тем, к которым стремился, всегда достается возможность утешиться сознанием, что несмотря ни на что не бесплодно действовал,

что одно творение все ж таки создал, а именно — *свою собственную жизнь, свою судьбу*!

«Какой роман, моя жизнь!» — восхищался Наполеон на острове Святой Елены, и прилив этого восхищения заливал на какое-то время горечь досадного падения. Остались ли в копилке человеческих эмоций и страстей душевные состояния, им не испытанные? *Жить всеми клетками своей души, ума и сердца — это счастье*, что ни говори, не склонно выпадать человеку, а ему выпало и не только успеху благодаря, но и неудаче. Этот счастливый неудачник оставил, быть может, самое убедительное доказательство, что действительно произошедшая жизнь человеческая способна стать такой же увлекательной для прочтения, как и сочиненная, искусственная.

Сперанский тоже мог сказать: «*Какой роман, моя жизнь!*» Историк-писатель М. П. Погодин писал в своем биографическом очерке о нем: «Удивительное зрелище представляет нам жизнь графа Сперанского, удивительное даже в русской истории, богатой примерами быстрого возвышения и падения».

* * *

С конца ноября 1838 года болезнь Сперанского пошла на убыль. Михайло Михайлович стал явно поправляться. В канун Нового года его навестил сам император Николай, да притом дважды — 23 и 27 декабря. В первый день нового года его величество пожаловал Сперанскому графское достоинство. Почесть эту Михайло Михалович принял совсем равнодушно. «Государь хотел обрадовать моих друзей», — сказал он, узнав о своем графстве. В графах Сперанский пожил ровно сорок один день.

Весь январь граф Сперанский работал, невзирая на мольбу дочери позаботиться о своем здоровье. Принимал у себя чиновников.

***Из дневника М. А. Корфа.***
***Запись от 23 января 1839 года:***

*«Я был сегодня у графа Сперанского и истинно обрадовался положению, в котором его нашел. Голос и наружность его очень поправились, и сам он совершенно доволен приметным восстановлением сил. Я пробыл у него часа полтора в неистощимой беседе. Он собирается выехать на днях в первый раз к государю и принялся уже серьезно за дело...».*

7 февраля 1839 года в Санкт-Петербурге выдалась на редкость скверная погода. Но именно в этот день Михайло Михайлович вздумал совершить прогулку. Напрасно отговаривали его от данной затеи: он ушел из дома и довольно долго ходил на ветру и, конечно, сумел простудиться. Вследствие простуды затаившаяся в нем болезнь восстала с новой силой. 8 февраля Сперанский лег в постель и больше с нее не поднялся.

Перед самой кончиной его лицо стало просветленным. Его дочь Елизавета[1], сидевшая рядом с ним, услышала, как он сказал: «*В тот день я словно наяву увидел истинную Красоту, сияющую и внутренним и внешним блеском*». Елизавета все поняла: ее отец прощался со своей женой, с которой он никогда в душе своей не расставался.

Поутру 11 февраля 1839 года сердце Сперанского прекратило свое биение.

На следующий день в дневнике будущего его биографа М. А. Корфа появилась запись: «*Светило русской администрации угасло*».

Весть о смерти Сперанского понеслась по России, вырвалась в Европу. На нее откликнулось каждое сколько-нибудь солидное периодическое издание. «В начале 1839 года скончался в Петербурге государственный человек, которого жизнь принадлежит к необыкновенным явлениям в истории, — сообщала немецкая газета «Альгемайне цайтунг». — Кто видел всеобщее участие, возбужденное его кончиной, тот должен был понять, даже не зная покойного, что это такой удар, которому сочувствует целое государство. Мы говорим о смерти графа Сперанского. Сперанский обязан был судьбе одними высокими способностями, утонченною организацией души и многими тяжкими испытаниями; но самому себе обязан он всем, чего достигнул... Каждый был глубоко растроган смертию этого человека, когда чрез несколько дней торжественные похороны его приближались к Александро-Невской лавре, первому приюту его молодости в столице, когда тело его внесли под позолоченным балдахином в те самые ворота, куда за полвека прежде вступил он бедным, неведомым,

[1] Дочь М. М. Сперанского — Елизавета Михайловна Фролова-Багреева после того, как одного за другим похоронит своего сына Михаила и мужа, уедет на долгие годы за границу. Она будет жить в Париже и в Вене, ездить по святым местам. Смерть придет к ней 23 марта 1857 г. За год до своей кончины Елизавета Михайловна передаст архив своего отца в императорскую Публичную библиотеку, в которой будет директором М. А. Корф.

беззащитным юношей, с одними своими отличными дарованиями и с благородною самоуверенностью в душе!»

* * *

Однажды, находясь уже в довольно зрелом возрасте, он в порыве откровенности сказал своим приятелям, что перейти из духовного звания в светское и поступить на службу в государственное управление заставила его жажда учения. «Я надеялся, — признался он, — ехать за границу и усовершенствовать себя в немецких университетах, но вместо того завлекся службою».

Еще он признался как-то в том, что всякий, кто к нему привязывался, неизбежно страдал более или менее. «*Никогда, ни в какую эпоху жизни, не привязывались ко мне душевно люди счастливые, да и сам я к ним не прикасался*», — говорил Сперанский.

Закончим же этими словами наше повествование о нем. Есть в людской жизни законы, но не бывает среди людей судей. Потому как судить не значит еще быть судьей. Судить означает быть осуждаемым, возможно, даже в большей мере, чем тот, кого судишь. Приговор, выносимый тобою кому-либо, — это в первую очередь *тебе самому твой собственный приговор!*

Список вышедших в издательстве «Зерцало»
книг с аннотациями можно посмотреть на сайте:
http://www.zertsalobooks.ru

Томсинов Владимир Алексеевич

**Светило российской бюрократии**

*Исторический портрет М. М. Сперанского*

Корректор — *Т. В. Кочемасова*
Верстка — *А. В. Плотников*

Издательство «Зерцало»
Подписано в печать 01.06.2012.
Формат 60×90/16. Печ. л. 29,75.
Тираж 700 экз. Заказ № 1436

Отпечатано в типографии ООО «ЕВСТИ»

Книга представляет собой документальное повествование о необычной судьбе выдающегося русского государственного деятеля, реформатора и мыслителя Михаила Михайловича Сперанского (1772–1839). Ему, сыну простого деревенского священника, суждено было оказаться в самом пекле политической жизни России первой трети XIX века, пережить невиданные взлеты и падения. Сперанский являлся активным участником главнейших политических процессов в тогдашнем русском обществе. Биография его неразрывно сплелась с биографиями почти всех крупнейших деятелей той бурной эпохи: императорами Павлом I, Александром I и Николаем I, сановниками: А. Б. Куракиным, А. А. Аракчеевым, В. П. Кочубеем, М. А. Корфом и др., литераторами: Н. М. Карамзиным, А. С. Пушкиным, М. Ю. Лермонтовым и др., декабристами: Г. С. Батеньковым и К. Ф. Рылеевым, М. Н. Муравьевым, С. П. Трубецким и др.

М. П. Погодин писал в своем биографическом очерке о нем: «Удивительное зрелище представляет нам жизнь графа Сперанского, удивительное даже в русской истории, богатой примерами быстрого возвышения и падения». «Со времен Ордина-Нащокина у русского престола не становился другой такой сильный ум: после Сперанского, не знаю, появится ли третий», — выражал свое мнение В. О. Ключевский. Историк С. М. Середонин констатировал: «Действительно, Сперанский был совершенно исключительным явлением в нашей высшей администрации первой половины XIX века. Без особого преувеличения он может быть назван организатором бюрократии в России...»

ISBN 978-5-94373-218-8